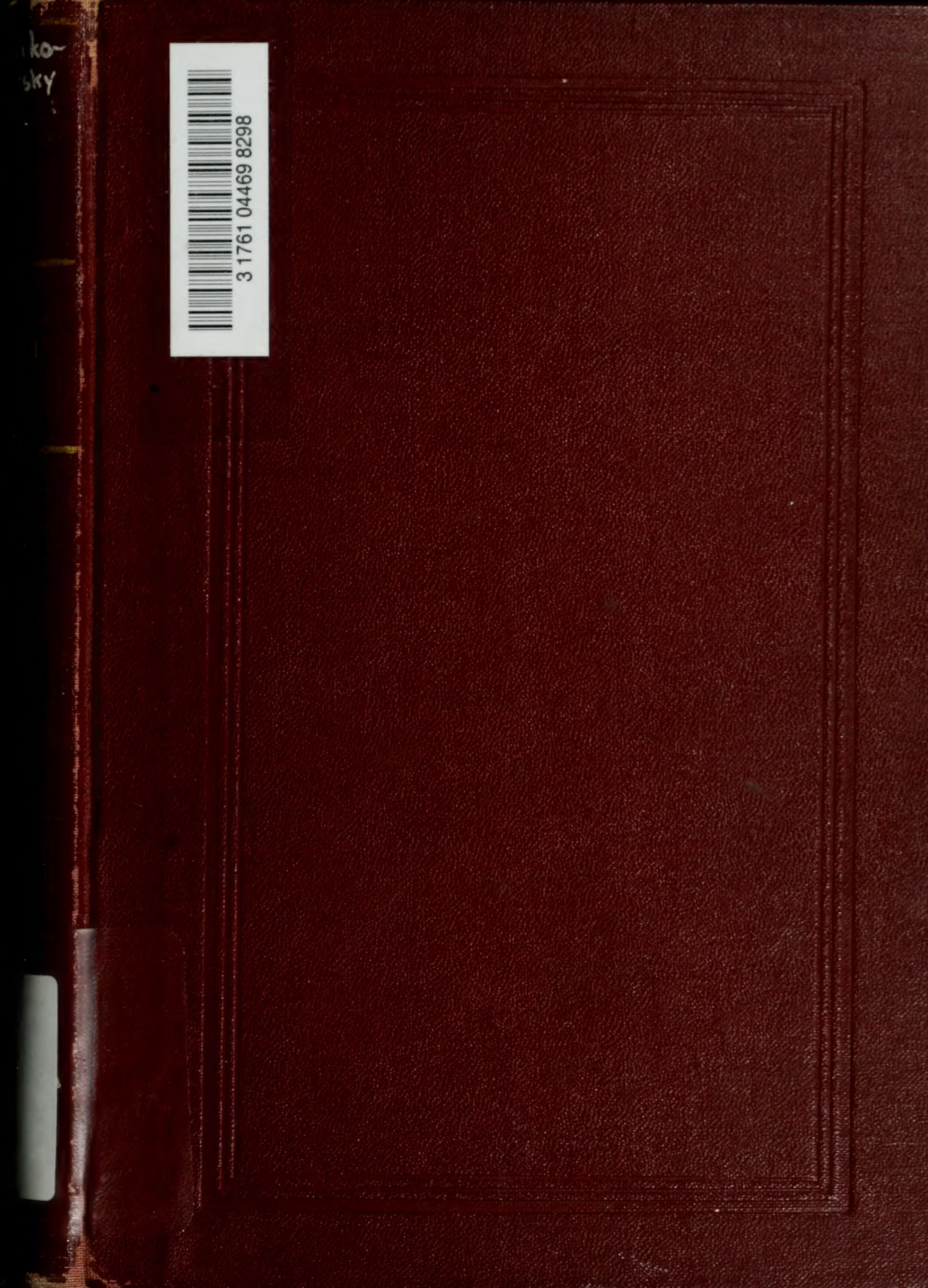
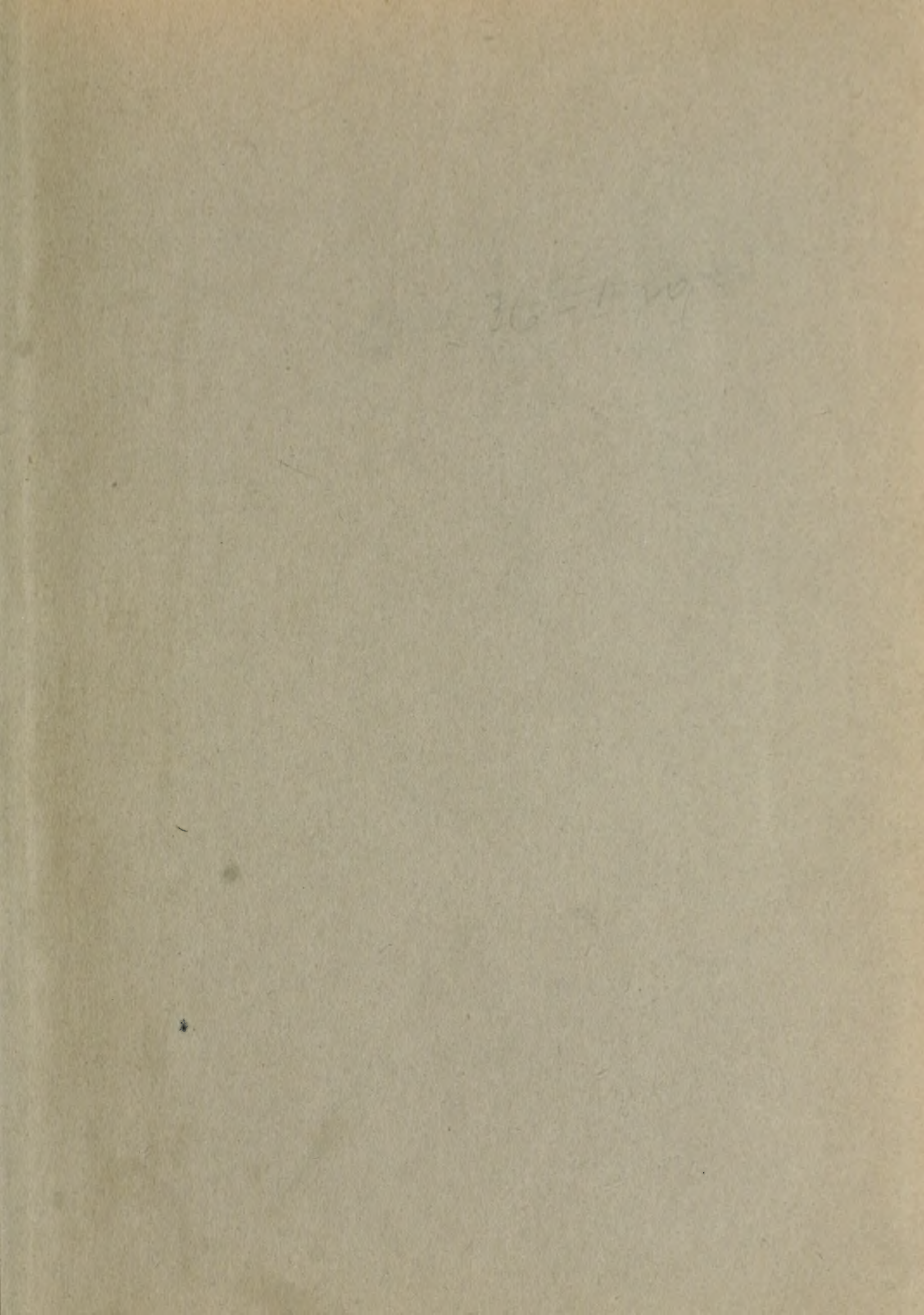

3 1761 04469 8298



Д. Н. Овсянико-Куликовскій.

Исторія русской интеллигенціи.

Итоги русской художественной литературы XIX вѣка.

Часть I.

Чацкій. — Онѣгинъ. — Печоринъ. — Рудинъ. — Лаврецкій. — Тентетниковъ. — Обломовъ.

Изданіе В. М. Саблина.

Типографія В. М. Саблина.
Петровка, д. Обидиной. Телефонъ 131-34.
Москва. — 1908.

Предисловіе къ первому изданію.

Предлагаемая книга не претендуетъ на титулъ исторіи русской художественной литературы. Задача автора состояла въ томъ, чтобы прослѣдить въ историческомъ порядкѣ (начиная съ 20-хъ годовъ) послѣдовательное развитіе и смѣну нашихъ общественно-психологическихъ типовъ, созданныхъ самой жизнью и нашедшихъ свое художественное воплощеніе въ извѣстныхъ образахъ — Чацкаго, Онѣгина, Печорина, Рудина и т. д. Это, стало быть, не исторія русской литературы, а исторія русской интеллигенціи, изучаемая по даннымъ или по „итогамъ“ художественной литературы, которые авторъ старался провѣрить и комментировать данными литературной критики, мемуаровъ, писемъ и другихъ документовъ соотвѣтственной эпохи.

Сообразно съ задачею труда, оставлены безъ разсмотрѣнія и даже безъ упоминанія многія первостепенныя произведенія нашей художественной литературы, каковы, напр.: „Полтава“, „Мѣдный всадникъ“, „Русалка“, „Капитанская дочка“, „Тарасъ Бульба“, „Старосвѣтскіе помѣщики“, „Шинель“ и т. д., и т. д., представляющія большой интересъ съ точки зрѣнія историко-литературной, но либо не относящіяся, по сюжету, къ изучаемой эпохѣ (XIX в.), либо не воспроизводящія типы мыслящей части общества. На по-

слѣднемъ основаніи не разобраны (и только упоминаются мимоходомъ) типы первой части „Мертвыхъ душъ“ (между тѣмъ, какъ второй части удѣлено соотвѣтственное мѣсто и разобрана фигура Тентетникова).

Авторъ не претендовалъ на полноту изложенія и оставилъ въ сторонѣ или упустилъ многое, что могло бы дать различнаго рода указанія и поясненія по вопросамъ, разсматриваемымъ въ этой книгѣ. Такъ, между прочимъ, обойденъ знаменитый романъ Герцена „Кто виноватъ?“ съ центральною фигурою Бельтова, откуда можно было бы извлечь не мало чертъ, характеризующихъ психологію передовыхъ дѣятелей времени. Это, несомнѣнно, — упущеніе, но оно отчасти извиняется тѣмъ, что фигура Бельтова не художественна, кромѣ того, этотъ пробѣлъ восполненъ характеристикою личности самого Герцена: вмѣсто не совсѣмъ удачнаго портрета взятъ его „оригиналъ“, въ высокой степени типичный для эпохи.

Я долженъ признать, что, выдѣляя и анализируя общественно-психологическіе типы, въ которыхъ, такъ сказать, чувствуется — учащенное или замедленное — біеніе пульса эпохи, я не позаботился о томъ, чтобы зарисовать и фонъ картины — тѣми красками, какія въ изобиліи найдутся, напримѣръ, у Писемскаго („Люди 40-хъ годовъ“, „Тюфякъ“, „Тысяча душъ“ и др.), у Тургенева (въ повѣстяхъ, какъ „Андрей Колосовъ“, „Затишье“, „Два пріятеля“, „Ася“, „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“, „Дневникъ лишняго человѣка“ и т. д.), у Достоевскаго и у Л. Н. Толстого (въ ихъ раннихъ произведеніяхъ). Но это значительно увеличило бы размѣръ изслѣдованія, — и я предпочелъ, ограничиваясь анализомъ типовъ, обставить этотъ анализъ такими комментаріями, которые, какъ мнѣ кажется, отчасти замѣняютъ недостающій фонъ картины.

Само собой разумѣется, задачи и планъ труда исключаютъ разсмотрѣніе лирической поэзіи. Можно было бы, однако, указать на тѣ мотивы ея, въ которыхъ выразилось настроеніе передовыхъ дѣятелей того или другого времени

(напримѣръ, „гражданскіе“ мотивы у Рылѣева и у Пушкина). Но, мнѣ казалось, это будетъ „балластъ“, такъ какъ настроеніе передовыхъ дѣятелей достаточно выясняется анализомъ типовъ. Единственное изъятіе я допустилъ для поэзіи Некрасова — въ виду ея важности для раскрытія идеологіи и даже самой психологіи передовыхъ круговъ общества въ эпоху 50-хъ — 60-хъ годовъ.

Д. Овсянико-Куликовскій.

Предисловіе ко второму изданію.

Авторъ признаетъ справедливость нѣкоторыхъ изъ тѣхъ упрековъ, которые были сдѣланы ему въ рецензіяхъ, посвященныхъ первому изданію этой книги (въ особенности въ рецензіи *А. Е. Левицкаго* въ „Вѣстн. Европы"), и постарается, по возможности, восполнить важнѣйшіе пробѣлы и упущенія. Это будетъ сдѣлано въ видѣ *„Приложенія"* ко *второй части* сочиненія, которая вскорѣ выйдетъ въ свѣтъ.

Справедливо также замѣчаніе, что заглавіе не вполнѣ отвѣчаетъ содержанію книги. „Исторія интеллигенціи" сведена въ ней лишь къ изученію психологіи типовъ мыслящей части общества въ ихъ послѣдовательной, исторической преемственности. Но я затруднялся подобрать другое, болѣе подходящее заглавіе... *)

Мартъ 1907.

Д. Овсянико-Куликовскій.

---

*) Таковымъ могло бы, пожалуй, служить, напр., слѣдующее: „Этюды изъ исторіи и психологіи типовъ мыслящей части русскаго общества по даннымъ художественной литературы".

ГЛАВА I.

„Горе отъ ума“. Чацкій.

1.

Приступая къ нашей задачѣ, мы прежде всего встрѣчаемся въ историческомъ порядкѣ съ однимъ изъ величайшихъ произведеній реальнаго художественнаго творчества,— съ безсмертной комедіею Грибоѣдова.

Нѣкоторое подчиненіе иностраннымъ образцамъ (именно — Мольеру), разъясненное проф. Алексѣемъ Ник. Веселовскимъ [1]), ничуть не помѣшало реализму знаменитой пьесы. Ее можно даже назвать ультра-реальной: такъ тѣсны, такъ неразрывны ея связи съ дѣйствительностью, ограниченною весьма узкими предѣлами мѣста и времени. Однако, это не помѣшало ей получить огромное значеніе, далеко выходящее за эти предѣлы. Въ ней воспроизведено московское общество въ періодъ отъ 1812 до половины двадцатыхъ годовъ, но она сразу пріобрѣла всероссійское значеніе, сохранившееся за нею въ теченіе XIX вѣка и не увянувшее до сихъ поръ.

Типы Грибоѣдова, непосредственно взятые изъ дѣйствительности, списанные съ натуры, оказались безсмертными.

---

1) „Этюды и характеристики“ (М. 1894), статья „Альцестъ и Чацкій“, и въ особенности стр. 156 — 157, 161 — 163.

Достаточно извѣстно, что и Фамусовъ, и Скалозубъ, и Загорѣцкій, и Репетиловъ, и нѣкоторыя второстепенныя лица были „портреты". Объ этомъ свидѣтельствуетъ самъ Грибоѣдовъ въ извѣстномъ письмѣ къ Катенину (январь 1825 г.), гдѣ, возражая на упрекъ послѣдняго („характеры портретны"), онъ говоритъ: „Да! и я коли не имѣю таланта Мольера, то по крайней мѣрѣ чистосердечнѣе его; портреты и только портреты входятъ въ составъ комедіи и трагедіи, въ нихъ однако есть черты, свойственныя многимъ другимъ лицамъ, а иныя всему роду человѣческому настолько, насколько каждый человѣкъ похожъ на всѣхъ своихъ двуногихъ собратій" („Полное собраніе сочиненій А. С. Грибоѣдова" (1889), подъ редакціею И. А. Шляпкина, т. I, стр. 187)[1].— Въ средѣ, къ которой принадлежали „оригиналы", это произвело впечатлѣніе „скандала", „пасквиля". Но въ какіе нибудь 3—4 года пьеса распространилась по всей Россіи въ тысячахъ списковъ,—и для многочисленныхъ читателей, не принадлежавшихъ къ данной московской средѣ, она была не пасквилемъ, а художественною сатирою, которая сразу же обнаружила свое тѣсное сродство съ обыденнымъ художественымъ мышленіемъ довольно широкихъ круговъ читающей публики. Именно всѣ отрицательные типы, всѣ эти Фамусовы, Молчалины, Скалозубы, Загорѣцкіе,—въ своей основѣ оказались такими, какими уже давно рисовались они въ мысли всѣхъ тѣхъ, кто, обладая извѣстнымъ умственнымъ развитіемъ, проявлялъ болѣе или менѣе сознательное отношеніе къ дѣйствительности. Образованное общество давно знало, напр., Фамусовыхъ съ ихъ покладистостью, ихъ умственной темнотой, ихъ нравственной слѣпотой, ихъ помпезностью и всегдашней готовностью, при всемъ ихъ москов-

[1]) О лицахъ, послужившихъ (достовѣрно или предположительно) Грибоѣдову „оригиналами", см. въ „Полн. собр. соч. А. С. Грибоѣдова", подъ ред. И. А. Шляпкина, т. II, стр. 523—526.

скомъ или вообще русскомъ благодушіи, впадать въ свирѣпое мракобѣсіе. — Достаточно хорошо извѣстны были въ разныхъ кругахъ и карьеристы Молчалины, и прожектеры Загорѣцкіе и т. д. Можно положительно утверждать, что въ этомъ смыслѣ Грибоѣдовъ не сказалъ обществу ничего совсѣмъ новаго. И тѣмъ не менѣе пьеса была принята, какъ нѣчто небывалое, какъ рѣдкостная новинка, не имѣвшая прецедентовъ. Такою, безъ всякаго сомнѣнія, и была она. — Это кажущееся противорѣчіе въ высокой степени характерно для произведеній реальнаго искусства. Взятыя изъ живой дѣйствительности, они говорятъ о томъ, что всѣ знаютъ; они являются только дальнѣйшимъ развитіемъ художественныхъ образовъ и художественно-моральныхъ сужденій, принадлежащихъ обществу, или, по крайней мѣрѣ, его мыслящей части. Оттуда то интимное пониманіе со стороны публики, которое — въ большинствѣ случаевъ — такъ легко достается на долю этого рода произведеній, если не всегда — въ ихъ цѣломъ и въ ихъ идеѣ, то, по крайней мѣрѣ, — типамъ, въ нихъ выведеннымъ. Пусть замыселъ Грибоѣдова и, въ частности, фигура (скажемъ лучше — идея) Чацкаго не были тогда (да и долго потомъ) поняты и оцѣнены по достоинству, но типы Фамусова, Молчалина, Скалозуба и т. д. были, безъ всякаго сомнѣнія, отлично поняты и вполнѣ правильно оцѣнены, потому что обобщенныя въ нихъ натуры и характеры были достаточно извѣстны, и критическое отношеніе къ нимъ было въ образованномъ обществѣ явленіемъ обычнымъ. Здѣсь мы ясно видимъ ту связь высшаго художественнаго мышленія съ обыденнымъ, которая образуетъ психологическую основу реальнаго искусства. Благодаря этой связи, обыватель получаетъ возможность интимно понять созданіе художника, — по крайней мѣрѣ, — тѣ образы, которые въ обыденномъ мышленіи уже получили нѣкоторую „разработку“ и стали „ходячими типами“. И вотъ, когда обыватель, встрѣ-

чая ихъ въ произведеніи художника, легко узнаетъ въ нихъ, такъ сказать, свое собственное добро, тогда и происходитъ въ его сознаніи тотъ любопытный и важный процессъ обоюдной апперцепціи, въ силу котораго въ одно и то же время „собственное достояніе“ читателя уясняется ему образами, созданными художникомъ, и эти образы постигаются силою „собственнаго достоянія“. И тогда то, что было смутно, неопредѣленно, неярко, становится яснымъ, опредѣленнымъ, яркимъ. „Собственное достояніе“ получаетъ характеръ вопроса, на который далъ отвѣтъ художникъ. Пусть въ созданіи послѣдняго не будетъ ничего „совсѣмъ новаго“, но оно воспринимается какъ новое, потому что отвѣтило на вопросъ, пролило яркій свѣтъ на знакомыя явленія, затронуло нравственное чувство читателя, заставило его задуматься надъ тѣмъ, что онъ хорошо зналъ — да не задумывался. Такъ, напр., читатели отлично знали Фамусовыхъ и Молчалиныхъ, но Грибоѣдовъ пролилъ неожиданный свѣтъ на эти фигуры и заставлялъ читателей знать ихъ по новому, — смотрѣть на нихъ и судить о нихъ не по обывательски, а съ точки зрѣнія той высшей человѣческой морали, которая присуща искусству. Не всѣ читатели одинаково были способны возвыситься до этой высшей морали, и — какъ это всегда бываетъ — комедія Грибоѣдова въ разныхъ умахъ и натурахъ отражалась различно, возгораясь всѣмъ своимъ свѣтомъ въ однихъ, тускнѣя въ другихъ, опошливаясь въ третьихъ. Этотъ обычный процессъ взаимодѣйствія между высшими продуктами творчества поэтовъ и обыденно-художественнымъ мышленіемъ публики улавливается и прослѣживается на судьбахъ комедіи Грибоѣдова съ особливой наглядностью.

Въ своей замѣчательной статьѣ о „Горѣ отъ ума“ („Милліонъ терзаній“) Гончаровъ говоритъ: „Изустная оцѣнка опередила печатную, какъ сама пьеса задолго опередила печать. Но громадная масса оцѣнила ее фактически... Она

разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустишья, развела всю соль и мудрость пьесы въ разговорной рѣчи, точно обратила милліонъ въ гривенники, и до того испестрила грибоѣдовскими поговорками разговоръ, что буквально истаскала комедію до пресыщенія". — Случилось то, что предсказалъ Пушкинъ, говоря о языкѣ и стихѣ Грибоѣдова, когда впервые познакомился съ пьесой по рукописи: „О стихахъ я не говорю, — половина должна войти въ пословицу". (Письмо къ Бестужеву, 1825 г.). — Этотъ отзывъ Пушкина, какъ и приведенныя слова Гончарова, живо изображаютъ намъ тотъ процессъ взаимодѣйствія высшаго художественнаго мышленія съ обыденнымъ, о которомъ мы ведемъ рѣчь. Прежде всего въ самомъ языкѣ Грибоѣдова общество нашло свое собственное достояніе: всѣ эти мѣткія словечки, поговорки, обороты уже давно существовали въ рѣчи и были ходячей монетой языка. Теперь, использованные поэтомъ для обрисовки типовъ, они возвращались обратно въ обыденную рѣчь, въ стихію языка, еще болѣе отчеканенные, пріуроченные къ опредѣленнымъ художественнымъ образамъ, впитавъ въ себя изъ этихъ образовъ новое содержаніе или новые оттѣнки значенія. Старое становилось новымъ, обычное, ходячее и притомъ нерѣдко нечуждое нѣкоторой, свойственной всему ходячему, пошловатости являлось необычнымъ, значительнымъ, своеобразнымъ. Подержанному, притупившемуся оружію былъ данъ новый закалъ, — и теперь его удары были необычайно мѣтки и сильны. Волей-неволей читатели, даже наиболѣе благодушные, становились, „разнося рукопись на клочья, на стихи и полустишья" (какъ говоритъ Гончаровъ), единомышленниками и соратниками желчнаго сатирика. Обыденное художественное мышленіе читателей благодаря Грибоѣдову принимало характеръ своеобразнаго протеста и явно-критическаго отношенія къ дѣйствительности.

2.

Прежде всего намъ необходимо уяснить себѣ съ возможною отчетливостью характеръ этого протеста, этого критическаго отношенія къ дѣйствительности. Не будемъ смущаться тѣмъ, что тутъ (по выраженію Гончарова) „милліонъ размѣнялся на гривенники", — и посмотримъ, на что, собственно, были направлены сатирическія стрѣлы Грибоѣдова.

Онѣ были направлены на наше самое больное мѣсто: на тѣхъ, которые являлись — и тогда, и потомъ — основою самой гибельной изъ всѣхъ реакцій — реакціи общественной. Для общественнаго блага и прогресса нѣтъ ничего пагубнѣе той умственной тьмы и свѣтобоязни, той нравственной слѣпоты и того душевнаго уродства, которыя воплощены въ образахъ Фамусова, Молчалина, Скалозуба и всѣхъ этихъ

> Старухъ зловѣщихъ, стариковъ,
> Дряхлѣющихъ надъ выдумками, вздоромъ...

Эти образы вышли столь выразительными, а филиппики Чацкаго были такъ мѣтки и страстны, что пьеса получила огромное общественное значеніе. И это была не просто художественная сатира. Это былъ такой политическій памфлетъ, котораго дѣйствіе на умы въ первой половинѣ 20-хъ годовъ должно было быть особливо значительнымъ. То была эпоха, когда въ общественной атмосферѣ вѣяло весной, несмотря на затянувшуюся общую реакцію во внутренней политикѣ. Людей просвѣщенныхъ, жаждавшихъ, по выраженію Чацкаго, „свободной жизни", было тогда не мало, и уже слагался типъ передового дѣятеля, представителя новыхъ идей. Онъ и былъ воплощенъ Грибоѣдовымъ въ фигурѣ

Чацкаго. Черты этого типа мы найдемъ и у самого Грибоѣдова, и у Пушкина, и у Чаадаева, и у Николая Тургенева и т. д. — Широкое обобщающее значеніе этого образа, въ свое время недостаточно оцѣненное (напр., Пушкинымъ и потомъ Бѣлинскимъ), впервые было раскрыто Гончаровымъ въ вышеупомянутой статьѣ „Милліонъ терзаній".

Но прежде чѣмъ говорить о Чацкомъ, въ рѣчахъ котораго протестъ и критическое отношеніе къ дѣйствительности выразились такъ ярко, намъ нужно уяснить себѣ значеніе отрицательныхъ типовъ, выведенныхъ въ комедіи Грибоѣдова.

Несмотря на строгое пріуроченіе ихъ къ мѣсту и времени, они (по крайней мѣрѣ, важнѣйшіе изъ нихъ) продолжаютъ сохранять доселѣ свое живое значеніе. Пьеса до сихъ поръ остается яркою сатирою и злымъ памфлетомъ. Вся разница (сравнительно съ ея прошлымъ, съ тѣмъ, чѣмъ была она въ 20-хъ гг.) въ томъ, что теперь она стала произведеніемъ историческимъ, т.-е. такимъ, которое воспроизводитъ эпоху, уже отошедшую въ историческое прошлое. Мы называемъ ее комедіею историческою въ томъ смыслѣ, какъ называемъ, напр., „Войну и миръ" историческимъ романомъ. — При столь извѣстной измѣняемости нашихъ общественныхъ типовъ, при той быстротѣ (почти по десятилѣтіямъ), съ которою они видоизмѣнялись вмѣстѣ со смѣною общественныхъ настроеній, умственныхъ интересовъ, литературныхъ и иныхъ вліяній, комедія Грибоѣдова становилась историческою (въ указанномъ смыслѣ) уже въ 40-хъ и даже въ 30-хъ годахъ, когда Фамусовы, Молчалины и другіе явились въ иномъ обличьѣ, а Чацкіе стали говорить иначе — не по-грибоѣдовски и больше шопотомъ, да при закрытыхъ дверяхъ. Театральная публика 40-хъ годовъ уже воспринимала пьесу, какъ картину прошлаго, хотя и недавняго. — Вообще, въ нашемъ умственномъ и общественномъ развитіи нѣтъ послѣдовательной преемственности

идей, настроеній, стремленій, идеаловъ. Извѣстныя теченія вдругъ останавливаются или изсякаютъ, чтобы уступить мѣсто другимъ; послѣдующее иногда упорно отказывается признать свое духовное родство съ прежнимъ, пресѣченнымъ или изсякшимъ... А Фамусовы и Молчалины, обладая удивительною приспособляемостью и живучестью, переряжаются въ другіе костюмы и часто не сразу узнаются въ новомъ нарядѣ. Но традиція основныхъ чертъ этихъ отрицательныхъ типовъ сохраняется при всѣхъ возможныхъ перемѣнахъ условій жизни. Мы знаемъ Фамусовыхъ, Молчалиныхъ, Скалозубовъ, Загорѣцкихъ дореформенныхъ и пореформенныхъ, и посейчасъ они существуютъ, — и попрежнему —

„Къ свободной жизни ихъ вражда непримирима!“

Эту живучесть отрицательныхъ типовъ Грибоѣдова отмѣтилъ въ началѣ 70-хъ годовъ авторъ статьи „Милліонъ терзаній“. Онъ говоритъ: „Колоритъ не сгладился совсѣмъ; вѣкъ не отдѣлился отъ нашего, какъ отрѣзанный ломоть; мы кое-что оттуда унаслѣдовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорѣцкіе и проч. и видоизмѣнились такъ, что не влѣзутъ уже въ кожу грибоѣдовскихъ типовъ“...

Вотъ именно въ силу такой живучести темныхъ силъ, образующихъ оплотъ общественной реакціи, комедія Грибоѣдова, хотя и стала исторической, продолжаетъ сохранять живое значеніе, — какъ разъ такъ, какъ сохраняетъ его и долго еще будетъ сохранять сатира Салтыкова.

Въ нашей художественной литературѣ настоящимъ преемникомъ Грибоѣдова, достойнымъ продолжателемъ его дѣла былъ только Салтыковъ. Это дѣло — борьба средствами искусства съ темными силами, съ общественно-реакціонными элементами. Специфическій характеръ и отличительные признаки художественныхъ произведеній, являющихся выраженіемъ этой борьбы (въ данномъ случаѣ „Горе отъ ума“ и

сатира Салтыкова), мнѣ кажется, недостаточно выяснены и нуждаются въ болѣе точномъ опредѣленіи.

Подобно всякой сатирѣ, эти произведенія принадлежатъ къ творчеству экспериментальному. Но они рѣзко отличаются отъ другихъ видовъ сатиры, прежде всего тѣмъ, что въ нихъ отрицательныя стороны жизни, натуръ, характеровъ подвергаются художественному осужденію съ точки зрѣнія общественнаго блага и прогресса. Напр., пошлость, глупость, нечестность, пролазничество и т. д. изображаются въ нихъ не столько какъ вообще пороки, сколько какъ черты, которыми характеризуются реакціонные элементы, какъ нѣчто общественно и политически вредное или даже пагубное.

Таковъ именно и былъ преобладающій характеръ художественнаго эксперимента, произведеннаго Грибоѣдовымъ въ его безсмертной комедіи.

Въ ней данъ односторонній подборъ чертъ, въ силу чего получилась не полная, не разносторонняя картина жизни, а рѣзкая критика извѣстныхъ сторонъ ея [1]). Возьмемъ, для сравненія, описаніе московской жизни приблизительно той же эпохи у Толстого въ „Войнѣ и мирѣ", — и мы сейчасъ же почувствуемъ и поймемъ всю разницу между изображеніемъ, основаннымъ на художественномъ наблюденіи, и тѣмъ, которое было результатомъ художественнаго опыта. Рѣзкія отличительныя черты Фамусовыхъ, Молчалиныхъ, Загорѣцкихъ, пустота и пошлость жизни, дикость понятій, все это въ широкой эпической картинѣ Толстого смягчено, затушевано или отодвинуто на задній планъ, — можетъ быть, даже больше, чѣмъ оно обычно смягчалось, затушевывалось, скрадывалось въ самой дѣйствительности. Въ жизни ея пошлая сторона далеко не всегда проявляется съ достаточною яркостью, и не всякій день Фамусовы выступаютъ съ откры-

---

[1]) „Рѣзкая картина нравовъ", по выраженію Пушкина.

тымъ выраженіемъ своихъ дикихъ понятій, съ откровеннымъ мракобѣсіемъ. Они дѣлаютъ это — при случаѣ, когда, напр., сталкиваются съ Чацкимъ, или когда это представляется выгоднымъ. Внѣ такихъ оказій это — благодушные, наивные люди, не лишенные нѣкоторыхъ хорошихъ человѣческихъ чертъ. Нерѣдко они бываютъ лучше своихъ понятій, принадлежащихъ скорѣе вѣку и средѣ, чѣмъ каждому изъ нихъ въ отдѣльности. У Грибоѣдова мы найдемъ только намеки на то хорошее или безразличное, что наблюдалось у Фамусовыхъ и другихъ. Впередъ выдвинуты и сгущены ихъ темныя стороны. И это сдѣлано такъ, что, слушая, напр., рѣчи Фамусова и филиппики Чацкаго, мы проникаемся настроеніемъ послѣдняго и начинаемъ смотрѣть на Фамусовыхъ, по-своему да по-московски благодушныхъ, — какъ на темную и зловредную силу, имѣющую очевидное реакціонное значеніе.

Хотя всѣмъ намъ извѣстны съ дѣтства безсмертные стихи Грибоѣдова, или, лучше, — именно потому, что затверженные съ дѣтства, они у насъ обезцвѣтились („милліонъ размѣнялся на гривенники"), — не мѣшаетъ освѣжить въ памяти нѣкоторыя мѣста, чтобы яснѣе увидѣть, какой замыселъ лежалъ въ основѣ художественныхъ экспериментовъ Грибоѣдова.

Вспомнимъ, напр., великолѣпный монологъ Фамусова во 2-мъ актѣ, начинающійся словами: „вотъ то-то, всѣ вы гордецы! — Спросили бы, какъ дѣлали отцы, — учились бы, на старшихъ глядя...", — гдѣ, наивно восхваляя старину и низкопоклонство карьеристовъ былого времени, Фамусовъ нарисовалъ живую картину порядковъ и нравовъ XVIII вѣка съ его „случайными людьми", фаворитами и т. д. Вспомнимъ и злую отповѣдь Чацкаго:

И точно, началъ свѣтъ глупѣть,
Сказать вы можете, вздохнувши.

Какъ посравнить, да посмотрѣть
Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій.—
Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ... и т. д.

Дѣло идетъ не о частныхъ или узко-общественныхъ недостаткахъ и порокахъ,—дѣло идетъ о понятіяхъ господствующаго класса, объ отношеніяхъ его къ власти, о степени его гражданскаго развитія. Передъ нами черты не порчи нравовъ, а самаго строя государственной жизни. И Фамусовъ, съ своей точки зрѣнія, совершенно правъ, когда въ отвѣтъ на филиппику Чацкаго онъ восклицаетъ:

Ахъ, Боже мой! Онъ карбонарій!

Но послушаемъ дальше.

Чацкій. Нѣтъ, нынче свѣтъ ужъ не таковъ!
Фамусовъ. Опасный человѣкъ!
Чацкій. Вольнѣе всякій дышетъ
И не торопится вписаться въ полкъ шутовъ.

Отъ этихъ рѣчей Фамусовъ приходитъ въ ужасъ. Выходки Чацкаго противъ низкопоклонства кажутся ему „потрясеніемъ основъ". И въ самомъ дѣлѣ, Чацкій „потрясалъ основы" — старыхъ порядковъ, обветшалыхъ понятій. Когда онъ заговорилъ было о новыхъ людяхъ, которые путешествуютъ (поѣздки за границу въ 10-хъ и 20-хъ годахъ были однимъ изъ важнѣйшихъ проводниковъ передовыхъ идей) или удиняются въ деревню (это была особая форма оппозиціи, причемъ въ деревню влекло передовыхъ дѣятелей желаніе улучшить положеніе крестьянъ), Фамусовъ, перебивая его, кричитъ: „Да онъ властей не признаетъ!" — Едва Чацкій заикнулся о тѣхъ,

Кто служитъ дѣлу, а не лицамъ,—

Фамусовъ уже перебиваетъ его безсмертными словами, получившими особливое примѣненіе:

Строжайше бъ запретилъ я этимъ господамъ
На выстрѣлъ подъѣзжать къ столицамъ!

Порицатель старыхъ, уже отживавшихъ понятій и порядковъ, Чацкій вовсе не панегиристъ своего времени. Онъ говоритъ:

Вашъ вѣкъ бранилъ я безпощадно;
Предоставляю вамъ во власть:
Откиньте часть:
Хоть нашимъ временамъ въ придачу.—
Ужъ такъ и быть, я не заплачу.

Вспомнимъ далѣе знаменитый монологъ Чацкаго, начинающійся словами:

А судьи кто? За древностію лѣтъ
Къ свободной жизни ихъ вражда непримирима...

Слѣдующее мѣсто характерно для той эпохи:

Теперь пускай изъ насъ одинъ,
Изъ молодыхъ людей, найдется врагъ исканій,
Не требуя ни мѣстъ, ни повышенья въ чинъ,
Въ науки онъ вперитъ умъ, алчущій познаній.
Или въ душѣ его самъ Богъ возбудитъ жаръ
Къ искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраснымъ,—
Они сейчасъ: „разбой! пожаръ!"
И прослыветъ у нихъ мечтателемъ опаснымъ.
Мундиръ! Одинъ мундиръ... Онъ въ прежнемъ ихъ быту
Когда-то укрывалъ — расшитый и красивый —
Ихъ слабодушіе, разсудка нищету...

Это, разумѣется, давно уже отжило. Уже въ 40-хъ годахъ общественно-реакціонныя силы, по крайней мѣрѣ, въ столицахъ, не проявляли такого мракобѣсія, и человѣкъ, посвящавшій себя наукѣ или искусству, уже не возбуждалъ подозрѣній, не казался ео ipso „мечтателемъ опаснымъ". Наука и искусство — растенія экзотическія на русской почвѣ понемногу принимались на ней и пускали корни сперва

благодаря собственно тому, что высшая власть брала ихъ подъ свое покровительство.—Достаточно извѣстно, какъ туго прививалось у насъ высшее образованіе, съ какимъ равнодушіемъ, съ какимъ тупымъ отвращеніемъ относилось общество къ университетамъ, предпочитая имъ иностранцевъ-гувернеровъ. 30-е годы могутъ считаться пограничнымъ періодомъ, когда этотъ родъ мракобѣсія уже отходилъ въ прошлое, когда университеты, наука, искусство, литература начали акклиматизироваться въ Россіи и становились національнымъ достояніемъ. И Фамусовы 40-хъ и послѣдующихъ годовъ не рѣшилась уже, развѣ лишь за рѣдкими исключеніями, открыто заявлять:

...ужъ коли зло пресѣчь,—
Забрать всѣ книги бы, да сжечь.

Если и заводили они рѣчь о такомъ спасительномъ аутодафэ, то, конечно, не имѣли въ виду всѣхъ книгъ, а только нѣкоторыя... Для этихъ болѣе просвѣщенныхъ временъ характернѣе точка зрѣнія Загорѣцкаго, который „съ кротостью“ (ремарка Грибоѣдова) отвѣчаетъ Фамусову:

Нѣтъ-съ, книги книгамъ рознь.
А если бъ, между нами,
Былъ цензоромъ назначенъ я,
На басни бы налегъ. Охъ, басни—смерть моя!
Насмѣшки вѣчныя надъ львами, надъ орлами!
Кто что ни говори,
Хоть и животныя, а все-таки цари.

Вообще, можно сказать, что Фамусовы въ той ихъ разновидности, какая выведена въ „Горе отъ ума“, довольно скоро отживали свой вѣкъ и перерождались въ другія разновидности, болѣе подходящія къ духу времени, къ требованіямъ распространявшагося просвѣщенія, къ новымъ понятіямъ, наконецъ, къ видамъ правительства. Типъ смягчался и терялъ черты рѣзко выраженнаго наивнаго мракобѣсія...

Напротивъ, Загорѣцкіе и Молчалины плодились, множились и „прогрессировали“, приспособляясь къ новымъ условіямъ, изощряя свои хищническія наклонности и пролазничество. Столь же безстыжіе, какъ и ихъ грибоѣдовскіе прототипы, они научились маскировать свое безстыдство, и уже не откровенничаютъ такъ наивно, какъ это дѣлалъ Молчалинъ. Эти скверныя натуры въ тѣ „добрыя старыя времена“ не имѣли большого хода, ограничиваясь карьерою прихлебателей въ кругу баръ. Въ большое плаваніе Загорѣцкіе и Молчалины пустились гораздо позже, — въ пореформенное время, въ эпоху горячки банковъ и концессій, служебнаго и всяческаго карьеризма. Процвѣтаютъ они и въ наши дни... Въ свой чередъ другой великій сатирикъ обратилъ на нихъ вниманіе,—и они ожили въ новыхъ формахъ въ грозной сатирѣ Салтыкова.

Загорѣцкій и Молчалинъ — типы-эмбріоны, фигуры пророческія...

Пророческимъ приходится признать и Скалозуба съ его безподобными изреченіями въ родѣ:

Я васъ обрадую: всеобщая молва,
Что есть проектъ насчетъ лицеевъ, школъ, гимназій:
Тамъ будутъ лишь учить по-нашему: разъ, два!
А книги сохранятъ такъ, для большихъ оказій.

Или:

Я князь-Григорію и вамъ
Фельдфебеля въ Вольтеры дамъ:
Онъ въ три шеренги васъ построитъ,
А пикните, такъ мигомъ успокоитъ.

Широкій размахъ сатирической кисти Грибоѣдова коснулся и представителей передового движенія того времени. Глупо-восторженный „либералъ“, слабоумный крикунъ и

враль Репетиловъ воспроизводитъ, въ каррикатурномъ видѣ, извѣстный сортъ приспѣшниковъ тогдашняго броженія [1].

Фигура Репетилова наводитъ на размышленія неутѣшительнаго свойства.

Выше я упомянулъ о шаткости, о неустойчивости, о прерывистомъ ходѣ нашихъ передовыхъ движеній. Разумѣется, въ значительной степени это зависѣло отъ причинъ внѣшнихъ, отъ искусственныхъ преградъ, тормозившихъ освободительныя стремленія лучшихъ людей нашего общества. Но нельзя свалить все на внѣшнія препятствія, на неблагопріятныя условія. Многое объясняется лучше нашею неподготовленностью къ воспріятію и самостоятельной переработкѣ сложныхъ европейскихъ идей, вырабатывавшихся тамъ вѣками въ суровой школѣ жизненной борьбы и умственнаго труда на разныхъ поприщахъ мысли. Всматриваясь въ умственный и вообще душевный обиходъ различныхъ представителей передовыхъ движеній у насъ, начиная съ 20-хъ годовъ, нетрудно отмѣтить признаки незрѣлости и шаткости мысли, а нерѣдко и общую психическую неустойчивость. Выработка широкихъ, прогрессивныхъ и жизнеспособныхъ общественно-политическихъ идей есть прямая и насущная задача просвѣщенныхъ, передовыхъ людей времени,— это — историческая необходимость, болѣе или менѣе умѣлыми органами которой и являются эти люди. И вотъ, когда мы видимъ, что они тратятъ добрую долю силъ и времени, напр., на ненужныя метафизическія словопренія о тонко-

[1] Самъ Грибоѣдовъ отрицалъ каррикатурность своихъ героевъ. Въ письмѣ къ Катенину онъ говоритъ: „Каррикатуръ ненавижу: въ моей картинѣ ни одной не найдешь...“ (Полн. собр. соч. А. С. Г., подъ ред. И. А. Шляпкина, т. I, стр. 197).—Однако, нѣкоторыхъ чертъ каррикатурности нельзя отрицать въ фигурахъ „Горе отъ ума“, какъ нельзя отрицать ихъ въ „Ревизорѣ“. Каррикатурность Репетилова бьетъ въ глаза.—Говорю это — не въ осужденіе: каррикатура — законный пріемъ экспериментальнаго искусства, — не хуже другихъ его пріемовъ.

стяхъ гегеліанской философіи, тогда у насъ возникаетъ законное сомнѣніе въ подготовленности ихъ служить органомъ вышеуказанной исторической необходимости. Такое же сомнѣніе шевелится у насъ, когда мы вспоминаемъ о разныхъ уклоненіяхъ въ сторону и шатаніяхъ мысли у нѣкоторыхъ передовыхъ людей 60-хъ годовъ, а равно и послѣдующаго времени. Но едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что — въ этомъ отношеніи — долженъ былъ осуществляться нѣкоторый прогрессъ, ибо жизнь учитъ, ошибки и бѣды воспитываютъ, выстраданный опытъ умудряетъ. И я думаю, что общественно-политическая мысль, наприм., людей 60-хъ и 70-хъ годовъ, была, въ общемъ, и выше, и раціональнѣе, и шире таковой же мысли людей 40-хъ годовъ. Это, пожалуй, покажется „ересью“ тому, кто привыкъ считать „людей 40-хъ годовъ“ даровитѣе, образованнѣе и, вообще, выше ихъ преемниковъ, а на дѣятелей 20-хъ годовъ смотрѣть сквозь призму героической легенды и съ „птичьяго полета“—на разстояніи, стушевывающемъ рѣзкости, шероховатости и другіе изъяны. Я не имѣю возможности вдаваться здѣсь въ фактическое разсмотрѣніе этого вопроса, въ которомъ вижу любопытную задачу, еще ожидающую изслѣдователя. И мнѣ кажется, ея разработка обнаружила бы, что въ 40-хъ годахъ говорилось и дѣлалось разныхъ ненужностей, и было разброда мысли значительно больше, чѣмъ въ 60-хъ, а въ 20-хъ — больше, чѣмъ въ 40-хъ. Грибоѣдовскій Репетиловъ, именно своею каррикатурностью, служитъ живымъ свидѣтельствомъ того, какъ много было нелѣпой накипи въ замѣчательномъ движеніи передовыхъ людей эпохи 1815 — 1825 годовъ. Такая каррикатура уже не годится для 40-хъ годовъ, а тѣмъ болѣе для движеній эпохи пореформенной. Пригодная лишь для своего времени, фигура Репетилова довершаетъ общій смыслъ сатиры Грибоѣдова, а въ частности своеобразно оттѣняетъ своимъ отрицательнымъ характеромъ личность Чацкаго, представителя положитель-

ныхъ сторонъ движенія 20-хъ годовъ. — Къ анализу этой центральной фигуры и обратимся теперь.

3.

Пушкинъ отказалъ ему въ умѣ. Онъ писалъ (Бестужеву въ 1825 г.): „...въ комедіи „Горе отъ ума“ кто умное дѣйствующее лицо? Отвѣтъ: Грибоѣдовъ. А знаешь ли, что такое Чацкій? Пылкій, благородный и добрый малый, проведшій нѣсколько времени съ очень умнымъ человѣкомъ (именно съ Грибоѣдовымъ) и напитавшійся его мыслями, остротами и сатирическими замѣчаніями. Все, что говоритъ онъ, очень умно. Но кому говоритъ онъ все это? Фамусову? Скалозубу? На балѣ московскимъ бабушкамъ? Молчалину? Это непростительно; первый признакъ умнаго человѣка — съ перваго взгляда знать, съ кѣмъ имѣешь дѣло, и не метать бисера передъ Репетиловыми и т. п...“ Гончаровъ внесъ существенную поправку въ это сужденіе, показавъ, что эта „глупость“, какъ и „горе“ Чацкаго были невольнымъ, фатальнымъ слѣдствіемъ его ума. — Заявленіе протеста передъ Фамусовыми, просвѣщенная рѣчь, обращенная къ Скалозубу, проповѣдь или филиппика на балу, среди Загорѣцкихъ, Горичевыхъ, княгинь Тугоуховскихъ, княженъ и т. д. — все это несомнѣнная „глупость“, — но такого рода „глупостями“ кишитъ исторія. Появленіе ума, просвѣтительныхъ стремленій, общественнаго и политическаго смысла среди пошлаго, невѣжественнаго общества, лицомъ къ лицу съ дикими понятіями, умственной и нравственной слѣпотой — фатально ставитъ этотъ умъ, эти стремленія, этотъ смыслъ въ глупое и болѣе чѣмъ неловкое положеніе, результатомъ котораго и является „милліонъ терзаній“.

Отъ такого тягостнаго и неумнаго положенія и отъ обусловленнаго имъ „милліона терзаній“ люди, обладающіе большимъ, чѣмъ у Чацкаго, чувствомъ самосохраненія, за-

благовременно спасаются бѣгствомъ изъ общества, эмиграціею, одиночествомъ кабинетнаго мыслителя, удаленіемъ въ тѣсный дружескій кругъ единомышленниковъ. Такъ спасались Бѣлинскіе и Герцены въ своемъ кругу, лучшіе изъ славянофиловъ — въ своемъ. Молодой ученый, эллинистъ Печоринъ, бѣжалъ отъ Фамусовыхъ и Скалозубовъ за границу, откуда прислалъ министру нар. просв. извѣстное письмо, во многомъ подходящее къ рѣчамъ Чацкаго. — Да и самъ Чацкій въ концѣ концовъ бѣжитъ „искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ", когда упала съ глазъ пелена, и онъ увидѣлъ себя обманутымъ въ своихъ лучшихъ чувствахъ и понялъ всю несообразность, всю невозможность своего пребыванія въ пошлой средѣ, всю неумѣстность своихъ рѣчей, напомнившихъ Пушкину изреченіе о расточеніи бисера.

Становясь на точку зрѣнія Пушкина, мы скажемъ, что Чацкій подлежитъ упреку лишь въ томъ, что не догадался тотчасъ же, что въ этомъ обществѣ ему не подобаетъ не только ораторствовать, но и присутствовать. — Однако, этотъ упрекъ отчасти обезоруживается нѣкоторыми „смягчающими обстоятельствами". Во-первыхъ, Чацкій влюбленъ, а любовь ослѣпляетъ. Любовь къ Софьѣ и удерживаетъ его въ московскомъ обществѣ до поры до времени, пока онъ не убѣдился, что на взаимность никакихъ надеждъ у него нѣтъ. Во-вторыхъ, онъ произноситъ свои горячія рѣчи и сыплетъ сарказмами — больше для себя, чтобы облегчить душу. Онъ, разумѣется, ни на минуту не обольщается надеждой убѣдить Фамусова или Скалозуба и вообще „вліять" на общество, — онъ просто не можетъ удержаться отъ злыхъ выходокъ, отъ выраженія своего презрѣнія и негодованія. Онъ мыслитъ вслухъ, не справляясь съ тѣмъ, кто его слушаетъ, и какъ отнесутся присутствующіе къ его рѣчамъ. Въ правѣ — излить на всѣхъ „всю желчь и всю досаду", въ правѣ — громко негодовать и открыто бросить въ лицо обще-

ству обвиненіе въ томъ, что оно дрянное и пошлое общество, — мы не можемъ отказать Чацкому.

Слѣдуя Гончарову, мы ставимъ его, какъ личность и какъ дѣятеля, выше Онѣгиныхъ и Печориныхъ. „Чацкій, какъ личность,—говоритъ Гончаровъ,—несравненно выше и умнѣе Онѣгина и Печорина. Онъ искренній и горячій дѣятель, а тѣ — паразиты, изумительно начертанные великими талантами, какъ болѣзненныя порожденія отжившаго вѣка. Ими заканчивается ихъ время, а Чацкій начинаетъ новый вѣкъ — и въ этомъ все его значеніе и весь умъ".

Отсылая читателя къ мастерскому анализу характера и трагической роли Чацкаго, сдѣланному знаменитымъ авторомъ „Обломова", мы скажемъ только, что дѣйствительно грибоѣдовскій герой, все горе котораго происходило отъ ума, живо напоминаетъ лучшихъ дѣятелей той эпохи. Это — истинно просвѣщенный, серьезно образованный человѣкъ, одушевленный лучшими стремленіями, жаждущій живой дѣятельности — „служенія дѣлу, а не лицамъ". Его „программа" достаточно ясна. Чацкій — поборникъ просвѣщенія, и правовыхъ нормъ, врагъ произвола и злоупотребленій, другъ народа, даже „народникъ". Безъ всякаго сомнѣнія въ его „программу" прежде всего входила отмѣна крѣпостного права, осужденіе котораго ясно звучитъ въ монологѣ: „А судьи кто?...[1]) Напомнимъ, для лучшаго оттѣненія идейной стороны рѣчей Чацкаго, что всѣ его обличенія опирались на „фактическихъ данныхъ". Онъ очень прозрачно

[1]) Тотъ Несторъ негодяевъ знатныхъ,
Толпою окруженный слугъ?
Усердствуя, они, въ часы вина и драки,
И жизнь, и честь его не разъ спасали; вдругъ
На нихъ онъ вымѣнялъ борзыя три собаки!
Или вонъ тотъ еще, который для затѣй,
На крѣпостной балетъ согналъ на многихъ фурахъ
Отъ матерей, отцовъ отторженныхъ дѣтей?..

намекаетъ на лицъ, всѣмъ извѣстныхъ тогда, по крайней мѣрѣ въ столичномъ обществѣ, и на ихъ дѣянія, уже ставшія достояніемъ болѣе или менѣе скандальной хроники. Въ его горячихъ, желчныхъ рѣчахъ слышенъ голосъ не моралиста, а трибуна, который хорошо знаетъ, противъ чего онъ идетъ, во имя чего горячится, кого обличаетъ.

Остается еще одинъ пунктъ, который позже, когда обострился знаменитый споръ между западниками и славянофилами, подалъ поводъ видѣть въ Чацкомъ предтечу славянофильства. Это его извѣстная выходка противъ европейскаго костюма (фрака), панегирикъ старинной русской одеждѣ и рискованная, съ языка сорвавшаяся, фраза о „премудромъ незнаніи иноземцевъ", которое намъ не мѣшало бы позаимствовать у китайцевъ. Гончаровъ видитъ въ этомъ просто результатъ нѣкотораго затменія мысли, вызваннаго всѣмъ ходомъ коллизіи; возбужденный, ожесточенный, выбитый изъ колеи, Чацкій „заговаривается", впадаетъ въ крайности.—Отчасти это вѣрно, но нужно говорить, что націоналистическія тенденціи, напоминающія позднѣйшее славянофильство, вообще замѣчаются у передовыхъ людей той эпохи, а лично у самого Грибоѣдова были выражены, можетъ быть, ярче, чѣмъ у другихъ.

Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что въ рѣчахъ Чацкаго Грибоѣдовъ далъ выраженіе своимъ собственнымъ взглядамъ, симпатіямъ и антипатіямъ, наконецъ, настроенію [1]). Въ извѣстныхъ строкахъ Пушкина, посвященныхъ Грибоѣдову, говорится, между прочимъ, о его „меланхолическомъ характерѣ" и „озлобленномъ умѣ", что напоминаетъ Чацкаго. Рѣзкая оппозиція пошлости, рутинѣ, обску-

[1]) О Чацкомъ, какъ портретѣ самого Грибоѣдова, подробно говоритъ А. И. Кадлубовскій въ своей прекрасной рѣчи «Нѣсколько словъ о значеніи А. С. Грибоѣдова въ развитіи русской поэзіи» (Кіевъ, 1896 г. См. стр. 13 и сл.). См. также—Алексѣй Веселовскій. «Этюды и характеристики», статья «Грибоѣдовъ», стр. 514 и сл.

рантизму, обществу, столь характерная въ Чацкомъ, была, повидимому, отличительной чертой Грибоѣдова, онъ гораздо меньше Пушкина и даже Лермонтова умѣлъ уживаться въ этомъ обществѣ, да и вообще среди господствовавшихъ понятій и порядковъ. Нелишне отмѣтить и то, что, въ противоположность будущимъ славянофиламъ, Грибоѣдовъ тяготѣлъ къ Петербургу, а Москву не любилъ, чувствуя себя въ московскомъ обществѣ въ положеніи Чацкаго. Эта антипатія къ Москвѣ была у него, москвича, застарѣлая и прочная,— она питалась впечатлѣніями дѣтства и юности. Сюда относится слѣдующее мѣсто въ письмѣ къ Бѣгичеву (отъ 18 сент. 1818 г.): „Въ Москвѣ все не по мнѣ: праздность, роскошь, не сопряженныя ни съ малѣйшимъ чувствомъ къ чему-нибудь хорошему. Прежде тамъ любили музыку, нынче и она въ пренебреженіи; ни въ комъ нѣтъ любви къ чему-нибудь изящному, и притомъ „нѣтъ пророка безъ чести, токмо въ отечествѣ своемъ, въ сродствѣ и въ дому своемъ“: отечество, сродство и домъ мой — въ Москвѣ. Всѣ тамошніе помнятъ во мнѣ Сашу, милаго ребенка, который теперь выросъ, много повѣсничалъ, наконецъ, становится къ чему-то годенъ, опредѣленъ въ миссію и можетъ со временемъ попасть въ статскіе совѣтники, а больше во мнѣ ничего видѣть не хотятъ. Въ Петербургѣ я, по крайней мѣрѣ, имѣю нѣсколько такихъ людей, которые, не знаю, настолько ли меня цѣнятъ, сколько я думаю, что стою; но, по крайней мѣрѣ, судятъ обо мнѣ и смотрятъ съ той стороны, съ которой хочу, чтобы на меня смотрѣли. Въ Москвѣ другое: спроси у Жандра, какъ однажды, за ужиномъ, матушка съ презрѣніемъ говорила о моихъ стихотворныхъ занятіяхъ и еще замѣтила во мнѣ зависть, свойственную мелкимъ писателямъ оттого, что я не восхищаюсь Кокошкинымъ и ему подобными. Я ей это отъ души прощаю“... и т. д. (Полн. собр. соч., подъ ред. И. А. Шляпкина, I, стр. 168 — 169.) — И въ позднѣйшихъ письмахъ встрѣчаются мѣста,

напоминающія настроеніе Чацкаго, напр.: „Кто насъ уважаетъ, пѣвцовъ истинно вдохновенныхъ, въ краю, гдѣ достоинство цѣнится въ прямомъ содержаніи къ числу орденовъ и крѣпостныхъ рабовъ? Все-таки Шереметевъ у насъ затмилъ бы Омира... Мученіе быть пламеннымъ мечтателемъ въ краю вѣчныхъ снѣговъ“. (Письмо къ Бѣгичеву 9 дек. 1826 г. Сочин., I, стр. 222.) — То, въ чемъ Пушкинъ упрекалъ Чацкаго („метаніе бисера“), повидимому, было свойственно Грибоѣдову: у него былъ очень злой языкъ, и онъ не умѣлъ или не хотѣлъ его сдерживать. „Онъ не могъ и не хотѣлъ, — говоритъ А. А. Бестужевъ, — скрывать насмѣшки надъ позлащенною и самодовольною глупостью, ни презрѣнія къ низкой искательности, ни негодованія при видѣ счастливаго порока“. (См. „Полн. собр. соч. А. С. Гр.“, подъ ред. И. А. Шляпкина, т. I, стр. XXV). Отрицательное отношеніе Грибоѣдова къ господствовавшимъ въ его время нравамъ, порядкамъ и понятіямъ, между прочимъ, выражалось и въ формѣ оппозиціи „нечистому духу пустого, рабскаго, слѣпого подражанія“, какъ говоритъ Чацкій, — въ формѣ того „націонализма“, о которомъ было упомянуто выше. По всѣмъ признакамъ, это былъ націонализмъ не консервативный, а либеральный и демократическій, съ оттѣнкомъ того романтизма, который уносилъ воображеніе „въ старину святую“ (слова Чацкаго) и приводилъ къ нѣкоторой (весьма умѣренной) идеализаціи историческаго прошлаго. На это указываетъ, между прочимъ, его статья „Загородная поѣздка“, гдѣ описывается народное мимическое представленіе съ пѣснями на сюжетъ изъ былыхъ похожденій удальцовъ въ родѣ Стеньки Разина. Здѣсь читаемъ: „Прислонясь къ дереву, я съ голосистыхъ пѣвцовъ невольно свелъ глаза на самихъ слушателей-наблюдателей, тотъ поврежденный классъ полуевропейцевъ, къ которому и я принадлежу... Какимъ чернымъ волшебствомъ сдѣлались мы чужіе между своими... Если бы какимъ-нибудь случа-

емъ сюда занесенъ былъ иностранецъ, который бы не зналъ русской исторіи за цѣлое столѣтіе, онъ, конечно, заключилъ бы изъ рѣзкой противоположности нравовъ, что у насъ господа и крестьяне происходятъ отъ двухъ различныхъ племенъ, которыя не успѣли еще перемѣшаться обычаями и нравами...“ (Тамъ же, I, стр. 108—109).—Фактъ оторванности высшихъ классовъ отъ народа привлекалъ къ себѣ вниманіе Грибоѣдова, кажется, въ нѣсколько большей степени, чѣмъ это наблюдается у его современниковъ. Въ этомъ отношеніи онъ дѣйствительно напоминаетъ послѣдующихъ славянофиловъ, а еще больше народниковъ-демократовъ. Что онъ по общему строю своихъ идей ближе подходилъ къ послѣднимъ, чѣмъ къ первымъ,—видно изъ слѣдующаго. Несмотря на свою нелюбовь къ нѣмцамъ (чувство, которое онъ раздѣлялъ со многими передовыми дѣятелями эпохи), онъ не обнаруживалъ и слѣда того принципіальнаго отрицанія основъ западно-европейской цивилизаціи, какое было особливо характерно для славянофиловъ. Такъ, передавая свои впечатлѣнія во время поѣздки на востокъ (1819 г.), онъ пишетъ о персіянахъ: „...въ дѣлахъ государственныхъ здѣсь, кажется, не любятъ сокровенности кабинетовъ: они производятся въ присутствіи многочисленныхъ слушателей. Я въ простотѣ моего сердца сперва подумалъ, что, стало быть, рѣдко во зло употребляется обширная власть, которой облечены здѣшніе высшіе чиновники, но въ томъ, въ чемъ нашъ повѣренный въ дѣлахъ объяснялся съ сардаремъ, напр., о переманкѣ и поселеніи у себя нашихъ бродячихъ татаръ, притѣсненіи нашихъ купцовъ, высокостепенный былъ кругомъ неправъ, притомъ изложилъ составленную имъ самимъ такую теорію налоговъ, которая, не думаю, чтобы самая сносная для шахскихъ подданныхъ, ввѣренныхъ его управленію. И все это говорилось при многолюдномъ сборищѣ, чье разстроенное достояніе ясно доказываетъ, что польза сардаря не есть

польза общая. Рабы, мой любезный! И по дѣломъ имъ! Смѣютъ ли они осуждать верховнаго ихъ обладателя? Кто ихъ боится? У нихъ и историки панегиристы. И эта лѣстница слѣпого рабства и слѣпой власти здѣсь безпрерывно восходитъ до бега, хана, беглеръ-бега и каймакана и такимъ образомъ выше и выше. Недавно одного областного начальника, невзирая на его 30-тилѣтнюю службу, сѣдую голову и алкоранъ въ рукахъ, били по пятамъ, разумѣется, безъ суда. Въ Европѣ, даже въ тѣхъ народахъ, которые еще не добыли себѣ конституціи, общее мнѣніе, по крайней мѣрѣ, требуетъ суда виноватому, который всегда наряжаютъ. Криво ли, прямо ли судятъ, иногда не какъ хотятъ, а какъ велятъ,—подсудимый хоть имѣетъ право предлагать свое оправданіе...“—Ниже, отмѣчая азіатскую лесть и велерѣчіе, онъ говоритъ: „Въ Европѣ, которую моралисты вѣчно упрекаютъ порчею нравовъ, никто не льститъ такъ безстыдно...“ Повидимому, чѣмъ ближе знакомился онъ съ патріархально-деспотическимъ Востокомъ, тѣмъ болѣе склонялись его симпатіи къ европейскимъ порядкамъ и правамъ. Азіатскій Востокъ живо напоминалъ ему старую, допетровскую Русь, и, повидимому, указанное критическое отношеніе его къ восточнымъ порядкамъ распространялось и на старые московскіе порядки, но только оно смягчалось присущимъ Грибоѣдову романтическимъ и патріотическимъ культомъ родной старины.

Зато тѣмъ рѣзче проявлялось, порою, его отрицательное отношеніе къ современной дѣйствительности, при чемъ онъ выступалъ какъ послѣдовательный народникъ-демократъ. Это видно въ любопытномъ планѣ драмы „1812 годъ“, гдѣ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является нѣкій М*, очевидно, ополченецъ изъ крѣпостныхъ. Онъ совершаетъ чудеса храбрости и по окончаніи войны остается въ прежнемъ положеніи крѣпостного. Вотъ программа эпилога: „Вильна. Отличія, искательства, вся поэзія вели-

кихъ подвиговъ исчезаетъ. M* въ пренебреженіи у военачальниковъ. Отпускается восвояси съ отеческими наставленіями къ покорности и послушанію.—Село или развалины Москвы. Прежнія мерзости. M* возвращается подъ палку господина, который хочетъ ему сбрить бороду. Отчаяніе... Самоубійство". — Совершенно справедливо говоритъ по этому поводу А. Н. Пыпинъ: „Двѣнадцатый годъ оставилъ въ современной литературѣ замѣчательно малый слѣдъ, не отвѣчающій его историческому значенію. Онъ былъ, конечно, „воспѣтъ", но воспѣваніе въ громадномъ большинствѣ случаевъ свидѣтельствовало о дурномъ литературномъ вкусѣ и затѣмъ выразило только элементарный мотивъ — патріотическую радость объ изгнаніи врага изъ предѣловъ отечества; при этомъ обыкновенно самое дѣло загромождается преувеличенной реторикой и почти не затрогиваются ни внутренніе факты общественнаго возбужденія, ни оборотная сторона событій. Грибоѣдову предметъ представился именно съ народно-общественной стороны..." [1]). Изложивъ планъ драмы, А. Н. Пыпинъ заключаетъ: „Очевидно, въ этомъ печальномъ выводѣ (что „вся поэзія подвиговъ исчезаетъ" и начинаются „прежнія мерзости") — основная мысль драмы, и ничего подобнаго мы не находимъ въ современной Грибоѣдову литературѣ". (Исторія русск. литературы, 1899, т. IV. стр. 306—307).

Кажется, мы не ошибемся, если изъ приведенныхъ данныхъ сдѣлаемъ такой выводъ-догадку: если бы Грибоѣдовъ дожилъ до 40-хъ годовъ, онъ, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ примкнулъ къ славянофильскому теченію, но только едва ли онъ раздѣлялъ бы „правовѣрную" доктрину и философію исторіи, выработанную Кирѣевскими, Хомяковымъ,

---

[1]) Курсивъ мой.

К. Аксаковымъ, и ужъ навѣрно очутился бы въ „крайней лѣвой“ славянофильства, которая въ 60-хъ годахъ сближалась съ радикальнымъ западничествомъ.

Черты народничества, характеризующія взгляды и симпатіи Грибоѣдова, дополняются еще слѣдующими свидѣтельствами, которыя привожу изъ книги Пыпина: „Грибоѣдовъ любилъ простой народъ — разсказываетъ одинъ изъ его друзей — и находилъ особое удовольствіе въ обществѣ образованныхъ молодыхъ людей, не испорченныхъ еще искательствомъ и свѣтскими приличіями. — Любилъ онъ и ходить въ церковь. „Любезный другъ, — говорилъ онъ, — только въ храмахъ Божіихъ собираются русскіе люди, думаютъ и молятся по-русски. Въ русской церкви я въ отечествѣ, въ Россіи! Меня приводитъ въ умиленіе мысль, что тѣ же молитвы читаны были при Владимірѣ, Дмитріи Донскомъ, Мономахѣ, Ярославѣ, въ Кіевѣ, Новгородѣ, Москвѣ; что то же пѣніе одушевляло набожныя души. Мы — русскіе только въ церкви, а я хочу быть русскимъ...“ Говорятъ дальше, что Грибоѣдовъ „уважалъ и иностранцевъ, особенно посвятившихъ себя служенію Россіи“; наконецъ, что онъ „любилъ болѣе всего славянскія поколѣнія и считалъ ихъ единою семьею“. (А. Н. Пыпинъ, Исторія русск. лит., IV, 309).

Если эти указанія позволятъ сближать Грибоѣдова съ позднѣйшими славянофильскими и народническими теченіями, если здѣсь есть намеки также на панславизмъ, то еще тѣснѣе этою стороною примыкаетъ Грибоѣдовъ къ передовому идейному движенію своего времени. Дѣло въ томъ, что и культъ прошлаго вмѣстѣ съ постояннымъ обращеніемъ къ исторіи, и народолюбіе, и патріотическій націонализмъ, и даже панславистическія стремленія, и, наконецъ, искренняя религіозность, — все это въ значительной степени было свойственно дѣятелямъ 10-хъ и 20-хъ годовъ, въ особенности декабристамъ, на что указываетъ и А. Н. Пы-

пинъ, и что подтверждается и новѣйшими изслѣдованіями. Вотъ что говоритъ П. Е. Щеголевъ въ своей интересной статьѣ о Влад. Раевскомъ: „У Раевскаго была одна общая черта со многими декабристами, въ особенности съ декабристами-писателями,—своеобразный патріотизмъ. Возвысившись до идеальнаго представленія о высокой цѣли жизни и благѣ родины, посвятивъ свою дѣятельность самоотверженной любви къ своимъ соотечественникамъ,—и Раевскій, и многіе другіе не могли освободиться отъ чувства національной исключительности и нетерпимости. Раевскій питалъ, напр., ненависть къ нѣмцамъ; однимъ изъ мотивовъ возникновенія въ немъ оппозиціоннаго настроенія было „возстановленіе" всегда враждебной намъ Польши. На ряду съ этой нетерпимостью необходимо отмѣтить стремленіе къ національной самобытности; борьбой за самобытное, національное содержаніе опредѣляется значеніе литературной дѣятельности декабристовъ". („Вѣстн. Евр.", 1903 г. іюнь, стр. 537).

Насколько можно судить по отрывочнымъ даннымъ, приведеннымъ выше, Грибоѣдовъ выгодно отличался отъ многихъ сверстниковъ тѣмъ, что не былъ узкимъ націоналистомъ, и что его патріотизмъ совмѣщался съ уваженіемъ къ западной цивилизаціи. Въ этомъ отношеніи онъ, думается мнѣ, стоялъ гораздо ближе, напр., къ Н. И. Тургеневу, чѣмъ къ Влад. Раевскому и другимъ. Отъ декабристовъ же въ тѣсномъ смыслѣ онъ отличался не столько общими понятіями и настроеніемъ, сколько тѣмъ, что не былъ, какъ говоритъ А. Н. Пыпинъ, „политическимъ мечтателемъ и скептически относился къ планамъ политическаго переворота, выразившись однажды, что „сто человѣкъ прапорщиковъ хотятъ измѣнить весь государственный бытъ Россіи" (А. Н. Пыпинъ, Ист. р. лит., IV, стр. 327) [1]. — Повидимому,

---

[1]) Новѣйшія данныя объ отношеніяхъ Грибоѣдова къ декабристамъ приведены въ брошюрѣ г. Щеголева «Грибоѣдовъ и декабристы» (С.-Пет. 1904 г.).

по самой натурѣ своей, онъ, какъ и Пушкинъ, совсѣмъ не годился для роли агитатора или заговорщика. Можетъ быть, это находилось въ нѣкоторой психологической связи съ его геніемъ художника-реалиста и также съ преобладающимъ направленіемъ его ума, склоннаго къ разлагающей критикѣ, скептицизму и мизантропіи.

4.

То немногое, что мы знаемъ о понятіяхъ, взглядахъ, стремленіяхъ и натурѣ Грибоѣдова, проливаетъ нѣкоторый свѣтъ на процессъ его художественнаго творчества.

Типы великой комедіи были, кромѣ Чацкаго, продуктомъ не наблюденія, а эксперимента въ искусствѣ. Фигура и рѣчи Чацкаго и вообще все, что знаемъ мы о Грибоѣдовѣ-Чацкомъ, указываютъ намъ на тѣ, заранѣе данныя, идеи, чувства и настроенія, которыя опредѣлили характеръ и всю постановку опыта. Въ этомъ смыслѣ Чацкій, самъ по себѣ образъ не экспериментальный, являлся необходимымъ условіемъ или прецедентомъ опыта, постепенный ходъ котораго представляется мнѣ въ слѣдующемъ видѣ.

Я указалъ уже на связь отрицательныхъ типовъ комедіи съ сотвѣтственными образами обыденнаго мышленія.

Типичныя черты—фамусовскія, молчалинскія, скалозубовскія и т. д. — были достаточно извѣстны въ широкихъ кругахъ и, конечно, схватывались обыденно-художественнымъ мышленіемъ преимущественно людей образованныхъ, стоявшихъ на извѣстномъ уровнѣ умственнаго и общественнаго развитія. Если возьмемъ Чацкаго или, такъ сказать, minimum Чацкаго—какъ обобщеніе этихъ людей, то мы скажемъ, что первоначальные силуэты типовъ „Горе отъ ума“ были уже даны въ обыденно-художественномъ мышленіи Чацкихъ самой дѣйствительности. Э т и — живые Чацкіе уже умѣли относиться къ живымъ Фамусовымъ, Молчалинымъ, Скалозу-

бамъ и т. д. отрицательно, смотря на нихъ, какъ на представителей пошлыхъ и темныхъ сторонъ жизни. И самъ Грибоѣдовъ, когда впервые созрѣлъ въ его головѣ замыселъ комедіи, былъ только однимъ изъ такихъ Чацкихъ. Иначе говоря, замыселъ и первые наброски пьесы были продуктомъ обыденно-художественной мысли Грибоѣдова, примыкавшей къ таковой же мысли многихъ представителей его круга. Но только эта обыденная мысль у Грибоѣдова, какъ геніальнаго таланта, съ самаго начала должна была отличаться гораздо большей энергіей и выразительностью, чѣмъ у другихъ, въ сознаніи которыхъ жили или прозябали тѣ же образы. Возможно, что въ данномъ случаѣ имѣло вліяніе и то, что замыселъ впервые созрѣлъ въ головѣ Грибоѣдова тогда, когда онъ (въ 1821 г.) находился въ Персіи и тосковалъ по родинѣ, въ особенности по близкимъ, по друзьямъ-единомышленникамъ и вообще по жизни въ образованномъ кругу. Какъ бы то ни было, но родныя впечатлѣнія и воспоминанія ожили въ его сознаніи съ исключительною яркостью и быстро сгруппировались въ ту картину, которая въ послѣдующей обработкѣ превратилась въ знаменитую комедію. Это первичное проявленіе замысла и картины въ мысли Грибоѣдова совершилось, какъ свидѣтельствуетъ извѣстный разсказъ Булгарина, во снѣ: „Какъ-то легъ онъ въ кіоскѣ, въ саду, и видѣлъ сонъ, представившій ему любезное отечество, со всѣмъ, что осталось въ немъ милаго для сердца. Ему снилось, что онъ въ кругу друзей разсказываетъ о планѣ комедіи, будто имъ написанной, и даже читаетъ нѣкоторыя мѣста изъ оной. Пробудившись, Грибоѣдовъ беретъ карандашъ, бѣжитъ въ садъ и въ эту же ночь начертываетъ планъ „Горе отъ ума“ и сочиняетъ нѣсколько сценъ перваго акта“. Возникновеніе въ головѣ поэта художественнаго замысла и появленіе первыхъ очертаній образовъ, подготовленныхъ данными обыденнаго мышленія, совершается быстро и какъ бы автоматично. Поэтому здѣсь нечего сочинять и выдумывать.

Засимъ, при извѣстномъ навыкѣ въ литературной формѣ, онъ такъ же легко положилъ ихъ на бумагу. Этимъ и объясняется быстрота работы и плодовитость тѣхъ беллетристовъ, которые предъявляютъ публикѣ плоды своего обыденнаго, а не своего высшаго художественнаго мышленія. Грибоѣдовъ, какъ всѣ великіе поэты, не хотѣлъ обнародовать плоды своего обыденнаго мышленія,—онъ подвергъ ихъ переработкѣ силами высшаго творчества. Извѣстно, какъ долго и тщательно передѣлывалъ онъ свое произведеніе. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что при этомъ онъ въ полной мѣрѣ испыталъ тѣ „муки творчества“, которыя вытекаютъ изъ необходимости считаться съ литературными формами, со вкусомъ публики, съ готовымъ шаблономъ литературнаго мастерства. Испыталъ онъ, очевидно, и тѣ высшаго порядка „муки“, которыя обусловливаются столкновеніемъ высшаго художественнаго творчества съ обыденнымъ. На все это намекаетъ слѣдующій отрывокъ: „... первое начертаніе этой сценической поэмы, какъ оно родилось во мнѣ, было гораздо великолѣпнѣе и высшаго значенія, чѣмъ теперь, въ суетномъ нарядѣ, въ который я принужденъ былъ облечь его. Ребяческое удовольствіе слышать стихи мои въ театрѣ, желаніе имъ успѣха заставили меня портить мое созданіе, сколько можно было. Такова судьба всякому, кто пишетъ для сцены: Расинъ и Шекспиръ подвергались той же участи, — такъ мнѣ ли роптать? — Въ превосходномъ стихотвореніи многое должно угадывать; не вполнѣ выраженныя мысли и чувства тѣмъ болѣе дѣйствуютъ на душу читателя, что въ ней, въ сокровенной глубинѣ ея, скрываются тѣ струны, которыхъ авторъ едва коснулся, нерѣдко однимъ намекомъ, — но его поняли, все уже внятно, и ясно, и сильно. Для того съ обѣихъ сторонъ требуется: съ одной — даръ, искусство; съ другой — воспріимчивость, вниманіе. Но какъ же требовать его отъ толпы народа, болѣе занятаго собственною личностью, нежели авторомъ и его произведеніемъ? Притомъ сколько

привычекъ и условій, ни мало не связанныхъ съ эстетическою частью творенія, — однако надобно съ ними сообразоваться. Суетное желаніе рукоплескать, не всегда кстати, декламатору, а не стихотворцу; удары смычка послѣ каждыхъ трехъ-четырехъ сотъ стиховъ; необходимость побѣгать по корридорамъ, душу отвести въ поучительныхъ разговорахъ о дождѣ и снѣгѣ, — и всѣ движутся, входятъ и выходятъ, и встаютъ, и садятся. Всѣ таковы, и я самъ таковъ, и вотъ, что называется публикой!..“ („Полн. собр. соч.“, I, стр. 83).

Этотъ черновой набросокъ, относящійся ко времени послѣ 1823 г., когда комедія была уже написана, представляетъ собою любопытный документъ, заслуживающій болѣе внимательнаго разсмотрѣнія.

Какое чувство продиктовало эти строки? Кажется, мы не ошибемся, если скажемъ, что это были тѣ „муки слова“ и „муки творчества“, которыя всегда возникаютъ у большихъ поэтовъ, когда имъ приходится вгонять создающіеся образы и идеи въ рамки литературныхъ формъ. Въ данномъ случаѣ эти рамки были гораздо уже и стѣснительнѣе, чѣмъ, напр., тѣ, съ которыми имѣлъ дѣло Пушкинъ, когда писалъ „Евг. Онѣгина“. Грибоѣдову приходилось считаться не только съ общими требованіями литературной формы, но и спеціально съ условіями сцены. Это — не то, что та „даль свободнаго романа“, которую Пушкинъ „сквозь магическій кристаллъ еще не ясно различалъ“, когда писалъ первую главу „Онѣгина“. Эта „даль“ позволяла замыслу расширяться и углубляться. Грибоѣдову, напротивъ, нужно было „урѣзать“ замыселъ, чтобы изъ него могла выйти пьеса, которую можно было бы ставить на сценѣ. Онъ говоритъ въ отрывкѣ о „ребяческомъ удовольствіи“ слышать свои стихи въ театрѣ, о погонѣ за успѣхомъ, что заставило его „портить“ свое „созданіе, сколько можно было“.

Въ чемъ состояла эта порча, мы въ точности не знаемъ, не имѣя первоначальнаго текста, не зная тѣхъ передѣлокъ,

какимъ онъ подвергался. Сохранились только отрывочныя указанія въ письмѣ къ Бѣгичеву (авг. 1824 г.), гдѣ читаемъ: „...Не могу въ эту минуту оторваться отъ побрякушекъ авторскаго самолюбія. Надѣюсь, жду, урѣзываю, мѣняю дѣло на вздоръ, такъ что во многихъ мѣстахъ моей драматической картины яркія краски совсѣмъ... (стерлись?), сержусь и возстановляю стертое, такъ что, кажется, работѣ конца не будетъ..." („Полн. собр. соч.", I, стр. 185—186). — Здѣсь, повидимому, имѣются въ виду, между прочимъ, и тѣ перемѣны, которыя дѣлались ради цензуры, чтобы сдѣлать возможною постановку пьесы на сцену. — Любопытно выраженіе „драматическая картина", какъ въ вышеприведенномъ отрывкѣ — „сценическая поэма". Эти опредѣленія намекаютъ на то, что, по художественному замыслу, „Горе отъ ума" не укладывалось въ шаблонъ театральной пьесы, комедіи, хорошо знакомой Грибоѣдову, записному театралу, уже пробовавшему свои силы въ этомъ родѣ литературнаго сочинительства. Казалась бы, это дѣло ему, искушенному въ сочиненіи пьесъ, не должно было бы представлять большихъ трудностей. Но, видно, „начертаніе" „сценической поэмы", какъ оно „родилось" въ его головѣ, не умѣщалось въ законный шаблонъ. „Великолѣпное" и „высшаго значенія" „начертаніе", какъ не трудно догадаться, было не что иное, какъ та глубоко жизненная трагедія „милліона терзаній", которую разъяснилъ Гончаровъ въ своей статьѣ о „Горе отъ ума". Трагедія вытекала изъ столкновенія идей и настроенія Чацкаго, представителя лучшихъ людей 20-хъ гг., съ обществомъ Фамусовыхъ, Молчалиныхъ, Скалозубовъ и прочихъ, являвшихся оплотомъ общественной реакціи. Это требовало широкихъ рамокъ бытового романа и плохо ладило съ условіями сцены, гдѣ нужно дѣйствіе, занимательная интрига, живость разговора, и гдѣ поэтому нельзя говорить прямо отъ себя. „Даль свободнаго романа", очевидно, и манила Грибоѣдова, но онъ самъ сознается, что его соблазнило „ребяческое удовольствіе

слышать свои стихи на сценѣ". Намъ думается, что это искушеніе было естественнымъ послѣдствіемъ того, что Грибоѣдовъ, по художественному призванію своему, былъ преимущественно, поэтъ драматическій. Не даромъ онъ такъ увлекался сценой. — Сдѣлать изъ замысла „милліона терзаній" Чацкаго, во что бы то ни стало, произведеніе драматическое, вполнѣ приспособленное къ постановкѣ на сценѣ, — это была задача, внушенная ему самимъ его геніемъ. Но при трудности ея исполненія, при необходимости пожертвовать въ угоду ей многимъ, что казалось ему существеннымъ въ „начертаніи" „поэмы", его настойчивость являлась ему самому въ свѣтѣ суетной жажды театральныхъ успѣховъ. Въ томъ же письмѣ онъ называетъ это „гвоздемъ", „который онъ вбилъ себѣ въ голову", и „мелочной задачей, вовсе не сообразной съ ненасытностью души, съ пламенной страстью къ новымъ вымысламъ"... — Здѣсь же любопытны и слѣдующія строки: .....на дорогѣ пришло мнѣ въ голову придѣлать новую развязку; я ее вставилъ между сценою Чацкаго, когда онъ увидалъ свою негодяйку, со свѣчею надъ лѣстницею, и передъ тѣмъ, какъ ему обличить ее; живая, быстрая вещь, стихи искрами посыпались въ самый день моего пріѣзда, и въ этомъ видѣ читалъ ее Крылову, Жандру, Хмѣльницкому, Шаховскому, Гр(ечу) и Булг(арину), Колосовой, Каратыгину, дай счесть — 8 чтеній, нѣтъ, обчелся, — двѣнадцать; третьяго дня обѣдъ былъ у Столыпина, и опять чтеніе, и еще слово далъ на три въ разныхъ закоулкахъ. Грому, шуму, восхищенію, любопытству конца нѣтъ. Шаховской рѣшительно признаетъ себя побѣжденнымъ (на этотъ разъ). Замѣчаніемъ Вьельгорскаго я тоже воспользовался. Но, наконецъ, мнѣ такъ надоѣло все одно и то же, что во многихъ мѣстахъ импровизирую, — да, это нѣсколько разъ случилось, потомъ я самъ себя ловилъ, но другіе не домекались".

Эти чтенія, какъ видно, были весьма нужны Грибоѣдову. Успѣхъ ободрялъ его и показывалъ, что онъ блистательно

справился съ трудною задачею — приладить свой замыселъ и свои вдохновенія къ данной литературной и сценической формѣ. Все существенное въ нихъ было сохранено, и, несмотря на то, вышла живая, бойкая пьеса, гдѣ есть все, что полагается,— и завязка, и развязка, и интрига, и дѣйствіе. Не бѣда, что горничная Лиза оказалась похожею больше на французскихъ субретокъ, чѣмъ на московскихъ крѣпостныхъ служанокъ. Это — лицо второстепенное, а, помимо того, въ добрыя старыя времена „смѣшенія французскаго съ нижегородскимъ" такой „типъ" могъ намѣчаться и въ самой дѣйствительности. Не бѣда и то, что Чацкій напоминаетъ мольеровскаго Альцеста, и что въ тѣсныхъ рамкахъ сценическаго произведенія основная идея Грибоѣдова казалась многимъ (въ томъ числѣ, напр., Бѣлинскому) „сбивчивой" и „неясною". Въ свое время, вмѣстѣ съ поступательнымъ ходомъ идей и развитіемъ самой общественности, она выяснится. Окажется, что Чацкій — широкое художественное обобщеніе, распространившееся на послѣдующія поколѣнія, и что трагедія „милліона терзаній"—и глубоко жизненна, и психологически правдива и знаменательна. Здѣсь умѣстно вспомнить прекрасныя слова А. Н. Пыпина: „...время Чацкихъ — не только въ широкомъ отвлеченномъ, но и въ болѣе тѣсномъ смыслѣ — далеко не прошло... Довольно оглянуться на ежедневные факты нашей общественной жизни, чтобы видѣть, какъ много матеріала нашелъ бы новѣйшій Чацкій для „раздражительныхъ монологовъ"... Смыслъ произведенія Грибоѣдова для нашего времени заключается вовсе не въ какой-нибудь спеціальной славянофильской или „настоящей русской" общественной теоріи, а, какъ вѣрно замѣтилъ Гончаровъ, въ тонѣ, настроеніи его рѣчей, въ этомъ исканіи исхода изъ окружающаго мрака къ свѣту и свободѣ, въ чемъ бы ни былъ этотъ мракъ и этотъ исходъ для лучшихъ людей данной эпохи. („Ист. русс. лит." IV, 330).

Таково значеніе и таковъ — доселѣ живой — итогъ ху-

дожественнаго эксперимента, столь широко и правильно поставленнаго и проведеннаго Грибоѣдовымъ въ двадцатыхъ годахъ истекшаго столѣтія.

Поэтъ достигъ столь блестящихъ результатовъ благодаря тому, что въ борьбѣ съ формою, въ своихъ мукахъ творчества, сумѣлъ дать перевѣсъ творческой работѣ надъ литературнымъ сочинительствомъ. Онъ самъ сознавалъ это, когда, въ отвѣтъ на упрекъ Катенина, что въ пьесѣ „дарованія больше, чѣмъ искусства", онъ писалъ: „Самая лестная похвала, которую ты могъ мнѣ сказать; не знаю, стою ли ея. Искусство въ томъ только и состоитъ, чтобы поддѣлываться подъ дарованіе, а въ комъ болѣе вытвержденнаго, пріобрѣтеннаго потомъ и мученіемъ искусства угождать теоретикамъ, т.-е. дѣлать глупости, въ комъ, говорю я, болѣе способности удовлетворять школьнымъ требованіямъ, условіямъ, привычкамъ, бабушкинымъ преданіямъ, нежели собственной творческой силы, тотъ, если художникъ, разбей свою палитру, и кисть, и рѣзецъ или перо свое брось за окошко; знаю, что всякое ремесло имѣетъ свои хитрости, но чѣмъ ихъ менѣе, тѣмъ спорѣе дѣло, и не лучше ли вовсе безъ хитростей... Я какъ живу, такъ и пишу свободно и свободно". („Полн. собр. соч.", I, 107).

5.

Работа Грибоѣдова надъ „Горе отъ ума" совпала по времени съ работой Пушкина надъ „Евг. Онѣгинымъ".

Это знаменательно — и представляется въ высокой степени характернымъ для той эпохи. Какъ извѣстно, она была отмѣчена быстро надвигавшеюся реакціей и—параллельно—быстро растущимъ возбужденіемъ общественной мысли и совѣсти. Въ сознаніи многихъ представителей новыхъ стремленій вырисовывались — параллельно — съ одной стороны типы и картины, изображавшіе общественный оплотъ реак-

ціи, а съ другой — протестъ озлобленныхъ, желчныхъ Чацкихъ и разочарованныхъ, скучающихъ Онѣгиныхъ. Эти картины и образы и связанныя съ ними настроенія, чувства, думы были принадлежностью коллективной художественной и общественной мысли цѣлаго поколѣнія. Два великихъ поэта явились ихъ выразителями. Они сдѣлали это общее достояніе предметомъ высшаго творчества.

Чацкій предупредилъ Онѣгина. Его рѣчи отзвучали и онъ бѣжалъ — „искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ“, прежде чѣмъ Онѣгинъ успѣлъ вполнѣ сложиться и — разочароваться.

„Горе отъ ума“ съ центральною фигурою Чацкаго было первымъ по времени великимъ созданіемъ нашего реальнаго искусства въ XIX вѣкѣ, — первымъ выраженіемъ общественнаго самосознанія въ поэзіи.

Намъ предстоитъ теперь прослѣдить, какъ вліяло это могучее выраженіе на обыденную и на критическую мысль той эпохи и послѣдующихъ, — пока, по почину Гончарова, не установился тотъ взглядъ на смыслъ и значеніе комедіи Грибоѣдова, въ которомъ и кристаллизовался послѣдній итогъ ея воздѣйствія на нашу мысль и совѣсть.

ГЛАВА II.

„Горе отъ ума“ во второй половинѣ 20-хъ годовъ и въ началѣ 30-хъ.

1.

Критика второй половины 20-хъ и начала 30-хъ годовъ оцѣнила комедію Грибоѣдова по достоинству. Она не дала обстоятельнаго разбора пьесы, ея замысла, типовъ, въ ней выведенныхъ, но по всему видно, что все это было хорошо понято, и притомъ не только критиками, но и публикою. Прежде чѣмъ критики заговорили о пьесѣ, она уже успѣла распространиться въ тысячахъ списковъ и въ молодомъ поколѣніи вызывала неподдѣльный восторгъ. „Горе отъ ума“ сводило всѣхъ съ ума, волновало всю Москву“, вспоминаетъ Т. П. Пассекъ, говоря о 1825—1827 гг., когда она и ея кузенъ Саша (А. И. Герценъ), еще совсѣмъ юные, учились дома и только что начинали развиваться („Изъ дальнихъ лѣтъ“, воспоминанія Т. П. Пассекъ, т. I, стр. 220).—Нѣсколько лѣтъ спустя, въ 1833 году, Н. А. Полевой писалъ: „Лѣтъ десять тому, какъ начали говорить въ обществахъ о комедіи Грибоѣдова. Восторгъ, съ которымъ отзывались о ней тѣ, кому удавалось слышать или читать ее, подстрекнулъ любопытство многихъ...“—Указавъ на разныя обстоятельства, способствовавшія успѣху „Горя отъ ума“, Полевой продолжаетъ: „И надобно сказать, что успѣхъ былъ

неслыханный: много ли отыщете примѣровъ, чтобы сочиненіе, листовъ въ 12 печатныхъ, было переписываемо тысячи разъ, — ибо гдѣ и у кого нѣтъ рукописи „Горя отъ ума?“ Бывалъ ли у насъ примѣръ, еще болѣе разительный, чтобы рукописное сочиненіе сдѣлалось достояніемъ словесности, чтобы о немъ судили, какъ о сочиненіи извѣстномъ всякому, знали его наизусть, приводили въ примѣръ, ссылались на него, и только въ отношеніи къ нему не имѣли надобности въ изобрѣтеніи Гуттенберговомъ?“ (Московскій Телеграфъ, 1833 г. № XVIII, стр. 246. Статья о первомъ изданіи „Горя отъ ума“). Любопытны и слѣдующія строки: „...комедія Грибоѣдова — уже давно собственность публики. Дайте какому-нибудь писарю 20 руб., и онъ принесетъ вамъ чисто переписанный экземпляръ „Горя отъ ума“, который, можетъ быть, вы и не промѣняете на печатный...“ (тамъ же стр. 248).

Эти любопытныя показанія, какъ и другія, аналогичныя какихъ можно найти немало въ литературѣ той эпохи и въ позднѣйшихъ воспоминаніяхъ современниковъ, даютъ поводъ думать, что образованная публика 20-хъ гг., въ особенности ея лучшая, передовая часть, понимала сатиру Грибоѣдова достаточно хорошо, такъ что критикамъ не зачѣмъ было разъяснять публикѣ, что такое Фамусовъ, Скалозубъ и прочіе, и даже что такое Чацкій, и что именно „хотѣлъ сказать“ Грибоѣдовъ. Да и сами критики въ своемъ пониманіи пьесы лишь немногимъ возвышались надъ пониманіемъ публики, и въ своихъ отзывахъ они даютъ, такъ сказать, только резюмэ или сводку общераспространеннаго взгляда, являясь выразителями общественнаго мнѣнія, — по крайней мѣрѣ, мнѣнія лучшей части общества. О Чацкомъ установилось тогда воззрѣніе (вполнѣ правильное) — какъ о представителѣ передовыхъ людей эпохи, представителѣ, болѣе для нея характерномъ, чѣмъ Евг. Онѣгинъ. Т. П. Пассекъ хорошо помнила это, когда писала: „Типъ того вре-

мени... въ литературѣ отразился въ Чацкомъ" (а не въ Онѣгинѣ, который „выражалъ одну сторону тогдашней жизни и нисколько не выражалъ всѣхъ стремленій умственныхъ и нравственныхъ 20-хъ годовъ"). „Въ его молодомъ негодованіи уже слышится порывъ къ дѣлу. Онъ возмущается, потому что не можетъ выносить диссонансъ своего внутренняго міра съ міромъ, окружающимъ его" („Изъ дальнихъ лѣтъ", т. I, 221). — Это сужденіе тѣмъ цѣннѣе, что оно принадлежитъ собственно Герцену, на котораго Т. П. Пассекъ и ссылается въ этомъ мѣстѣ („какъ вѣрно замѣтилъ Саша"). — Въ этомъ случаѣ, какъ во многихъ другихъ, взгляды „Саши" были (въ эпоху, когда они болѣе или менѣе сложились у него, т.-е. въ первой половинѣ 30-хъ годовъ) отраженіемъ, а частью и дальнѣйшимъ развитіемъ взглядовъ передовой части общества 20-хъ годовъ. То же самое воззрѣніе на Чацкаго отразилось и въ томъ мѣстѣ вышецитированной статьи Полевого, гдѣ онъ, указавъ на нравственную несостоятельность и пошлость среды, воспроизведенной въ комедіи Грибоѣдова, говоритъ: „И посреди такого-то общества является Чацкій, какъ будто выходецъ съ другого свѣта. Его пламенная, чистая, благородная душа, его умъ, просвѣщенный и современный, не понимаютъ этого общества..." и т. д. (указ. статья, стр. 253). — Грибоѣдовскій Чацкій былъ вполнѣ понятенъ современникамъ, которые видѣли въ немъ воплощеніе чертъ, взятыхъ изъ дѣйствительности. Такъ, въ другомъ мѣстѣ той же статьи Полевой говоритъ, что „въ Чацкомъ соединено множество чертъ нѣкоторыхъ изъ нынѣшнихъ молодыхъ людей" (стр. 249), и тутъ же указываетъ на эти черты: „Чацкій одушевленъ страстями огненными: онъ пылокъ, гордъ, страстенъ ко всему прекрасному, высокому и родному". Не совсѣмъ ясно то, что говоритъ Полевой, или что хочетъ онъ сказать, противопоставляя художественный образъ Чацкаго образу Фамусова (и потомъ Молчалина) со стороны ихъ яркости, законченности и не-

ходя, что Чацкій „не можетъ быть такъ разителенъ, какъ Фамусовъ, ибо стремленіе безсильное не носитъ въ себѣ характера самобытности и не имѣетъ имени (?). Чацкій хочетъ всего хорошаго, но не достигаетъ ни къ чему: это человѣкъ, стоящій немного выше толпы“ (?).—Можетъ быть, здѣсь нужно видѣть отголосокъ сужденія тѣхъ, которымъ неясенъ былъ самый замыселъ Чацкаго и которые, относясь съ полнымъ сочувствіемъ къ сатирѣ Грибоѣдова, находили однако горячность Чацкаго неумѣстною и самый протестъ его безсильнымъ и безплоднымъ. Такой взглядъ существовалъ и съ годами упрочивался; ниже мы увидимъ его крайнее выраженіе въ знаменитой статьѣ Бѣлинскаго. Если это такъ, то приведенныя неясныя слова Полевого переносятъ насъ въ то переходное, какъ бы промежуточное, умонастроеніе общества и печати, которымъ характеризуется начало 30-хъ годовъ. Память о движеніи 20-хъ годовъ еще не заглохла тогда, но тѣ вліянія и то настроеніе, которыхъ выразителемъ былъ Чацкій, уже становились преданіемъ, уступая мѣсто другимъ вѣяніямъ и другому настроенію общества. Мы же, въ этой главѣ, имѣемъ въ виду именно 20-е годы, а потому выслушаемъ теперь отзывъ одного изъ наиболѣе видныхъ представителей и вмѣстѣ съ тѣмъ самаго выдающагося литературнаго критика этой эпохи — А. Б. Бестужева, столь знаменитаго впослѣдствіи подъ псевдонимомъ „Марлинскій“.

Въ статьѣ „Взглядъ на русскую словесность въ теченіе 1824 и начала 1825 годовъ“ (въ „Полярной звѣздѣ“) Бестужевъ въ слѣдующихъ восторженныхъ словахъ привѣтствуетъ появленіе рукописной комедіи г. Грибоѣдова „Горе отъ ума“: „...Толпа характеровъ, обрисованныхъ смѣло и рѣзко; живая картина московскихъ нравовъ, душа въ чувствованіяхъ, умъ и остроуміе въ рѣчахъ, невиданная доселѣ бѣглость и природа разговорнаго русскаго языка въ стихахъ. Все это завлекаетъ, поражаетъ, приковываетъ вниманіе. Че-

ловѣкъ съ сердцемъ не прочтетъ ее, не смѣявшись, не тронувшись до слезъ...“ Ниже Бестужевъ упоминаетъ, что въ театральномъ альманахѣ „Русская Талія“ (изданномъ Булгаринымъ въ 1825 г.) напечатанъ 3-й актъ комедіи „Горе отъ ума“.

При всемъ огромномъ успѣхѣ пьесы, не было, разумѣется, недостатка и въ отрицательныхъ отзывахъ. Одни (какъ, напр., Катенинъ) осуждали комедію съ точки зрѣнія строгихъ правилъ старой „піитики“, другіе осуждали рѣзкій тонъ сатиры Грибоѣдова. По адресу тѣхъ и другихъ направлены слѣдующія слова Бестужева: „Люди, привычные даже забавляться по французской систематикѣ или оскорбленные зеркальностью сценъ, говорятъ, что въ ней нѣтъ завязки, что авторъ не по правиламъ нравится; — но пусть они говорятъ, что имъ угодно: предразсудки разсѣются, и будущее оцѣнитъ достойно сію комедію, и поставитъ ее въ число первыхъ твореній народныхъ“ [1]).

Вернемся еще къ статьѣ Полевого. Любопытны первыя же строки ея: „Наконецъ, вотъ она, эта знаменитая русская комедія! Наконецъ, она не скользитъ среди публики какъ тать, какъ запрещенный товаръ безъ клейма, какъ умный мѣщанинъ среди надутыхъ аристократовъ, какъ тетрадь между книгами! Она сама книга, предназначенная пережить много книгъ“. Въ этихъ словахъ сказался человѣкъ, сформировавшійся въ 20-хъ годахъ и хранившій лучшія традиціи этой эпохи, какимъ и былъ тогда Н. А. Полевой. Еще ярче сказалось это въ тѣхъ мѣстахъ статьи, гдѣ онъ указываетъ на типичность фигуръ Грибоѣдова. Эти фигуры не списаны съ опредѣленныхъ лицъ, — на этомъ настаиваетъ Полевой, можетъ быть, не довѣряя слухамъ, а можетъ быть,

---

[1]) Эта статья была, вмѣстѣ съ другими критическими статьями Бестужева-Марлинскаго, переиздана въ 1838 г. въ сборникѣ „Стихотворенія и полемическія статьи“ (безъ имени автора), откуда мы взяли наши цитаты (стр. 198 — 199).

и намѣренно, чтобы тѣмъ прочнѣе установить свой взглядъ на широкое общественное значеніе сатиры Грибоѣдова. Фамусовъ, напр., не воспроизводитъ того или другого опредѣленнаго лица, а является обобщеніемъ, типичнымъ представителемъ множества подобныхъ лицъ. Въ этомъ образѣ мѣтко схвачены характерныя черты московскаго барина: неудивительно, что многіе могутъ узнавать себя въ грибоѣдовскомъ Фамусовѣ. „Фамусовъ является вамъ въ обществѣ подъ тысячью различныхъ обликовъ, и потому-то многіе находятъ въ немъ сходство съ тѣмъ и другимъ", говоритъ критикъ, которому не было извѣстно заявленіе самого Грибоѣдова (въ письмѣ къ Катенину), что онъ сознательно писалъ съ натуры, что его образы — портреты. Но Полевой совершенно правъ, когда указываетъ на типичность этихъ образовъ, на то, что они рисуютъ намъ не отдѣльныхъ лицъ (имя-рекъ), а среду, общество[1]). Въ этомъ и состоитъ, по мнѣнію Полевого, высшее достоинство комедіи Грибоѣдова, это „даетъ" ей „народность и дѣлаетъ" ее „произведеніемъ своего вѣка и народа". Слово „народность", употреблявшееся въ 20-хъ и 30-хъ годахъ въ смыслѣ „популярность", въ приведенномъ мѣстѣ означаетъ, какъ я думаю, не только „популярность", но вмѣстѣ съ тѣмъ и то, что мы выразили бы терминомъ „общественное значеніе". Именно съ этой-то точки зрѣнія и смотритъ Полевой на фигуры, выведенныя Грибоѣдовымъ. „Всякій вѣкъ имѣетъ своихъ Молчалиныхъ, — говоритъ онъ, — но въ наше время они точно таковы, какъ Молчалинъ „Горя отъ ума"... Осмотритесь: вы окружены Молчалиными. Созданіе этого характера есть порывъ души благородной, желающей обличить порокъ и невѣжество". — Послѣднее выраженіе („обличать порокъ и не-

[1]) Любопытна терминологія. Слово „типичность" еще не было тогда въ ходу. Полевой говоритъ — „самобытность", „первообразность характеровъ"; лицо Молчалина „такъ же отличено самобытностью, какъ лицо Фамусова" (стр. 250).

вѣжество") было тогда, какъ въ XVIII-мъ вѣкѣ, ходячимъ терминомъ, подъ которымъ понималась не только нравоучительная сатира, но и сатира, имѣвшая общественно-политическое значеніе, какою и была комедія Грибоѣдова. — „Наконецъ, забудемъ ли милаго Скалозуба, встрѣчнаго на всякомъ шагу Репетилова, мастера услужить Загорѣцкаго, княгиню и князя Тугоуховскихъ, Хлестову, графиню бабушку и внучку, шестерыхъ княженъ? Нѣтъ, они не даютъ забыть о себѣ, они всѣ вокругъ насъ, впереди насъ, за нами и передъ нами. Это — члены свѣтскаго общества" (стр. 250—251). И вслѣдъ затѣмъ критикъ еще разъ указываетъ на то, что все это — „не личности, а характеры нашего времени, принадлежащіе главной части общества" (тамъ же). — Обращаясь къ разсмотрѣнію самаго замысла пьесы и его развитія (по терминологіи автора, „связи пьесы"), Полевой находитъ, что эта сторона „не менѣе оригинальна и превосходна", чѣмъ характеры. Въ бѣгломъ обзорѣ „связи пьесы" критикъ попутно характеризуетъ дѣйствующихъ лицъ и не скупится на сильныя выраженія, какъ, напр., „бездушные, ничтожные невѣжды, погруженные въ тину своихъ пороковъ, глупостей и подлостей...", „Фамусовъ — глупый, бездушный невѣжда, думающій только объ удобствѣ животной жизни", „Скалозубъ — дуракъ, не имѣющій ни доброты, ни чувства, это — Скотининъ нашего времени" и т. д.

Полевой хорошо понялъ смыслъ сатиры Грибоѣдова и вполнѣ правильно указалъ на ея общественное значеніе. Въ свою очередь, и его статья, написанная смѣло и рѣзко, имѣла общественное значеніе, какъ и вся дѣятельность этого писателя въ 20-хъ и 30-хъ годахъ. Не забудемъ, что въ ту пору Фамусовы, Скалозубы и Молчалины были и многочисленны, и сильны. Неудивительно, что Полевой заслужилъ репутацію „якобинца" [1]).

[1]) Въ доносѣ на Полевого, посланномъ въ III-е отдѣленіе въ 1827 г., говорится о цѣлой „партіи", „атаманами" которой названы кн. Вяземскій и По-

Изъ людей 20-хъ годовъ, продолжавшихъ свою дѣятельность въ 30-хъ, замѣтно выдѣляются эти два писателя, отзывы которыхъ о комедіи Грибоѣдова мы привели здѣсь. Марлинскій и Полевой продолжаютъ при новыхъ условіяхъ и новомъ настроеніи общества традицію и общее направленіе, которыя впервые установились около половины 20-хъ годовъ и наиболѣе яркими выраженіями которыхъ были комедія Грибоѣдова и поэзія Пушкина въ „Александровскую эпоху". Да и самъ Пушкинъ можетъ быть также названъ „человѣкомъ и писателемъ 20-хъ годовъ", продолжавшимъ свою дѣятельность въ 30-хъ годахъ. Характерныя черты духовной физіономіи, особенности воспитанія, общій обликъ личности, нѣкоторыя отличія въ умонастроеніи, въ складѣ общественной мысли—все это у Пушкина выдаетъ его, такъ сказать, „кровную" принадлежность къ тому же поколѣнію, къ которому относятся Марлинскій и Полевой. Это поколѣніе въ 30-хъ годахъ жило главнымъ образомъ процентами съ душевнаго капитала, пріобрѣтеннаго въ „Александровскую эпоху". Правда, Пушкинъ былъ „явленіе чрезвычайное" и — внѣ конкурса. Но это только заслоняло въ немъ черты времени, не уничтожая ихъ. Тѣ же черты мы найдемъ и у другихъ эпигоновъ Александровской эпохи, какъ, наприм., у кн. Вяземскаго, у Н. И. и Л. И. Тургеневыхъ и кн. В. Ѳ. Одоевскаго. Но изъ этой группы Полевой и Марлинскій выдѣляются — своимъ вліяніемъ на широкую публику, своимъ литературнымъ значеніемъ, въ частности тѣмъ, что они являлись наиболѣе видными продолжателями такъ называемаго „романтизма", понятіе о которомъ переплеталось у нихъ съ общимъ взглядомъ ихъ на движеніе европейскихъ литературъ и самой цивилизаціи. Этотъ своеобразный „романтизмъ" мѣшалъ имъ понимать, какъ слѣдуетъ, напр., Гоголя и реализмъ Пушкина (въ его позднѣйшихъ произведеніяхъ),

левой. См. „Литература и просвѣщеніе въ Россіи въ XIX-мъ в.", проф. Евг. Боброва (Казань, 1901 г.), т. II, стр. 152.

равно какъ и новыя теченія въ общественной мысли и жизни Европы. Но онъ отлично уживался у нихъ съ пониманіемъ реализма Грибоѣдова по той простой причинѣ, что среда и типы, воспроизведенные въ комедіи, были слишкомъ хорошо извѣстны имъ по личному опыту, что идеи и идеалы Чацкаго были ихъ собственными и, наконецъ, имъ, какъ и другимъ представителямъ того же поколѣнія, приходилось нерѣдко переживать настроеніе, аналогичное тому, которое такъ ярко отразилось въ горячихъ рѣчахъ героя пьесы.

Этотъ герой былъ — ихъ герой. Лучшіе люди 20-хъ годовъ были, каждый по-своему, „Чацкими", — и не только по „соціальному положенію", среди отсталаго общества, лицомъ къ лицу съ Фамусовыми, Скалозубами, Молчалиными и въ виду надвигавшейся реакціи, но еще больше — по своему умственному и нравственному складу, по характернымъ признакамъ своей душевной организаціи. Если потомъ, въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, образъ Чацкаго потускнѣлъ, и бывали случаи либо отрицательнаго, либо равнодушнаго къ нему отношенія со стороны лучшихъ людей эпохи, то это объясняется не перемѣною „соціальнаго положенія" этихъ людей (съ этой стороны они оставались все такими же „Чацкими"), а рѣзкимъ измѣненіемъ умственнаго и нравственнаго склада, равно какъ и преобладающихъ чертъ душевной организаціи.

Мы здѣсь подошли къ одному, въ высокой степени любопытному явленію, періодически повторяющемуся у насъ при исторической смѣнѣ поколѣній. Это — что съ легкой руки Тургенева принято называть рознью между „отцами" и „дѣтьми", но что гораздо правильнѣе назвать рознью между двумя психологическими типами. Поясняя свою мысль примѣромъ, я скажу, что разладъ между Базаровыми и Кирсановыми (Ник. Петровичемъ и Павломъ Петровичемъ) оставался бы во всей своей силѣ и въ томъ случаѣ, если бы

ихъ не раздѣляла разница понятій, если бы они въ общемъ держались однихъ и тѣхъ же взглядовъ и убѣжденій. Суть дѣла здѣсь не въ понятіяхъ, не въ идеалахъ, а въ томъ, что Базаровъ по своей натурѣ, по своей психической организаціи, по самому складу ума, чувства и воли, являетъ собою психологическій типъ, во многомъ противоположный тому, къ которому принадлежатъ Кирсановы. Представители разныхъ психологическихъ типовъ могутъ сходиться во взглядахъ, въ стремленіяхъ, въ идеалахъ, могутъ имѣть однѣ и тѣ же симпатіи и антипатіи, но взаимное душевное, интимное пониманіе и сочувствіе устанавливается между ними съ большимъ трудомъ, и то — больше теоретически, чѣмъ практически; всего труднѣе имъ сговориться и понять другъ друга тогда, когда они сталкиваются въ жизни, среди однихъ и тѣхъ же условій времени, ибо на одинаковыя впечатлѣнія и воздѣйствія среды они реагируютъ различно въ силу различнаго уклада психики и, реагируя различно, по необходимости расходятся въ разныя стороны, поворачиваются другъ къ другу спиной. И часто различіе въ идеяхъ, во взглядахъ оказывается явленіемъ вторичнымъ, — не причиною разлада, а слѣдствіемъ уже существующей розни, обусловленной кореннымъ различіемъ душевныхъ организацій.

Чѣмъ вызывалось это различіе, почему на смѣну поколѣнія съ извѣстнымъ укладомъ душевныхъ силъ выступало поколѣніе съ совершенно другимъ укладомъ, это — трудный вопросъ общественной психологіи, для рѣшенія котораго не всегда мы найдемъ достаточно свѣдѣній. Въ особенности трудно освѣтить его надлежащимъ образомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда мы имѣемъ дѣло съ эпохою, отошедшею въ прошлое и еще далеко не изслѣдованною во всѣхъ изгибахъ ея умственной и нравственной жизни.

Для нашей цѣли, въ этомъ трудѣ, важно не столько раскрыть причины, сколько установить и описать самый фактъ коренного различія въ духовномъ обликѣ двухъ поколѣній эпохи, о которой идетъ рѣчь.

2.

Поколѣніе, выступившее на арену сознательной жизни около половины 30-хъ годовъ, окончательно сложившееся къ началу 40-хъ и извѣстное подъ именемъ „людей 40-хъ годовъ", представляло по своему душевному складу, по преобладающему настроенію и по самому способу реагировать на получаемыя впечатлѣнія и умственныя возбужденія, прямую противоположность людямъ 20-хъ годовъ. Нелишне будетъ здѣсь же оговорить, что это различіе вначалѣ, въ 30-хъ годахъ, когда новое поколѣніе еще находилось въ періодѣ духовнаго роста, было замѣтно ярче, чѣмъ позже, въ 40-хъ годахъ, когда уже миновало то, что можно назвать „болѣзнью умственнаго и нравственнаго роста".

Взглянемъ сперва на дѣятелей 20-хъ годовъ, т.-е. на поколѣніе, которое росло, развивалось въ 10-хъ годахъ XIX вѣка и сложилось около 20-хъ. Эти люди совмѣщали въ себѣ образованность, идейность, умственные интересы съ тою, если можно такъ выразиться, душевною выдержкой, которую даетъ непосредственное участіе въ практической жизни. Большею частью это были военные, и притомъ воспитавшіеся не на однихъ смотрахъ и парадахъ, а также въ походахъ, въ сраженіяхъ и, что, пожалуй, еще важнѣе, въ прикосновенности къ міровымъ событіямъ. Другіе — не военные — проходили также либо суровую школу жизни (какъ, напр., Сперанскій, Полевой), либо вели дѣятельную, подвижную жизнь, богатую опытомъ и впечатлѣніями (Николай Тургеневъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Рылѣевъ). Индивидуаль-

ныя различія между ними были, конечно, весьма велики, со стороны ума, дарованій, личнаго характера, темперамента и т. д., но при всемъ томъ эти люди объединяются какимъ-то общимъ отпечаткомъ и легко подводятся подъ опредѣленный „психологическій типъ“. Этотъ типъ характеризуется со стороны чувствованій замѣтною выдержанностью, какъ бы закаленностью души: эти люди переживали сильныя впечатлѣнія (напр., на войнѣ), много переиспытали, много перенесли и сравнительно съ силою этихъ впечатлѣній и испытаній мало поражались, мало плакали, мало восторгались, рѣдко унывали, никогда не отчаивались. Они далеко не были такъ чувствительны, какъ было чувствительно слѣдующее за ними поколѣніе. Это можно назвать „закаломъ“ души и можно назвать „слабою раздражимостью чувствующей сферы“ и наконецъ — отсутствіемъ „восторженности“. Самый восторженный изъ нихъ былъ Кюхельбекеръ, да и тотъ слылъ у нихъ оригиналомъ, чудакомъ. Итакъ, умѣренность въ реагированіи чувствомъ на сильныя внѣшнія воздѣйствія и на тревогу собственной души — вотъ первое, что бросается въ глаза психологу, изучающему жизнь и дѣятельность людей 20-хъ годовъ [1]). Со стороны мысли замѣтно выдѣляются у нихъ слѣдующія черты: жажда знаній, охота и умѣніе учиться, способность усвоивать европейское просвѣщеніе, здоровая дѣятельность ума и отсутствіе „глубокомыслія“. Они не были „мыслителями“ въ томъ смыслѣ, какъ можно назвать мыслителями Бѣлинскаго, Герцена, Станкевича и др. Интересъ къ философіи уже пробу-

---

[1]) Я не могу здѣсь вдаваться въ подробности, въ фактическое изслѣдованіе этой стороны въ психологіи людей 20-хъ годовъ, и мнѣ приходится просто сослаться на біографіи, письма, мемуары. Сравните, напр., письма Грибоѣдова, Пушкина, Рылѣева, А. А. Бестужева, воспоминанія кн. Волконскаго, бар. Розена и т. д. съ письмами Герцена, Бѣлинскаго и др., и вы легко отмѣтите то различіе, о которомъ я говорю.

ждался, и мы видимъ проблески философской мысли въ сочиненіяхъ и Бестужева-Марлинскаго и Полевого [1]. Но, вообще говоря, людямъ этой эпохи было не до философіи. Имъ приходилось учиться, и они учились всю жизнь, съ рѣдкимъ для русскаго человѣка усердіемъ и выдержкою. Почти всѣ они были такъ или иначе самоучки, ибо школа того времени давала слишкомъ мало, а иные изъ нихъ никакой и не знали. Пушкинское „въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ" было у нихъ лозунгомъ, живою потребностью ума, неусыпнымъ стремленіемъ. Самоучка-Полевой съ энциклопедическимъ образованіемъ — характерная фигура эпохи. Умственныя занятія декабристовъ въ Сибири и раньше, жажда умственной пищи и энергія въ ея добываніи, какія обнаруживалъ Бестужевъ среди тревогъ и тяжелыхъ условій солдатской жизни на Кавказѣ, любовь къ книгѣ, живой интересъ къ просвѣщенію у Грибоѣдова, у Пушкина, у Рылѣева и т. д. — все это живо рисуетъ намъ умственный обликъ поколѣнія, которое призвано было учиться и просвѣщаться за всю Россію, въ противоположность слѣдующему поколѣнію, призванному мыслить и страдать муками самосознанія. Когда Пушкинъ сказалъ: „я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать", онъ этимъ упредилъ свое время, какъ упредилъ его во многомъ. Поколѣніе 20-хъ годовъ не страдало болѣзнями и скорбями мысли. Оно скорѣе наслаждалось познавательною работою ума. Только тѣ, которые обладали творческимъ даромъ, какъ Пушкинъ и Грибоѣдовъ, знали муки мысли, муки творчества.

Умственная жизнь людей 20-хъ годовъ, сравнительно съ богатствомъ умственной жизни Бѣлинскаго, Станкевича, Герцена и др., представляется гораздо менѣе сложною, болѣе простою и элементарною. Это нельзя объяснить однимъ лишь

[1]) Повидимому, настоящими, призванными мыслителями поколѣнія 10—20-хъ гг. были Веневитиновъ и проф. Павловъ.

различіемъ эпохъ, т.-е. тѣмъ, что новое время принесло и новые умственные интересы, выдвинуло новые вопросы мысли и развитія. Новые интересы и вопросы требовали и новыхъ умовъ, умственныхъ организацій иного склада, иного типа. Нѣкоторые, и притомъ изъ числа наиболѣе сильныхъ умовъ поколѣнія 20-хъ годовъ, какъ извѣстно, продолжали свою дѣятельность и въ 30-е годы. И вотъ тутъ-то и обнаружилось, что эти умы были, по самому укладу своему, совсѣмъ не приспособлены для разработки новыхъ задачъ развитія. Это наглядно рисуется на частномъ примѣрѣ, гдѣ мы видимъ столкновеніе новаго склада и новыхъ потребностей мысли со старыми. Я имѣю въ виду извѣстный разсказъ Герцена о томъ, какъ Н. А. Полевой „не могъ понять сенсимонизма", которымъ увлекались юные умы, сплотившіеся въ тѣсный дружескій кругъ. Дѣло было въ томъ же 1833 году, къ которому относится вышеразсмотрѣнная статья Полевого о „Горе отъ ума". „Уже тогда, въ 1833 году, — разсказываетъ Герценъ, — либералы смотрѣли на насъ исподлобья, какъ на сбившихся съ дороги". Эти либералы и были люди старшаго поколѣнія, къ которому принадлежалъ и Полевой. „...Сенсимонизмъ, — продолжаетъ Герценъ, — поставилъ рубежъ между мной и Н. А. Полевымъ". Слѣдуетъ сжатая, мѣткая и очень правильная характеристика Полевого: „Полевой былъ человѣкъ необыкновенно ловкаго[1]) ума, дѣятельнаго, легко претворяющаго всякую пищу"... Замѣтимъ мимоходомъ, что эти слова могли бы послужить удачной характеристикой ума почти всѣхъ дѣятелей, принадлежавшихъ къ поколѣнію 20-хъ гг., — и продолжаемъ выписку: „...онъ родился быть журналистомъ, лѣтописцемъ успѣховъ, открытій, политической и ученой борьбы. Я познакомился съ нимъ въ концѣ курса и бывалъ иногда у него и

[1]) Слово „ловкій", какъ видно изъ контекста, не выражаетъ здѣсь никакого порицанія, оно указываетъ только на гибкость, отзывчивость, живость ума Полевого.

у его брата, Ксенофонта. Это было время его пущей славы, время, предшествовавшее запрещенію Телеграфа.—Этотъ-то человѣкъ, жившій послѣднимъ открытіемъ, вчерашнимъ вопросомъ, новою новостью въ теоріи и въ событіяхъ, мѣнявшійся, какъ хамелеонъ, при всей живости ума не могъ понять сенсимонизма. Для насъ сенсимонизмъ былъ откровеніемъ, для него—безуміемъ, пустой утопіей, мѣшающей гражданскому развитію". Иначе говоря: Полевой, какъ и почти всѣ дѣятели его поколѣнія, выдвигали на первый планъ „гражданское развитіе", которому и хотѣли служить, какъ кто могъ и умѣлъ. А новое молодое поколѣніе прежде всего искало высшей душевной жизни, болѣе утонченной умственной пищи, — оно жаждало „откровеній" — въ философіи, въ искусствѣ, въ религіи, въ передовыхъ идеяхъ вѣка. Что же касается „гражданскаго развитія", то часть молодежи, „кружокъ Станкевича", совсѣмъ почти не интересовалась его задачами, едва-едва различая ихъ сквозь туманъ высшихъ „вопросовъ духа", поглощавшихъ все вниманіе этихъ, — дѣйствительно, высокой пробы, — идеалистовъ. Другая часть, — „кружокъ Герцена и Огарева", напротивъ, очень тяготѣла къ вопросамъ жизни, „гражданскаго развитія" и вскорѣ близко подошла къ нимъ, но все-таки и эти идеалисты не менѣе высокой пробы въ то время всего болѣе жаждали философскихъ и иныхъ „откровеній", нуждались въ гимнастикѣ отвлеченной мысли, хлопотали о новомъ—широкомъ, общечеловѣческомъ—міровоззрѣніи, на которомъ можно было бы обосновать передовой идеалъ вѣка... Казалось бы, Полевому стоило только не обращать на это особеннаго вниманія, какъ на личное дѣло молодыхъ мыслителей, и — сойтись съ ними на другой почвѣ, на практическихъ вопросахъ просвѣщенія, литературнаго и „гражданскаго" развитія. Однако же сенсимонизмъ помѣшалъ, хотя было очевидно, что интересъ части молодежи къ этому столь яркому и столь идеалистическому дви-

женію никоимъ образомъ не могъ бы заслонить насущныхъ нуждъ и очередныхъ задачъ русской дѣйствительности. И здѣсь разыгрался типичный эпизодъ взаимныхъ недоразумѣній между „отцами“ и „дѣтьми“. Послушаемъ дальше: „Сколько я ни ораторствовалъ, ни развивалъ, ни доказывалъ, Полевой былъ глухъ, сердился, становился желченъ. Ему было особенно досадна оппозиція, дѣлаемая студентомъ, онъ очень дорожилъ своимъ вліяніемъ на молодежь и въ этомъ преніи видѣлъ, что она ускользаетъ отъ него“. — Казалось бы, и Герцену надлежало бы отпустить Полевому его несочувствіе сенсимонизму и сойтись съ уважаемымъ и вліятельнымъ писателемъ на томъ, что́ оба они одинаково хорошо понимали, во всякомъ же случаѣ — не смотрѣть на смѣлаго журналиста, какъ на „отжившаго, стараго гладіатора“. Тогда Полевой былъ еще въ апогеѣ своей дѣятельности; умирающимъ же гладіаторомъ онъ сталъ позже, и не потому, что не понималъ Сенъ-Симона, а по другимъ, болѣе реальнымъ, причинамъ. И однако же вышло такъ, что сенсимонизмъ помѣшалъ и Герцену сойтись съ Полевымъ, какъ не допустилъ онъ Полевого понять Герцена. Прочтемъ дальше: „Одинъ разъ, оскорбленный нелѣпостью его возраженій, я ему замѣтилъ, что онъ такой же отсталый консерваторъ, какъ тѣ, противъ которыхъ онъ всю жизнь сражался. Полевой глубоко обидѣлся моими словами и, качая головой, сказалъ мнѣ: „Придетъ время, и вамъ въ награду за цѣлую жизнь усилій и трудовъ какой-нибудь молодой человѣкъ, улыбаясь, скажетъ: ступайте прочь, вы — отсталый человѣкъ“. Мнѣ было жаль его, мнѣ было стыдно, что я его огорчилъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ я понялъ, что въ его грустныхъ словахъ звучалъ его приговоръ. Въ нихъ слышался уже не сильный боецъ, а отжившій, устарѣлый гладіаторъ“ [1]).

[1]) Къ этому мѣсту, повидимому, приложимо то, что говоритъ П. Н. Милюковъ объ автобіографіи Герцена: „Думы“ слишкомъ заслоняютъ

Вникая глубже, мы легко поймемъ, что не сенсимонизмъ или иной, столь же „отвлеченный“ вопросъ (ибо не былъ же это — жизненный вопросъ у насъ, въ Москвѣ, въ 1833 году!) былъ причиной разлада: причина лежала глубже — въ психологическомъ складѣ умовъ, а этого рода „вопросы“ и споры только выясняли тотъ фактъ, что прошла эпоха наивнаго реализма мысли, и народилось поколѣніе съ болѣе глубокими запросами ума, чувства, совѣсти. Здѣсь сталкивались два типа духовной организаціи, между которыми взаимное пониманіе, именно — пониманіе интимное, душевное, не могло установиться, потому что представители этихъ двухъ типовъ смотрѣли на Божій міръ различно, предъявляли ему различные вопросы, искали не однихъ и тѣхъ же отвѣтовъ. Міросозерцаніе Полевого и людей его поколѣнія было не только просто, элементарно, но и законченно. Люди новаго поколѣнія только вырабатывали свое міросозерцаніе, и они хотѣли, чтобъ оно было не просто, не элементарно, а по возможности сложно и возвышенно, чтобы въ него входили всѣ высшія, какъ тогда выражались, „стихіи“ духа.

Люди обладаютъ весьма различною воспріимчивостью къ впечатлѣніямъ жизни и мысли, различною способностью

въ ней „былое“: написанная много времени спустя, она часто смотритъ на прошлое глазами послѣдующаго времени: помимо воли автора, „Dichtung“ часто получаетъ въ ней перевѣсъ надъ „Wahrheit“. („Изъ исторіи русской интеллигенціи“, стр. 117). Дружескія связи съ Полевымъ не прекратились у Герцена послѣ размолвки по поводу сенсимонизма, — и самое осужденіе Полевого, какъ падшаго „гладіатора“, относится къ болѣе позднему времени. Объ этомъ см. въ интересномъ и обстоятельномъ изслѣдованіи Н. К. Козмина: „Очерки изъ исторіи русскаго романтизма“ (С.-Петерб. 1903). стр. 482 — 487. Этотъ трудъ посвященъ спеціально Полевому и, основанный на большой эрудиціи, представляетъ собою весьма цѣнный вкладъ въ исторію русской литературы. Если не ошибаюсь, это первый опытъ у насъ — обозрѣть всю литературную дѣятельность Полевого и бросить свѣтъ на самую личность этого замѣчательнаго человѣка. Книга написана живо и читается съ неослабѣвающимъ интересомъ.

реагировать, напр., на идеи или на вопросы, выдвигаемые нравственнымъ сознаніемъ, наконецъ — на образы художественные.

Въ этомъ отношеніи наблюдается замѣтное различіе не только между отдѣльными личностями, но и между слоями общества, между поколѣніями, между эпохами.

Бываютъ поколѣнія, которыя на впечатлѣнія жизни, на новыя идеи, на возбужденія религіознаго или нравственнаго порядка отвѣчаютъ страстью, энтузіазмомъ, экстазомъ и слезами. Это проявлялось довольно рѣзко въ Зап. Европѣ въ XVIII-мъ вѣкѣ, который съ этой стороны можно назвать не только вѣкомъ „просвѣщенія", но и вѣкомъ сентиментальныхъ, часто „безпредметныхъ" слезъ. Чувствительный и слезливый Руссо является типичнымъ выразителемъ этой черты вѣка энциклопедистовъ и революціи. У насъ запоздалый и подражательный сентиментализмъ конца XVIII-го столѣтія и начала XIX-го, сентиментализмъ Карамзина и его школы, былъ явленіемъ поверхностнымъ и, съ психологической точки зрѣнія, не представляетъ большого интереса. Зато своеобразный умственный сентиментализмъ или, если позволено такъ выразиться, „головная чувствительность" людей 30-хъ годовъ невольно привлекаетъ къ себѣ пытливость психолога и является фактомъ въ высокой степени знаменательнымъ, въ особенности, если противопоставить ему противоположную черту предшествуемаго поколѣнія.

Припомнимъ здѣсь нѣкоторые факты, которыми наиболѣе ярко характеризуется восторженность и чувств тельность поколѣнія 30-хъ годовъ.

Перечитывая переписку Герцена, Бѣлинскаго и др., мы поражаемся необычной экзальтаціей этихъ замѣчательныхъ дѣятелей, въ ряду которыхъ были и великіе, и переносимся въ странную для насъ, совсѣмъ особенную, атмосферу интимной жизни кружковъ, гдѣ не только много

работали головой, но также непропорціонально много восторгались и плакали отъ избытка чувствъ, отъ умиленія, отъ вычитанной у Гегеля мысли, отъ стиха Пушкина, отъ собственной мечты...

Душевная жизнь такихъ умовъ и талантовъ, какъ Бѣлинскій, Герценъ, Станкевичъ, Огаревъ и др., была какая-то напряженная и наэлектризованная избыткомъ чувствъ, требовавшихъ выраженія и изліянія. Передъ нами любопытная картина какъ бы душевной неуравновѣшенности, порою близкой къ тому, что наблюдается у натуръ религіозно-экзальтированныхъ, у мистиковъ, заражающихъ другъ друга своимъ экстазомъ. Дружба и любовь, разлука и свиданіе нерѣдко сопровождались у нихъ исключительною роскошью чувствъ, явнымъ излишествомъ въ ихъ выраженіи. Вотъ, напр., картина своего рода экстаза, овладѣвшаго Герценомъ, Огаревымъ и ихъ женами, когда, впервые послѣ нѣсколькихъ лѣтъ разлуки, они увидѣлись 17 марта 1839 года во Владимірѣ, гдѣ жилъ тогда Герценъ. „Восторженное душевное состояніе, — разсказываетъ Анненковъ, — достигло на этомъ свиданіи своего апогея и истощило все свое содержаніе. Радость, охватившая друзей, перешла въ религіозный экстазъ. Всѣ четверо были молоды, счастливы и, несмотря на опальное свое положеніе, исполнены надеждъ на себя, на будущее свое, на предстоящую имъ дорогу въ жизни Они искали, куда излить избытокъ своихъ ощущеній. По предложенію Огарева, они пали ницъ всѣ четверо передъ распятіемъ, принося благодарственныя молитвы, и потомъ въ слезахъ расцѣловались другъ съ другомъ... (Анненковъ, „Идеалисты 30-хъ годовъ“, въ книгѣ „В. П. Анненковъ и его друзья“, С.-Петерб., 1892, стр. 69 — 70). И, вѣрный обычаю оповѣщать друзей о всѣхъ событіяхъ своей жизни, посвящать ихъ въ подробности своихъ душевныхъ настроеній, Герценъ не преминулъ написать въ Москву: „... мы инстинктуально всѣ четверо бросились передъ рас-

пятіемъ, и горячія молитвы лились изъ устъ. Что за дивный, что за высокій Огаревъ! Зачѣмъ ты не могъ взглянуть на эту группу, которая обратилась къ небу не съ упрекомъ, не съ просьбой, а съ гимномъ, съ осанной!..“ (Тамъ же, стр. 70). — Здѣсь — и обожаніе другъ друга, и взаимное зараженіе чувствомъ, и исключительная приподнятость всей чувствующей сферы. Восторгъ и умиленіе — вотъ тѣ чувства, или, вѣрнѣе, аффекты, которые эти люди переживали гораздо чаще и напряженнѣе, чѣмъ это полагается натурѣ душевно-уравновѣшенной и не страдающей чрезмѣрною раздражимостью чувствующей сферы. У нихъ былъ и „даръ слезъ“ почти въ той же мѣрѣ, въ какой онъ свойственъ дѣтямъ и женщинамъ. Герценъ разсказываетъ (въ „Былое и Думы“), какъ еще ребенкомъ онъ, бывало, плакалъ, „какъ сумасшедшій“, читая послѣднее письмо „Вертера“; но то же самое повторилось съ нимъ и въ 1839 г., когда ему было 27 лѣтъ: „Въ 1839 году Вертеръ попался мнѣ случайно подъ руки; это было во Владимірѣ; я разсказалъ моей женѣ, какъ я мальчикомъ плакалъ, и сталъ ей читать послѣднія письма... и когда дошелъ до того же мѣста, слезы полились изъ глазъ, и я долженъ былъ остановиться“ („Был. и Думы“, гл. II)

Изъ писемъ Герцена, Бѣлинскаго и др. можно было бы привести не мало выдержекъ, свидѣтельствующихъ объ экзальтаціи и чувствительности этихъ, въ остальномъ — столь различныхъ умовъ и натуръ. Именно этою чертою, психологическою и психо-физіологическою, они и объединяются въ одну группу. Достаточно извѣстно, съ какою силою, съ какимъ блескомъ проявилась экзальтація и избытокъ чувствованій въ сочиненіяхъ и письмахъ Бѣлинскаго, „неистоваго Виссаріона“. Онъ былъ въ ряду современниковъ самымъ „неистовымъ“, самымъ экзальтированнымъ. Но его экзальтація питалась восторженностью другихъ, его страстное чувство находило откликъ въ страст-

номъ чувствѣ другихъ. Почти всѣ они были, каждый по-своему, „неистовы“, т.-е. восторженны и страстны, или, по крайней мѣрѣ, доступны экзальтаціи. Наиболѣе спокойнымъ и уравновѣшеннымъ изъ нихъ былъ, повидимому, Станкевичъ[1]): въ его душевной жизни аффектированныя состоянія были рѣдки. Но и онъ жилъ напряженною дѣятельностью чувствъ: его мысль всегда „окрашивалась“ чувствами, какъ это видно изъ его біографіи и писемъ. Восторженность и чувствительность были какъ бы психическимъ повѣтріемъ, которое захватывало и натуры болѣе спокойныя или уравновѣшенныя. Даже юмористъ и скептикъ Клюшниковъ поддавался общему настроенію и писалъ стихи, въ которыхъ, какъ характеризуетъ ихъ Анненковъ, „чувствуется ипохондрическое расположеніе и болѣзненная экзальтація“ („Воспом. и критич. очерки“, III, 333), а порою звучала и „слезливая сентиментальность“ (тамъ же). — Что же касается Герцена и Огарева, то они въ то время, въ 30-хъ годахъ, лишь немногимъ уступали Бѣлинскому въ восторженности, въ душевной воспламеняемости. Вспоминая въ 1842 году недавнее прошлое, Герценъ записалъ въ „Дневникѣ“: „... я со всѣмъ огнемъ любви[2]) жилъ въ сферѣ общечеловѣческихъ современныхъ вопросовъ, придавши имъ субъективно-мечтательный цвѣтъ“[2])... Съ годами, съ опытомъ жизни онъ утрачивалъ юную восторженность, — его мысль все болѣе освобождалась отъ окраски чувствами. Въ 1843 году онъ заноситъ въ „Дневникъ“: „Сколько перемѣнилось въ эти 4 года, сколько испытаній! Главное дѣло, все цѣло: и дружба, и любовь, и пре-

---

[1]) Такое впечатлѣніе оставляютъ его письма. „Мѣра и гармонія были въ природѣ Станкевича“, говоритъ Анненковъ („Н. В. Станкевичъ“ въ „Воспоминаніяхъ и критич. очеркахъ“, отд. III, стр. 327). „Станкевичъ не любилъ вообще всего, что порывисто... не понималъ гнѣва въ борьбѣ съ сложнымъ...“ и т. д. (Тамъ же, стр. 331).

[2]) Курсивъ мой.

данность общимъ интересамъ, — но освѣщеніе не то, алый свѣтъ юности замѣнился сѣвернымъ, яснымъ, но холоднымъ солнцемъ реальнаго пониманія[1]). Чище, совершеннѣе пониманіе, но нѣтъ нимба, окружавшаго все для него. Періодъ романтизма исчезъ..." Грусть, сожалѣніе объ утраченномъ „освѣщеніи", о „нимбѣ" сквозитъ въ этихъ строкахъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ видно сознаніе, что самая-то „мысль" отъ этой утраты только выиграла. Оно и понятно: „окраска" чувствомъ, если оно неумѣренно, а тѣмъ болѣе претвореніе въ аффектъ мѣшаютъ мысли быть вполнѣ раціональною. Слишкомъ окрашенная чувствомъ мысль тускнѣетъ, умственный взоръ затемняется, — и человѣкъ видитъ вещи, ясныя какъ Божій день, въ какомъ-то фантастическомъ освѣщеніи. Отуманенные чувствомъ или аффектомъ, даже лучшіе умы, глубокіе и проницательные, доходятъ до парадоксальныхъ теорій, граничащихъ съ абсурдомъ, какъ это и случилось съ Бѣлинскимъ въ эпоху его „примиренія съ дѣйствительностью"; не даромъ это „примиреніе" совпало съ наибольшею экзальтированностью великаго критика, о степени которой даютъ понятіе, напр., слѣдующія проявленія чувства, граничащія уже съ нѣкоторою ненормальностью „чувствующей души". Анненковъ сообщаетъ: „... при появленіи въ „Современникѣ" 1838 года посмертныхъ сочиненій Пушкина, Бѣлинскій испыталъ болѣе чѣмъ восторгъ[1]): даже нѣчто въ родѣ испуга передъ величіемъ творчества, открывшагося глазамъ его..." („Воспом. и крит. очерки", III, стр. 31. Статья „Замѣчательное десятилѣтіе"). — Когда Бѣлинскій впервые, при содѣйствіи Бакунина, познакомился съ философіей Гегеля, онъ пришелъ въ то восторженное состояніе, о которомъ свидѣтельствуютъ слѣдующія строки его письма къ Станкевичу (1839 г.): „Новый міръ намъ открылся. Сила есть право и право есть сила: — нѣтъ, не

[1]) Курсивъ мой.

могу описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова[1]),—это было освобожденіе...". Усвоеніе мысли, которая, какъ ему тогда казалось, должна была лечь въ основу его міросозерцанія, распутать противорѣчія и освободить душу отъ тягостныхъ внутреннихъ борений и сомнѣній, сопровождалось исключительно сильнымъ умственнымъ возбужденіемъ и отозвалось въ сферѣ чувствующей аффектомъ.

Къ числу особливо экзальтированныхъ натуръ принадлежалъ Констант. Аксаковъ, этотъ „Бѣлинскій" славянофильства. О его невоздержанности или неумѣренности въ выраженіи своихъ чувствъ неоднократно говоритъ его отецъ, С. Т. Аксаковъ въ воспоминаніяхъ о Гоголѣ, гдѣ разсказывается, какъ при каждомъ появленіи Гоголя въ домѣ Аксаковыхъ Константинъ Сергѣевичъ поднималъ крикъ, бросался къ смущенному поэту, всегда такъ боявшемуся всяческихъ „излишествъ", и готовъ былъ задушить его въ объятіяхъ. Избытокъ чувства, состояніе аффекта перешли у Конст. Аксакова въ тотъ фанатизмъ, съ которымъ онъ воспринялъ славянофильскую идею. Фанатизмъ есть порабощеніе мысли чувствомъ, ею же вызваннымъ. Это мы видимъ и у Ив. Киреевскаго, о которомъ Герценъ отозвался въ „Дневникѣ" такъ (1843 г.): „Длинный разговоръ о философіи съ И. Киреевскимъ. Глубокая, сильная, энергичная до фанатизма личность..."

Я не имѣю возможности разсмотрѣть по порядку всѣхъ важнѣйшихъ дѣятелей поколѣнія 30-хъ годовъ съ точки зрѣнія, на которую я здѣсь становлюсь. Каждый изъ нихъ и всѣ они вмѣстѣ представляютъ для психолога въ высокой степени заманчивую задачу — изслѣдовать ихъ душевную организацію съ функціональной стороны, т.-е. со стороны дѣятельности мысли и чувства, способовъ реагировать на возбужденія, вліянія чувства на мысль. Такія чисто пси-

[1]) Курсивъ мой.

хологическія изслѣдованія, думается мнѣ, должны пролить свѣтъ на нѣкоторые еще неясные пункты въ душевной жизни и въ дѣятельности „людей 40-хъ годовъ", въ эпоху, когда они еще развивались и только еще начинали обнаруживать богатство своихъ духовныхъ силъ, именно въ 30-е годы, знаменательные, между прочимъ, тѣмъ любопытнымъ и на первый взглядъ загадочнымъ настроеніемъ, которое принято называть „примиреніемъ съ дѣйствительностью".

За исключеніемъ нѣсколькихъ лицъ (Герцена, Огарева и ихъ ближайшихъ друзей), это особое настроеніе, очевидно, возникшее на почвѣ общаго размягченія душъ восторженностью и чувствительностью, охватило наибольшую часть молодыхъ дѣятелей, выступавшихъ тогда на арену сознательной жизни.

Излишне оговаривать, что въ сущности „примиреніе" было кажущимся, мнимымъ, что между дѣйствительностью той эпохи и идеализмомъ новыхъ людей не было ничего общаго, никакихъ точекъ соприкосновенія. „Примиреніе" отнюдь не означало, что молодые идеалисты завязывали дружескія связи съ міромъ Фамусовыхъ, Скалозубовъ, Молчалиныхъ и Загорѣцкихъ. Оно означало только одно—что эти идеалисты, по молодости, чувствительности и восторженности своей, еще не могли или не умѣли стать на точку зрѣнія Чацкаго, не догадывались, что имъ подобаетъ и предстоитъ разыграть въ самой жизни роль героя Грибоѣдовской комедіи. Они еще не пришли къ сознанію всего горя, которое имъ сулитъ ихъ умъ. Раньше и отчетливѣе другихъ сознали это Герценъ, Огаревъ, Грановскій. Позже другихъ, путемъ мучительной внутренней борьбы и окольнымъ путемъ затянувшагося „примиренія" съ дѣйствительностью,—пришелъ къ тому же сознанію Бѣлинскій, этотъ истинный Чацкій 40-хъ годовъ.

ГЛАВА III.

„Горе отъ ума“ въ критикѣ Бѣлинскаго.

1.

Отношеніе Бѣлинскаго въ 30-хъ годахъ въ комедіи Грибоѣдова и, въ частности, къ образу Чацкаго заслуживаетъ внимательнаго разсмотрѣнія. Это — въ высокой степени любопытный эпизодъ изъ исторіи нашего самосознанія, — эпизодъ, въ которомъ съ особливою наглядностью обнаружился разладъ между двумя поколѣніями, и притомъ такъ, что казалось, будто бы чисто-психологическое различіе въ душевномъ укладѣ, въ настроеніи готово было перейти въ принципіальное разногласіе идей, общественныхъ понятій и стремленій.

Въ извѣстной большой статьѣ о „Горе отъ ума“ (написанной въ концѣ 1839 года) Бѣлинскій, высоко цѣня талантъ Грибоѣдова и художественное значеніе отрицательныхъ типовъ комедіи, въ то же время высказываетъ рѣшительное осужденіе пьесы въ цѣломъ, въ особенности же ополчается на Чацкаго.

Въ настоящее время благодаря Гончарову, а потомъ изысканіямъ А. Н. Пыпина (въ IV томѣ „Исторіи русской литературы“, въ главѣ о Грибоѣдовѣ) ошибка Бѣлинскаго выяснилась съ различныхъ сторонъ; недавно обстоятельныя примѣчанія г. Венгерова дополнили наши свѣдѣнія („Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго“, Спб. 1901 г., т. V).

Бѣлинскій переживалъ тогда періодъ „примиренія" съ дѣйствительностью и со свойственною ему откровенностью и страстностью выражалъ это въ своихъ письмахъ, спорахъ съ друзьями и статьяхъ, къ великому смущенію нѣкоторыхъ изъ друзей, да и изъ читающей публики. Какъ извѣстно, позже онъ самъ отрекся отъ этихъ статей и вспоминалъ о нихъ съ ужасомъ и отвращеніемъ.

„Примиреніе съ дѣйствительностью", какъ оно проявлялось въ настроеніи кружка, къ которому принадлежалъ Бѣлинскій, обыкновенно приписываютъ вліянію неправильно понятой формулы Гегеля („все дѣйствительное — разумно"), апостоломъ которой явился Мих. Бакунинъ, имѣвшій въ тѣ годы большое вліяніе на Бѣлинскаго. Г. Венгеровъ, по примѣру своихъ предшественниковъ, также выдвигаетъ этотъ мотивъ на первый планъ. Онъ говоритъ: „То, что Бѣлинскій сказалъ въ настоящей статьѣ о Чацкомъ, принадлежитъ къ числу самыхъ печальныхъ эпизодовъ той полосы его духовнаго развитія, когда, увлекаясь теоріей „разумной дѣйствительности", онъ возненавидѣлъ всѣхъ „безпокойныхъ" людей и на всякаго протестующаго человѣка смотрѣлъ, какъ на фразера" („Полное собраніе сочин. Бѣлинскаго", т. V, стр. 546). Здѣсь же сдѣлана ссылка на статью, приложенную къ IV-му тому („Бакунинско-гегеліанскій періодъ въ жизни Бѣлинскаго"), въ началѣ которой г. Венгеровъ говоритъ: „Приблизительно около половины 1836 года начинается одинъ изъ важнѣйшихъ періодовъ жизни Бѣлинскаго, замѣчательно характерный для всей вообще исторіи русской мысли и показывающій, *до чего можно дойти подъ вліяніемъ чисто метафизическаго отношенія къ вещамъ*[1]). Рѣчь — о знаменитомъ эпизодѣ фанатическаго прославленія „дѣйствительности", такъ мало вяжущемся съ общимъ обликомъ Бѣлинскаго" (томъ IV, стр. 547).

[1]) Курсивъ мой.

Я не буду отрицать извѣстнаго вліянія „метафизическаго отношенія къ вещамъ", въ особенности у Бѣлинскаго, который, какъ еще отмѣтилъ кн. Одоевскій, обладалъ исключительно-сильнымъ философскимъ умомъ. Все философское, обобщающее могущественно двигало его мысль: онъ жадно ловилъ эти „откровенія" мысли у Фихте, у Гегеля и съ удивительнымъ мастерствомъ, какъ настоящій виртуозъ и поэтъ отвлеченныхъ идей, перерабатывалъ ихъ въ своемъ сознаніи. Оттуда и наклонность смотрѣть на вещи черезъ философскія очки и видѣть дѣйствительность не такъ, какъ она есть, а такъ, какъ освѣщается философскимъ воззрѣніемъ. Но при всемъ томъ я думаю, что стремленіе къ такъ называемому „примиренію съ дѣйствительностію" коренилось глубже — въ психологіи безсознательныхъ или полусознательныхъ движеній души, какъ у самого Бѣлинскаго, такъ и у другихъ дѣятелей 30-хъ годовъ, — и что эти глухіе импульсы должны были бы привести къ временному и относительному примиренію во всякомъ случаѣ, хотя бы даже пресловутая формула о „разумности всего дѣйствительнаго", да и вся философія Гегеля остались неизвѣстными ни Бакунину, ни Бѣлинскому, ни другимъ. Неправильно или односторонне понятый Гегель только пришелъ на помощь поколѣнію, и безъ того готовому искать согласія съ дѣйствительностью, поколѣнію, которому еще были чужды роль и настроеніе Чацкаго, и которое всего болѣе стремилось найти себѣ среди данной дѣйствительности уголокъ, гдѣ можно было бы жить и мыслить. Гегеліанство только дало формулу, идею, и эта идея-формула осмыслила и возвела въ принципъ глухое стремленіе души, уже заявлявшее о себѣ и выражавшееся въ другихъ формахъ „примиренія". Мы видимъ, что еще до 1836 года это стремленіе сказывалось у Бѣлинскаго весьма опредѣленнымъ образомъ, что уже въ „Литературныхъ мечтаніяхъ" (1834 г.), на ряду съ рѣзкимъ литературнымъ отрица-

ніемъ, довольно замѣтно обнаруживается примирительное и консервативное настроеніе въ отношеніи къ „дѣйствительности“. Достаточно извѣстно, что въ кружкѣ Станкевича, имѣвшемъ большое вліяніе на развитіе Бѣлинскаго, отвлеченные интересы рѣшительно преобладали надъ общественными и здѣсь господствовало то настроеніе и та особая форма реагированія на впечатлѣнія дѣйствительности, которыя вскорѣ должны были привести — и безъ Гегеля — къ „примиренію“, правда, лишь временному и вообще непрочному.

Въ этомъ настроеніи мы видимъ, прежде всего, безсознательную, чисто-психологическую (не идейную) реакцію, естественно возникшую въ чувствительныхъ, болѣзненно-воспріимчивыхъ, склонныхъ къ аффекту психическихъ организаціяхъ поколѣнія 30-хъ годовъ. У Бѣлинскаго эта „реакція“ выразилась только ярче и прямѣе, чѣмъ у другихъ. Если Станкевичъ и его друзья мало интересовались политикою и вообще вопросами жизни и общественности и удалялись подъ сѣнь философіи и искусства, то Бѣлинскій со свойственною ему прямолинейностью и страстностью возводилъ это въ догматъ, въ родъ „исповѣданія вѣры“, которое въ извѣстномъ письмѣ отъ 7-го авг. 1837 г. (изъ Пятигорска) продиктовало ему слѣдующія строки: „...только въ ней (въ философіи) ты найдешь отвѣты на вопросы души твоей, только она дастъ миръ и гармонію душѣ твоей... Пуще всего оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на свой образъ мыслей. Политика у насъ въ Россіи не имѣетъ смысла, и ею могутъ заниматься только пустыя головы. Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезенъ своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ. Если бы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства, — тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшею страною въ мірѣ...“ Большія выдержки изъ этого письма,

приведенныя у Пыпина въ IV главѣ біографіи Бѣлинскаго („Бѣлинскій, его жизнь и переписка"), показываютъ, что „примирительное" настроеніе, какъ оно выразилось у Бѣлинскаго, приводило къ рѣшительному осужденію стремленій и мечтаній людей 20-хъ годовъ и къ оправданію status quo тогдашнихъ порядковъ въ Россіи. Чисто - психологическая „реакція", о которой мы сказали выше, превращалась здѣсь въ идейную. Это была уже цѣлая „программа", въ силу которой всѣ надежды на лучшее будущее возлагались на внутреннее совершенствованіе каждаго индивидуума, на просвѣщеніе, на постепенное смягченіе нравовъ, и не знай мы, откуда взяты эти выдержки, можно было бы подумать, что это — неизданныя страницы изъ „Переписки съ друзьями" Гоголя.

2.

Теперь обратимся къ статьѣ о „Горе отъ ума" и сперва прочтемъ то мѣсто, гдѣ Бѣлинскій говоритъ, что общество (въ 20-хъ годахъ) „ожесточилось" противъ комедіи Грибоѣдова. „За что же общество такъ сильно осердилось на нее?" — спрашиваетъ критикъ и отвѣчаетъ: „За то, что она была самою злою сатирою на это общество. *Она заклеймила остатки XVIII-го вѣка, духъ котораго бродилъ еще, какъ заколдованная тѣнь, ожидая себѣ осиноваго кола, которымъ и было „Горе отъ ума"* [1]). „Новое поколѣніе вскорѣ не замедлило объявить себя за блестящее произведеніе Грибоѣдова, потому что вмѣстѣ съ нимъ оно смѣялось надъ старымъ поколѣніемъ, видя въ „Горе отъ ума" злую сатиру на него и *не подозрѣвая еще злѣйшей, хотя и безумышленной сатиры на самого себя, въ лицѣ полоумнаго Чацкаго*" [1]) („Полное собр. соч. Бѣл.", изданіе Венгерова, т. V, стр. 76).

---

[1]) Курсивъ мой.

Смыслъ этихъ словъ и настроеніе, ихъ подсказавшее, совершенно ясны и вмѣстѣ съ тѣмъ наглядно показываютъ, до какого ослѣпленія можетъ дойти высокій умъ, когда онъ „примиряется съ дѣйствительностью“. Бѣлинскому казалось, будто „Горе отъ ума“ — это сатира на XVIII-ый вѣкъ или его остатки, его духъ, еще „бродившій“ въ 20-хъ годахъ XIX-го. А между тѣмъ, очевидно, что Фамусовъ и Скалозубъ изображены вовсе не какъ отживающіе эпигоны XVIII-го вѣка, хотя первый и восхваляетъ старину; Молчалинъ, Загорѣцкій и др., скорѣе, типы новые, которымъ еще предстояло развиваться въ жизни. Послѣдующее время показало, что сатира Грибоѣдова хотя и была направлена на современное ему общество первой четверти вѣка, но простерла свое дѣйствіе далеко за эту хронологическую грань. Въ аффектѣ „примиренія“ Бѣлинскій не замѣтилъ всей примѣняемости сатиры Грибоѣдова къ господствующимъ понятіямъ, порядкамъ и нравамъ 30-хъ годовъ. Иллюзія — поразительная, объясняемая только аффектомъ и отпавшая, когда аффектъ прошелъ. Въ 1841 году эта „полоса“ была уже пройдена Бѣлинскимъ, и онъ, чистосердечно каясь въ письмѣ къ Боткину въ своихъ недавнихъ заблужденіяхъ, писалъ между прочимъ: „Послѣ этого (выходки противъ Мицкевича въ статьѣ о Менцелѣ) всего тяжелѣе мнѣ вспомнить о „Горе отъ ума“, которое я осудилъ съ художественной точки зрѣнія и о которомъ говорилъ свысока, съ пренебреженіемъ, не догадываясь, что это — благороднѣйшее, гуманическое произведеніе, энергическій (и притомъ еще первый) протестъ противъ гнусной расейской дѣйствительности, противъ чиновниковъ-взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ... свѣтскаго общества, противъ невѣжества, добровольнаго холопства“... Пелена спала съ глазъ, — и весь глубокій смыслъ и широкій захватъ сатиры Грибоѣдова предстали критику во всемъ своемъ общественно-политическомъ значеніи. И, разумѣется, теперь образъ Чацкаго оза-

рился для него другимъ свѣтомъ, и онъ долженъ былъ почувствовать интимное сродство этого образа съ своей собственной великой душой и понять всю трагедію „милліона терзаній“, всю живучесть ея...

Но вернемся къ статьѣ и посмотримъ, какъ тогда отзывался Бѣлинскій о Чацкомъ.

Въ пьесѣ онъ не усматривалъ идеи, отвергая мысль, что этою идеею является „противорѣчіе умнаго и глубокаго человѣка съ обществомъ, среди котораго онъ живетъ“. По его мнѣнію, такой идеи нѣтъ въ комедіи Грибоѣдова, ибо, во-первыхъ, Чацкій приходитъ въ столкновеніе не съ обществомъ, а только съ частью его (съ кругомъ Фамусовыхъ, Скалозубовъ и т. д.), во-вторыхъ же, потому, что Чацкій — совсѣмъ „не глубокій человѣкъ“. Первое возраженіе развивается такъ: „неужели же представители русскаго общества — все Фамусовы, Молчалины, Софьи, Загорѣцкіе, Хлестовы, Тугоуховскіе и имъ подобные?.. Нѣтъ, эти люди не были представителями русскаго общества, а только представителями одной стороны его; слѣдовательно, были другіе круги общества, болѣе близкіе и родственные Чацкому. Въ такомъ случаѣ, зачѣмъ же онъ лѣзъ къ нимъ и не искалъ круга болѣе по себѣ?“ (указ. изданіе, V, стр. 48). Не будемъ, да и не зачѣмъ, пускаться въ споръ съ Бѣлинскимъ и только отмѣтимъ здѣсь то, что̀ намъ нужно. Ошибка, въ которую онъ впалъ здѣсь, пожалуй, могла бы быть объяснена и безъ привлеченія къ дѣлу того „примирительнаго“ и консервативнаго настроенія, въ какомъ находился тогда великій критикъ. Въ подобную ошибку легко можно впасть, просто не распознавъ экспериментальнаго характера даннаго художественнаго произведенія и принявъ типы, въ немъ выведенные, за продуктъ наблюденія. Общество не состояло, конечно, изъ однихъ Фамусовыхъ, Скалозубовъ и прочихъ; но эти люди давали тонъ всему и являлись оплотомъ общественной реакціи. Присутствіе этого темнаго и нездороваго

элемента дѣлало возможными и аракчеевщину, и дѣятельность Магницкаго, Рунича и т. д. Рѣзкія филиппики Чацкаго мѣтили гораздо дальше благодушнаго Фамусова, ничтожнаго Молчалина, ограниченнаго Скалозуба. И возраженіе, что эти лица — не представители общества, должно быть устранено, какъ не идущее къ дѣлу. Но сдѣлать такое не идущее къ дѣлу возраженіе можно было и не находясь въ полосѣ „примиренія". Такъ, между прочимъ, случилось впослѣдствіи съ Писаревымъ, когда онъ совѣтовалъ Щедрину бросить „цвѣты невиннаго юмора" и заняться популяризаціей естественныхъ наукъ: Писаревъ не былъ „примиренъ" съ дѣйствительностью, а только не разглядѣлъ настоящаго смысла сатиры Щедрина; это случилось потому, что онъ не распозналъ ея художественнаго метода, чисто-экспериментальнаго, и за юморомъ не увидѣлъ того гнѣвнаго отрицанія, на которомъ были основаны художественные эксперименты великаго сатирика. Но что касается Бѣлинскаго, то при объясненіи его ошибки нельзя обойтись безъ указанія на пресловутое примиреніе съ дѣйствительностью, и при томъ — возведенное на степень аффекта. Ибо слишкомъ велика была художественная чуткость и проницательность великаго критика, и не могъ же онъ, если бы только не былъ въ ослѣпленіи, не уразумѣть общественнаго смысла комедіи и не понять, какъ слѣдуетъ, значенія рѣчей Чацкаго и глубокую психологію его драмы.

Но послушаемъ дальше: „И потомъ: что за глубокій человѣкъ Чацкій? Это просто крикунъ, фразеръ, идеальный шутъ, на каждомъ шагу профанирующій все святое, о которомъ говоритъ. Неужели войти въ общество и начать всѣхъ ругать въ глаза дураками и скотами значитъ быть глубокимъ человѣкомъ?.. Это новый Донъ-Кихотъ, мальчикъ на палочкѣ верхомъ, который воображаетъ, что сидитъ на лошади... Глубоко-вѣрно оцѣнилъ эту комедію кто-то, сказавшій, что это горе, — только не отъ у м а, а отъ у м н и ч а н ь я..."

Здѣсь не излишне вспомнить, что послѣднія строки имѣютъ въ виду оцѣнку, совершенно отрицательную, комедіи Грибоѣдова, сдѣланную М. А. Дмитріевымъ, посредственнымъ стихотворцемъ и литераторомъ, повидимому, изъ того же лагеря, къ которому принадлежали Фамусовы и прочіе. Онъ критиковалъ „Горе отъ ума" съ явно-консервативной точки зрѣнія[1],—и вотъ какъ отозвался на эту „критику" человѣкъ 20-хъ годовъ, Вильг. Кюхельбекеръ, записавшій въ своемъ дневникѣ (7-го февр. 1833 г.): „Нападки М. Дмитріева и его клевретовъ на „Горе отъ ума" совершенно показываютъ степень ихъ просвѣщенія, познаній и понятій. Но пусть они въ этомъ не виноваты; есть, однако же, въ ихъ статьяхъ такія вещи, за которыя ихъ можно бы обвинить передъ такимъ судомъ, котораго никакой писатель — съ талантомъ или безъ таланта, съ обширными свѣдѣніями или нѣтъ, — не долженъ терять изъ виду, — говорю о судѣ чести" [2]... („Русская Старина", 1875 г., сент., стр. 84).

Съ этимъ-то обскурантомъ, да еще злостнымъ, и сошелся великій критикъ.

---

[1]) Эту „критику" Дмитріева извлекъ изъ забвенья г. Суворинъ въ своей статьѣ, приложенной къ его извѣстному изданію „Горя отъ ума". О сопоставленіи у г. Суворина критики Бѣлинскаго съ критикою Дмитріева см. у Пыпина („Исторія русск. литературы", глава о Грибоѣдовѣ) и въ изданіи сочиненій Бѣлинскаго Венгерова, т. V, стр. 548.

[2]) Какъ видно изъ дальнѣйшаго, Дмитріевъ хвалилъ Грибоѣдова за удачные портреты. Цѣль была та, чтобы вооружить извѣстныхъ лицъ противъ пьесы и набросить тѣнь на „благонамѣренность". Кюхельбекеръ утверждаетъ, что „поэтъ никогда не былъ намѣренъ писать подобные портреты: его прекрасная душа была выше такихъ мелочей", — и говоритъ, что это извѣстно ему лично, потому что Грибоѣдовъ ему „первому читалъ каждое отдѣльное явленіе послѣ того, какъ оно было написано". — Кстати, подобное же настойчивое отрицаніе портретности лицъ комедіи въ статьѣ Полевого не было ли внушено, помимо прочаго, желаніемъ обезвредить литературный доносъ Дмитріева?

Въ рѣзкомъ и несправедливомъ отзывѣ Бѣлинскаго о Чацкомъ нельзя не видѣть слѣдовъ какого-то внутренняго возмущенія противъ направленія умовъ молодого поколѣнія въ 20-хъ годахъ и дальнѣйшихъ отголосковъ этого направленія у немногихъ отдѣльныхъ лицъ въ 30-хъ, напр., у Герцена и Огарева. Это станетъ очевиднымъ, если обратимъ вниманіе на слѣдующее. Въ томъ мѣстѣ статьи, гдѣ говорится, что Фамусовы и прочіе — не представители общества, пояснено: „Общество всегда правѣе и выше частнаго лица, и частная индивидуальность только до той степени и дѣйствительность, а не призракъ, до какой она выражаетъ собою общество" (слѣдов., борьба съ Фамусовымъ и проч. — это борьба съ призраками, а не съ „обществомъ").

Фраза — гегеліанская, но подъ нею скрывался особый мотивъ — протестъ противъ тѣхъ, которые, отрицая Фамусовыхъ и прочіе „призраки", мнили себя дѣятелями, двигателями общественной мысли. Не понимая, что такое общество (подъ этимъ терминомъ, очевидно, слѣдуетъ здѣсь понимать государство въ гегеліанскомъ смыслѣ), эти „либералы" приняли отживающихъ Фамусовыхъ за истинныхъ представителей „общества" и оказались „Донъ-Кихотами", „мальчиками на палочкѣ верхомъ" и т. д. Здѣсь, только въ другой формѣ, повторена сентенція письма 1837 года: „заниматься политикою могутъ только пустыя головы". Горячность, съ которою Бѣлинскій обрушивается на Чацкаго, была отзвукомъ жаркихъ споровъ съ Герценомъ, подзадоривавшихъ Бѣлинскаго и заставлявшихъ его доводить свою мысль до крайности. Есть свидѣтельство, дорисовывающее эту горячность спора въ эпоху, когда Бѣлинскій уже былъ близокъ къ перемѣнѣ настроенія и воззрѣнія. Анненковъ, упоминая о стычкахъ Бѣлинскаго съ Герценомъ, какъ онѣ описаны у послѣдняго, разсказываетъ далѣе: „Герценъ добавлялъ еще свое описаніе изустно слѣдующею подробностью. Когда, черезъ годъ послѣ перваго столкновенія съ

Бѣлинскимъ, Герценъ явился въ Петербургъ, онъ уже засталъ тамъ Бѣлинскаго и, разумѣется, возобновилъ съ нимъ распрю по поводу новаго ученія. И тогда-то,—расказывалъ Герценъ, — въ жару спора со мной, Бѣлинскій прибѣгъ къ аргументу, прозвучавшему необычайно дико въ его устахъ: „Пора намъ, братецъ",—сказалъ критикъ,—„посмирить нашъ бѣдный, заносчивый умишко и признаться, что онъ всегда окажется дрянью передъ событіями, гдѣ дѣйствуютъ народы съ своими руководителями и воплощенная въ нихъ исторія". По сознанію Герцена, онъ пришелъ въ ужасъ отъ этихъ словъ, тотчасъ же замолчалъ и удалился. Ему показалось, что тутъ совершилось какое-то отреченіе отъ правъ собственнаго разума, какое-то непонятное и чудовищное самоубійство" (Анненковъ, „Воспомин. и критич. очерки", III, 18). Этотъ разсказъ достаточно вразумительно поясняетъ то, что говоритъ Бѣлинскій (въ статьѣ о „Горе отъ ума") о Чацкомъ, о его умничаніи, а также и то, что говорится тамъ объ „обществѣ", которое „всегда правѣе и выше частнаго человѣка".

Въ другомъ мѣстѣ статьи, отзываясь о Чацкомъ значительно мягче, критикъ — такъ кажется — вспомнилъ своего молодого пріятеля-противника Герцена: если взять Чацкаго не какъ художественный образъ, а только какъ „выраженіе мыслей и чувствъ" автора, то онъ представится „уже съ другой точки зрѣнія". „У него много смѣшныхъ и ложныхъ понятій [1]), но всѣ они выходятъ изъ благороднаго начала, изъ бьющаго горячимъ ключомъ источника жизни. Его остроуміе вытекаетъ изъ благороднаго и энергическаго негодованія противъ того, что онъ справедливо или ошибочно почитаетъ дурнымъ и унижающимъ человѣ-

[1]) Куреивъ мой. — Какихъ? Мы знаемъ только одно такое: восхваленіе старорусскаго костюма и прославленіе „премудраго незнанія иноземцевъ", китайщины. — Повидимому, говоря „Чацкій", Бѣлинскій думалъ „Герценъ", понятія котораго онъ считалъ тогда ложными.

ческое достоинство, и потому его остроуміе такъ колко, сильно и выражается не въ каламбурахъ, а въ сарказмахъ...“ [1]) (указ. изд., V, стр. 88—89).

Такъ образъ Чацкаго впутывался въ споры, служа художественною формою мышленія, направленнаго на выработку понятій объ отношеніи личности къ „обществу“, къ дѣйствительности, о нравственномъ правѣ личности негодовать, протестовать, отрицать. То или иное отношеніе къ Чацкому являлось показателемъ направленія общественной мысли. Спорящіе исходили изъ отвлеченныхъ формулъ Гегеля, а орудовали, обращаясь къ русской дѣйствительности, художественными „формулами“ Грибоѣдова. Поэтъ 20-хъ годовъ помогалъ молодымъ идеалистамъ 30-хъ мыслить, спорить, отстаивать свои взгляды, вырабатывать общественныя идеи. Такое значеніе могутъ имѣть, такую услугу мысли могутъ оказывать только реальные художественные образы.

Любопытно отмѣтить, какъ рѣзко измѣнился взглядъ нашего критика на комедію Грибоѣдова съ той поры, когда онъ только еще искалъ „примиренія“ съ дѣйствительностью, именно съ 1834 года: въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ мы находимъ иной отзывъ о „Горе отъ ума“, въ существѣ совпадающій съ отзывомъ Полевого. Здѣсь мы читаемъ: „Комедія Грибоѣдова есть истинная divina comedia... ея персонажи давно были вамъ извѣстны въ натурѣ, вы видѣли, знали ихъ еще до прочтенія „Горя отъ ума“ и, однако же, вы удивляетесь имъ, какъ явленіямъ совершенно новымъ для васъ: вотъ высочайшая истина поэтическаго вымысла!“ Здѣсь мѣтко схвачена извѣстная особенность реальнаго искусства: его образы опираются на соотвѣтственныя данныя обыденно-художественнаго мышленія, но перерабатываютъ ихъ такъ, что въ результатѣ получается нѣчто какъ бы новое. — Но только причемъ тутъ „divina comedia“?

[1]) Послѣднее, повидимому, уже маленькая шпилька по адресу Герцена, который часто прибѣгалъ въ спорѣ къ каламбурамъ.

„Лица, созданныя Грибоѣдовымъ, — продолжаетъ критикъ,— не выдуманы, а сняты съ натуры во весь ростъ, почерпнуты со дна дѣйствительной жизни; у нихъ не написано на лбахъ ихъ добродѣтелей и пороковъ; но они заклеймены печатью своего ничтожества, заклеймены мстительною рукою палача-художника...“ Затѣмъ, воздавъ должное языку Грибоѣдова, Бѣлинскій заключаетъ свой отзывъ утвержденіемъ, что, несмотря на нѣкоторые недостатки, пьеса Грибоѣдова есть произведеніе „образцовое“ и „геніальное“, и что русская литература „лишилась въ Грибоѣдовѣ Шекспира комедіи“ (указ. изд., т. I, стр. 373).

Чтобы отъ этого взгляда перейти къ тому, который изложенъ въ статьѣ о „Горе отъ ума“, нужно было сдѣлать много шаговъ впередъ по пути „примиренія“ съ дѣйствительностью и дойти до безповоротнаго осужденія стремленій дѣятелей 20-хъ годовъ. Эти шаги и были сдѣланы Бѣлинскимъ въ періодъ отъ 1835 до 1839 года, когда и была написана статья о „Горе отъ ума“, появившаяся въ № 1-мъ „Отечеств. Записокъ“ 1840 года.

3.

„Примиреніе“ съ дѣйствительностью, хотя бы частичное и очень условное, было психологическою необходимостью. Въ полномъ разладѣ съ дѣйствительностью могутъ жить только натуры не отъ міра сего. Бѣлинскій не принадлежалъ къ ихъ числу. Онъ былъ глубоко чувствующая и мыслящая натура съ ясно выраженнымъ призваніемъ дѣятеля жизни, борца за идеалъ — и ему, какъ и другимъ, ему подобнымъ, психологически невозможно было игнорировать дѣйствительность и успокоиться на сознаніи своего разлада съ нею. Психологическая потребность, о которой мы говоримъ, состоитъ въ томъ, чтобы, чувствуя свой разладъ съ дѣйствительностью, найти въ

ней же какую-либо точку опоры, хотя бы воображаемую. Такъ, старые славянофилы „нашли“ опору себѣ въ патріотическомъ культѣ идеализированныхъ „древле-русскихъ“ началъ... Позже народники „нашли“ себѣ могущественную — воображаемую — опору въ идеализированномъ ими народѣ... Бываетъ и такъ, что для отысканія точки опоры стоитъ только не разсчитать своихъ силъ и вообразить, что „времена созрѣли“ или „мы созрѣли“, — вообще, сдѣлать хронологическую ошибку. Къ этому роду иллюзій принадлежатъ также разные виды идеализаціи дѣйствительности или нѣкоторыхъ ея сторонъ. Все это только обнаруживаетъ глубокую психологическую потребность искать опоры или основы для своей дѣятельности въ самой жизни, въ дѣйствительности.

Молодые идеалисты 30-хъ годовъ живо чувствовали эту потребность. Это былъ для нихъ вопросъ жизни. Онъ гласилъ: какъ имъ быть, какъ имъ жить и дѣйствовать, въ какомъ уголку дѣйствительности можно было бы имъ устроиться съ ихъ идеализмомъ, и притомъ такъ, чтобы оттуда вліять на дѣйствительность?

Отъ того или иного разрѣшенія этого вопроса зависѣло, почувствуютъ ли они въ себѣ Чацкаго, или нѣтъ, и если почувствуютъ, то какой оборотъ приметъ у нихъ душевная драма „милліона терзаній“.

Если въ эпоху первой половины 20-хъ годовъ воображали, будто опора уже есть, и можно не только жить, но и дѣйствовать, то 30-е годы были эпохою мучительно-напряженнаго испытанія дѣйствительности съ цѣлью такъ или иначе пристроить въ ней или къ ней свой идеализмъ.

А время было глухое. „Дѣйствительность являлась въ видѣ компактнаго цѣлаго, всѣ элементы котораго казались чрезвычайно согласованными между собою, и все вмѣстѣ производило впечатлѣніе необычайно прочнаго сооруженія, монолита, незыблемо покоившагося на фундаментѣ крѣпостного права.

И всякій въ тѣ времена, кто такъ или иначе чувствовалъ, что начинаетъ расходиться съ дѣйствительностью, тѣмъ самымъ чувствовалъ себя одинокимъ, отщепенцемъ, и оказывался въ положеніи Чацкаго, но только безъ тѣхъ „преимуществъ", какими располагали многочисленные „Чацкіе" первой половины 20-хъ годовъ, имѣвшіе возможность дѣлать „хронологическія ошибки". Для идеалистовъ 30-хъ годовъ „хронологія" была установлена съ ясностью и авторитетностью, не допускающими никакихъ иллюзій. Оставалась возможность только одной иллюзіи: искать такъ называемаго „примиренія съ дѣйствительностью".

Этому примиренію вовсе не нужно было становиться непремѣнно идейнымъ, принципіальнымъ. Это было по существу примиреніе психологическое, т.-е. такое, которое выражалось въ новомъ настроеніи и новомъ отношеніи къ дѣйствительности, вполнѣ совмѣстимомъ съ нравственнымъ и идейнымъ отчужденіемъ отъ нея.

Представителями этой разновидности „примиренія" являлись преимущественно немногія лица изъ старшаго поколѣнія, какъ Пушкинъ, Чаадаевъ, М. Ѳ. Орловъ, кн. Одоевскій, кн. Вяземскій, Александръ Тургеневъ и др. Нѣкоторые изъ нихъ въ свое время—въ 10-хъ годахъ и въ началѣ 20-хъ—были настоящими Чацкими (какъ, напр., М. Ѳ. Орловъ); теперь они скорѣе походили на томящихся въ бездѣйствіи Онѣгиныхъ. Настроеніе, ихъ отличавшее или, если можно такъ выразиться, „имъ приличествовавшее", меланхолически прозвучало въ грустныхъ нотахъ поэзіи Пушкина 30-хъ годовъ.

Это были люди зрѣлаго возраста, и имъ оставалось доживать свой вѣкъ, что они и дѣлали, какъ умѣли...

Въ другомъ положеніи была молодежь, только что вступившая въ сознательную жизнь. Не доживать, а строить свою жизнь, вырабатывать ея нравственныя основы, устанавливать ея идейныя цѣли—составляло задачу новыхъ при-

шельцевъ, юныхъ работниковъ на едва вспаханной нивѣ русской культуры и мысли. И прежде всего имъ нужно было выяснить свои отношенія къ дѣйствительности.

Наиболѣе типичнымъ представителемъ этого поколѣнія въ первое время былъ кружокъ Станкевича, гдѣ отношеніе молодыхъ идеалистовъ къ дѣйствительности опредѣлилось въ томъ смыслѣ, что они просто отвернулись отъ нея и думали найти внутренній міръ и удовлетвореніе запросамъ мысли и совѣсти въ самовоспитаніи, въ саморазвитіи при помощи философіи, религіи и искусства. Эти юноши были полны душевныхъ силъ, въ ихъ ряду были выдающіеся умы и дарованія; они сразу поднялись надъ окружающей средою, и все труднѣе становилось имъ приспособиться къ жизни. Отчужденіе отъ дѣйствительности подсказывало имъ рискованную мысль, что для „высшей жизни духа“ нѣтъ надобности интересоваться общественными вопросами, — и они изъ своей „программы“ исключили „политику“. Въ этомъ и состояло ихъ такъ называемое „примиреніе съ дѣйствительностью“, — да, пожалуй, съ теченіемъ времени оно и въ самомъ дѣлѣ могло бы превратиться въ настоящее примиреніе, если бы на почвѣ такого отчужденія отъ жизни у нихъ развился индифферентизмъ. Но — пока — они были застрахованы отъ этого молодостью, жаждою знаній и впечатлѣній, высшими интересами, культомъ идеала, хотя бы и неопредѣленнаго. Къ тому же ихъ очень занимали вопросы нравственнаго сознанія, — они искали внутренняго мира, — а это такъ или иначе ставило передъ ними вопросъ объ отношеніи къ дѣйствительности, слѣдовательно, неизбѣжна была и критика этой послѣдней.

Этотъ вопросъ и былъ поставленъ Герценомъ, — и закипѣли кружковые споры, положительнымъ результатомъ которыхъ было то, что уже стало невозможнымъ безъ дальнихъ разговоровъ отстраняться отъ дѣйствительности и отвергать задачи, вытекавшія изъ ея критики.

Философскій покой, казалось, — почти достигнутый, былъ нарушенъ; „примиреніе“ не давалось („не вытанцовывалось“, выражаясь любимымъ словечкомъ Бѣлинскаго), оно являлось какою-то фикціею, чѣмъ-то искусственнымъ. Его сторонникамъ, если они не хотѣли пойти на уступки, оставалось одно — взять подъ свою защиту самую дѣйствительность, отразить нападки на нее и постараться доказать, что эта дѣйствительность вовсе не такъ ужъ безнадежна, что не должно смѣшивать ея временнаго, преходящаго проявленія (ея „опредѣленія“ — по философской терминологіи) съ ея сущностью, наконецъ, что она не нуждается въ воздѣйствіи со стороны и сама собою идетъ впередъ, къ лучшему будущему. На этотъ-то путь защиты самой дѣйствительности и выступилъ самый горячій, смѣлый и послѣдовательный изъ молодыхъ идеалистовъ, искавшихъ „примиренія“, — В. Г. Бѣлинскій. Онъ блестяще и страстно проводилъ эту мысль въ статьяхъ второй половины 30-хъ годовъ, а также въ письмахъ и спорахъ. Но чего это ему стоило! Это было отчаянное усиліе отстоять безнадежную „позицію“. Подъ рѣшительностью и безоглядностью утвержденій критика скрывалась цѣлая драма внутреннихъ бореній и сомнѣній. „Внутренняя жизнь Бѣлинскаго, — свидѣтельствуетъ Анненковъ, — въ эту эпоху представляла раздвоеніе поистинѣ трагическое и исполнена была страданій и сомнѣній, которыя по временамъ онъ и открывалъ собесѣдникамъ въ рѣзкомъ и неожиданномъ словѣ, можно сказать, въ воплѣ истерзанной души. Онъ судорожно и отчаянно держался за новыя свои вѣрованія, но съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе чувствовалъ, что они мѣняются, тускнутъ и испаряются на собственныхъ глазахъ“ („Воспоминан. и критич. очерки“, III, стр. 33).

Гегелевская философія, какъ онъ ее понялъ, дала только новое оружіе, новые аргументы въ защиту „позиціи“, которую онъ уже занялъ. Оттого такъ обрадовался онъ, когда

узналъ, что „сила есть право и право есть сила", и что „все дѣйствительное — разумно и все разумное — дѣйствительно". Оставалось только приложить эти формулы къ русской дѣйствительности того времени и показать ея „разумность"... И онъ это дѣлалъ — страстно, безоглядно, не боясь крайнихъ выводовъ, доходя до явныхъ несообразностей, — и, естественно, пришелъ къ тому, что, наконецъ, глаза его раскрылись, онъ увидѣлъ дѣйствительность въ ея настоящемъ свѣтѣ и понялъ, что примиреніе невозможно.

4.

Нетрудно видѣть, что защита или оправданіе дѣйствительности, предпринятыя Бѣлинскимъ, были возможны только при условіи, какъ можно дальше стоять отъ нея, какъ можно усерднѣе отворачиваться отъ нея. Напротивъ, отвергнуть „примиреніе" значило повернуться лицомъ къ дѣйствительности, подойти къ ней поближе.

Я уже указалъ на то, что удаленіе отъ дѣйствительности, отрицательное отношеніе къ общественнымъ вопросамъ и политикѣ и — на этой почвѣ своеобразное „примиреніе" съ дѣйствительностью, все это означало, что молодые идеалисты были заняты другимъ дѣломъ — самовоспитаніемъ, развитіемъ своей личности и стремленіемъ жить „высшею жизнью духа". Ихъ предшественники, люди 10 — 20 годовъ, также очень усердно занимались своимъ умственнымъ развитіемъ и много работали надъ собою. То же самое слѣдуетъ сказать и о лучшихъ людяхъ послѣдующаго времени, въ особенности тѣхъ, которые учились и развивались въ 40 и 50 годахъ; въ ихъ ряду первое мѣсто принадлежитъ Чернышевскому и Добролюбову, которые представляли собою образецъ натуръ не только исключительно-возвышенныхъ, но также исключительно-цѣльныхъ (отъ природы) и гармонично-воспитанныхъ въ сознательной

и упорной работѣ надъ собою. Итакъ, самовоспитаніе, работа надъ собою — это не была какъ бы монополія поколѣнія 30-хъ годовъ. И тѣмъ не менѣе люди 30-хъ годовъ рѣзко выдѣляются именно этою стороною. Дѣло въ томъ, что они дѣлали это такъ и въ такихъ размѣрахъ, какъ не дѣлалось это никогда, ни раньше, ни послѣ. И въ этомъ отношеніи не было большой разницы между кругомъ Станкевича, съ одной стороны, и кругомъ Герцена и Огарева, съ другой, ибо и эти послѣдніе, хотя и выдвигали впередъ общественныя задачи, но, можно сказать, добрыхъ ²⁄₃ своихъ богатыхъ умственныхъ и нравственныхъ силъ потратили (въ то время) на утонченную разработку своей личности, на вникаіне во всѣ оттѣнки и переливы чувствъ, настроеній, мыслей, — вообще „носились" со своимъ „я" слишкомъ много, слишкомъ усердно. Эта черта, бьющая въ глаза и порою странно поражающая насъ, когда читаемъ ихъ переписку и другіе документы (напр., дневникъ Герцена), находилась въ тѣсной психологической связи съ ихъ экзальтированностью и склонностью къ аффекту, о чемъ мы говорили выше.

Явленіе это, съ точки зрѣнія „душевной гигіены", какъ личной, такъ и общественной, не можетъ считаться нормальнымъ. Нездорово, ненормально слишкомъ носиться со своимъ „я". Излишняя утонченность самовоспитанія, избытокъ рефлексіи, слишкомъ усердная гимнастика ума и чувства, крайности самоанализа — все это легко можетъ кончиться тѣмъ, что человѣкъ не воспитаетъ себя въ смыслѣ цѣнной общественной величины, умственной и нравственной, а только вырастить изъ себя утонченнаго эгоиста, дилетанта высокихъ чувствъ, сибарита искусства и философіи и вмѣстѣ съ тѣмъ — общественнаго недоросля. Кое съ кѣмъ изъ „людей 40-хъ годовъ" такъ и случилось. Конечно, Бѣлинскій и Герценъ были отъ этого застрахованы исключительно счастливою природною организаціей своего духа во-

обще, своей совѣсти — въ частности. Но и они потратили непропорціонально-большую часть своихъ душевныхъ силъ на то, что можно бы назвать „психическимъ уходомъ" за собою.

Все это говорится не въ осужденіе. Пусть, какъ сказано выше, такой путь развитія, такой излишне-тщательный „уходъ за собой" ненормаленъ, не чуждъ чего-то болѣзненнаго, но вѣдь исторія не идетъ „нормальнымъ" путемъ, по правиламъ „психологической гигіены". Роды исторіи болѣзненны, а всего болѣзненнѣе или, по крайней мѣрѣ, труднѣе тѣ роды исторіи, плодомъ которыхъ является самоопреляющаяся, освободившаяся отъ стадности личность. Быть хорошимъ „обывателемъ", общественнымъ дѣятелемъ, даже „гражданиномъ" человѣку гораздо легче, чѣмъ сдѣлаться человѣчно-мыслящею и гуманно-чувствующею личностью, не затеривающеюся въ массѣ и выступающею на фонѣ общественности со своимъ особымъ — необщимъ — выраженіемъ [1]), съ незауряднымъ содержаніемъ души. Это такъ трудно, такъ рѣдко и такъ цѣнно, что бывали эпохи (напр., эпоха „возрожденія"), когда къ этому пункту, къ выработкѣ личности, и сводился главный интересъ историческаго момента, и имъ же опредѣлялось значеніе этого момента для будущаго, для человѣчества.

Соціальныя чувства, тяготѣніе индивидуума къ своей соціальной средѣ (классу, націи, отечеству и т. д.), наконецъ, крайнее выраженіе этого въ самопожертвованіи человѣка интересамъ цѣлаго, какъ онъ ихъ понимаетъ, все это коренится въ соціальномъ (стадномъ) инстинктѣ и культивировалось исконн. „Гражданскія добрести" стары почти такъ же, какъ человѣчество. Напротивъ, личность, продуктъ долгаго развитія прогрессирующей части человѣчества, есть

---

[1]) Беру терминъ („необщее выраженіе") изъ одного стихотворенія Баратынскаго.

явленіе сравнительно новое, хотя возникало уже въ древности; подготовленная раздѣленіемъ труда, общественной дифференціаціей, личность въ разныя эпохи, у разныхъ народовъ возникала и угасала, чтобы потомъ возродиться вновь, и этотъ процессъ ея возникновенія, развитія, борьбы съ нивеллирующей силой общественности, повидимому, всегда выражался въ тѣхъ болѣзняхъ мысли и совѣсти, симптомами которыхъ были различныя философскія системы, моральныя и иныя ученія, а также созданія искусства.

То, что въ большомъ масштабѣ совершалось въ исторіи человѣчества, въ маломъ масштабѣ повторяется въ исторіи отдѣльныхъ запоздавшихъ народовъ, а также и въ жизни отдѣльныхъ лицъ, и здѣсь-то этотъ процессъ наиболѣе доступенъ психологическому наблюденію.

Изучая жизнь и дѣятельность, переписку и сочиненія нашихъ идеалистовъ 30—40-хъ годовъ, мы ясно видимъ, что это былъ процессъ дотолѣ небывалаго на Руси развитія личности. Онъ протекалъ въ философскихъ томленіяхъ мысли, въ своеобразныхъ недугахъ нравственнаго чувства, въ мукахъ совѣсти, въ религіозныхъ исканіяхъ, въ истомѣ высшихъ запросовъ духа. И все это было такъ ново и необычно, что сами носители этихъ чувствъ, запросовъ, мыслей и т. д. съ недоумѣніемъ и изумленіемъ останавливались передъ зрѣлищемъ внутренней работы духа, совершавшейся въ нихъ. Это внутреннее недоумѣніе и изумленіе и является началомъ высшей рефлексіи и пробужденіемъ личности отъ сна готовыхъ понятій, унаслѣдованныхъ привычекъ, установленныхъ моральныхъ отношеній. Чтобы, какъ слѣдуетъ, пробудиться отъ этого сна, нужно было „заболѣть философіею, моралью, религіею“— какъ болѣло ими, въ большихъ размѣрахъ, человѣчество,— и почувствовать „духовную жажду“, страстное стремленіе къ „высшей жизни духа“.

„Духовной жаждою томимы“, наши идеалисты 30-хъ го-

довъ являютъ изумительную картину своеобразной душевной жизни, внутренней борьбы, — картину, какой мы не найдемъ у послѣдующихъ дѣятелей, какъ не видимъ ея и у предшествовавшихъ.

То, что они пережили годами въ интенсивной работѣ духа съ частными „кризисами“, мы, ихъ духовные потомки, переживаемъ быстро, незамѣтно. Имъ выпало на долю выстрадать нарожденіе и образованіе личности на Руси. И именно они-то по преимуществу и являются родоначальниками нашего развитія. Это была ихъ историческая миссія, и съ этой-то точки зрѣнія и слѣдуетъ судить о нихъ. Становясь на эту точку зрѣнія, мы легко поймемъ многое въ ихъ жизни, что на первый взглядъ кажется страннымъ, причудливымъ, мы поймемъ ихъ вѣчно-бодрствующую рефлексію и уже безъ большой скуки и, порою, досаднаго чувства дочитаемъ до конца тѣ, большею частью очень длинныя, письма ихъ, гдѣ они разбираются въ тонкостяхъ своихъ чувствъ и настроеній, исповѣдуются другъ передъ другомъ, выкапываютъ со дна души мельчайшія движенія тайныхъ помысловъ и, философски анализируя ихъ, стараются достичь высоты самосознанія и точности самоопредѣленія, призывая на помощь и Гегеля, и Гете, и искусство, и религію, и исторію человѣчества.

И они достигали большой высоты и большой утонченности душевной жизни...

Но человѣку свойственно засыпать не только на лонѣ непосредственности, среди общаго умственнаго сна, но и на лонѣ „высшей жизни духа“, гдѣ также есть много такого, что убаюкиваетъ.

Убаюканные высшими радостями мысли, наслажденіемъ искусствомъ, всею роскошью личной душевной жизни, идеалисты были близки къ опасности стать ненужными. Герценъ понялъ опасность раньше всѣхъ. Но лучше всѣхъ созналъ ее Бѣлинскій, выразившій это сознаніе въ слѣдую-

щихъ знаменательныхъ словахъ, въ которыхъ рѣзко обозначился поворотъ отъ узко-личной, хотя и „высшей", работы духа къ иной его работѣ, его страдѣ, можетъ быть— не столь „возвышенной", но безусловно необходимой для того, чтобы пробудились къ человѣчности спящія національныя силы, и чтобы сами идеалисты не заснули: „...идея общества охватила меня крѣпче,—и пока въ душѣ останется хоть искра, а въ рукахъ держится перо,—я дѣйствую. Мочи нѣтъ,—куда ни взглянешь, чувства оскорбляются. Что мнѣ за дѣло до кружка: во всякой стѣнѣ, хотя бы и не китайской, плохое убѣжище. Вотъ уже нашъ кружокъ и разсыпался, еще больше разсыплется, а куда приклонить голову, гдѣ сочувствіе, гдѣ пониманіе, гдѣ человѣчность? Нѣтъ, къ чорту всѣ высшія стремленія и цѣли[1])! Мы живемъ въ страшное время, судьба налагаетъ на насъ схиму: мы должны страдать, чтобы нашимъ внукамъ было легче жить... Умру на журналѣ и въ гробъ велю положить подъ голову книжку „Отечеств. Записокъ"[2]). Я литераторъ—говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ съ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. Литературѣ расейской моя жизнь и моя кровь. Теперь стараюсь поглупѣть, чтобы расейская публика лучше понимала меня..." (Письмо къ Боткину 1841 г.).

Такъ въ лицѣ великаго критика отвлеченный идеализмъ 30-хъ годовъ проснулся—въ 40-хъ—для „милліона терзаній", для живой дѣятельности, руководимой реализмомъ общественной мысли, чтобы лицомъ къ лицу съ дѣйствительностью повторить въ новомъ видѣ всѣ негодованія и всю драму Чацкаго.

---

[1]) Курсивъ мой. Подъ этимъ, конечно, нужно понимать ту изысканность душевной жизни и отвлеченность стремленій, которыя «культивировали» идеалисты въ своемъ тѣсномъ кругу, рискуя оказаться «лишними» и ненужными.

[2]) Курсивъ мой.

ГЛАВА IV.

Евгеній Онѣгинъ во второй половинѣ 20-хъ годовъ.

1.

Онѣгинъ, какъ художественный образъ, какъ типъ, былъ въ 20-хъ и 30-хъ годахъ далеко не то, чѣмъ сталъ онъ позже, и чѣмъ является для насъ въ настоящее время. Говоря такъ, мы различаемъ бытовое значеніе типа отъ его общественно-психологическаго значенія. Бытовое въ тѣсномъ смыслѣ значеніе Онѣгина пошло на убыль уже въ 40-хъ годахъ, когда измельчалъ и, такъ сказать, вывѣтрился въ самой жизни типъ великосвѣтскаго либерала, не знающаго, что дѣлать съ собою, за что взяться, и за неимѣніемъ лучшаго занятія позирующаго, „ломающагося" болѣе или менѣе удачно маскируя свое душевное содержаніе или свою душевную безсодержательность. Въ бытовомъ отношеніи люди этого сорта въ 40-хъ годахъ и позже могли живо напоминать Пушкинскаго Онѣгина,— и однако же этотъ образъ не распространился на нихъ: въ этомъ направленіи его обобщающее дѣйствіе остановилось на исходѣ 30-хъ годовъ. Но это не значило, что образъ потерялъ всякій интересъ и былъ сданъ въ архивъ: онъ получилъ иное значеніе. Дѣло въ томъ, что въ теченіе 40-хъ и 50-хъ годовъ жизнь выработала, а

послѣдующая художественная литература (съ 50-хъ годовъ обобщила и объяснила типъ лишняго человѣка, какъ явленіе, по преимуществу русское и представляющее высокій общественно-психологическій интересъ. И когда этотъ типъ сложился и обнаружился съ достаточною яркостью, тогда стало ясно, что Онѣгинъ Пушкина и былъ истиннымъ „родоначальникомъ лишнихъ людей", и вмѣстѣ съ тѣмъ возросъ и интересъ къ этому образу, да и самъ онъ наполнился новымъ содержаніемъ. Ниже, въ главѣ V, мы увидимъ, какъ появленіе въ самомъ началѣ 40-хъ годовъ типа Печорина оживило и вызвало къ новой жизни образъ Онѣгина.

Согласно съ основной идеей и задачей этихъ очерковъ, мы постараемся опредѣлить связь образа Онѣгина съ самою дѣйствительностью сперва — его же эпохи, а потомъ и послѣдующихъ.

Онѣгинъ, какъ Чацкій, прежде всего — представитель образованнаго общества 20-хъ годовъ, именно той его части, въ которой по преимуществу сосредоточивалось броженіе и движеніе умовъ въ ту эпоху. Но между Чацкимъ и Онѣгинымъ есть важное различіе: первый принадлежалъ къ лучшимъ людямъ эпохи, второй — человѣкъ, немногимъ лишь возвышающійся надъ среднимъ уровнемъ свѣтскихъ, по-тогдашнему образованныхъ и затронутыхъ идеями вѣка молодыхъ людей. Онъ уменъ, но въ умѣ его нѣтъ ни глубокомыслія, ни возвышенности; „идеологія" не чужда ему, и онъ, пожалуй, имѣетъ нѣкоторое право смотрѣть на свою среду, на „толпу" (своего круга, на „свѣтскую чернь", какъ тогда выражались) сверху внизъ, съ презрѣніемъ; но онъ, несомнѣнно, злоупотребляетъ этимъ „правомъ", потому что во многихъ отношеніяхъ онъ — значительно ниже лучшихъ людей эпохи: въ немъ не могли бы узнать себя ни Н. И. Тургеневъ, ни Веневитиновъ, ни кн. Сергѣй Волконскій, ни кн. Трубецкой, ни Пущинъ и т. д. Зато многіе

другіе, стоявшіе ближе къ среднему уровню, легко находили въ Онѣгинѣ свои черты, свою позу и фразу, свой складъ ума „холоднаго“ и „озлобленнаго“, свои душевныя противорѣчія.

Послушаемъ отзывы о немъ современниковъ, именно тѣхъ, которые, принадлежа къ тому же кругу, не могли узнать себя въ чертахъ героя перваго у насъ „соціальнаго романа“.

Самый замѣчательный отзывъ принадлежитъ Веневитинову, безспорно — одному изъ самыхъ выдающихся людей эпохи. Я имѣю въ виду замѣтку о второй „пѣснѣ“ „Евг. Онѣгина“, появившуюся въ 4-хъ №№ „Моск. Вѣстника“ (издан. Погодинымъ) 1828 года (послѣ смерти автора), гдѣ читаемъ: „Вторая пѣснь по изобрѣтенію и изображенію характеровъ несравненно превосходнѣе первой. Въ ней уже исчезли слѣды впечатлѣній, оставленныхъ Байрономъ, и въ „Сѣверной Пчелѣ“ напрасно сравниваютъ Онѣгина съ Чайльдъ-Гарольдомъ. Характеръ Онѣгина принадлежитъ нашему поэту и развитъ оригинально. Мы видимъ, что Онѣгинъ уже испытанъ жизнью; но опытъ поселилъ въ немъ не страсть мучительную, не ѣдкую и дѣятельную досаду, а скуку, наружное безстрастіе, свойственное русской холодности (мы не говоримъ — русской лѣни). Для такого характера все рѣшаютъ обстоятельства. Если они пробудятъ въ Онѣгинѣ сильныя чувства, мы не удивимся: — онъ способенъ быть минутнымъ энтузіастомъ и повиноваться порывамъ души. Если жизнь его будетъ безъ приключеній, онъ проживетъ спокойно, разсуждая умно, а дѣйствуя лѣниво“ [1]) (Полное собраніе сочиненій Д. В. Веневитинова, изд. А. П. Пятковскаго, 1862 г., стр. 225—226).

[1]) Я уже имѣлъ случай цитировать эту мѣткую характеристику Онѣгина въ статьѣ «Пушкинъ, какъ художественный геній» («Вопрось психологіи творчества», 1902 г., стр. 25), гдѣ указалъ и на то, что она легко распространяется на всю серію типовъ, «родоначальникомъ» которыхъ былъ Онѣгинъ.

Вотъ именно — „русская холодность“, плохая работоспособность, неумѣніе увлечься какимъ-либо дѣломъ или идеею и большое умѣніе скучать,— таковы характерныя черты Онѣгина, какъ типа психологическаго, гораздо болѣе важныя, чѣмъ его бытовые признаки. Эти-то черты и дѣлаютъ Онѣгина натурою заурядною. Не являть „русской холодности“, быть не только человѣкомъ, дѣйствующимъ не лѣниво, и притомъ — не въ исключительныхъ условіяхъ какихъ-либо сильныхъ воздѣйствій или „приключеній“, а постоянно, при обычномъ теченіи жизни,— это значило тогда, какъ и потомъ, быть натурой исключительной, высоко подымающейся надъ среднимъ уровнемъ слабыхъ характеровъ, недѣятельныхъ, праздно-любопытныхъ умовъ.

Въ этомъ отзывѣ Веневитинова ясно сказался взглядъ на Онѣгина сверху внизъ: это — сужденіе выдающагося, исключительно одареннаго дѣятеля своего времени о человѣкѣ заурядномъ, но не лишенномъ извѣстныхъ положительныхъ качествъ ума и души.

Болѣе рѣзко высказался объ Онѣгинѣ другой замѣчательный дѣятель, начинавшій тогда свою литературную карьеру, Иванъ Вас. Кирѣевскій, въ то время убѣжденный и послѣдовательный „западникъ“. Сравнивая Онѣгина съ Чайльдъ-Гарольдомъ, онъ отмѣчаетъ безыдейность и душевную пустоту пушкинскаго героя и также то, что онъ — натура обыкновенная, заурядная: „...Онѣгинъ есть существо совершенно обыкновенное и ничтожное. Онъ также равнодушенъ ко всему окружающему; но не ожесточеніе, а неспособность любить сдѣлало его холоднымъ. Его молодость также прошла въ видѣ забавъ и разсѣянія; но онъ не завлеченъ былъ кипѣніемъ страстной, ненасытной души, но на паркетѣ провелъ пустую, холодную жизнь моднаго франта... Онъ не живетъ внутри себя жизнью особенною, отмѣнною отъ жизни другихъ людей, и презираетъ человѣчество потому только, что не умѣетъ уважать его. Нѣтъ

ничего обыкновеннѣе такого рода людей[1]), и всего меньше поэзіи въ такомъ характерѣ... Самъ Пушкинъ, кажется, чувствовалъ пустоту своего героя и потому нигдѣ не старался коротко познакомить съ нимъ своихъ читателей (?). Онъ не далъ ему опредѣленной физіогноміи (?), и не одного человѣка, но цѣлый классъ людей представилъ онъ въ его портретѣ: тысячѣ различныхъ характеровъ можетъ принадлежать описаніе Онѣгина[1]) („Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина", статья, написанная, когда появилось только 5 главъ „Евг. Он.", и помѣщенная въ „Москов. Вѣстникѣ" 1828 г., часть 8, стр. 171—196, безъ подписи автора; перепечатана въ „Полномъ собраніи сочиненій И. В. Кирѣевскаго", М. 1861 г., т. I, стр. 5 и сл.)[2]).— Приговоръ Кирѣевскаго представляется мнѣ слишкомъ суровымъ: Онѣгинъ во всякомъ случаѣ не можетъ быть названъ ничтожествомъ. Но вѣрно и любопытно указаніе Кирѣевскаго на типичность и заурядность Онѣгина: такихъ, какъ онъ, было много. Изъ рѣзкаго тона, взятаго Кирѣевскимъ, явствуетъ только, что молодой критикъ сознавалъ себя выше такихъ людей и презиралъ ихъ и ту среду, въ которой они вращались. Это презрѣніе помѣшало ему разглядѣть нѣчто положительное въ Онѣгинѣ, котораго можно назвать человѣкомъ заурядньмъ, избалованнымъ, неспособнымъ къ труду, къ серьезному дѣлу и т. д., но нельзя назвать душевно-„пустымъ". Онъ велъ вначалѣ пустую жизнь, но она ему прискучила именно своею пустотою,— онъ не удовлетворился ею. Перенеся впечатлѣніе пустоты отъ образа жизни Онѣгина на него самого, на его натуру, Кирѣевскій по этому ложному пути пошелъ еще дальше: онъ перенесъ это впечатлѣніе на самый романъ (на первыя 5 главъ его)

---

[1]) Курсивъ мой.

[2]) Приведенное мѣсто—на стр. 15—16.

и говоритъ: „эта пустота главнаго героя была, можетъ быть, одною изъ причинъ пустоты содержанія первыхъ пяти главъ романа“. (Тамъ же, стр. 16, „Полн. собр. соч.“, т. I).—Надо замѣтить при этомъ, что Кирѣевскій отнюдь не принадлежалъ къ числу тѣхъ, которые въ то время старались развѣнчать Пушкина, какъ, напр., Каченовскій, Надеждинъ, Булгаринъ, отчасти Полевой. Напротивъ, Кирѣевскій былъ горячимъ поклонникомъ Пушкина,— и въ той статьѣ, откуда мы взяли наши выдержки, является даже панегиристомъ великаго поэта.

Сужденіе Кирѣевскаго объ Онѣгинѣ показываетъ, что у него, какъ и у Веневитинова и другихъ, былъ свой обыденно-художественный образъ, обобщавшій людей этого типа, и что Кирѣевскій составилъ себѣ извѣстное мнѣніе о нихъ — болѣе отрицательное, чѣмъ мнѣніе Веневитинова. При этомъ критикъ не принимаетъ въ соображеніе взгляда самого Пушкина, очень ясно сказавшагося въ романѣ. И неизвѣстно, чего собственно хотѣлъ бы молодой критикъ: чтобы поэтъ отнесся къ Онѣгину еще строже, еще отрицательнѣе, или чтобы онъ вмѣсто Онѣгина далъ образъ болѣе положительный, характеръ болѣе высокій? — Во всякомъ случаѣ, Кирѣевскій не предугадалъ общественнаго значенія типа Онѣгина и не уразумѣлъ его психологіи.

2.

Сужденія объ Онѣгинѣ такихъ лицъ, какъ Веневитиновъ, Кирѣевскій, Бестужевъ (Марлинскій) и др., любопытны между прочимъ въ томъ отношеніи, что здѣсь Онѣгинъ рисуется и осуждается, какъ типъ классовый, и притомъ — судьями, которые сами принадлежали къ тому же общественному классу.

Онѣгинъ — въ нашей литературѣ — первый, по времени, классовый типъ, т.-е. образъ, въ которомъ выра-

зились характерныя черты психологіи извѣстнаго, именно — верхняго, общественнаго слоя, при чемъ эти черты далеко не идеализированы. Отрицательное отношеніе къ Онѣгину незамѣтно могло переходить въ критику его классовой психологической формы. Въ этомъ отношеніи есть замѣтная разница между нимъ и Чацкимъ: въ послѣднемъ черты классовыя затушеваны и заслонены частью чертами эпохи, частью — „идеологіей". Оттого-то Чацкій былъ, такъ сказать, „свой братъ" всякому образованному человѣку его времени, лишь бы послѣдній раздѣлялъ тѣ же идеи и то же настроеніе. И, напр., „разночинецъ" Полевой въ свое цвѣтущее время чувствовалъ себя очень близкимъ къ Чацкому... Въ Онѣгинѣ, напротивъ, идеологія отодвинута на второй планъ, намѣчена лишь въ блѣдныхъ очертаніяхъ, скорѣе — намеками, а черты классовой психологіи, вмѣстѣ съ бытовыми, изображены весьма ярко, даже какъ-будто намѣренно подчеркнуты, приблизительно такъ, какъ въ кн. Андреѣ Болконскомъ (въ „Войнѣ и мирѣ"). Этимъ между прочимъ объясняется тотъ фактъ, что фигура Онѣгина производила на нѣкоторыхъ впечатлѣніе сатиры. Въ письмѣ къ брату (изъ Одессы, янв. 1824) поэтъ сообщаетъ, что „можетъ быть" пришлетъ Дельвигу „отрывокъ изъ Онѣгина": „это лучшее мое произведеніе. Не вѣрь Н. Раевскому, который бранитъ его — онъ ожидалъ отъ меня романтизма, нашелъ сатиру и цинизмъ и порядочно не расчухалъ". — Подобно Н. Раевскому, „не расчухалъ" и Александръ Бестужевъ (Марлинскій), усмотрѣвшій въ Онѣгинѣ и сатиру, и подражаніе Байрону. Ему Пушкинъ возражалъ въ отвѣтномъ письмѣ (изъ Михайловскаго, 21 марта 1825 г.): „...все-таки ты смотришь на Онѣгина не съ той точки; все-таки онъ — лучшее произведеніе мое. Ты сравниваешь первую главу съ Донъ-Жуаномъ. Никто болѣе не уважаетъ Донъ-Жуана, но въ немъ нѣтъ ничего общаго съ Онѣгинымъ. Ты говоришь о сатирѣ англичанина Байрона, сравниваешь ее съ моею и

требуешь отъ меня таковой же. — Нѣтъ, моя душа, многаго хочешь. Гдѣ у меня сатира? О ней и помина нѣтъ въ Евг. Онѣгинѣ"... Въ письмѣ Бестужева (отъ 9 марта 1825 г.), на которое, повидимому, и возражалъ Пушкинъ (письмомъ отъ 21 марта того же года), находимъ слѣдующія строки, относящіяся къ фигурѣ Онѣгина: „поставилъ ли ты его (Онѣгина) въ контрастъ со свѣтомъ, чтобъ въ рѣзкомъ злословіи показать его рѣзкія черты?.." — Повидимому, Бестужеву хотѣлось бы, чтобы Пушкинъ вывелъ въ лицѣ Онѣгина если ужъ не новаго Алеко, то, по крайней мѣрѣ, „героя" — сродни Чацкому. Кстати укажемъ здѣсь на то предпочтеніе, которое отдавалъ Бестужевъ романтическому Алеко, что видно изъ сопоставленія его отзыва о первой главѣ „Евг. Онѣгина" съ его отзывомъ о (тогда еще не изданной) поэмѣ „Цыганы" — въ статьѣ „Взглядъ на русскую словесность въ теченіе 1824 и началѣ 1825 годовъ". Здѣсь критикъ упоминаетъ какъ бы вскользь о только что появившейся въ печати первой главѣ „Евг. Онѣгина", ничего не говоритъ о главномъ героѣ и, отозвавшись съ большой похвалой о „Разговорѣ поэта съ книгопродавцемъ" (помѣщенномъ въ видѣ предисловія къ роману), переходитъ къ „Цыганамъ". И вотъ его отзывъ объ этой поэмѣ: „Если можно говорить о томъ, что не принадлежитъ еще печати, хотя принадлежитъ словесности, то это произведеніе далеко оставило за собою все, что онъ (Пушкинъ) писалъ прежде. Въ немъ геній его, откинувъ всякое подражаніе, возсталъ въ первородной красотѣ и простотѣ величественной. Въ немъ-то сверкаютъ молнійные очерки вольной жизни и глубокихъ страстей и усталаго ума въ борьбѣ съ дикою природою"... („Стихотворенія и полемическія статьи", Спб. 1838, стр. 195 — 196). — Онѣгинъ не понравился критику-романтику, потому что этотъ образъ слишкомъ реаленъ и въ немъ нѣтъ никакихъ „молнійныхъ очерковъ", ничего романтически-приподнятаго, ничего титаническаго. Въ письмѣ отъ 9 марта 1825 г. Бестужевъ,

вслѣдъ за вышеприведенной выдержкой, продолжаетъ: „Я вижу (въ Онѣгинѣ) франта, который душой и тѣломъ преданъ модѣ; вижу человѣка, которыхъ тысячи встрѣчаю на яву, ибо самая холодность, и мизантропія, и странность теперь въ числѣ туалетныхъ приборовъ..." [1]). Изъ этихъ словъ, между прочимъ, видно, что Бестужевъ, будучи недоволенъ Онѣгинымъ, какъ характеромъ и натурой, хорошо понималъ реальность, типичность этого образа. Его отзывъ почти совпадаетъ съ отзывомъ Кирѣевскаго.

Хотя Пушкинъ и оспаривалъ мнѣніе, что его романъ — сатира, но нельзя не видѣть въ немъ присутствія нѣкоторыхъ сатирическихъ чертъ. Можно только утверждать, что Пушкинъ не задавался цѣлью написать настоящую, послѣдовательную сатиру, дать (какъ онъ выражается о „Горе отъ ума") „рѣзкую картину нравовъ". Это не входило въ его задачу. „Евг. Онѣгинъ", какъ произведеніе, это — то, что позже стали называть „соціальнымъ романомъ". Въ немъ, какъ и въ „соціальныхъ романахъ и повѣстяхъ" Тургенева, сатирическія черты присутствуютъ, какъ элементъ, какъ подробность; на первый же планъ выступаетъ психологія героя и героини, какъ представителей лучшей части образованнаго общества, и разрабатываются ихъ отношенія къ средѣ и духу времени, при чемъ, большею частью, герои не поставлены на пьедесталъ, не идеализированы. Не скрыты ихъ недостатки, ихъ слабости, предразсудки, смѣшныя стороны и т. д., но поэтъ позаботился о томъ, чтобы — при всѣхъ этихъ болѣе или менѣе отрицательныхъ чертахъ — читатель видѣлъ въ героѣ и, въ особенности, въ героинѣ людей по натурѣ хорошихъ, съ положительными задатками, съ благими стремленіями, и — не приписывалъ бы автору,

[1]) Цитирую по изданію Л. Поливанова „Сочиненія А. С. Пушкина, съ объясненіями ихъ и сводомъ отзывовъ критики" (1887 г.), т. IV. стр. 67.

въ отношеніи къ нимъ, цѣлей сатирическихъ. Онѣгинъ, какъ лицо и типъ, — вовсе не сатира на людей 20-хъ годовъ, подобно тому какъ Рудинъ — не сатира на людей 40-хъ годовъ, какъ не сатира и самъ Илья Ильичъ Обломовъ.

Присмотримся нѣсколько ближе къ тому, что въ фигурѣ Онѣгина могло съ большимъ или меньшимъ правомъ казаться, или въ самомъ дѣлѣ было, чертами сатирическими.

Это прежде всего — тѣ, которыми изображены его воспитаніе и образованіе, пустота его свѣтской жизни и родъ особаго — изысканнаго — цинизма. Передъ нами, въ самомъ дѣлѣ, пустой франтъ, фатоватый свѣтскій „левъ". И только то обстоятельство, что онъ очень скоро почувствовалъ всю тяготу такой жизни, впалъ въ хандру и сталъ искать выхода изъ заколдованнаго круга пустого времяпрепровожденія, — отчасти примиряетъ насъ съ нимъ. Но и сама хандра его описана иронически, даже ядовито. Пушкинъ и тутъ не возвеличиваетъ своего героя. Есть злое указаніе на то, что причину „разочарованія" Онѣгина нужно видѣть просто въ пресыщеніи удовольствіями и однообразіи впечатлѣній (гл. I, стр. XXXVII). Это очень далеко отъ разочарованности романтическихъ героевъ, хотя бы того же Алеко; но зато это — правда, это взято прямо изъ дѣйствительности. Образъ жизни Онѣгина — вѣрный сколокъ съ той, какую вело большинство молодыхъ людей изъ свѣтскаго общества въ то время, и нетрудно было бы иллюстрировать поведеніе и привычки Онѣгина рядомъ фактовъ изъ біографіи дѣятелей той эпохи. Пресыщеніе являлось неизбѣжнымъ слѣдствіемъ излишествъ всякаго рода, избытка наслажденій, какъ грубыхъ, такъ и утонченныхъ. Отъ пресыщенія недалеко до равнодушія, до своего рода taedium vitae, откуда и тотъ

Недугъ, котораго причину
Давно бы отыскать пора...

Вотъ именно этотъ-то „недугъ“,

> Подобный англійскому сплину.
> Короче: русская хандра
> Имъ овладѣла понемногу;
> Онъ застрѣлиться, славу Богу,
> Попробовать не захотѣлъ,
> Но къ жизни вовсе охладѣлъ...

Эту „болѣзнь“, вѣроятно, переживали тогда многіе, и въ ней не было ровно ничего возвышеннаго. Но нѣкоторые, а можетъ быть и многіе, слѣдуя модѣ и подражая Чайльдъ-Гарольду, старались придать этой хандрѣ ложный видъ какой-то значительности, скептическаго умонастроенія, „гордаго“ презрѣнія къ людямъ, къ пошлой жизни и т. д. Въ этомъ было, конечно, много напускного, дѣланнаго, это была „поза“, но все это имѣло, такъ сказать, свою зацѣпку въ психологіи барства, взлелѣяннаго крѣпостнымъ правомъ, сознающаго, что онъ — „бѣлая кость“ и имѣетъ право „ломаться“ и презирать всѣхъ прочихъ смертныхъ. Эту „зацѣпку“ превосходно изобразилъ Л. Н. Толстой въ психологіи кн. Андрея Болконскаго, который также „ломается“, презираетъ всѣхъ и все и впадаетъ въ хандру (правда — не на почвѣ пресыщенія, а по другимъ душевнымъ мотивамъ).

Крайней степени утрировки и позированія достигало это пессимистическое или скептическое настроеніе у тѣхъ молодыхъ людей, которые были захвачены вѣяніями тогдашняго романтизма и, въ особенности, байронизма. Типичный образчикъ байроническаго позированія мы видимъ, между прочимъ, въ Александрѣ Николаевичѣ Раевскомъ, какимъ онъ былъ въ 20-хъ годахъ, когда онъ имѣлъ вліяніе на Пушкина, посвятившаго ему стихотвореніе „Демонъ“. В. В. Сиповскій въ интересномъ этюдѣ „Татьяна, Онѣгинъ и Ленскій“ („Русск. Старина“, 1899 г., май и апрѣль),

рядомъ остроумныхъ сближеній, приходитъ къ выводу, что этотъ же самый А. Н. Раевскій и послужилъ Пушкину „натурщикомъ“ для образа Онѣгина [1]. Если мы согласимся съ этимъ заключеніемъ даровитаго ученаго, то нелишне будетъ къ характеристикѣ А. Н. Раевскаго, какимъ онъ былъ тогда, присоединить еще одно свидѣтельство человѣка, къ нему близкаго. Я имѣю въ виду отзывъ князя Сергѣя Волконскаго, который былъ женатъ на сестрѣ Раевскаго. Въ своихъ извѣстныхъ „Запискахъ“ (Спб., изд. 2-е, 1902 г., стр. 410), говоря о предложеніи, сдѣланномъ М. Ѳ. Орловымъ другой сестрѣ Раевскаго, Екатеринѣ Николаевнѣ, кн. Волконскій пишетъ: „переговоры эти шли черезъ брата ея, Александра Николаевича, который ему поставилъ первымъ условіемъ выходъ его изъ тайнаго общества, т.-е. изъ дѣйствительныхъ членовъ его. Александръ Николаевичъ, какъ человѣкъ умный, не былъ въ числѣ отсталыхъ, но, какъ человѣкъ хитрый и осторожный, видѣлъ, что тайное общество не минуетъ преслѣдованія правительства, а потому и положилъ первымъ условіемъ Орлову выходъ его изъ общества“... Имѣя въ виду Онѣгина, мы могли бы взять отсюда одну фразу: „какъ человѣкъ умный, онъ не былъ въ числѣ отсталыхъ...“, а выраженіе: „какъ человѣкъ хитрый и осторожный“ — намъ пришлось бы замѣнить выраженіемъ: „какъ человѣкъ, относящійся къ вещамъ и людямъ скептически и критически“.

---

[1] „... душа этого юноши (Раевскаго) была отмѣчена чертами, очень близкими къ онѣгинскимъ. Впрочемъ, у Раевскаго эти черты значительно рѣзче, глубже, чѣмъ у Онѣгина: не даромъ его образъ вдохновилъ Пушкина на созданіе такого сильнаго произведенія, какъ „Демонъ“... Конечно, здѣсь передъ нами оригиналъ идеализированъ... но стоитъ свести этого демона съ пьедестала, одѣть на него широкій боливаръ, модный костюмъ и лакированные ботфорты, — и передъ нами, какъ живой, встаетъ Раевскій - Онѣгинъ“... (Указ. изслѣдованіе, „Русск. Стар.“, апр., стр. 566 — 567). — Свѣдѣнія объ А. Н. Раевскомъ (старшій сынъ извѣстнаго генерала Н. Н. Раевскаго) читатель найдетъ въ цитированной статьѣ В. В. Сиповскаго и въ книгѣ Анненкова „А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху“ (Спб. 1874 г., стр. 151 и слѣд.).

Кажется, такая замѣна была бы умѣстна и по отношенію къ самому А. Н. Раевскому [1]). Повидимому, это былъ не „осторожный и хитрый" человѣкъ себѣ на умѣ, а именно скептикъ, съ большимъ запасомъ той „русской холодности", которую Веневитиновъ видѣлъ въ Онѣгинѣ, — русскій Мефистофель, какимъ онъ и представленъ въ „Демонѣ", „охлажденный умъ", загримированный à la Байронъ, и — въ сущности — „добрый малый", — по выраженію Веневитинова, „разсуждающій умно, а дѣйствующій лѣниво". Если возьмемъ первое впечатлѣніе, произведенное А. Н. Раевскимъ на Пушкина (въ 1820 году на Кавказѣ): „старшій сынъ его (генерала Н. Н. Раевскаго) будетъ болѣе, нежели извѣстенъ", — въ письмѣ поэта къ брату отъ 24 сент. 1820 г., изъ Кишинева [2]), потомъ — стихотвореніе „Демонъ" (1823 г.) и наконецъ Онѣгина, то получимъ, такъ сказать, рядъ нисходящихъ ступеней отъ возвеличенія этого „типа" къ его развѣнчанію, къ критическому и явно-ироническому изображенію его. Но въ этомъ изображеніи есть замѣтная двойственность. Съ одной стороны здѣсь — ироническое описаніе хандры Онѣгина и его неумѣнія найти выходъ изъ этого состоянія душевной угнетенности: пробовалъ онъ заняться литературою, — дѣло не пошло на ладъ; задумалъ привить себѣ умственные вкусы и интересы мысли, углубился въ серьезныя книги, но и тутъ ничего не вышло; „читалъ, читалъ, а все безъ толку". Онѣгинъ представленъ какимъ-то неудачникомъ. А съ другой стороны, Пушкинъ въ скучающемъ, апатичномъ, опустившемся Онѣгинѣ находитъ что-то привлекательное, не совсѣмъ заурядное, отнюдь не пошлое и какъ будто значительное. И словно обращаясь мысленно къ Раевскому и оживляя свои лучшія

---

[1]) Нѣкоторые отзывы знаменитаго декабриста о его современникахъ представляются намъ слишкомъ ригористическими и суровыми (напр. о Н. И. Тургеневѣ).

[2]) Ср. также Анненковъ, „Пушкинъ въ Алекс. эпоху", стр. 151.

воспоминанія о немъ, поэтъ говоритъ объ Онѣгинѣ и о себѣ (гл. I, строфа XLV):

Условій свѣта свергнувъ бремя,
Какъ онъ, отставъ отъ суеты,
Съ нимъ подружился я въ то время.
Мнѣ нравились его черты,
Мечтамъ невольная преданность,
Неподражательная странность
И рѣзкій, охлажденный умъ.
Я былъ озлобленъ, онъ угрюмъ... [1]).

Вотъ именно этимъ сочувствіемъ разочарованности и скептицизму Раевскаго-Онѣгина и смягчается тотъ сатирическій элементъ, который мы находимъ въ изображеніи этого типа. И у насъ само собою, въ послѣднемъ итогѣ, осѣдаетъ впечатлѣніе, которое можно выразить такъ: хотя и жизнь, и хандра Онѣгина и „Онѣгиныхъ“ конца 20-хъ годовъ были пусты и не свидѣтельствовали о большой содержательности души, но все-таки разочарованность, апатія, „озлобленность“ этихъ людей имѣли свое оправданіе, свое психологическое обоснованіе и не были однимъ сплошнымъ ломаніемъ, одною лишь „красивою позою“. За „позою“ скрывался дѣйствительно особый „недугъ“, причины котораго были довольно сложны (на нихъ указалъ съ обычнымъ остроуміемъ проф. Ключевскій въ блестящей статьѣ „Предки Евг.

---

[1]) В. В. Сиповскій (указ. статья. „Русск. Стар.“ 1899 г. апр., стр. 568) приводитъ варіантъ къ этой строфѣ, сопоставляя его съ черновыми набросками „Демона“. Сходство настолько велико, что не остается никакого сомнѣнія: въ этомъ мѣстѣ, говоря объ Онѣгинѣ, поэтъ вспоминалъ А. Н. Раевскаго. Вотъ образчики:

Чернов. наброски „Демона“.	Варіанты къ XLV строфѣ 1-й главы Онѣгина.
. . . .	. . . .
Мое спокойное незнаніе	. . . .
Страстями возмущалъ,	Онъ сочеталъ меня невольно

Онѣгина", „Русск. Мысль", 1887 г., февр.), а симптомы — довольно разнообразны и психологически значительны: они проявлялись и въ сферѣ умственной, и нравственной, и волевой. Мы остановимся здѣсь на одномъ изъ нихъ, именно на томъ, о которомъ я уже упомянулъ выше: Онѣгинъ оказывается какимъ-то неудачникомъ въ жизни.

3.

Неудачники бываютъ разные. Здѣсь я имѣю въ виду тѣхъ, о которыхъ можно сказать, что имъ по чему бы то ни было не удалось осуществить свою общественную стоимость. — Понятіе „общественной стоимости" человѣка я старался установить въ книжкѣ „Н. В. Гоголь" (гл. III). Не буду повторять здѣсь того, что сказано тамъ, и только приложу эти понятія „общественной стоимости" и ея утраты или неосуществленія къ герою перваго у насъ „соціальнаго романа".

Человѣкъ съ умомъ, съ нѣкоторыми хорошими задатками, съ пониманіемъ вещей, Онѣгинъ, казалось бы, легко могъ найти свое мѣсто въ жизни, свое дѣло, тѣмъ болѣе, что онъ

И я его существованье
Съ своимъ невиннымъ сочеталъ.
Я видѣлъ міръ его глазами...
. . . .
. . . .
. . . .
Непостижимое волненіе
Меня къ лукавому влекло...
. . . .
Я сталъ взирать его глазами,
Мнѣ жизни дался бѣдный кладъ...

Своей таинственной судьбѣ:
Я сталъ взирать его очами...
. . . .
. . . .
. . . .
Я неописанную сладость
Въ его бесѣдахъ находилъ,
Я сталъ взирать его очами;
Открылъ я жизни бѣдной кладъ...

принадлежалъ къ тому классу, которому были открыты разныя поприща дѣятельности. Къ тому же и время было (въ первой половинѣ 20-хъ годовъ) вовсе не глухое, напротивъ— очень оживленное, и дѣла было много. Для мыслящихъ и энергичныхъ людей, одушевленныхъ идеею общаго блага, было къ чему приложить свои душевныя силы, несмотря на препятствія, которыя создавались Аракчеевской реакціей. Читая мемуары и письма дѣятелей той эпохи, мы поражаемся контрастомъ между растущею реакціею и растущимъ движеніемъ умовъ. Въ противоположность тому, что являетъ намъ послѣдующая исторія нашихъ общественныхъ движеній, тогда реакція не дѣйствовала на умы угнетающимъ образомъ. Мы не видимъ того упадка духа, того хроническаго состоянія испуга, подавленности и приниженности душевныхъ силъ, которымъ обычно означались позже періоды усиленной реакціи [1]).

Широко разлившееся движеніе создавало почву, на которой сравнительно легко осуществлялась „общественная стоимость" всякаго неглупаго и неотсталаго человѣка, который хотѣлъ бы бросить праздное и безцѣльное существованіе и почувствовать себя дѣятелемъ жизни, гражданиномъ, ощутить свою психологическую связь съ цѣлымъ, какъ онъ понималъ это цѣлое. Для этого не было даже необходимости непремѣнно сдѣлаться членомъ „Союза благоденствія" или масонскихъ ложъ и тайныхъ обществъ. Можно было найти себѣ удовлетворяющее дѣло и на такъ называемой „легальной почвѣ". Извѣстно, что нѣкоторые изъ „декабристовъ", кромѣ своей тайной дѣятельности, работали въ духѣ своихъ идей и открыто, напр., по важнѣйшему, очередному тогда вопросу объ улучшеніи положенія крестьянъ и по

[1]) Въ это время свободное выраженіе мыслей было принадлежностью не только всякаго порядочнаго человѣка, но и всякаго, кто хотѣлъ казаться порядочнымъ человѣкомъ" („Записки" И. Д. Якушкина, стр. 70).

подготовкѣ отмѣны крѣпостного права [1]). Литература, очень оживившаяся въ ту пору, вопросы просвѣщенія, распространеніе гуманныхъ идей, борьба съ общественнымъ обскурантизмомъ — все это призывало людей мыслящихъ и отзывчивыхъ къ усиленной дѣятельности, вовсе не запретной, и сулило ту долю душевнаго удовлетворенія, которая зачастую могла сойти за осуществленіе общественной стоимости. Волна общественнаго возбужденія захватывала тогда не только Чацкихъ, которыхъ было много, но и Онѣгиныхъ, страдавшихъ недугомъ душевной усталости или, по выраженію Пушкина, „преждевременной старости души“.

И вотъ оказывается, что, несмотря на все это, находились люди, которые во цвѣтѣ лѣтъ и силъ умудрялись „разочаровываться“ и опускать руки — до срока, до того времени, когда въ самомъ дѣлѣ осуществленіе „общественной стоимости“ или хотя бы ея иллюзія оказались для нихъ невозможными.

Присматриваясь ближе къ той оживленной эпохѣ, мы уже встрѣчаемъ признаки или отдѣльныя проявленія намѣчающейся душевной усталости, иногда дряблости, скороспѣлой разочарованности—вообще той психической неустойчивости, которою русскій человѣкъ надѣленъ, повидимому, отъ природы или отъ прошлой исторіи, и отъ которой онъ можетъ со временемъ излѣчиться только оздоровляющимъ дѣйствіемъ

---

[1]) Такова была дѣятельность Н. И. Тургенева, которому посвященъ прекрасный этюдъ г. А. Корнилова въ „Мірѣ Божьемъ“ (1903 г., іюнь — августъ).—И. Д. Якушкинъ упоминаетъ о Левашевѣ и Тютчевѣ, которые „не были членами тайнаго общества, но дѣйствовали совершенно въ его смыслѣ“, и говоритъ, что „такихъ людей было тогда много“. Ихъ дѣятельность состояла въ распространеніи просвѣщенія, улучшеніи быта крестьянъ, благотворительности. Такъ, „Левашевы жили уединенно въ деревнѣ, занимались воспитаніемъ своихъ дѣтей и улучшеніемъ быта своихъ крестьянъ, входя въ положеніе каждаго изъ нихъ... У нихъ были заведены училища, по порядку взаимнаго обученія“ („Записки“. 62). Тамъ же (стр. 64) любопытныя свѣдѣнія о такой же дѣятельности Пассека.

дальнѣйшей — болѣе здоровой — исторіи. Эти симптомы обнаруживались спорадически — въ мелочахъ, въ настроеніи отдѣльныхъ лицъ, въ неумѣніи справиться съ внутренними противорѣчіями, въ модной байронической разочарованности, въ напускномъ презрѣніи къ людямъ, въ поискахъ сильныхъ впечатлѣній. Пушкинъ съ необыкновенною прозорливостью отмѣтилъ эти черты еще на зарѣ своей поэтической дѣятельности, въ „Кавказскомъ плѣнникѣ", и не только отмѣтилъ, но уже задумался надъ этимъ явленіемъ, какъ надъ какою-то общественно-психологическою болѣзнью. Въ томъ же 1821 году, къ которому относится „Кавказскій плѣнникъ", поэтъ писалъ В. П. Горчакову: „Я въ немъ (въ „Кавказскомъ плѣнникѣ") хотѣлъ изобразить равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдѣлались отличительными чертами молодежи 19-го вѣка. — Въ юношеской романтической поэмѣ эта задача была выполнена далеко не удовлетворительно [1]). Вскорѣ въ реальномъ романѣ Пушкинъ далъ ей иную, лучшую постановку и создалъ безсмертный типъ преждевременно состарившагося душою „умнаго и вовсе не отсталаго" русскаго человѣка, который именно по причинѣ этой „душевной старости" и является неудачникомъ, потерявшимъ и смыслъ и вкусъ жизни.

Передъ нами — психологическое явленіе, довольно сложное и своеобразное. Присмотримся къ нему ближе.

Оно ограничено (въ той формѣ, въ какой представляетъ его типъ Онѣгина) извѣстными предѣлами времени и класса.

[1]) В. В. Сиповскій въ очеркѣ „Пушкинъ, Байронъ и Шатобріанъ" (С.-Петерб. 1899 г.) показалъ, что въ то время (начало 20-хъ годовъ) Пушкинъ былъ подъ особо сильнымъ вліяніемъ Шатобріана, и что именно въ „Кавк. Плѣнникѣ" это вліяніе сказалось очень ярко. Разумѣется, подражаніе иностранному образцу не исключаетъ одновременнаго воздѣйствія на мысль поэта впечатлѣній русской дѣйствительности. „Идея" „Плѣнника" взята изъ жизни, но обработана подражательно.

„Преждевременная старость души", о которой говоритъ Пушкинъ, обнаруживалась въ 10-хъ и 20-хъ годахъ XIX вѣка въ молодомъ поколѣніи высшаго общества, дворянства. Пресыщеніе праздною и распутною жизнью, о чемъ мы упомянули выше, было лишь однимъ изъ ближайшимъ условій „преждевременной старости души", и весьма вѣроятно, что послѣдняя имѣла бы мѣсто и безъ этого условія; дѣло не въ этихъ „ошибкахъ молодости", и вопросъ, насъ занимающій, относится не къ области нравовъ, а къ психологіи класса, и гласитъ такъ: какъ велики были душевныя силы, умственныя и моральныя, въ томъ классѣ, который самою исторіею былъ поставленъ тогда лицомъ къ лицу съ задачами европейскаго просвѣщенія и съ вопросами, подымавшимися самою русскою жизнью?

На этотъ вопросъ можно безъ большой погрѣшности отвѣтить анализомъ типа Онѣгина. Ибо въ этомъ типѣ и суммированы имѣвшіяся тогда въ наличности въ высшемъ „сословіи" душевныя силы. Правда, были дѣятели во всѣхъ отношеніяхъ гораздо выше Онѣгина, но, во-первыхъ, они составляли меньшинство, а во-вторыхъ, умственный и нравственный „капиталъ", представляемый ими, былъ по обстоятельствамъ, издержанъ прежде, чѣмъ могъ принести положительную прибыль — въ размѣрѣ, соотвѣтственномъ его величинѣ. Говоря такъ, мы имѣемъ въ виду главнымъ образомъ декабристовъ, которыхъ дѣятельность продолжалась всего какихъ-нибудь восемь лѣтъ (отъ основанія „Союза спасенія" въ февралѣ 1817 года и до катастрофы 14 декабря 1825 г.). Вообще, для сужденія объ умственномъ и нравственномъ содержаніи общества нужно брать среднихъ людей, тѣхъ самыхъ, что обыкновенно и воплощаются въ художественныхъ типахъ.

Александръ Бестужевъ (въ выше цитированной статьѣ) жалуется на то, что „мы слишкомъ безстрастны и слишкомъ лѣнивы", и говоритъ, что, правда, „мы начинаемъ чувство-

вать и мыслить, но — ощупью". Эта фраза не отнесена у него къ Онѣгину, но эти „мы", о которыхъ онъ говорить, и были обобщены Пушкинымъ въ типичномъ образѣ Онѣгина.

„Безстрастный и лѣнивый", т.-е. не обладающій тою энергіею мысли и чувства, какая необходима человѣку для осуществленія его общественной стоимости, Онѣгинъ, начавъ „мыслить и чувствовать ощупью", не извѣдалъ того душевнаго подъема, о которомъ вспоминаетъ въ своихъ „Запискахъ" одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей эпохи, близкій другъ Пушкина, Ив. Ив. Пущинъ, когда онъ сблизился съ „мыслящимъ кругомъ", гдѣ велись „постоянныя бесѣды о предметахъ общественныхъ". Передъ нимъ открылась „высокая цѣль жизни". „Я какъ будто вдругъ получилъ, — разсказываетъ онъ, — особенное значеніе въ собственныхъ глазахъ; сталъ внимательнѣе смотрѣть на жизнь, во всѣхъ проявленіяхъ буйной молодости наблюдалъ за собой, какъ за частицей, хотя ничего не значащей, но входящей въ составъ того цѣлаго, которое рано или поздно должно было имѣть благотворное свое дѣйствіе" [1]). Въ этихъ словахъ выражено то оздоровляющее дѣйствіе на психику человѣка, какое всегда оказываетъ осуществленіе общественной стоимости; человѣкъ чувствуетъ и сознаетъ, что онъ — уже не нуль, а единица, органически связанная съ цѣлымъ, съ ближайшимъ кругомъ мыслящихъ людей, а черезъ этотъ кругъ — и съ тѣмъ огромнымъ цѣлымъ, которое называется отечествомъ. Вотъ именно такой связи и не было у Онѣгина, хотя онъ, человѣкъ „умный и не отсталый", легко могъ бы имѣть ее. Во избѣжаніе недоразумѣній, поясню, что я имѣю здѣсь въ виду чисто психологическую сторону дѣла, и съ этою цѣлью приведу еще одно свидѣтель-

---

[1]) Цитирую по книгѣ А. Н. Пыпина „Общественное движеніе при Александрѣ I" (1871 г., стр. 399).

ство современника. „Было бы большой ошибкой предполагать, что въ этихъ тайныхъ собраніяхъ [1]) занимались только заговорами: здѣсь вовсе ими не занимались... Начинали обыкновенно тѣмъ, что жаловались на безсиліе общества предпринимать что-нибудь серьезное. Потомъ разговоръ переходилъ на политику вообще, на положеніе Россіи, на неустройства, ее отягощавшія, на злоупотребленія, которыя ее истощали, на ея будущее... Здѣсь обсуждались европейскія событія и съ радостью привѣтствовались успѣхи цивилизованныхъ странъ на пути къ свободѣ. Если я когда-нибудь жилъ жизнью существъ, сознающихъ свое назначеніе и желающихъ его исполнить, то это въ особенности было въ эти рѣдкія минуты бесѣды съ людьми, которыхъ я видѣлъ одушевленными разумнымъ и безкорыстнымъ энтузіазмомъ къ счастію имъ подобныхъ". Это свидѣтельство принадлежитъ Н. И. Тургеневу, одному изъ самыхъ выдающихся дѣятелей эпохи [2]).

Безъ всякаго сомнѣнія, въ такихъ кругахъ мыслящихъ людей было немало Онѣгиныхъ, бѣда которыхъ состояла въ томъ, что они не умѣли найти себѣ подходящаго дѣла — по силамъ и способностямъ, и, не обладая достаточною душевною энергіею, не были (говоря словами Н. И. Тургенева) „одушевлены разумнымъ и безкорыстнымъ энтузіазмомъ къ счастію имъ подобныхъ".

Неумѣніе Онѣгина живо заинтересоваться дѣломъ, которое, казалось бы, могло дать хотя нѣкоторое удовлетвореніе, очерчено въ романѣ съ достаточною рельефностью, въ особенности въ томъ мѣстѣ, гдѣ описывается его жизнь въ деревнѣ:

Два дня ему казались новы
Уединенныя поля и т. д.

---

[1]) Въ кругахъ мыслящихъ людей, о которыхъ говоритъ Пущинъ.

[2]) Цитирую по книгѣ А. Н. Пыпина „Общ. движ. при Александрѣ I" (1871), стр. 491.

Но —

На третій роща, холмъ и поле
Его не занимали болѣ;
Потомъ ужъ наводили сонъ;
Потомъ увидѣлъ ясно онъ,
Что и въ деревнѣ скука та же...

Однако же, если гдѣ-либ въ то время, то именно въ деревнѣ и предстояло мыслящимъ и дѣятельнымъ людямъ живое и благое дѣло — по крестьянскому вопросу. Надо отдать справедливость Онѣгину: онъ не обошелъ этого вопроса:

Въ своей глуши мудрецъ пустынный
Яремъ онъ барщины старинной
Оброкомъ легкимъ замѣнилъ.
И рабъ судьбу благословилъ...

Это было не очень много, но все-таки было добрымъ и идейнымъ дѣломъ. При этомъ надо имѣть въ виду, что дальше того, что сдѣлалъ для своихъ крестьянъ Онѣгинъ, шли тогда весьма немногіе. Извѣстно, что самое больное мѣсто тогдашней Россіи, крѣпостное право, занимало въ мысляхъ и стремленіяхъ передовыхъ людей 20-хъ годовъ непропорціонально малое мѣсто [1]). Далеко не всѣ они понимали, что, пока существуетъ крѣпостное право, нельзя сдѣлать ни одного шага впередъ въ развитіи русской гра-

[1]) Н. И. Тургенева „печально поражало, что при всѣхъ благихъ намѣреніяхъ не было (въ проектѣ „общества", сообщенномъ ему кн. Трубецкимъ) вовсе рѣчи объ уничтоженіи крѣпостного права". (Пыпинъ, „Обществ. движеніе при Александрѣ I", стр. 400). Н. И. Тургеневъ тотчасъ возымѣлъ мысль привлечь вниманіе общества на крестьянскій вопросъ. Я (разсказываетъ онъ) немедленно сказалъ это своему собесѣднику (кн. Трубецкому) и, убѣдившись изъ его словъ, что онъ и его друзья одушевлены самыми лучшими намѣреніями относительно несчастныхъ крестьянъ, я почувствовалъ, что въ мою душу проникаетъ сладкая надежда, что подвинется впередъ дѣло, составлявшее постоянный предметъ моихъ мыслей". Тамъ же, стр. 400—401).

жданственности. А изъ тѣхъ, которые это понимали, лишь немногіе доработались до простой мысли, что освобожденіе крестьянъ должно непремѣнно сопровождаться обезпеченіемъ ихъ достаточнымъ надѣломъ. Даже такой выдающійся умъ и такой спеціалистъ въ вопросахъ экономическихъ и общественныхъ, какъ Н. И. Тургеневъ, предлагалъ безземельное освобожденіе (позже онъ стоялъ за надѣлъ, но— почти нищенскій) [1]), Якушкинъ въ своихъ „Запискахъ" наивно разсказываетъ, какъ онъ хотѣлъ отпустить своихъ крестьянъ на волю, только безъ земли, и какъ его удивило нежеланіе послѣднихъ получить свободу при такихъ условіяхъ. „Ну такъ, батюшка, оставайся все по-старому: мы— ваши, а земля — наша", говорили они ему, и онъ никакъ не могъ взять этого въ толкъ [2]).

Итакъ, Онѣгинъ въ своихъ отношеніяхъ къ крестьянамъ не уступалъ многимъ передовымъ людямъ эпохи и подлежитъ упреку не въ томъ, что сдѣлалъ мало, а скорѣе въ томъ, что это малое онъ сдѣлалъ какъ-то по-барски, больше для „очистки совѣсти" и не сумѣлъ заинтересоваться крестьянскимъ вопросомъ, какъ насущнымъ и очереднымъ вопросомъ времени. Впрочемъ, и этотъ упрекъ относится не столько къ нему лично, сколько ко всѣмъ „Онѣгинымъ" того времени, а также и ко многимъ другимъ, стоявшимъ выше „Онѣгинскаго" уровня.

Не находя себѣ дѣла по душѣ, не обладая тѣмъ даромъ „энтузіазма", который далъ бы ему возможность найти нѣкоторое душевное удовлетвореніе въ кругахъ мыслящихъ людей, наконецъ — не умѣя даже устроить свое личное счастіе, Онѣгинъ скоро почувствовалъ себя „лишнимъ человѣкомъ". Недугъ „русской хандры" оказался неизлечимымъ. „Общественная стоимость" этого скитальца оставалась не-

[1]) См. А. Корниловъ, „Н. И. Тургеневъ" („Міръ Божій", 1903, авг., стр. 51—52).

[2]) Записки Ив. Дм. Якушкина, стр. 35.

осуществленною, и не было надежды на возможность ея осуществленія.

Тоска душевнаго одиночества преслѣдуетъ Онѣгина всюду. На Кавказскихъ „группахъ" онъ предается такимъ размышленіямъ:

Зачѣмъ я пулей въ грудь не раненъ?
Зачѣмъ не хилый я старикъ,
Какъ этотъ блѣдный откупщикъ?
Зачѣмъ, какъ тульскій засѣдатель,
Я не лежу въ параличѣ?
Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ
Хоть ревматизма?—Ахъ, Создатель,
Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка;
Чего мнѣ ждать? Тоска, тоска...

Убѣгая отъ тоски, онъ ищетъ не столько новыхъ впечатлѣній, которыя всѣ пріѣлись, сколько хоть какой-нибудь пищи уму, и порою поддается иллюзіи — найти эту пищу въ усвоеніи извѣстныхъ идей или идеаловъ. Намекъ на это сдѣланъ въ черновыхъ набросках путешествія Онѣгина, гдѣ между прочимъ говорится о томъ, какъ онъ чуть-было не сдѣлался (отъ скуки!) „патріотомъ" и „націоналистомъ":

Наскуча... Мельмотомъ
Иль маской щеголять ивой,
Проснулся разъ онъ патріотомъ
Въ Hôtel de Londres, что на Морской.
Россія!... Русь!.. мгновенно
Ему понравилась отмѣнно,
И рѣшено — ужъ онъ влюбленъ!
Россіей только бредитъ онъ!
Ужъ онъ Европу ненавидитъ
Съ ея логической (душой),
Съ ея разумной суетой...

Ироническій тонъ этого наброска показываетъ, какъ непрочно и несерьезно было это патріотическое настроеніе Онѣгина. Онъ могъ, ни съ того, ни съ сего, вдругъ „взять"—

да и сдѣлаться „патріотомъ“ и возненавидѣть Европу, какъ могъ, напротивъ, еще болѣе пристраститься къ Европѣ и въ одинъ прекрасный день перейти въ католицизмъ и даже стать іезуитомъ, какъ это сдѣлалъ позже профессоръ московскаго университета Печоринъ. Примѣры быстрой, немотивированной перемѣны воззрѣній тогда бывали именно въ томъ кругу, къ которому принадлежалъ Онѣгинъ. Они свидѣтельствовали объ инстинктивномъ стремленіи найти хоть какую-нибудь пищу праздному уму и хоть какое-нибудь упражненіе вялому чувству. Извѣстныя идеи и даже міросозерцанія усвоивались—отъ скуки, отъ душевной праздности. Это явленіе типично для той эпохи и того класса, къ которому принадлежалъ Онѣгинъ. Къ концу 30-хъ годовъ оно исчезло, и слагавшіяся тогда воззрѣнія (западническое и славянофильское) вырабатывались сравнительно медленно, въ глубокомъ раздумьи, въ серьезныхъ занятіяхъ, въ горячихъ спорахъ, и не Онѣгиными, а умами и натурами иного склада и закала, для которыхъ Онѣгинъ уже не былъ типиченъ, хотя потомъ эти дѣятели („люди 40-хъ годовъ“) и оказались въ *положеніи*, напоминавшемъ *положеніе* Онѣгина. Поскольку они чувствовали себя „*лишними*“, постольку и Онѣгинъ, „человѣкъ лишній“ по преимуществу, является ихъ ближайшимъ „родичемъ“, ихъ прямымъ предшественникомъ.

4.

Появленіе „*лишнихъ людей*“ въ странѣ, которой такъ нужны неглупые, образованные и порядочные люди, можетъ показаться на первый взглядъ страннымъ, даже загадочнымъ. И первое, что готово прійти въ голову наблюдателю, это—свалить всю вину на внѣшнія препятствія, на неблагопріятныя условія, тормозившія какъ общественную дѣятельность, такъ и личную иниціативу. Эти неблагопріят-

ныя условія, особливо въ то глухое, дореформенное время, имѣли, конечно, большое значеніе. Но бѣда въ томъ, что, хорошо объясняя Чацкихъ, они плохо объясняютъ Онѣгиныхъ, „лишнихъ людей“. Все, что могутъ дать они для истолкованія этихъ послѣднихъ, сводится къ указанію на то разслабляющее и угнетающее дѣйствіе, какое тяжелая атмосфера реакціи оказываетъ на плохо организованную, неустойчивую психику „лишняго человѣка“. Эта атмосфера дѣлаетъ его еще болѣе лишнимъ, но она не создаетъ его.

„Лишняго человѣка“ создаетъ совмѣстное дѣйствіе двухъ факторовъ, которые могутъ быть налицо гдѣ угодно и при весьма различныхъ условіяхъ общественной жизни. Одинъ — это плохая психическая организація человѣка, наслѣдственная или благопріобрѣтенная, выражающаяся въ недостаткѣ душевной энергіи, въ вялости чувства и мысли, въ неспособности къ упорному и правильному труду, въ отсутствіи инициіативы. Это мы и видимъ въ Онѣгинѣ. Второй факторъ — это умственный, идейный и моральный разладъ между личностью и средой. И это мы находимъ въ Онѣгинѣ, который отъ своихъ отсталъ, а къ другому кругу, къ широкой средѣ, темной и патріархально-невѣжественной, пристать, разумѣется, не могъ. Вспомнимъ его жизнь въ деревенской глуши, гдѣ только въ спорахъ съ юнымъ Ленскимъ онъ и могъ отвести душу. Онѣгины въ тогдашнемъ обществѣ, какъ провинціальномъ, такъ и столичномъ, были, повидимому, болѣе одинокими и „чужими“, чѣмъ позже — Печорины и еще позже — Рудины.

Иногда бывало достаточно одного изъ указанныхъ факторовъ для того, чтобы человѣкъ сталъ „лишнимъ“. Но для созданія въ жизни цѣлаго типа „лишнихъ людей“, очевидно, необходимо совмѣстное дѣйствіе обоихъ. Человѣкъ съ пло-

хою психическою организаціею, вяло чувствующій, лишенный энергіи мысли и инициативы, тѣмъ не менѣе не окажется лишнимъ, если у него нѣтъ разлада со средою, по крайней мѣрѣ — ближайшею: въ ней онъ найдетъ опору, нравственную и иную поддержку. Съ другой стороны, человѣкъ, обладающій большою душевною энергіей, найдетъ возможность жить осмысленною жизнью даже при полномъ разладѣ съ окружающею средою. Онъ, конечно, будетъ чувствовать тяготу одиночества, но, дѣлая свое дѣло и находя въ немъ извѣстное удовлетвореніе, онъ не признаетъ себя лишнимъ или же сумѣетъ отыскать себѣ другую, болѣе подходящую среду.

Еще одно существенное поясненіе. „Лишніе люди“ — явленіе *соціально-патологическое*, и, какъ таковое, оно, повидимому, заключаетъ въ себѣ также элементъ *психо-патологическій*, который въ однихъ случаяхъ можетъ сводиться къ минимуму и быть едва замѣтнымъ, въ другихъ же можетъ выражаться болѣе или менѣе ярко. Если имѣть въ виду *только* эту—психо-патологическую—сторону занимающаго насъ явленія, то „лишнихъ людей“ окажется очень много. Но вся эта масса дегенерантовъ, психопатовъ, неуравновѣшенныхъ и т. д., не имѣющихъ общественной стоимости, или неспособныхъ осуществить ее, не можетъ быть подведена цѣликомъ подъ тѣ художественные типы „лишнихъ людей“, литературную исторію которыхъ мы здѣсь изучаемъ. Въ этихъ типахъ выдвинута впередъ не психо-патологическая, а *общественная* сторона явленія, такъ что вполнѣ возможно представить себѣ въ видѣ Онѣгина или Печорина человѣка совершенно нормальнаго, въ которомъ психіатръ не откроетъ никакихъ признаковъ дегенераціи или душевной неуравновѣшенности. И, тѣмъ не менѣе, я утверждаю, что для надлежащаго пониманія занимающихъ насъ типовъ, для болѣе глубокаго проникновенія въ природу явленія, въ нихъ изображеннаго, необходимо имѣть

въ виду также и психо-патологическую сторону его. Мы, разумѣется, не будемъ подводить подъ образы Онѣгина, Печорина и пр., какъ „лишнихъ людей", всѣхъ этихъ дегенерантовъ, психопатовъ и т. д., но мы будемъ помнить, что послѣдніе существовали и существуютъ, и что въ нихъ психологическій діагнозъ можетъ указать рядъ чертъ, живо напоминающихъ и, пожалуй, объясняющихъ многое въ психологіи Онѣгиныхъ, Печориныхъ и другихъ.

Мы знаемъ, что реальные и художественные образы, къ числу которыхъ принадлежатъ и разсматриваемые типы „лишнихъ людей", возникаютъ изъ соотвѣтственныхъ образовъ обыденнаго мышленія. Доискиваясь этихъ послѣднихъ (у самихъ поэтовъ, у критиковъ, у читателей), мы имѣемъ возможность видѣть, какъ современники судили о данныхъ явленіяхъ или сторонахъ жизни, отразившихся въ образахъ обыденнаго и высшаго художественнаго мышленія. Теперь, указывая на соціально-патологическій характеръ лишнихъ людей и на присутствіе въ нихъ элемента психо-патологическаго, мы хотѣли бы уяснить себѣ, въ какой мѣрѣ и насколько осмысленно тотъ и другой были въ свое время отмѣчены и поняты какъ самими поэтами, такъ и критиками.

Этотъ вопросъ мы постараемся освѣтить въ слѣдующей главѣ, гдѣ сопоставимъ типъ Онѣгина съ типомъ Печорина и вмѣстѣ съ тѣмъ разсмотримъ ихъ истолкованіе въ критикѣ Бѣлинскаго, которая, какъ извѣстно, была отраженіемъ и переработкою мнѣній цѣлаго круга мыслящихъ людей 30-хъ и 40-хъ годовъ.

ГЛАВА V.

Печоринъ.

1.

Печоринъ Лермонтова не только хронологически, но и въ отношеніи общественно-психологическомъ, — прямой и ближайшій преемникъ Онѣгина. Этому преемству нисколько не мѣшаетъ то, что, по натурѣ, по характеру и темпераменту, это — люди совершенно различные. Онѣгинъ — холоденъ, безстрастенъ, апатиченъ. Печоринъ — человѣкъ „съ темпераментомъ“, съ кипучими страстями, съ душевной энергіей. У Онѣгина замѣчается недостатокъ силы и воли, — Печоринъ, напротивъ, одаренъ незаурядною волею. Онѣгинъ не умѣетъ, да и не желаетъ покорять умы и сердца („романы“ въ счетъ не идутъ), подчинять себѣ волю другихъ; у Печорина это — главная страсть, и онъ съ большимъ искусствомъ, какъ виртуозъ, играетъ на струнахъ души человѣческой (и не только женской). Онъ умѣетъ и любитъ властвовать. Эти и другія различія между двумя героями были указаны неоднократно; но рѣшительнѣе другихъ настаиваетъ на этомъ Н. А. Котляревскій въ своей прекрасной книгѣ о Лермонтовѣ [1]). Онъ приходитъ къ выводу, что Печоринъ

[1]) „М. Ю. Лермонтовъ“ (С.-Петерб., 1891), стр. 210—211.

„не былъ Онѣгинымъ своего времени“, въ противность взглядамъ Бѣлинскаго, который въ своей извѣстной большой статьѣ о „Героѣ нашего времени“ прямо говоритъ о Печоринѣ: „Это Онѣгинъ нашего времени... Несходство ихъ между собою гораздо меньше разстоянія между Онѣгою и Печорою“ („Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго“, изд. С. А. **Венгерова**, 1901, т. V, стр. 367).

И въ самомъ дѣлѣ, Онѣгинъ и Печоринъ—люди разные, но они принадлежатъ къ одному и тому же **общественно-психологическому типу**. Это — типъ **неудачника и лишняго человѣка**. Ихъ индивидуальныя различія только ярче оттѣняютъ ихъ общественно-психологическое родство. Сопоставляя ихъ въ этомъ отношеніи, мы убѣждаемся въ томъ, что въ самомъ дѣлѣ жизнь вырабатывала особый соціально-психологическій типъ безпокойно-мечущагося человѣка, чувствующаго себя лишнимъ, не находящаго своего мѣста и назначенія, и подъ этотъ типъ подходили весьма различные, даже противоположные характеры и натуры.

Эти люди не могли осуществить своей „общественной стоимости“, потому что со средою своего круга они не уживались, а другой среды найти не умѣли; они также не располагали тѣмъ душевнымъ содержаніемъ, которое давало бы имъ возможность выносить тяготу душевнаго одиночества.

Вотъ послушаемъ, что говоритъ о себѣ Печоринъ Максиму Максимовичу (кстати, это одна изъ самыхъ „искреннихъ“ страницъ романа): „Въ первой моей молодости, съ той минуты, когда я вышелъ изъ опеки родныхъ, я сталъ наслаждаться бѣшено всѣми удовольствіями, которыя можно достать за деньги, и, разумѣется, эти удовольствія мнѣ опротивѣли...“—Такъ было и съ Онѣгинымъ.—„Потомъ пустился я въ большой свѣтъ, и скоро общество мнѣ также надоѣло; влюблялся въ свѣтскихъ красавицъ и былъ любимъ; но ихъ

8

любовь только раздражала мое воображеніе и самолюбіе, а сердце осталось пусто".—И это испыталъ и пережилъ Онѣгинъ.—„Я сталъ читать, учиться—науки также надоѣли",—какъ и Онѣгину.—Параллель до этихъ поръ—полная. Но дальше обнаруживается различіе, легко объясняемое несходствомъ натуръ героевъ.—„Я видѣлъ,—продолжаетъ Печоринъ,—что ни слава, ни счастье отъ нихъ (наукъ) не зависятъ нисколько, потому что самые счастливые люди—невѣжды, а слава—удача, и чтобъ добиться ея, надо только быть ловкимъ. Тогда мнѣ стало скучно..."—Скучно стало и Онѣгину, но онъ не добивался славы и даже не искалъ счастья. Чего хотѣлъ и искалъ онъ—это только хоть какого-нибудь дѣла по душѣ и по силамъ. Сперва онъ принялся было писать, „но трудъ упорный ему былъ тошенъ; ничего не вышло изъ пера его..."; ни откуда не видно, чтобы онъ мечталъ о „славѣ" писателя. Потомъ онъ углубился въ книги—„съ похвальною цѣлью себѣ присвоить умъ чужой"—и вовсе не гоняясь за какой-то славой. Вообще Онѣгинъ—не честолюбецъ. Здѣсь мы видимъ одно изъ существенныхъ—индивидуальныхъ различій между двумя героями: Печоринъ, въ противоположность Онѣгину, одержимъ бѣсомъ честолюбія и властолюбія. Въ отношеніи къ вопросу объ осуществленіи общественной стоимости эта особенность Печорина даетъ ему несомнѣнное преимущество передъ Онѣгинымъ: у него есть импульсъ, побуждающій стремиться къ осуществленію своей общественной стоимости, а также становится возможной прямая цѣль жизни, внушаемая все тѣмъ же честолюбіемъ. Разъ это есть,—нетрудно ему, казалось бы, найти и соотвѣтственное поприще, на которомъ онъ могъ бы достичь многаго такого, что, насыщая честолюбіе и властолюбіе, такъ или иначе скрасило бы его жизнь. И въ самомъ дѣлѣ, Печоринъ честолюбивъ, жаждетъ успѣховъ, славы, дѣятельности; при этомъ отнюдь нельзя сказать, что у него охота смертная, да участь горькая,—напротивъ, онъ

уменъ, хитеръ, весьма способенъ къ интригѣ, неразборчивъ на средства, смѣлъ, сдержанъ, умѣетъ управлять собою и пользоваться другими для достиженія своихъ цѣлей. — чего больше? Съ такими рессурсами онъ могъ бы весьма и весьма преуспѣть въ жизни... Служа на Кавказѣ, онъ легко нашелъ бы все, чего жаждетъ его душа, — и сильныя впечатлѣнія, и упражненія всѣхъ своихъ способностей, и „славу“, и даже „власть“. Пожалуй, возразятъ, что онъ вовсе не гонится за успѣхами по службѣ, что онъ выше этой „прозы“, и его „демоническая“ душа жаждетъ иной дѣятельности, иной славы. Но, спрашивается—какой же? Мы не знаемъ, да и самъ онъ не знаетъ. Несомнѣнно только, что къ служебнымъ отличіямъ, къ чинамъ и орденамъ онъ вполнѣ равнодушенъ и что вообще онъ не въ состояніи найти себѣ подходящую дѣятельность на какомъ бы то ни было офиціальномъ поприщѣ, ни на Кавказѣ, ни въ Петербургѣ. На этомъ пунктѣ онъ опять сближается съ Онѣгинымъ. Въ эпоху, когда общественной дѣятельности въ собственномъ смыслѣ не существовало, а была только „служба“, уже являлись люди, для службы непригодные, но зато имѣвшіе извѣстные задатки для общественной дѣятельности. И въ этомъ—и интересъ, и трагизмъ этого типа. За отсутствіемъ подходящаго поприща, за неупражненіемъ, эти задатки не развивались, атрофировались или извращались.

При этомъ необходимо отмѣтить, что непригодность Печорина къ „службѣ“, къ карьерѣ вовсе не означаетъ, чтобы у него были какія-либо высшія стремленія или идеалы, чтобы онъ критически и отрицательно относился къ дѣйствительности, къ данному порядку вещей (онъ меньше всего — „идеологъ“). Вмѣсто критики, у него есть только презрѣніе къ людямъ. Ко всякимъ идеямъ и идеаламъ онъ, повидимому, такъ же равнодушенъ, какъ и къ службѣ или карьерѣ,

Не „идейная“, не моральная въ тѣсномъ смыслѣ при-

чина, а какая-то другая — чисто-психологическая — дѣлаетъ Печорина непригоднымъ для „службы“, карьеры, да и всякой иной дѣятельности, которая бы могла удовлетворить его. Въ немъ, при всѣхъ задаткахъ для успѣховъ въ жизни, бросается въ глаза какое-то душевное безсиліе. Послушаемъ, какъ самъ онъ говоритъ объ этомъ: „во мнѣ душа испорчена свѣтомъ, воображеніе безпокойное, сердце ненасытное; мнѣ все мало, къ печали я такъ же легко привыкаю, какъ къ наслажденію, и жизнь моя становится пустѣе день ото дня; мнѣ осталось одно средство: путешествовать...“ Опять приходится вспомнить Онѣгина, для котораго также осталось одно — путешествовать, слоняться по свѣту; черта — характерная для всѣхъ нашихъ „лишнихъ людей“, въ томъ числѣ и для той разновидности, которая воплощена въ Рудинѣ. Но ни объ Онѣгинѣ, ни о Рудинѣ нельзя сказать, что у нихъ „сердце ненасытное“, „воображеніе безпокойное“ и т. д. Для характеристики „лишнихъ людей“ не важно, какое у нихъ „сердце“ и „воображеніе“,— важно лишь то, что они, при всевозможныхъ индивидуальныхъ различіяхъ, одинаково не умѣютъ или не могутъ найти себѣ дѣло, хотя бы маленькое, опредѣлить свое призваніе въ жизни, осуществить свою общественную стоимость— и являются неудачниками и вѣчными странниками, снѣдаемыми тоской пустого существованія.

Максимъ Максимовичъ, передавая автору признанія Печорина, заключаетъ вопросомъ: „Скажите-ка, пожалуйста, вы вотъ, кажется, бывали въ столицѣ, и недавно — неужто тамошняя молодежь вся такова?“ — На этотъ вопросъ авторъ отвѣчаетъ, что „много есть людей, говорящихъ то же самое, что есть, вѣроятно, и такіе, которые говорятъ правду; что, впрочемъ, разочарованіе, какъ всѣ моды, начавъ съ высшихъ слоевъ, спустилось къ низшимъ, которые его донашиваютъ, и что нынче тѣ, которые больше всѣхъ и въ са-

момъ дѣлѣ скучаютъ, стараются скрыть это несчастье, какъ порокъ" [1]).

Эти слова весьма важны, и отъ нихъ, по моему мнѣнію, и слѣдуетъ исходить при объясненіи психологіи и самаго типа Печорина.

2.

Было высказано мнѣніе, что Печоринъ — не вполнѣ реальный типъ, въ томъ смыслѣ, какъ мы называемъ реальными типы Онѣгина, Руднева, Обломова и др. Такъ, Н. А. Котляревскій говоритъ, что „Печоринъ болѣе естественъ и правдоподобенъ, чѣмъ Арбенинъ; но и онъ не можетъ быть названъ образцомъ реальнаго типа, какъ мы теперь такой типъ понимаемъ" („М. Ю. Лермонтовъ", стр. 189—190). Даровитый ученый видитъ въ Печоринѣ не столько „реальный типъ", обобщающій соотвѣтственныя явленія дѣйствительности, сколько воспроизведеніе нѣкоторыхъ сторонъ натуры самого Лермонтова и какъ бы воплощеніе извѣстнаго момента въ душевномъ развитіи великаго поэта. „Лермонтовъ, говоритъ онъ (стр. 206),—далъ намъ въ Печоринѣ не цѣльный типъ, не живой организмъ, носящій въ своемъ настоящемъ зародыши своего будущаго, а очень реально обставленное отраженіе одного момента въ своемъ собственномъ духовномъ развитіи" [2]). Съ послѣднимъ утвержденіемъ нужно безусловно согласиться: Печоринъ (какъ раньше „Демонъ", Арбенинъ и др.)—это самъ Лермонтовъ, взятый въ извѣстный моментъ его душевнаго развитія и нѣсколько односторонне освѣщенный, ибо въ Лермонтовѣ, кромѣ „Печоринскихъ" чертъ, были и другія. Но вотъ въ чемъ вопросъ: эти черты („Печоринскія") не были ли принадлежностью мно-

---

[1]) Курсивъ мой. „Герой наш. врем.", „Бэла".

[2]) Ниже: „Печоринъ былъ скорѣе типомъ единичнымъ, чѣмъ собирательнымъ" (стр. 209).

гихъ, — изображенный „моментъ" не переживался ли тогда многими представителями поколѣнія 30-хъ годовъ, и Лермонтовъ, рисуя съ себя (субъективно), не находилъ ли въ то же время оправданія созданному образцу въ наблюденіяхъ надъ другими людьми? Вышеприведенныя слова Лермонтова, повидимому, указываютъ на это: Печориныхъ было не мало, и если иные изъ нихъ только говорили то, что говоритъ Печоринъ, то были и такіе, которые говорили правду, т.-е. въ самомъ дѣлѣ переживали душевныя состоянія, воспроизведенныя въ Печоринѣ. Однимъ словомъ, были Печорины искренніе и неискренніе, поверхностные и болѣе глубокіе, поддѣльные и настоящіе, была даже мода Печоринской разочарованности, распространенная въ высшемъ классѣ и оттуда переходившая къ „низшимъ". Наконецъ, это былъ родъ не то порока, не то несчастья. И рядомъ съ тѣми, которые охотно выставляли на показъ свою тоску и скуку, были другіе, которые ихъ скрывали. Эти-то послѣдніе „больше всѣхъ и въ самомъ дѣлѣ скучали".

Изъ этого свидѣтельства, кажется, позволительно заключить, что „скука" какъ Лермонтовскаго Печорина, такъ и прочихъ, менѣе „интересныхъ" Печориныхъ, не заключала въ себѣ ничего идейнаго. Въ этомъ отношеніи Онѣгинъ имѣетъ нѣкоторое преимущество передъ Печоринымъ: Онѣгинъ былъ затронутъ передовыми идеями своего времени, хотя и не былъ его „героемъ", — Печорину же совершенно чужды какія бы то ни было идейныя стремленія, онъ — очевидный индифферентистъ, и, со своею безыдейною тоскою, онъ и является характернымъ „героемъ своего времени" или, по выраженію Н. К. Михайловскаго, „героемъ безвременья".

Не заключая въ себѣ ничего идейнаго, разочарованность или скука Печорина однако же представляется настроеніемъ несовсѣмъ банальнымъ. Повидимому, оно довольно сложно

и свидѣтельствуетъ о незаурядности натуры скучающаго „героя“. Другой на его мѣстѣ и не сталъ бы скучать и былъ бы совершенно удовлетворенъ и пошло счастливъ.

Въ то глухое, почти безпросвѣтное время, когда критическое отношеніе къ дѣйствительности только начинало вырабатываться въ немногихъ интимныхъ кружкахъ мыслящихъ людей, встрѣчались натуры, отличавшіяся, такъ сказать, органическою, природною неспособностью удовлетворяться пошлою, пустою и тѣсною жизнью. Въ высшемъ обществѣ того времени люди этого рода встрѣчались чаще, чѣмъ въ другихъ слояхъ. Они не имѣли опредѣленныхъ, выработанныхъ убѣжденій, плохо разбирались въ дѣлѣ критической оцѣнки людей и вещей; но, повинуясь какому-то благородному инстинкту, они брезгливо сторонились отъ извѣстныхъ темныхъ сторонъ тогдашней дѣйствительности. Не рѣдкость, напр., было встрѣтить человѣка, который въ своемъ міровоззрѣніи недалеко ушелъ отъ господствующей системы понятій, но Булгарина и Греча ненавидѣлъ и презиралъ всѣми силами души. Натуры этого рода плохо ладили также съ пошлою стороною жизни, томились ея однообразіемъ, жаждали новыхъ, освѣжающихъ впечатлѣній и, не находя ихъ, хандрили и скучали. Однимъ лишь фактомъ своего существованія они представляли живой протестъ противъ тогдашней дѣйствительности, почему представители и „теоретики“ этой послѣдней смотрѣли на нихъ косо и подозрительно. Печорины, при всей ихъ безпринципности и бездѣятельности, были „на плохомъ счету“. Лучшимъ подтвержденіемъ этого служитъ примѣръ самаго интереснаго изъ всѣхъ тогдашнихъ Печориныхъ—М. Ю. Лермонтова.

Это, въ свою очередь, приводило къ тому, что они привыкали смотрѣть на себя, какъ на людей особенныхъ, незаурядныхъ, рожденныхъ не для пошлой жизни и не для обычной „карьеры“. Имъ казалось, что они предназначены были для чего-то высшаго, для какого-то необыкновеннаго

„поприща", о которомъ они, впрочемъ, не имѣли никакого понятія. Печоринъ говоритъ: „Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился?.. А вѣрно она существовала, а вѣрно было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя..." [1]). Это—слишкомъ сильно сказано и приличествуетъ скорѣе самому Лермонтову, чѣмъ Печорину, все преимущество котораго состоитъ только въ томъ, что онъ родился съ незаурядною и не легко опошляемою душою. Тѣмъ не менѣе Печоринъ могъ сказать или подумать это,—и здѣсь нѣтъ основанія упрекнуть Лермонтова въ психологическомъ промахѣ (хотя, кажется, въ данномъ случаѣ онъ имѣлъ въ виду больше себя самого, чѣмъ своего героя). Дѣло въ томъ, что Печоринъ — натура рѣзко-эгоцентрическая. Онъ все относитъ къ себѣ; ему кажется, что все создано для него; онъ не можетъ увлечься чѣмъ бы то ни было такъ, чтобы хоть на мигъ забыть о себѣ. И соотвѣтственно этому, у него чрезмѣрное самомнѣніе. Онъ склоненъ преувеличивать свою душевную значительность. Зная о себѣ, что онъ — человѣкъ незаурядный, не пошлый, не мелкій, онъ уже мнитъ себя какимъ-то „избранникомъ", онъ уже подозрѣваетъ въ себѣ „силы необъятныя" и задумывается надъ вопросомъ о своемъ высокомъ предназначеніи.

Его крайній эгоцентризмъ ярко характеризуется въ другомъ мѣстѣ, гдѣ онъ говоритъ: „Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчается на пути; я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы..." [2]).

---

[1]) „Княжна Мери".

[2]) Тамъ же. Курсивъ мой.

Такая натура менѣе всего можетъ жить замкнутою жизнью, своимъ внутреннимъ міромъ, ей нужна чужая жизнь, чужія горести и радости — какъ „пища“, именно для того, чтобы, вмѣшиваясь въ жизнь другихъ, утверждать свою личность, возвеличивать, тѣшить, „кормить“ свое „ненасытное“ я. Оттуда, между прочимъ, столь извѣстное тяготѣніе этого рода натуръ къ той средѣ, которую онѣ презираютъ, но безъ которой обойтись не могутъ. Печоринъ презираетъ и высмѣиваетъ Грушницкаго, но что бы онъ дѣлалъ безъ Грушницкихъ? Ему необходимы люди, которымъ онъ могъ бы противопоставить себя, какъ нѣкое высшее существо. Но нетрудно видѣть, что такое занятіе и вообще постоянное, интимное сообщеніе съ людьми низшаго порядка, съ пошлою средой невольно втягиваетъ незауряднаго человѣка въ тину мелкой жизни, пустыхъ интригъ, и этотъ человѣкъ, незамѣтно для самого себя, начинаетъ уподобляться тѣмъ, кого презираетъ.

Печоринъ, какъ ужъ было указано, честолюбивъ и властолюбивъ. Есть намекъ на то, что онъ не могъ найти исхода своимъ честолюбивымъ стремленіямъ на единственно возможномъ тогда поприщѣ — на службѣ: „честолюбіе у меня“, говоритъ онъ, — „подавлено обстоятельствами...“ Но „оно проявилось въ другомъ видѣ“: оно нашло себѣ другую арену и другое упражненіе — покорять женскія сердца, внушать людямъ зависть, имѣть „поклонниковъ“, вообще „подчинять своей волѣ“ другихъ („Кн. Мери“). Это все равно, какъ, за неимѣніемъ работы, упражнять сильные мускулы ненужной гимнастикой и при этомъ гордиться тѣмъ, что отъ, молъ, какая у меня сила. Эта подстановка такъ важнав въ психологіи Печорина, что даже стала предметомъ его философскихъ соображеній, и онъ выработалъ себѣ такую теорію счастья: „...честолюбіе — не что иное, какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе — подчинять моей волѣ все, что меня окружаетъ. Возбуждать къ себѣ чувство любви

преданности и страха — не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданій и радостей, не имѣя на то никакого положительнаго права, — не самая ли это сладкая пища для нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость...“ („Кн. Мери“).

Все это — не одни „слова“. Въ романѣ превосходно выдержанъ и, можно сказать, раскрытъ, средствами искусства, этотъ эгоцентрическій характеръ, и мы имѣемъ возможность вникнуть глубже въ его психологію.

3.

Чертами, до сихъ поръ указанными, опредѣляется то, что можно назвать „душевною позиціею“ человѣка. Подъ этимъ терминомъ я понимаю психологическія отношенія человѣка къ другимъ людямъ, къ средѣ. Всякій изъ насъ имѣетъ свою „душевную позицію“. У Печорина она характеризуется эгоцентризмомъ, „ненасытною жадностью“ души, честолюбіемъ, теоріей счастья „насыщенной гордости“.

Въ этой „позиціи“ нельзя не видѣть чего-то ненормальнаго, болѣзненнаго, — пока еще не въ психіатрическомъ смыслѣ, но уже въ смыслѣ общественномъ и моральномъ. Человѣкъ смотритъ на людей, на среду, какъ на средство для возвеличенія своего „я“, для „насыщенія своей гордости“.

Въ другомъ мѣстѣ (въ этюдѣ „Н. В. Гоголь“, стр. 82) я высказалъ между прочимъ мысль, что крайній эгоцентризмъ духа есть уже „болѣзнь“, хотя бы подъ нею и не таился никакой психозъ въ собственномъ смыслѣ. Симптомами этой „болѣзни“ являются слишкомъ повышенное самочувствіе человѣка, избытокъ рефлексіи и противорѣчіе замкнутости въ себѣ, скрытности—

съ кажущеюся экспансивностью. Послѣдній признакъ выражается въ томъ, что эти люди много говорятъ или пишутъ (письма, дневники пр.) все о себѣ да о себѣ. Для Печорина въ указанномъ отношеніи чрезвычайно характерно то, что большая часть знаменитаго романа такъ и написана — въ видѣ „записокъ" самого героя („Тамань", „Княжна Мери", „Фаталистъ"), а другая часть („Бэла") содержитъ въ себѣ признанія, даже родъ исповѣди Печорина. Эта наклонность или потребность высказываться, исповѣдываться, раскрывать другимъ свой внутреній міръ у натуръ эгоцентрическихъ не есть слѣдствіе или признакъ экспансивности и уживается вмѣстѣ съ другою, противоположною чертою характера — замкнутостью, скрытностью. Это просто — результатъ того, что эгоцентрическія натуры слишкомъ заняты интересами своего внутренняго міра, и поэтому ихъ „я" невольно вырывается наружу — высказывается. Такъ точно и тяготѣніе къ людямъ, къ обществу у нихъ не является выраженіемъ симпатій и общественныхъ стремленій и уживается съ мизантропіей. Ихъ, такъ сказать, „тянетъ" къ людямъ, большинство которыхъ они не любятъ и презираютъ, и въ этомъ сказывается потребность отвлечься отъ вѣчныхъ помысловъ о себя и освѣжить новыми впечатлѣніями свою душу, отягченную прошлымъ опытомъ жизни. Здѣсь-то и даетъ себѣ знать ихъ повышенное самочувствіе, которое можетъ выражаться въ различныхъ формахъ. Но вотъ двѣ весьма любопытныя и, кажется, наименѣе „здоровыя" формы: 1) „У меня, — говоритъ Печоринъ, — врожденная страсть противорѣчить; цѣлая жизнь моя была только цѣпь грустныхъ и неудачныхъ противорѣчій сердцу или разсудку[1]. Присутствіе энтузіаста обдаетъ меня крещенскимъ холодомъ, и, я думаю, частыя сношенія съ вялымъ флегмати-

[1]) Курсивъ мой.

комъ сдѣлали бы изъ меня страстнаго мечтателя" („Кн. Мери").—2) „Нѣтъ въ мірѣ человѣка, надъ которымъ прошедшее пріобрѣтало бы такую власть, какъ надо мною. Всякое воспоминаніе о минувшей печали или радости болѣзненно ударяетъ въ мою душу[1]) и извлекаетъ изъ нея все тѣ же звуки... Я глупо созданъ: ничего не забываю, ничего!"[1]) („Кн. Мери").

Чтобы хорошо понять психологическое (а, можетъ быть, отчасти уже психопатологическое) значеніе этихъ двухъ формъ повышеннаго самочувствія, нужно принять во вниманіе слѣдующее:

1) Душевная жизнь индивидуально- и соціально-нормальнаго человѣка состоитъ въ общеніи, въ обмѣнѣ психическимъ содержаніемъ — мыслей, чувствъ, настроеній и т. д. съ другими людьми. Этотъ обмѣнъ не всегда бываетъ справедливъ и одинаково выгоденъ для обѣихъ сторонъ: человѣкъ съ большимъ душевнымъ содержаніемъ въ общеніи съ людьми незначительнаго душевнаго содержанія даетъ много, а получаетъ мало. Но не въ этомъ дѣло. Важно, умѣть давать и умѣть брать. Если человѣкъ не въ состояніи передать вамъ свое душевное содержаніе, свою мысль, свое чувство и настроеніе, при все вашей готовности и охотѣ воспринять ихъ, сочувственно отозваться на нихъ, а самъ, напротивъ, рабски подчиняется вашему „внушенію", то, очевидно, онъ стоитъ ниже нормы. Такъ же точно, если онъ, умѣя передать вамъ свое, не въ силахъ усвоить ваше (при всей вашей охотѣ и всемъ умѣніи передать), онъ долженъ быть признанъ субъектомъ анормальнымъ. При этомъ, разумѣется, предполагается, что субъекты имѣютъ между собою нѣчто общее и не говорятъ „на разныхъ языкахъ", что они могли бы обмѣниваться душевнымъ достояніемъ, чѣмъ кто богатъ. Печоринъ принадле-

[1]) Курсивъ мой.

жить къ числу тѣхъ, которые умѣютъ передавать, но не умѣютъ брать. Въ этомъ-то и обнаруживается между прочимъ его повышенное самочувствіе: онъ слишкомъ сильно, слишкомъ ярко чувствуетъ *свою* мысль, *свое* чувство, *свое* настроеніе, чтобы удѣлять потребную долю вниманія мыслямъ, чувствамъ, настроеніямъ другихъ людей. Оттуда—тотъ духъ противорѣчія, о которомъ онъ говоритъ. Его душа какъ будто замурована и неспособна сочувствовать другой душѣ, настраиваться въ унисонъ съ настроеніемъ другихъ. На чужой энтузіазмъ онъ отвѣчаетъ душевнымъ холодомъ, на чужой душевный холодъ онъ, какъ самъ думаетъ, отвѣтитъ энтузіазмомъ (что, впрочемъ, сомнительно, такъ какъ, повидимому, Печоринъ вообще неспособенъ къ энтузіазму. Это — уединенная душа, скудная *симпатическимъ воображеніемъ*, которое служитъ проводникомъ отъ человѣка къ человѣку. Противорѣча другимъ, онъ постоянно противорѣчитъ и себѣ самому, и его жизнь есть „цѣпь грустныхъ и неудачныхъ противорѣчій сердцу или разсудку". Повидимому, дѣло идетъ здѣсь не о тѣхъ противорѣчіяхъ, которыя возникаютъ въ силу, напр., столкновенія страсти съ разсудкомъ, не о внутренней борьбѣ человѣка съ самимъ собою. Рѣчь идетъ о томъ, что Печоринъ неспособенъ отдаться влеченію сердца, точно такъ, какъ неспособенъ онъ поддаться настроенію другого человѣка, и что онъ также не удѣляетъ должнаго вниманія голосу разсудка по какому-то не то своенравію, не то капризу. Онъ часто поступаетъ наперекоръ своему разсудку, какъ поступаетъ наперекоръ мнѣнію, желанію и т. п. другихъ людей. Въ немъ нѣтъ должной цѣльности или гармоніи душевной жизни. Такое состояніе души не можетъ считаться нормальнымъ — и субъектъ становится мало пригоднымъ для соціальной жизни, онъ уже — несомнѣнный кандидатъ въ „лишніе люди".

Но здѣсь надо принять во вниманіе *степень* дефекта.

У Печорина мы видимъ только относительный недостатокъ симпатическаго воображенія и связанной съ нимъ способности воспринимать чужое душевное состояніе и жить общею жизнью съ другими. Такъ, напр., въ общеніи съ докторомъ Вернеромъ онъ вполнѣ „нормаленъ“: онъ его понимаетъ, сочувствуетъ ему, обмѣнивается съ нимъ и мыслями, и чувствами. Но, однако, отъ добраго и по-своему умнаго Максима Максимовича онъ ничего не взялъ и, очевидно, не могъ сочувственно понять его, какъ понялъ Лермонтовъ. Напротивъ, Максимъ Максимовичъ, въ мѣру своего умственнаго развитія и силою простого здраваго смысла, сумѣлъ понять и даже очертить другому душевный складъ Печорина, столь чуждый ему. Въ этомъ смыслѣ простая душа стараго штабсъ-капитана оказалась богаче сложной души Печорина.

Нѣтъ худа безъ добра. Печорины, мало способные къ сочувственному пониманію другихъ и одержимые духомъ противорѣчія, благодаря этому душевному изъяну, оказываются застрахованными отъ разныхъ „психическихъ эпидемій“, какія въ данное время получаютъ особливое распространеніе въ обществѣ. И вотъ почему въ эпоху „безвременья“, когда сервилизмъ, испугъ и квасной патріотизмъ стали своего рода „эпидеміями“, Печоринъ гордо и твердо шелъ противъ теченія, неспособный усвоить себѣ господствующее настроеніе и обязательный кодексъ идей и чувствъ. Тутъ между прочимъ, одна изъ причинъ его неприспособлености къ служебной карьерѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ это придавало ему своеобразное общественное значеніе. Бываютъ эпохи, когда неспособность человѣка, хотя бы и „лишняго“, заражаться всеобщимъ испугомъ есть уже заслуга и высоко цѣнится...

2) Если въ томъ „духѣ противорѣчія“, которымъ одержимъ Печоринъ, мы усматриваемъ нѣчто анормальное (хотя и могущее, по условіямъ времени, оказаться полезнымъ

для чести человѣка), то другую черту, указанную въ вышеприведенномъ признаніи Печорина, мы должны признать безусловно патологической и опасной для душевнаго здравія субъекта: Печоринъ ничего не забываетъ и вѣчно находится подъ гнетомъ своего прошлаго. Въ этомъ еще яснѣе обнаруживается его повышенное самочувствіе. При этомъ, очевидно, тутъ имѣются въ виду не столько мысли, идеи, сколько чувства, аффекты и настроенія. Печоринъ говоритъ о „минувшихъ печаляхъ и радостяхъ", которыя остаются въ его, какъ сказали бы современные французскіе психологи, „аффективной памяти"[1]) и болѣзненно ударяютъ въ его душу". Это значитъ, что нѣкогда пережитыя имъ чувства оставляютъ послѣ себя слѣды въ его душѣ, болѣе устойчивые, чѣмъ у другихъ, нормальныхъ людей. Его душа, разъ испытавъ извѣстное, конечно — болѣе или менѣе сильное, чувство, сохраняетъ способность вновь переживать соотвѣтственное чувство или настроеніе, хотя бы оно и не вызывалось новымъ опытомъ жизни. Было у него, скажемъ, когда-то чувство любви къ такому-то лицу, или чувство вражды къ нему, зависти и т. д.; съ теченіемъ времени эти чувства исчезли, имъ на смѣну явились новыя, къ другимъ лицамъ; но они исчезли не безслѣдно, и Печоринъ можетъ вновь пережить ихъ или — точнѣе — воспоминаніе о нихъ, почти такъ, какъ будто бы они и сейчасъ живы, какъ будто вновь повторился прежній опытъ жизни. Мы всѣ болѣе или менѣе помнимъ различныя чувства, переживавшіяся нами, т.-е. помнимъ, что они были у насъ; но мы, вспоминая о нихъ, сравнительно рѣдко способны живо перечувствовать ихъ, т.-е. отозваться на нихъ новымъ,

[1]) Оговорюсь, что, вопреки Рибо и другимъ, я не склоненъ приравнивать явленіе „памяти чувствъ" къ памяти умственной. Я думаю, что это — психическія явленія различнаго порядка, о чемъ я имѣлъ случай высказаться въ статьѣ „Къ психологіи мысли и творчества" (въ кн. „Вопросы психологіи творчества", стр. 226 и сл.).

соотвѣтственнымъ чувствомъ, — испытать печаль при воспоминаніи о давно пережитой печали, почувствовать радость при мысли о давно угасшей радости. Наша чувствующая душа подчинена благому закону забвенія. Мы можемъ помнить, напр., что когда-то мы ненавидѣли такого-то человѣка. Прошли года, и это чувство забылось, исчезло. Вспоминая о немъ, мы уже не находимъ въ себѣ этой былой ненависти. Но бываетъ и такъ, что, вспоминая о давно заглохшемъ чувствѣ, мы вновь ощущаемъ нѣчто болѣе или менѣе похожее на него, въ душѣ проходитъ какъ бы его тѣнь, или же возникаетъ новое настроеніе, вызванное воспоминаніемъ, но ничего общаго не имѣющее съ прежнимъ чувствомъ. Такъ, вспоминая былую, давно забытую печаль, я могу вмѣсто того, чтобы почуять ея вѣяніе, испытать радостное настроеніе, вызванное сознаніемъ, что, слава Богу, нѣтъ уже той печали и нѣтъ причины, которая могла бы вновь вызвать ее. Но представимъ себѣ душевную организацію, въ которой и прежняя печаль, и былая радость, и гнѣвъ, и зависть, и стыдъ и т. д. оставляютъ въ душѣ прочную настроенность въ соотвѣтственномъ направленіи, такъ что, при новыхъ обстоятельствахъ, по другимъ поводамъ, эти чувства вновь воскресаютъ, и это — уже не легкое вѣяніе тѣней былого, а живыя чувства, хотя и новыя, но удивительно точно воспроизводящія прошлую исторію души. Вспомнимъ: у Печорина старыя чувства, казалось, заглохшія, все будто живы и извлекаютъ изъ души его „все тѣ же звуки". Пережитыми чувствами, страстями, аффектами его душа разъ навсегда настроена извѣстнымъ образомъ и постоянно готова звучать замогильными звуками прошлаго. И все равно, радостны или печальны эти „звуки": въ томъ и другомъ случаѣ они причиняютъ душевную боль. Былая радость либо отравляется теперь сознаніемъ что ея нѣтъ [1]), либо, что вѣрнѣе и важнѣе, — она причи-

[1]) Помимо этого воспоминанія о прошломъ вообще, о пережитыхъ нѣ-

няетъ особую душевную боль въ качествѣ чувства лишняго, такъ сказать „сверхкомплектнаго“, ненужнаго для текущей минуты, немотивированнаго настоящимъ. Ибо душа человѣческая безсознательно стремится къ экономіи какъ въ сферѣ мысли, такъ и въ сферѣ чувства, и „законъ забвенія“, господствующій, именно въ душѣ чувствующей, въ высокой степени благодѣтеленъ. У Печорина онъ плохо дѣйствуетъ, и его душа одержима призраками прежнихъ чувствъ, страстей, аффектовъ, настроеній.

Такая душевная организація не можетъ считаться нормальной и уравновѣшенной. Она фатально становится игралищемъ разныхъ, болѣе или менѣе тягостныхъ, угнетающихъ состояній и томленій душевныхъ, — и нѣтъ ей успокоенія, нѣтъ ей забвенія.

Кажется, мы не ошибемся, если скажемъ, что натура Печорина въ этомъ отношеніи болѣе, чѣмъ въ другихъ, воспроизводила душевную организацію самого Лермонтова, въ поэтическомъ „паѳосѣ“ котораго мотивъ жажды „покоя и забвенія“ игралъ весьма видную роль.

Вспомнимъ, напр.:

За все, за все Тебя благодарю я:
За тайныя мученія страстей,
За горечь слезъ, отраву поцѣлуя,
За месть враговъ и клевету друзей;
За жаръ души, растраченный въ пустынѣ,
За все, чѣмъ я обманутъ въ жизни былъ...
Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отнынѣ
Не долго я еще благодарилъ...

Поэтъ „все помнитъ“, и все пережитое такъ болѣзненно отзывается въ его душѣ, что онъ не видитъ иного успо-

---

когда чувствахъ и настроеніяхъ въ особенности, обыкновенно окрашиваются какимъ-то оттѣнкомъ грусти, который усиливается по мѣрѣ того, какъ пережитое все дальше отодвигается въ прошлое. Въ этой своеобразной грусти есть что-то „похоронное“, что-то „кладбищенское“. Того же порядка и грусть историческихъ воспоминаній.

коснія, какъ только въ смерти. Но ему мерещится даже, что и за гробомъ его будутъ преслѣдовать земныя страсти— и любовь, и ревность, и муки, и восторги:

Пускай холодною землею
    Засыпанъ я,
О, другъ! всегда, вездѣ съ тобою
    Душа моя.
Любви безумнаго томленья,
    Жилецъ могилъ,
Въ странѣ покоя и забвенья
    Я не забылъ...

(*„Любовь мертвеца“*).

Лирическая обработка этого мотива у Лермонтова такова, что само собою напрашивается предположеніе, что здѣсь передъ нами родъ поэтической исповѣди, что поэтъ лично испытывалъ эти душевныя состоянія.

4.

Я не имѣю здѣсь возможности входить въ разсмотрѣніе вопроса, насколько отмѣченная выше въ Печоринѣ и самомъ Лермонтовѣ черта (болѣзненная живость „аффективной памяти“, ограниченіе „закона забвенія“) была явленіемъ, характернымъ для психологіи поколѣнія 30-хъ годовъ. Ограничусь замѣчаніемъ, что этотъ родъ душевной неуравновѣшенности отчасти гармонируетъ съ той чувствительностью, восторженностью, экзальтаціей, которыя я отмѣтилъ (въ главѣ II-й), какъ отличительный признакъ душевнаго склада извѣстныхъ представителей того же поколѣнія. Отъ тѣхъ послѣднихъ Печоринъ, помимо другихъ весьма существенныхъ отличій, разнится также отсутствіемъ восторженности, энтузіазма — вообще, въ отношеніи къ идеямъ и идеаламъ — въ особенности. Но его психологія отчасти сближается съ ихъ психологіей въ томъ смыслѣ, что у него,

какъ и у нихъ, отклоненіе отъ нормы или нарушеніе душевнаго равновѣсія наблюдается въ одной и той же области, именно въ сферѣ чувствъ. На ряду съ этимъ можно отмѣтить и другіе пункты, на которыхъ психологія Печорина-Лермонтова сближалась съ психологіей лучшихъ представителей поколѣнія 30-хъ годовъ. Такъ, эгоцентризму Печорина отвѣчаетъ, не совпадая съ нимъ по своему характеру, тотъ своеобразный эгоцентризмъ Бѣлинскаго, Герцена, Станкевича и др., о которомъ мы говорили въ главѣ III-й. Тамъ же я указалъ на то, что душевное и, тѣснѣе, умственное развитіе этихъ дѣятелей было процессомъ выработки у насъ мыслящей и морально-автономной личности и въ этомъ смыслѣ представляетъ собою высокій общественно-психологическій интересъ. Обращаясь къ Печорину, мы прежде всего видимъ въ немъ ярко-выраженную личность, которая какъ-ни-какъ, худо или хорошо, мыслитъ, чувствуетъ, понимаетъ вещи по-своему, а не шаблонно, по установившимся и традиціоннымъ формамъ. Оттуда, между прочимъ, тотъ интересъ и даже симпатія, съ которыми лучшіе люди 30—40-хъ годовъ относились къ Печорину. Его психологическій укладъ, во многомъ чуждый имъ, былъ однако понятенъ и какъ бы родственъ ихъ душѣ. Они, энтузіасты, готовы были простить Печорину его индифферентизмъ; не зная Печоринской скуки и бездѣлья, они принимали эту сторону его душевной жизни и не видѣли въ ней доказательства пошлости или пустоты. Встрѣтясь съ Печоринымъ, они могли бы сойтись съ нимъ такъ, какъ сошелся съ нимъ докторъ Вернеръ. Они бы, безъ сомнѣнія, охотно допустили Печорина въ свой интимный кругъ.

Таковы, думается мнѣ, должны были быть отношенія передовыхъ людей 30—40-хъ годовъ къ Печорину живому. Что же касается Печорина „литературнаго", то появленіе этого образа прежде всего направило мысль передовыхъ людей на другой образъ, давно знакомый, уже ставшій достояніемъ ихъ

мысли,—на образъ Онѣгина. Представитель, такъ сказать,—„лидеръ“, „партіи“ западниковъ, Бѣлинскій, выступилъ съ обширной статьей о „Героѣ нашего времени“, гдѣ впервые онъ далъ и характеристику Онѣгина („Отеч. Зап.“, 1840, № 6; въ изданіи С. А. Венгерова, томъ V-й, стр. 290—362 [1]).

Въ этой характеристикѣ (указ. изд., т. V, стр. 367—368) критикъ устанавливаетъ взглядъ на Онѣгина, какъ на реальный типъ, воспроизводящій извѣстный моментъ въ жизни и развитіи русскаго общества: „Онѣгинъ—не подражаніе, а отраженіе (т.-е. европейскихъ идей и литературныхъ типовъ), но сдѣлавшееся не въ фантазіи поэта, а въ современномъ обществѣ, которое онъ изображалъ въ лицѣ героя своего поэтическаго романа. Сближеніе съ Европой должно было особеннымъ образомъ отразиться въ нашемъ обществѣ,—и Пушкинъ геніальнымъ инстинктомъ великаго художника уловилъ ѳто отраженіе въ лицѣ Онѣгина“.

Затѣмъ, указавъ, что этотъ моментъ, воплощенный въ Онѣгинѣ, уже прошелъ „невозвратно“, Бѣлинскій говоритъ, что если бы Онѣгинъ „явился въ наше время“, то естественъ былъ бы вопросъ:

Все тотъ же ль онъ; иль усмирился?
Иль корчитъ такъ же чудака?

---

[1]) До этого времени Бѣлинскому приходилось только мелькомъ высказываться о романѣ Пушкина, не касаясь героя. Въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ (изд. Венгерова, т. I, стр. 386) онъ говоритъ: „Кавказскаго плѣнника“, „Бахчисарайскій фонтанъ“, „Цыганъ“ могъ написать всякій европейскій поэтъ, но „Евгенія Онѣгина“ и „Бориса Годунова“ могъ только написать поэтъ русскій. — Тамъ же (стр. 368) онъ называетъ эти два произведенія „самыми драгоцѣнными алмазами поэтическаго вѣнка“ Пушкина.—Въ статьѣ „О критикѣ и литер. мнѣніяхъ“ „Московскаго Наблюдателя“ находимъ выраженіе: „Онѣгинъ — этотъ живой, движущійся міръ лицъ, мыслей, чувствъ“... (указ. изд., II, 485). — Въ статьѣ объ „Очеркахъ русской литературы“ Полевого Бѣлинскій, порицая взглядъ Полевого на „Евгенія Онѣгина“, называетъ это произведеніе „полнымъ, оконченнымъ, замкнутымъ въ себѣ художественнымъ созданіемъ, въ дивныхъ образахъ выразившимъ глубокую идею“... (указ. изд., V, 111).

Скажите, чѣмъ онъ возвратился?
Что намъ представитъ онъ пока?
Чѣмъ нынѣ явится?.. и т. д.

И говоритъ, что на эти-то вопросы и далъ отвѣтъ Лермонтовъ созданіемъ Печорина. Такимъ образомъ, Печоринъ — это „Онѣгинъ нашего времени, герой нашего времени". Здѣсь же находится приведенное въ началѣ этой главы замѣчаніе, что „несходство ихъ между собою гораздо меньше разстоянія между Онѣгою и Печорою". „Иногда, — читаемъ тутъ же, — въ самомъ имени, которое истинный поэтъ даетъ своему герою, есть разумная необходимость (?), хотя, можетъ быть, и невидимая самимъ поэтомъ"... (указ. изд. V, стр. 367). Повидимому, эта „разумная необходимость" состояла просто въ томъ, что Лермонтовъ, разрабатывая характеръ героя, намѣченный уже въ предшествующихъ его произведеніяхъ [1]), и возводя его въ общественно-психологическій типъ, родственный типу Онѣгина и хронологически слѣдующій за нимъ, сознательно выбралъ имя Печоринъ—въ pendant къ имени Онѣгинъ. Если это такъ, то нельзя не видѣть здѣсь указанія на то, что главной задачей Лермонтова было вовсе не написать свой собственный портретъ, а именно создать общественно-психологическій типъ, который, по своему значенію, могъ бы стать рядомъ съ типомъ Онѣгина. И въ этомъ смыслѣ Лермонтовъ былъ вполнѣ искрененъ, когда писалъ въ „Предисловіи ко 2-му изданію" романа „Герой нашего времени": „точно портретъ, но не одного человѣка:

[1]) Н. А. Котляревскій указываетъ на братьевъ Радиныхъ въ юношеской драмѣ Лермонтова „Два брата", какъ на образы, предшествовавшіе Печорину и подготовившіе его. „Наибольшее сходство имѣетъ Печоринъ съ Александромъ Радинымъ, характеръ котораго, по всѣмъ вѣроятіямъ, служилъ Лермонтову точкой отправленія въ его новой работѣ. Нѣкоторыя слова Радина цѣликомъ вложены въ уста Печорина, и нѣтъ сомнѣнія, что Лермонтовъ дѣлалъ такія заимствованія умышленно, а не случайно" („М. Ю. Лермонтовъ", стр. 192).

это портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи"... А что въ этотъ портретъ вошли нѣкоторыя черты самого автора, это другое дѣло, обусловленное главнымъ образомъ субъективностью художественнаго творчества Лермонтова.

Бѣлинскій далъ подробный анализъ характера и всего душевнаго склада Печорина. Онъ видѣлъ въ „героѣ" портретъ самого автрова, но такой, который въ то же время воплощаетъ въ себѣ и характерныя черты времени. И критикъ относится къ Печорину съ нескрываемой симпатіей. Онъ видитъ въ немъ личность незаурядную, богатую душевными силами, заключающую въ себѣ залогъ лучшаго будущаго. „Въ идеяхъ Печорина, — говоритъ онъ (стр. 365),— много ложнаго, въ ощущеніяхъ его есть искаженіе; но все это выкупается его богатой натурой. Его во многихъ отношеніяхъ дурное настоящее обѣщаетъ прекрасное будущее". Сопоставляя его съ Онѣгинымъ, критикъ находитъ, что, уступая послѣднему въ художественномъ отношеніи, Печоринъ выше его „по идеѣ". Поясненіе этой мысли, данное Бѣлинскимъ, представляетъ для насъ большой интересъ. Прежде всего критикъ оговаривается, что это преимущество Печорина передъ Онѣгинымъ вовсе не составляетъ заслуги Лермонтова: „это преимущество принадлежитъ нашему времени" (стр. 368). Дѣло въ томъ, что Онѣгинъ, при несомнѣнныхъ положительныхъ сторонахъ (онъ „вчужѣ чувства уважалъ", „въ его сердцѣ была и гордость и прямая честь"), — человѣкъ апатичный, вялый, его „убили воспитаніе и свѣтская жизнь",—онъ опустился, ему „все приглядѣлось, все пріѣлось" — и „онъ равно зѣвалъ средь модныхъ и старинныхъ залъ"; но „не таковъ Печоринъ", говоритъ критикъ. И тутъ же онъ характеризуетъ Лермонтовскаго героя такими чертами, которыя невольно напоминаютъ намъ душевный складъ и моральное „творчество" самого Бѣлинскаго и его друзей. Вотъ это любопытное мѣсто: „Этотъ

человѣкъ не равнодушно, не апатично несетъ свое страданіе: бѣшено гоняется онъ за жизнью, ища ея повсюду; горько обвиняетъ онъ себя въ своихъ заблужденіяхъ. Въ немъ неумолчно раздаются внутренніе вопросы, тревожатъ его, мучатъ, и онъ въ рефлексіи ищетъ ихъ разрѣшенія: подсматриваетъ каждое движеніе своего сердца, разсматриваетъ каждую мысль свою. Онъ сдѣлалъ изъ себя самый любопытный предметъ своихъ наблюденій и, стараясь быть какъ можно искреннѣе въ своей исповѣди, не только откровенно признается въ своихъ истинныхъ недостаткахъ, но еще и выдумываетъ небывалые или ложно истолковываетъ самыя естественныя свои движенія" [1]) (стр. 368). Почти буквально все это приходитъ въ голову, когда перечитываешь интимную переписку Бѣлинскаго, Герцена, Станкевича и др. Очевидно, были какія-то точки соприкосновенія между психологіей Печорина и душевнымъ міромъ этихъ выдающихся дѣятелей, столь отличныхъ отъ Печорина. Разумѣется, въ этомъ сближеніи первенствующую роль игралъ Лермонтовъ. Печоринъ оказался столь близкимъ и даже дорогимъ Бѣлинскому прежде всего потому, что онъ видѣлъ въ немъ самого Лермонтова и мысленно прибавлялъ къ душевному достоянію Печорина недостающія ему качества, принадлежавшія его автору. Здѣсь у мѣста припомнить восторженныя строки изъ письма Бѣлинскаго къ Боткину, гдѣ критикъ разсказываетъ о своемъ свиданіи съ Лермонтовымъ, когда послѣдній сидѣлъ на гауптвахтѣ (за дуэль съ Барантомъ): „Печоринъ—это онъ самъ, какъ есть. Я съ нимъ спорилъ [2]), и мнѣ отрадно было видѣть въ его разсудоч-

[1]) Курсивъ мой.

[2]) Очевидно, какъ явствуетъ изъ контекста, на тему о презрѣніи мужчинъ, свойственномъ Лермонтову, который „любитъ однѣхъ женщинъ и въ жизни только ихъ и видитъ", презирая, впрочемъ, и ихъ.

номъ, охлажденномъ и озлобленномъ взглядѣ на жизнь и людей сѣмена глубокой вѣры въ достоинство того и другого. Я это сказалъ ему, — онъ улыбнулся и сказалъ: „дай Богъ!“ Боже мой, какъ онъ ниже меня по своимъ понятіямъ, и какъ я безконечно ниже его въ моемъ передъ нимъ превосходствѣ“... (А. Н. Пыпинъ. „Бѣлинскій, его жизнь и переписка“, 1876, т. II, стр. 38). Но, съ другой стороны, если Печоринъ—это самъ Лермонтовъ „какъ есть“, то Лермонтовъ—не Печоринъ, потому что, вопреки взгляду Н. А. Котляревскаго, „герой нашего времени“ — типъ собирательный. Бѣлинскій это чувствовалъ и понималъ, что видно изъ слѣдующихъ словъ въ другомъ письмѣ къ Боткину (отъ 13 іюня 1840 г.): „...я не согласенъ съ твоимъ мнѣніемъ о натянутости и изысканности (мѣстами) Печорина: онѣ разумно-необходимы. Герой нашего времени долженъ быть таковъ. Его характеръ—или рѣшительное бездѣйствіе, или пустая дѣятельность. Въ самой его силѣ и величіи должны проглядывать ходули, натянутость и изысканность. Лермонтовъ—великій поэтъ: онъ объектировалъ современное общество и его представителей“... (Пыпинъ, II, 48).

Эта мысль, приводимая Бѣлинскимъ и въ статьѣ о „Героѣ нашего времени“, въ существѣ своемъ совпадаетъ съ тѣмъ, что говоритъ и Лермонтовъ въ „Предисловіи“ ко 2-му изданію романа.

Перечитывая статью великаго критика, мы убѣждаемся въ томъ, что для него, а слѣдовательно—и для того поколѣнія, представителемъ котораго онъ былъ, Печоринъ въ самомъ дѣлѣ является „героемъ времени“. Его рефлексія, его хандра, его „охлажденный взглядъ“ на жизнь, все это казалось Бѣлинскому особливо значительнымъ, онъ видѣлъ въ этомъ доказательство глубины натуры героя, находящагося въ томъ „переходномъ сотояніи духа, въ которомъ для человѣка все старое разрушено, а новаго еще нѣтъ, и въ которомъ человѣкъ

есть только возможность чего-то дѣйствительнаго [1]) въ будущемъ и совершенный призракъ въ настоящемъ“ (указ. изд., V, 354). Нельзя, кажется, сомнѣваться въ томъ, что здѣсь Бѣлинскій обращался мыслью къ себѣ самому: онъ самъ въ это время находился въ „переходномъ состояніи духа“, переживая столь извѣстный кризисъ перехода отъ „примиренія съ дѣйствительностью“ къ ея критикѣ и отрицанію. Человѣкъ въ такомъ состояніи разлада съ окружающею дѣйствительностью и съ самимъ собою подпадаетъ подъ всемогущую власть рефлексіи; онъ, такъ сказать, раздваивается, „распадается на два человѣка, изъ которыхъ одинъ живетъ, а другой наблюдаетъ за нимъ и судитъ о немъ“ (тамъ же). Поэтому онъ не можетъ жить полною жизнью, отдаться чувству и т. д. Съ этой точки зрѣнія и разсматриваются въ статьѣ Бѣлинскаго различные факты изъ жизни Печорина, его отношенія къ другимъ людямъ, его романы и пр., — и во всемъ этомъ выслѣживается та „призрачность“ или неполнота чувствъ, идей, страстей и т. д., которая была, по мнѣнію критика, слѣдствіемъ „переходнаго состоянія“. Изъ писемъ Бѣлинскаго можно было бы привести мѣста, гдѣ онъ обвиняетъ самого себя въ избыткѣ рефлексіи, въ неспособности жить полною жизнью, отдаться чувству, „не мудрствуя лукаво“. Достаточно извѣстно, какъ мучился онъ этимъ сознаніемъ, какъ жаждалъ „полноты жизни“. То же самое переживали и его друзья. Мучительность этого состоянія была имъ хорошо знакома. Вотъ какъ изображаетъ ее Бѣлинскій въ той же статьѣ (стр. 355): „...благоуханный цвѣтъ чувства блекнетъ, не распустившись, мысль дробится въ безконечность, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталѣ; рука, подъятая для дѣйствія, какъ внезапно окаменѣлая, останавливается на взмахѣ, и не ударяетъ...“ — Слѣдуетъ

[1]) Въ гегельянскомъ смыслѣ. Курсивъ мой.

цитата изъ Гамлета („Такъ робкими всегда творитъ насъ совѣсть...“ и т. д.), послѣ чего критикъ продолжаетъ: „Ужасное состояніе! Даже въ объятіяхъ любви, среди блаженнѣйшаго упоенія и полноты жизни, возстаетъ этотъ враждебный внутренній голосъ, чтобы заставить человѣка думать

. . . . въ такое время,
Когда не думаетъ никто,

и, вырвавъ изъ его рукъ очаровательный образъ, замѣнить его отвратительнымъ скелетомъ...“

Неудивительно, что психологія Печорина съ его хандрой, рефлексіей, разочарованностью и пр. могла показаться Бѣлинскому чѣмъ-то родственнымъ, знакомымъ. И, сосредоточивъ все свое вниманіе на этомъ пунктѣ, критикъ оставилъ безъ разсмотрѣнія другія стороны Печорина, внимательное отношеніе къ которымъ могло бы охладить его симпатію къ Лермонтовскому герою. Бѣлинскій не отмѣтилъ бытовыхъ чертъ послѣдняго, а равно и тѣхъ, въ силу которыхъ Печоринъ является неудачникомъ и лишнимъ человѣкомъ. Впрочемъ, эти черты едва ли и могли быть поняты въ то время: онѣ ясны намъ въ настоящее время, благодаря той разработкѣ этого общественно-психологическаго типа, которую далъ въ 50-хъ годахъ Тургеневъ. Въ концѣ же 30-хъ годовъ, ни въ литературѣ, ни въ жизни эта сторона героевъ, олицетворявшихъ извѣстные „моменты“ въ развитіи общества, еще не проявлялась съ достаточной отчетливостью.

Итакъ, для Бѣлинскаго Печоринъ былъ чисто-психологическій типъ, олицетворявшій переходный моментъ въ развитіи личности, такъ мучительно переживавшійся самимъ Бѣлинскимъ и его друзьями.

Мы знаемъ, что въ этомъ процессѣ или „кризисѣ“ причудливо сочетались два стремленія: 1) къ выработкѣ личнаго нравственнаго сознанія и 2) къ выработкѣ новыхъ критиче-

скихъ воззрѣній на дѣйствительность и къ созданію общественнаго идеала.

Въ Печоринѣ Бѣлинскому видѣлось и то, и другое. Печоринъ переживаетъ „переходное состояніе", изъ котораго онъ выйдетъ обновленнымъ. „Переходъ изъ непосредственности въ разумное сознаніе необходимо совершается черезъ рефлексію, болѣе или менѣе болѣзненную, смотря по свойству индивидуума" (тамъ же, стр. 355). Печоринъ представленъ вышедшимъ изъ „непосредственности". Поэтъ взялъ его въ этомъ переходномъ состояніи и изобразилъ всѣ муки, съ нимъ сопряженныя. Но Печорина ожидаетъ „прекрасное будущее", потому что въ этомъ человѣкѣ скрыты „силы необъятныя". Въ другомъ мѣстѣ статьи (стр. 362) Бѣлинскій указываетъ „глубину и мощь" натуры Печорина. Но въ этой глубинѣ и мощи, въ этихъ „силахъ необъятныхъ" есть, скажемъ отъ себя, что-то неясное, проблематическое. Не видать, въ чемъ онѣ заключаются и чѣмъ и какъ могли бы сказаться. И Бѣлинскій также — по-своему — отмѣчаетъ это, говоря (стр. 369), что Печоринъ „скрывается отъ насъ такимъ же неполнымъ и неразгаданнымъ существомъ, какъ и является намъ въ началѣ романа". Въ связи съ этимъ критикъ указываетъ на то, что вообще въ романѣ Лермонтова „есть что-то неразгаданное, какъ бы недоговоренное..." — И это поясняется слѣдующимъ: „...этотъ недостатокъ есть въ то же время и достоинство романа...: таковы бываютъ всѣ современные общественные вопросы, высказываемые въ поэтическихъ произведеніяхъ: это вопль страданія, но вопль, который облегчаетъ страданіе..." (стр. 369).

Эти строки характерны, и въ нихъ таится глубокая правда: процессъ выработки нравственнаго и общественнаго сознанія, совершавшійся въ тѣ годы въ душѣ Бѣлинскаго и его друзей, былъ крупнымъ фактомъ нашего общественнаго развитія. Поскольку въ романѣ, именно въ психологіи Печорина,

были даны указанія на аналогичный процессъ, постольку въ немъ былъ выдвинутъ „общественный вопросъ“. И въ дальнѣйшемъ мы неоднократно будемъ встрѣчаться съ этимъ явленіемъ: внутренняя жизнь героевъ, вопросы ихъ совѣсти, выработка ихъ самосознанія и т. д. получаютъ значеніе общественно-психологическое, становятся въ одно и то же время и постановкою общественнаго вопроса, и „воплемъ страданія, облегчающимъ это страданіе“.

Иначе можно выразить это такъ: мучительно и трудно было въ ту эпоху русскому мыслящему человѣку отрываться отъ „непосредственности“, перерастать, умственно и нравственно, тотъ уровень, на которомъ стояло огромное большинство общества. Выходя изъ этой непосредственности, человѣкъ оказывался одинокимъ, чуждымъ всему, „лишнимъ“. Въ особенности тягостнымъ было это для тѣхъ, кто живо чувствовалъ необходимость общественныхъ связей, кто стремился къ осуществленію своей общественной стоимости. Муки душевнаго одиночества толкали людей, оторвавшихся отъ непосредственности, къ искусственному и непрочному „примиренію“ съ дѣйствительностью, о которомъ можно сказать, вопреки поговоркѣ, что такой плохой миръ — гораздо хуже хорошей ссоры. „Ссора“ съ дѣйствительностью для людей, умственно и нравственно незаурядныхъ была въ концѣ концовъ неизбѣжною. Все это, и первый выходъ изъ непосредственности, и неудачныя попытки примиренія, и самая „ссора“, и сопряженная со всѣмъ этимъ внутренняя борьба, муки одиночества и т. д.,— все это не могло не отражаться на душевномъ здоровьи или, по крайней мѣрѣ, равновѣсіи человѣка, откуда извѣстныя уклоненія отъ „нормы“, повышенное самочувствіе, эгоцентризмъ, разочарованность, хандра и многое другое — болѣе или менѣе патологическое, частью — только въ соціальномъ смыслѣ, частью же — и въ психологическомъ.

Эта соціально-патологическая, равно какъ и психо-патологическая окраска, чувствовалась и отмѣчалась, хотя и въ чертахъ неопредѣленныхъ, въ выраженіяхъ двусмысленныхъ. Лермонтовъ въ „Предисловіи" говоритъ о какихъ-то „порокахъ", изъ которыхъ „составленъ", образъ Печорина. Въ разговорѣ съ докторомъ Вернеромъ (передъ дуэлью) поэтъ влагаетъ въ уста Печорина такое признаніе: „Изъ жизненной бури я вынесъ только нѣсколько идей и ни одного чувства. Я давно ужъ живу не сердцемъ, а головою. Я взвѣшиваю, разбираю свои собственныя страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнѣ два человѣка: одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, другой мыслитъ и судитъ его..." Выше мы видѣли, какъ изображаетъ это душевное состояніе Бѣлинскій, по опыту знавшій, что это — родъ „болѣзни"[1]), хотя и спасительной.

Изъ всего этого между прочимъ видно, что типъ Печорина былъ для лучшихъ людей того времени не совсѣмъ то, чѣмъ является онъ для насъ. Съ одной стороны, онъ говорилъ имъ больше, а съ другой — меньше, чѣмъ говоритъ намъ. Дальнѣйшее выясненіе или, скажемъ, развитіе этого типа въ сознаніи мыслящей и передовой части общества шло въ направленіи убыли его моральнаго интереса въ тѣсномъ смыслѣ и расширенія его значенія, какъ типа общественно-психологическаго, стоящаго посрединѣ между Онѣгинымъ, человѣкомъ 20-хъ годовъ, и такъ называемыми „людьми 40-хъ годовъ", къ которымъ мы и обратимся теперь.

---

[1]) „Дивно-художественная „Сцена Фауста" Пушкина представляетъ собою высокій образъ рефлексіи, какъ болѣзни многихъ индивидуумовъ нашего общества",— говоритъ Бѣлинскій въ той же статьѣ, стр. 356.

ГЛАВА VI.

„Люди 40-хъ годовъ".—Рудинъ.

I.

До 40-хъ годовъ наша художественная литература не отставала отъ жизни: едва — въ дѣйствительности — успѣвало обозначиться извѣстное теченіе общественной мысли, извѣстное настроеніе, опредѣленный родъ „соціальнаго самочувствія" людей передовыхъ и мыслящихъ, какъ уже и въ литературѣ появлялся соотвѣтственный художественный типъ. Такъ, художественные типы Чацкаго, Онѣгина, Печорина являлись, можно сказать, по горячимъ слѣдамъ жизни, въ то самое время, когда жили и дѣйствовали настоящіе, живые Чацкіе, Онѣгины и Печорины. Ихъ образъ мысли, ихъ характерная душевная складка, ихъ негодованіе, протестъ, грусть, тоска, степень достигнутаго ими самосознанія,—все это было взято поэтами прямо въ дѣйствительности, еще не отошедшей въ прошлое, подслушано, подмѣчено въ живой душѣ человѣческой.

Такимъ образомъ, 20-е и 30-е годы, со стороны передового движенія, въ типичныхъ чертахъ умственной жизни и общаго душевнаго склада мыслящихъ и чувствующихъ людей эпохи, непосредственно отразились въ современной же художественной литературѣ.

Этого нельзя сказать о 40-хъ годахъ. Изображеніе и анализъ душевнаго склада лучшихъ людей этой эпохи стало возможнымъ лишь по завершеніи ея, заднимъ числомъ, когда, въ годину безвременной первой половины 50-хъ годовъ и позже, во второй ихъ половинѣ, наканунѣ реформъ, было — на досугѣ — продумано, осмыслено и критически оцѣнено умственное, моральное и общественное наслѣдіе 40-хъ годовъ. Художественный итогъ этому наслѣдію былъ впервые подведенъ Тургеневымъ въ „Рудинѣ“ (1858) и въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ (1858). Типы Рудина и Лаврецкаго, по своему общественно-психологическому смыслу и художественному значенію, являются для „людей 40-хъ годовъ“ тѣмъ же, чѣмъ Чацкій и Онѣгинъ — для людей 20-хъ годовъ, а Печоринъ — для извѣстной части поколѣнія 30-хъ.

Умственная и вообще духовная жизнь людей 40-хъ годовъ была значительно сложнѣе душевнаго обихода Чацкихъ, Онѣгиныхъ и даже Печориныхъ. Работа мысли стала интенсивнѣе, кругъ умственныхъ интересовъ расширился, ярко обозначились философскія стремленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ и вліяніе западно-европейскихъ идей и литературныхъ направленій стало дѣйствительнѣе и плодотворнѣе, ибо онѣ воспринимались уже не какъ мода, не подражательно, а перерабатывались — худо ли, хорошо ли — самостоятельной работой мысли. Явились первостепенные — творческіе — умы, какъ Герценъ и Бѣлинскій. Наконецъ, обособились опредѣленныя, ясно выраженныя, оригинально разработанныя направленія или формы нашего національнаго и общественнаго самосознанія — западничество и славянофильство.

Замѣтно измѣнился и классовый составъ мыслящей части общества. Въ 20-хъ и частью еще въ 30-хъ годахъ люди мыслящіе и чувствующіе принадлежали къ великосвѣтскому кругу и слоямъ близкимъ къ нему съ присоединеніемъ

небольшого числа лицъ, вышедшихъ изъ другихъ слоевъ. Въ 40-хъ годахъ центръ умственной жизни перемѣщается въ „средній“ классъ — богатаго, зажиточнаго и бѣднаго дворянства, съ присоединеніемъ уже болѣе значительнаго числа лицъ изъ другихъ, „низшихъ“, слоевъ. Общій душевный обликъ этихъ людей былъ уже не тотъ, какой мы находимъ у представителей мыслящей части великосвѣтскаго круга. Наслѣдственныя черты дворянскаго, помѣщичьяго склада, барскаго воспитанія и столь же барскаго отношенія къ вещамъ и людямъ, конечно, сохранялись и нерѣдко обнаруживались, такъ или иначе; но онѣ уже значительно смягчались общеніемъ съ „разночинцами“, вліяніемъ философскаго образованія, широтою и разнообразіемъ умственныхъ интересовъ, наконецъ, нивеллирующимъ воздѣйствіемъ университетской среды, студенческой жизни. Эти баричи уже не переходили изъ студентовъ въ офицеры, рѣдко и лишь случайно появлялись въ великосвѣтскомъ и чиновномъ кругу и жили обособленной жизнью въ тѣсныхъ дружескихъ кружкахъ, гдѣ умственные и нравственные интересы преобладали надъ всѣмъ прочимъ.

Напряженная работа мысли и совѣсти, совершавшаяся въ этихъ кружкахъ, была тогда явленіемъ совершенно новымъ на Руси. Тутъ-то вырабатывались и созрѣвали, какъ въ теплицѣ, тѣ своеобразныя душевныя явленія, которыми психологія „людей 40-хъ годовъ“ характеризуется по преимуществу, замѣтно отличаясь отъ душевнаго склада какъ предшествующихъ, такъ и послѣдующихъ поколѣній.

Эти-то отличія, эта своеобразная душевная складка и были потомъ мастерски воспроизведены Тургеневымъ въ его романахъ и повѣстяхъ, особенно — въ „Рудинѣ“ и „Дворянскомъ гнѣздѣ“.

Біографіи и переписка дѣятелей того времени, такіе документы эпохи, какъ „Дневникъ“ Герцена и его романъ „Кто виноватъ?“, яркая картина интимной жизни кружковъ,

съ неподражаемымъ мастерствомъ изображенная имъ же въ „Былое и думы“, воспоминанія Анненкова и т. д.,— все это даетъ изслѣдователю цѣнный матеріалъ, которымъ онъ можетъ провѣрить правильность художественныхъ обобщеній, сдѣланныхъ Тургеневымъ. Такая провѣрка показала бы, что, дѣйствительно, въ Рудинѣ, Лаврецкомъ, Лежневѣ, Михалевичѣ, Пасынковѣ, вводномъ лицѣ Покорскаго и мн. др. Тургеневъ вполнѣ удачно отмѣтилъ самое важное, самое существенное, чѣмъ душевный міръ людей 40-хъ годовъ характеризовался по преимуществу.

2.

На первый планъ выдвигается здѣсь то, что можно назвать философскою жаждою. Ни одно поколѣніе не отличалось этой чертою въ такой мѣрѣ, какъ именно поколѣніе 40-хъ годовъ, когда съ такимъ рвеніемъ философствовали и западники, и славянофилы.

Замѣчу здѣсь мимоходомъ, что у насъ, русскихъ, потребность въ философской систематизаціи знанія и опыта жизни, запросовъ мысли и тревоги совѣсти образуетъ черту національнаго умственнаго склада, сближающую насъ съ нѣмцами, при чемъ, однако, у насъ замѣтно выдѣляется настойчивое стремленіе добиться, путемъ философскаго объединенія, „прямыхъ отвѣтовъ“ на „проклятые“ вопросы и найти здѣсь нравственную санкцію. Наша философская мысль преслѣдуетъ преимущественно задачи „практическаго разума“, даже тогда, когда уносится въ заоблачныя высоты метафизики. Есть что-то религіозное въ философскихъ построеніяхъ и исканіяхъ нашихъ мыслителей. Это мы видимъ и у Бѣлинскаго, и у Герцена, и у Бакунина, и, наконецъ, у матеріалистовъ и позитивистовъ 60-хъ и 70-хъ годовъ. Ярко обнаруживается эта черта въ замѣчательной (еще далеко не оцѣненной по достоинству) философской

работѣ П. Л. Лаврова. Покойный Н. К. Михайловскій, одинъ изъ самыхъ большихъ и творческихъ философскихъ умовъ у насъ, создатель стройной системы, объединяющей правду-истину и правду-справедливость, былъ однимъ изъ типичныхъ русскихъ людей,— и здѣсь тайна его огромнаго вліянія, разгадка того обаянія, какое въ теченіе трехъ съ лишнимъ десятилѣтій окружало ореоломъ эту яркую, эту сильную и высокоодаренную личность.

Національная черта, о которой мы говоримъ, впервые и съ особливою напряженностью обнаружилась въ „философской жаждѣ“ людей 40-хъ годовъ, философскія увлеченія которыхъ принимали такіе размѣры и выработались въ такихъ формахъ, какія въ послѣдующее время уже не встрѣчаются. Можетъ быть, только теперешніе „нео-идеалисты“ могутъ отчасти поспорить съ ними въ этомъ отношеніи. Но послѣдніе, вмѣстѣ со всѣми нами, какъ философствующими, такъ и не философствующими, стоятъ вплотную лицомъ къ лицу съ очередными историческими „проблемами“ — не „идеализма“, а жизни, не имѣющими непосредственной связи съ философскою, а тѣмъ болѣе метафизическою, систематизаціей,— и, можно опасаться, ихъ философствованіе останется втунѣ. Люди 40-хъ годовъ не имѣли передъ собою такихъ задачъ (кромѣ подготовки освобожденія крестьянъ, задачи трудной и, какъ отмѣтимъ ниже, непосильной имъ),— и они могли вволю и досыта философствовать, выдвигая впередъ отвлеченные вопросы и общегуманную сторону мышленія. Работая и томясь въ этихъ границахъ, они подготовили возможность раціональной постановки — въ будущемъ — общественныхъ задачъ и проложили путь нравственному воспитанію послѣдующихъ поколѣній.

Вотъ именно эту исключительную жажду философскихъ откровеній, свойственную людямъ 40-хъ годовъ, и изобразилъ Тургеневъ въ слѣдующихъ словахъ Лежнева о Рудинѣ:

„Видите ли (повѣствуетъ Лежневъ Александрѣ Павлов-

нѣ), я вамъ сейчасъ сказалъ, что онъ (Рудинъ) прочелъ немного, но читалъ онъ философскія книги, и голова у него такъ была устроена, что онъ тотчасъ же изъ прочитаннаго извлекалъ все общее, хватался за самый корень дѣла и уже потомъ проводилъ отъ него во всѣ стороны свѣтлыя, правильныя нити мысли, открывалъ духовныя перспективы... Положимъ, онъ говорилъ не свое, —что за дѣло!—но стройный порядокъ водворялся во всемъ, что мы знали, все разбросанное вдругъ соединялось, складывалось, вырастало передъ нами, точно зданіе, все свѣтлѣло, духъ вѣялъ всюду... Ничего не оставалось безсмысленнымъ, случайнымъ; во всемъ сказывалась разумная необходимость и красота, все получало значеніе ясное и въ то же время таинственное; каждое отдѣльное явленіе жизни звучало аккордомъ, и мы сами, съ какимъ-то священнымъ ужасомъ благоговѣнія, съ сладкимъ сердечнымъ трепетомъ чувствовали себя какъ бы живыми сосудами вѣчной истины, орудіями ея, призванными къ чему-то великому..." (глава VI).

Итакъ, Рудинъ—философская голова. Какъ умъ, онъ воплощаетъ въ себѣ черты, которыми несомнѣнно обладали выдающіеся дѣятели эпохи, въ особенности Бѣлинскій, Бакунинъ, Герценъ и Хомяковъ. Но, повидимому, рисуя Рудина, какъ умъ, Тургеневъ имѣлъ въ виду преимущественно Бакунина, перваго у насъ насадителя гегельянской философіи. То, что мы знаемъ о его умѣ, діалектическихъ способностяхъ и самой манерѣ говорить, въ самомъ дѣлѣ живо напоминаетъ Рудина. Анненковъ отмѣчаетъ „многосторонность, быстроту и гибкость" ума Бакунина, его „страсть къ витійству", „врожденную изворотливость мысли" и „пышную, всегда какъ-то праздничную по своей формѣ, шумную, хотя и нѣсколько холодную, малообразную и искусственную рѣчь". („Воспоминанія и крит. очерки", III, стр. 23). (Здѣсь только выраженіе—„малообразная" (рѣчь) не согласуется съ тѣмъ, какъ Тургеневъ изображаетъ крас-

норѣчіе Рудина). Извѣстно, какое сильное вліяніе имѣлъ въ концѣ 30-хъ годовъ Бакунинъ на Бѣлинскаго, въ періодъ пресловутаго „примиренія съ дѣйствительностью“, апостоломъ котораго былъ тогда Бакунинъ. Не меньшее впечатлѣніе производилъ онъ и за границей. Анненковъ приводитъ любопытныя свѣдѣнія, относящіяся ко второй половинѣ 40-хъ годовъ: „...уже и тогда приходили къ нему (Бакунину) за совѣтомъ и разъясненіемъ по вопросамъ философскаго отвлеченнаго мышленія, и при томъ такіе люди, какъ, напримѣръ, Прудонъ. Одинъ изъ умныхъ и развитыхъ французовъ... созывалъ ради Бакунина своихъ знакомыхъ и при этомъ говорилъ: я вамъ покажу чудище (une monstruosité) по сжатой діалектикѣ и по лучезарной концепціи сущности всяческихъ вещей (par sa dialectique serrée et par sa perception lumineuse des idées dans leur essense) — (тамъ же, стр. 173).

Но за вычетомъ ума и діалектики, а также, можетъ быть, и нѣкоторыхъ чертъ характера, которыми Рудинъ отчасти напоминаетъ Бакунина, мы скажемъ, что въ остальномъ между ними нѣтъ сходства. Бакунинъ, несомнѣнно, былъ доктринеръ и фанатикъ, чего отнюдь нельзя сказать о Рудинѣ. Диллетантъ мысли и благородныхъ чувствъ, Рудинъ имѣетъ опредѣленныя убѣжденія и, навѣрное, никогда не измѣнилъ бы имъ, но мы не видимъ, чтобы онъ слѣдовалъ какой-либо доктринѣ, и въ его отношеніяхъ къ идеямъ нѣтъ фанатизма. Можно думать только, что въ 50-хъ годахъ Бакунинъ представлялся Тургеневу, какъ умъ и отчасти характеръ, приблизительно въ томъ свѣтѣ, въ какомъ изображенъ Рудинъ, но видѣть въ послѣднемъ вѣрную копію съ перваго нельзя [1]).

---

[1]) О Бакунинѣ см. статью Венгерова въ IV-мъ томѣ „Полн. собр. сочин. В. Г. Бѣлинскаго“ (изд. Венгерова), стр. 547 и сл. („Бакунинско-гегельянскій періодъ жизни Бѣлинскаго“).— Въ статьѣ объ И. С. Тургеневѣ въ энцикл. словарѣ Брокгауза и Эфрона г. Венгеровъ говоритъ: „До из-

3.

Постараемся прослѣдить, какъ развивается въ романѣ характеръ и весь духовный обликъ Рудина.

Въ той сценѣ, гдѣ онъ впервые появляется (гл. III), онъ обрисованъ, какъ отличный діалектикъ, ловкій спорщикъ и мастеръ говорить. Безъ труда, двумя-тремя удачными „ходами" сбивъ съ позиціи Пигасова, онъ разговорился и овладѣлъ общимъ вниманіемъ. Онъ „говорилъ умно, горячо, дѣльно; выказалъ много знанія, много начитанности..." Въ числѣ слушателей были и такіе, которыхъ не подкупишь звонкой фразой: это Басистовъ и Наталья, отзывчивые юные умы и чистыя, чуткія сердца,—изъ числа тѣхъ, которые, при всей неопытности, какимъ-то чутьемъ сразу отличаютъ настоящую мысль отъ поддѣлокъ подъ нее и сейчасъ же почувствуютъ фальшь, если она есть, какою бы красивою и убѣдительною формою выраженія она ни прикрывалась. И вотъ, оказывается, что рѣчами Рудина „больше всѣхъ были поражены Басистовъ и Наталья". „У Басистова чуть дыханье не захватило; онъ сидѣлъ все время съ открытымъ ртомъ и выпучеными глазами — и слушалъ, слушалъ, какъ отъ роду не слушалъ никого, а у Натальи лицо покрылось алой краской, и взоръ ея, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнѣлъ, и заблисталъ..." Очевидно, въ рѣчахъ Рудина звучали ноты глубокой искренности, да и изъ дальнѣйшаго мы убѣждаемся, что онъ — человѣкъ несомнѣнно

вѣстной степени Рудинъ — портретъ знаменитаго агитатора и гегельянца Бакунина, котораго Бѣлинскій опредѣлилъ, какъ человѣка съ румянцемъ на щекахъ и безъ крови въ сердцѣ".— О Рудинѣ Лежневъ отзывается, что онъ „холоденъ, какъ ледъ".— Приведенный отзывъ Бѣлинскаго о Бакунинѣ Анненковъ слышалъ лично изъ устъ критика въ такомъ видѣ: „это — пророкъ и громовержецъ, но съ румянцемъ на щекахъ и безъ пыла въ организмѣ" („Воспомин. и крит. оч.", III, стр. 25).

искренній, въ особенности когда говоритъ, когда проповѣдуетъ... Въ этой же главѣ мы знакомимся съ его краснорѣчіемъ, съ его манерой говорить: „Разсказывалъ онъ не совсѣмъ удачно. Въ описаніяхъ его недоставало красокъ. Онъ не умѣлъ смѣшить“. Но въ общихъ разсужденіяхъ, развитіи мысли онъ былъ неподражаемъ, умѣя дѣйствовать и на мысль, и на чувство. Прочтемъ еще слѣдующее: „Обиліе мыслей мѣшало Рудину выражаться опредѣлительно и точно. Образы смѣнялись образами; сравненія, то неожиданно смѣлыя, то поразительно вѣрныя, возникали за сравненіями. Не самодовольною изысканностью опытнаго говоруна,— вдохновеніемъ дышала его нетерпѣливая импровизація. Онъ не искалъ словъ: они сами послушно приходили къ нему на уста, и каждое слово, казалось, такъ и лилось прямо изъ души, пылало всѣмъ жаромъ убѣжденія. Рудинъ владѣлъ едва ли не высшею тайной—музыкой краснорѣчія. Онъ умѣлъ, ударяя по однѣмъ струнамъ сердецъ, заставлять смутно звенѣть и дрожать всѣ другія. Иной слушатель, пожалуй, и не понималъ въ точности, о чемъ шла рѣчь; но грудь его высоко поднималась, какія-то завѣсы разверзались передъ его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди...“

Передъ нами настоящій талантъ — оратора, трибуна. Эта черта не случайна: она характерна для „людей 40-хъ годовъ“, у которыхъ, рядомъ съ философскими дарованіями, выдѣлялись и „словесныя“, очень цѣнившіяся и имѣвшія несомнѣнное значеніе въ ихъ жизни и дѣятельности. Объ ораторскомъ талантѣ Бакунина мы говорили выше. Хомяковъ былъ удивительный діалектикъ и спорщикъ. Бѣлинскій, когда былъ въ ударѣ, развивалъ необычайную силу рѣчи. Грановскій былъ образцовый лекторъ. Евг. Ѳ. Коршъ блисталъ „мѣткимъ и ядовитымъ остроуміемъ“, по свидѣтельству Анненкова („Восп. и крит. оч.“, III, 120). Блескъ и обаяніе рѣчи Герцена достаточно извѣстны. Весьма харак-

терно то, что въ воспоминаніяхъ объ эпохѣ 40-хъ годовъ, какъ, напр., соотвѣтственныя главы „Былого и думъ“ Герцена, „Замѣчательное десятилѣтіе“ Анненкова и др., такъ обстоятельно говорится о „словесныхъ“ способностяхъ и особенностяхъ лицъ, которымъ посвящены воспоминанія, точно ихъ авторы уже ожидаютъ отъ читателя вопроса Александры Павловны: „а какъ онъ говорилъ?“ Намъ невольно вспоминаются при этомъ Наталья и Басистовъ, пораженные рѣчью Рудина, да и вообще вырисовывается то обаяніе, какое въ тѣ годы производило умное, просвѣщенное, искреннее, горячее, краснорѣчивое слово. Приведу слѣдующее мѣсто изъ воспоминанія Анненкова, относящееся къ Герцену, но вмѣстѣ съ тѣмъ рисующее и самого, тогда юнаго, автора въ положеніи Басистова: „Признаться сказать, меня *ошеломилъ и озадачилъ*[1], на первыхъ порахъ знакомства (съ Герценомъ), этотъ необычайно подвижный умъ, переходившій съ неистощимымъ остроуміемъ, блескомъ и непонятной быстротой отъ предмета къ предмету, умѣвшій схватить и въ складѣ чужой рѣчи, и въ простомъ случаѣ изъ текущей жизни, и въ любой отвлеченной идеѣ ту яркую черту, которая даетъ имъ физіономію и живое выраженіе. Способность къ поминутнымъ, неожиданнымъ сближеніямъ разнородныхъ предметовъ... была развита у Герцена въ необычайной степени,— такъ развита, что подъ конецъ даже утомляла слушателя. Неугасающій фейерверкъ его рѣчи, неистощимость фантазіи и изобрѣтенія, какая-то безоглядная расточительность ума приводили постоянно въ изумленіе его собесѣдниковъ („Восп. и крит. оч.“, III, 79).

„Люди 40-хъ годовъ“ много учились, читали, много мыслили и много разговаривали, разговаривали гораздо больше своихъ предшественниковъ и своихъ преемниковъ. Ихъ интимная жизнь протекала въ частыхъ дружескихъ бесѣдахъ,

---

[1]) Курсивъ мой.

въ которыхъ они отводили душу, и въ нескончаемыхъ спорахъ, въ которыхъ выяснялись ихъ мысли, ихъ разногласія, опредѣлялись ихъ отношенія къ дѣйствительности. „Слово" было ихъ „дѣло". Взамѣнъ того въ практической дѣятельности — даже въ узкихъ предѣлахъ возможнаго и доступнаго тогда — они обнаруживали невыдержанность, неумѣлость, отсутствіе дѣловитости и иниціативы. Въ этомъ смыслѣ по ихъ адресу высказывались въ 50-хъ и 60-хъ годахъ суровые упреки, въ которыхъ было много справедливаго. Но эти упреки приходится теперь смягчить — не только ссылкою на „независящія обстоятельства" и общія условія времени, но также и на психологію самихъ дѣятелей. Принимая во вниманіе ея важнѣйшія черты, мы скажемъ такъ: главнѣйшая очередная задача времени — улучшеніе быта крѣпостныхъ и подготовка ихъ эмансипаціи — занимала въ ихъ сознаніи, въ ихъ мысляхъ и спорахъ, а равно и въ ихъ дѣятельности далеко не подобающее мѣсто. Правда, тѣ изъ нихъ, которые владѣли крѣпостными, старались улучшить ихъ бытъ, переводили съ барщины на оброкъ, относились къ нимъ гуманно. Но вѣдь это только тотъ минимумъ, который былъ нравственно обязателенъ для всякаго порядочнаго, добраго помѣщика, и старый реакціонеръ Шишковъ въ этомъ отношеніи не только не уступалъ имъ, но и превосходилъ нѣкоторыхъ изъ нихъ[1]). Одинъ только Огаревъ рѣшился отпустить своихъ крестьянъ на волю, взявъ съ нихъ ничтожный (сравнительно съ милліоннымъ состояніемъ) выкупъ (500,000 руб. за знаменитый Бѣлоомутъ — цѣлое феодальное владѣніе въ Пензенск. губ.) и „устроивъ" ихъ бытъ. Но по непрактичности „устроилъ" дѣло такъ, что его крестьяне попали изъ огня да въ полымя — въ кабалу кулакамъ, „почему (разсказываетъ Анненковъ) побочный братъ Огарева, рожденный отъ

---

[1]) Объ этомъ см. въ книгѣ В. И. Семевскаго: Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой половинѣ XIX в.» (1888 г.).

крестьянки, никогда не могъ помириться со своимъ вельможнымъ родственникомъ, и, несмотря на всѣ благодѣянія послѣдняго, ненавидѣлъ его. „Зачѣмъ барченокъ этотъ, — размышлялъ онъ,— не взялъ съ богачей два, три, пять милліоновъ за свободу, которой они только и добивались, и не предоставилъ потомъ даромъ всему люду земли и угодья, освобожденныя отъ пьявокъ и эксплуататоровъ?" („П. В. Анненковъ и его друзья", С.-Петерб., 1892 г., стр. 114.— Все это любопытное дѣло изложено Анненковымъ въ статьѣ „Записка о Н. О. Огаревѣ", откуда взята нами приведенная цитата).— Можно ли осуждать Огарева? Разумѣется, нѣтъ. Но можно указывать на такіе факты, какъ на доказательство неприспособленности лучшихъ людей 40-хъ годовъ къ важнѣйшему общественному дѣлу, стоявшему тогда на очереди.

Оставляя въ сторонѣ эту чисто-практическую дѣятельность, мы повторимъ здѣсь то, на что указывалось неоднократно: вырабатывать міросозерцаніе, упражняться въ діалектикѣ, очищать свои и чужія головы отъ устарѣлыхъ и дикихъ понятій, распространять гуманныя идеи и т. д.,— это было тогда несомнѣнное „дѣло", и люди 40-хъ годовъ отлично дѣлали его, устно, письменно и въ предѣлахъ цензуры — печатно. И Рудинъ въ этомъ отношеніи является типичнымъ представителемъ эпохи, которую можно назвать эпохою первоначальной выработки передовыхъ идей, гуманныхъ стремленій и, такъ сказать, психологическихъ предпосылокъ нравственнаго и общественнаго сознанія у насъ. Для такого дѣла „музыка краснорѣчія" была неоцѣненнымъ подспорьемъ./

Главный недостатокъ Рудина — это то, что онъ самъ слишкомъ увлекается „музыкою своего краснорѣчія" и неосторожно переступаетъ ту границу, которая отдѣляетъ слово, какъ орудіе пропаганды, какъ силу просвѣтительную, отъ слова, какъ легкаго и пріятнаго способа — отдѣлаться отъ дѣла разговоромъ о немъ, о его необходимости. И это

было далеко не чуждо „людямъ 40-хъ годовъ“ (не всѣмъ, конечно). Излишество и праздность рѣчи—вотъ „порокъ“, которымъ страдали въ разной мѣрѣ говоруны, блестящіе собесѣдники и спорщики того времени. Тургеневъ мѣтко и зло оттѣнилъ въ Рудинѣ эту черту, напр., въ главѣ V, гдѣ Наталья говоритъ ему: „...вы должны трудиться, стараться быть полезнымъ. Кому же, какъ не вамъ...“—Въ отвѣтъ на это Рудинъ только „безнадежно махнулъ рукой“, но потомъ, воспрянувъ духомъ и „встряхнувъ своей львиной гривой“, произнесъ горячую тираду о томъ, что онъ „не долженъ скрывать свой талантъ“, „не долженъ растрачивать свои силы на одну болтовню пустую, безполезную болтовню, на одни слова...“—„И слова его полились рѣкою. Онъ говорилъ прекрасно, горячо, убѣдительно о позорѣ малодушія и лѣни, о необходимости дѣлать дѣло. Онъ осыпалъ самого себя упреками...“ и т. д. [1]).

Какъ типичный представитель людей эпохи, Рудинъ обладаетъ всѣми качествами, необходимыми для роли „просвѣтителя“, кромѣ одного: работоспособности. У него нѣтъ выдержки въ трудѣ, упорства въ достиженіи цѣли, въ любви къ самому дѣлу „просвѣщенія“ въ его трудной, будничной сторонѣ. Онъ любитъ только говорить о немъ,—и пока онъ говоритъ, это дѣло само собою дѣлается. Но бѣда въ томъ, что онъ говоритъ такъ удачно и успѣшно только тогда, когда въ ударѣ, когда его посѣщаетъ „вдохновеніе“. А между тѣмъ всякое культурное дѣло, въ томъ числѣ и „просвѣтительное“, имѣетъ свою черную работу, свои будни и не можетъ преуспѣвать, если будетъ дѣлаться только по праздникамъ „вдохновенія“.

Вотъ именно этою-то невыдержкою въ будничной работѣ и отличались люди 40-хъ годовъ, кромѣ немногихъ, пре-

[1]) Такова же и сцена въ гл. XI—отъѣздъ Рудина и его рѣчи провожающему его до станціи Басистову.

имущественно лицъ не-дворянскаго, не-помѣщичьяго происхожденія, какъ Бѣлинскій, изъ дворянъ — Грановскій. Герценъ много работалъ, но все-таки онъ былъ „баринъ", — „барство сказывалось въ его отношеніяхъ къ вещамъ и людямъ, въ самой „манерѣ" мыслить и понимать, и не только въ 40-е годы, въ Россіи, но и позже за границей [1].

4.

Итакъ, Рудинъ — „философъ" и „ораторъ". И въ качествѣ таковаго, онъ проводникъ европейскаго просвѣщенія, гуманныхъ идей,—всего, что тогда подводилось подъ формулу: „истина", „добро" и „красота".

Въ такія эпохи, какъ наши 40-е годы, подобныя расплывчатыя, туманныя формулы и вообще „красивыя" и „глубокомысленныя" слова получаютъ особое—воспитательное—значеніе. Отсюда—огромная важность и благотворное вліяніе въ такія эпохи идеалистическихъ философскихъ системъ, и рядомъ съ ними и, можетъ быть, больше ихъ,—твореній поэтическихъ, критическихъ, историческихъ и иныхъ, окрыленныхъ философскою мыслью, одухотворенныхъ все тѣмъ же общечеловѣческимъ идеаломъ „истины", „добра" и „красоты", какъ творенія Лессинга, Гердера, Гёте, Шиллера. Властителями думъ эпохи не только у насъ, но и въ Европѣ были Гегель и эти великіе умы и таланты, выступившіе еще въ XVIII вѣкѣ. Эпоха, въ значительной мѣрѣ, жила процентами съ умственнаго капитала прошлаго времени. Перенесеніе на Русь этихъ огромныхъ умственныхъ цѣнностей, служившихъ для воспитанія всѣхъ прогрессирующихъ народовъ, составляло весьма серь-

---

[1]) Черты „барства" сказались у Герцена, между прочимъ, въ его отношеніяхъ къ Чернышевскому и Добролюбову, о чемъ см. въ превосходной статьѣ г. Богучарскаго „Столкновеніе двухъ теченій общественной мысли" („Изъ прошлаго русскаго общества", стр. 228 и слѣд.).

езную и въ общемъ удобоисполнимую задачу, которую, по мѣрѣ силъ и умѣнія, и выполняла наша литература 40-хъ годовъ. Напомнимъ, что тутъ, какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ,—дѣло шло не о простомъ перенесеніи къ намъ общечеловѣческаго идейнаго добра въ видѣ переводовъ, изложеній, популяризацій и т. д. (это—дѣло не хитрое),—задача сводилась къ переработкѣ творческой мысли великихъ умовъ, геніевъ и талантовъ собственною—самостоятельною—дѣятельностью мысли. Слѣдовательно, нужны были прежде всего свои умы, свои таланты, самостоятельно, а не по-ученически мыслящіе и работающіе, и таковые не замедлили явиться. Ихъ имена—Станкевичъ, Бѣлинскій, Герценъ, Грановскій, а также нѣкоторые изъ славянофиловъ, тѣ, которымъ „старовѣріе“ и „византизмъ“ не слишкомъ мѣшали цѣнить и понимать все общечеловѣческое, все гуманное въ европейской философіи, искусствѣ, литературѣ (К. Аксаковъ, Хомяковъ, Ив. Кирѣевскій, потомъ младшіе—Ив. Аксаковъ, Самаринъ и др.). Для такой дѣятельности требовалась незаурядная умственная воспріимчивость, философскій складъ ума, способность увлекаться умственными перспективами, даръ мечты, игра воображенія, особая восторженность и, скажемъ еще, исключительная способность кипѣть душою и расточать, безъ оглядки и соображенія экономіи въ умственномъ трудѣ и дѣятельности чувствъ, свои богатыя душевныя силы и дарованія. Эта послѣдняя черта ея придавала особливый блескъ бесѣдамъ, рѣчамъ, писаніямъ и вообще дѣятельности людей 40-хъ годовъ и образуетъ прямую противоположность на видъ „сухой“, „дѣловой“ работѣ мысли ихъ преемниковъ, Чернышевскаго, Добролюбова и др., у которыхъ мы видимъ строгую экономію, суровую воздержанность отъ всякихъ излишествъ мысли и чувства, имѣющую своимъ результатомъ такую мощную концентрацію, такое

„сгущеніе“ мысли, чувства и моральныхъ стремленій, что послѣ нихъ цѣлое 40-лѣтіе жило этимъ духовнымъ достояніемъ, и до сихъ поръ еще оно далеко не исчерпано.

Типичный представитель своего времени, Рудинъ — блестяще воспріимчивъ къ философіи, искусству, поэзіи, блистательно популяризируетъ и „развиваетъ“ усвоенныя мысли и эффектно расточаетъ, походя, силу своего ума и краснорѣчія. Благодаря этому блеску и отсутствію „экономіи“, онъ и является „дѣятелемъ“, пропагандистомъ „истины“ и т. д., своего рода „властителемъ думъ“ въ средѣ, доступной его воздѣйствію. Прочтемъ слѣдующее мѣсто: „Какія сладкія мгновенія переживала Наталья, когда, бывало, въ саду на скамейкѣ, въ легкой сквозной тѣни ясеня, Рудинъ начнетъ читать ей гётевскаго Фауста, Гофманна или письма Беттины, или Новалиса, безпрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темнымъ!.. Рудинъ былъ весь погруженъ въ германскую поэзію, въ германскій романтическій и философскій міръ и увлекалъ ее за собою въ тѣ заповѣдныя страны. Невѣдомыя, прекрасныя, раскрывались онѣ передъ ея внимательнымъ взоромъ; со страницъ книги, которую Рудинъ держалъ въ рукахъ, дивные образы, новыя свѣтлыя мысли такъ и лились звенящими струями ей въ душу, и въ сердцѣ ея, потрясенномъ благородной радостью великихъ ощущеній, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга...“ (гл. VI).

Эти строки — документъ, сжато обобщающій всѣ подобные умственные восторги, выраженія которыхъ мы найдемъ въ изобиліи въ біографіяхъ, письмахъ, дневникахъ, да и сочиненіяхъ лучшихъ людей эпохи. Вспомнимъ (хотя это относится къ 30-мъ годамъ, что въ данномъ случаѣ не существенно) жизнь и извѣстный романъ Герцена съ г-жею Р. въ Вяткѣ, его переписку съ невѣстою, романтическую дружбу его съ Огаревымъ и т. д. Вспомнимъ нѣкоторыя странно-восторженныя страницы Бѣлинскаго (напр., о те-

атрѣ), да и вообще ту экзальтацію, съ которою онъ воспринималъ философскія идеи и художественные образы.

Эта восторженность (какъ мы уже говорили) имѣла свое психологическое основаніе въ той мозговой чувствительности, которою отличалось поколѣніе, развивавшееся въ 30-хъ годахъ, въ нѣкоторой, ему свойственной, душевной неуравновѣшенности, откуда, съ другой стороны, и относительно слабая работоспособность, и та расточительность душевныхъ даровъ, о которой мы говорили выше.

Но послѣдуемъ дальше за Рудинымъ. Слѣдующій за приведенными строками (изъ главы VI) разговоръ характеризуетъ именно ту относительную слабость или невыдержку въ трудѣ, которою отличался Рудинъ, какъ истый сынъ своего времени. На вопросъ Натальи: „Что вы будете дѣлать зимой въ деревнѣ?“ Рудинъ отвѣчаетъ: „Что я буду дѣлать? Окончу мою большую статью, — вы знаете, — о трагическомъ въ жизни и искусствѣ, — я вамъ третьяго дня планъ разсказывалъ, и пришлю ее вамъ“,—„И напечатаете?“— „Нѣтъ“.—„Какъ нѣтъ? Для кого же вы будете трудиться?“— „А хоть бы для васъ?“ и т. д. Читатель понимаетъ, что, конечно, Рудинъ никогда статьи не напишетъ, а все только будетъ разсказывать о ней. „Вотъ и г. Басистовъ прочтетъ (продолжаетъ онъ). Впрочемъ, я не совсѣмъ еще сладилъ съ основною мыслью. Я до сихъ поръ еще не довольно уяснилъ самому себѣ трагическое значеніе любви“. „Рудинъ (замѣчаетъ Тургеневъ) охотно и часто говорилъ о любви“.

Это и зло, и мѣтко. Слѣдующая затѣмъ тирада Рудина о любви („Любовь!—въ ней все тайна: какъ она приходитъ, какъ развивается, какъ исчезаетъ“ и т. д.) живо напоминаетъ намъ многое въ письмахъ и сочиненіяхъ людей эпохи, когда и любовь, и дружба представлялись въ какомъ-то романтическомъ ореолѣ. Подобно Рудину, люди 40-хъ годовъ „охотно и часто“ говорили да и писали о любви.

Контрастъ между энергіей и восторженностью мысли и чувства съ одной стороны, и вялостью дѣйствующей (а нерѣдко задерживающей) воли съ другой, характеренъ для нихъ. Но только въ Рудинѣ это представлено въ преувеличенномъ видѣ, не совсѣмъ такъ, какъ наблюдается оно у выдающихся людей эпохи. И если для выясненія обобщающаго значенія (типичности) этого образа мы обращаемся за справками къ выдающимся людямъ, къ Герцену, Бакунину, Бѣлинскому и другимъ, то мы дѣлаемъ это потому, что эти дѣятели оставили намъ наиболѣе яркіе документы своей душевной жизни, своего умственнаго и волевого уклада. Находя и у нихъ соотвѣтственныя, аналогичныя „Рудинскимъ", черты, хотя и выраженныя иначе, мы тѣмъ самымъ обнаруживаемъ типичность и, такъ сказать, психологическую необходимость этихъ чертъ въ душевномъ укладѣ людей, какъ выдающихся, исключительныхъ по уму и дарованіямъ, такъ и среднихъ, именно тѣхъ людей эпохи, которые являлись выразителями ея „духа" и ея особеннаго психическаго склада.

5.

Рудинъ, взятый отдѣльно, не можетъ, конечно, служить исчерпывающимъ выраженіемъ „духа" и психическаго склада эпохи. Въ немъ собраны только ея важнѣйшія, наиболѣе распространенныя, самыя типичныя черты. Большая ихъ часть (философская жажда, повышенная воспріимчивость къ умственнымъ впечатлѣніямъ, восторженность, „рѣчистость", относительно слабая работоспособность) уже указана нами. Нѣкоторыя другія будутъ отмѣчены ниже. Сейчасъ же намъ нужно упомянуть о тѣхъ фигурахъ романа, которыя, дополняя Рудина, вносятъ въ романъ такія черты, благодаря которымъ это замѣчательное произведеніе даетъ намъ весьма

полную картину преобладающаго направленія умовъ и настроенія эпохи.

Рудина дополняютъ Лежневъ, Басистовъ, Наталья,—въ особенности же одинъ вводный образъ, лишь упоминаемый въ извѣстномъ разсказѣ Лежнева о его студенческихъ годахъ (гл. VI). Это—Покорскій, воспроизводящій, какъ извѣстно, нравственный обликъ Бѣлинскаго. На вопросъ Александры Павловны: „Что же было такого особеннаго въ этомъ Покорскомъ?" Лежневъ отвѣчаетъ: „Какъ вамъ сказать? Поэзія и правда — вотъ что влекло всѣхъ къ нему. При умѣ ясномъ, обширномъ, онъ былъ милъ и забавенъ, какъ ребенокъ. У меня до сихъ поръ звенитъ въ ушахъ его свѣтлое хохотаніе, и въ то же время онъ—

> Пылалъ полуночной лампадой
> Передъ святынею добра...

Такъ выразился о немъ одинъ полусумасшедшій и милѣйшій поэтъ нашего кружка".—Затѣмъ, на характерный для женщины 40-хъ годовъ вопросъ Александры Павловны: „А какъ онъ говорилъ?"—Лежневъ отвѣчалъ: „Онъ говорилъ хорошо, когда былъ въ духѣ, но не удивительно. Рудинъ и тогда былъ въ двадцать разъ краснорѣчивѣе его". Мы узнаемъ тутъ же, что Рудинъ казался даровитѣе Покорскаго, „а на самомъ дѣлѣ былъ бѣднякъ въ сравненіи съ нимъ". „Покорскій", продолжаетъ Лежневъ,—„вдыхалъ въ насъ всѣхъ огонь и силу; но онъ иногда чувствовалъ себя вялымъ и молчалъ. Человѣкъ онъ былъ нервическій, нездоровый; зато, когда онъ расправлялъ свои крылья,—Боже! куда ни залеталъ онъ! въ самую глубь и лазурь неба!" — Вступивъ въ кружокъ Покорскаго, Лежневъ „совсѣмъ переродился": „смирился, разспрашивалъ, учился, радовался, благоговѣлъ,—однимъ словомъ, точно въ храмъ какой вступилъ"... Описавъ кружковыя бесѣды, споры и восторги, онъ заканчиваетъ свои воспоминанія такъ: „Эхъ! славное было время

тогда, и не хочу я вѣрить, чтобы оно пропало даромъ! Да оно и не пропало,—не пропало даже для тѣхъ, которыхъ жизнь опошлила потомъ... Сколько разъ мнѣ случалось встрѣтить такихъ людей, прежнихъ товарищей! Кажется, совсѣмъ звѣремъ сталъ человѣкъ, а стоитъ только произнести при немъ имя Покорскаго,—и всѣ остатки благородства въ немъ зашевелятся, точно ты въ грязной и темной комнатѣ раскупорилъ забытую склянку съ духами"...

Покорскій противопоставляется Рудину, какъ высшаго порядка умственная и нравственная организація, какъ натура, свободная отъ той мелочности самолюбія, тѣхъ слабостей, какихъ не чуждъ Рудинъ. Послѣдній—блестящій пропагандистъ чужихъ идей, которыя онъ усвоилъ; Покорскій самобытный мыслитель и морально-творческая личность. Такіе люди вездѣ рѣдки и всегда являются величайшею общественною цѣнностью. У насъ они вдвойнѣ драгоцѣнны. Что ихъ отличаетъ по преимуществу, это—особливая тонкость нравственнаго уклада, дающая и способность, и право негодованія. Въ той или иной мѣрѣ способность негодовать имѣли и имѣютъ многіе, но не всякій обладаетъ полнотою нравственныхъ правъ на негодованіе и даромъ широкой постановки задачъ, внушаемыхъ этимъ нравственнымъ чувствомъ. Въ 40-хъ годахъ такимъ правомъ и даромъ обладали Герценъ, Грановскій и нѣкоторые другіе, но всѣхъ ихъ, безспорно, превосходилъ въ этомъ отношеніи Бѣлинскій. Его прямыми преемниками въ этомъ отношеніи, какъ и въ другихъ, были въ 50-хъ и 60-хъ годахъ Чернышевскій и Добролюбовъ, а въ послѣднее 40-лѣтіе—Н. К. Михайловскій. Сохраненіе и передача послѣдующимъ поколѣніямъ этихъ нравственныхъ правъ негодованія и неразрывно связанныхъ съ ними задачъ общечеловѣческаго развитія, все углубляемыхъ и расширяемыхъ при свѣтѣ научно-философскаго знанія,—такова историческая миссія этихъ людей, таково ихъ умственное и мораль-

ное наслѣдіе, образующее въ нашей духовной культурѣ самую яркую и благую силу, движущую и творящую...

Наша бѣда и отсталость — помимо всего прочаго — выражается въ томъ, что русскій человѣкъ, даже при лучшихъ задаткахъ, слишкомъ легко опошливается, примиряется съ дѣйствительностью, становится, съ годами, рецидивистомъ, теряя благопріобрѣтенные въ юности идеалы мысли, чести и совѣсти. Тина вялой жизни засасываетъ насъ, мы утрачиваемъ „добра и зла различье", братаемся съ представителями мрака, обскурантизма и нравственнаго сна, забываемъ о призваніи мыслящаго человѣка—помнить, хранить и разрабатывать усвоенныя понятія о человѣческомъ достоинствѣ, о томъ, что поверхъ и вопреки мерзости запустѣнія, насъ окружающей и завѣщанной затхлымъ прошлымъ, есть свѣтлый міръ общечеловѣческихъ идеаловъ, чистый и прекрасный, и вовсе не заоблачный, а земной, созидающійся повсюду въ лучшихъ умахъ и уже являющійся силою творческою въ тѣхъ общественныхъ движеніяхъ и организаціяхъ, которыя образуютъ прямой переходъ къ лучшему будущему.

Одна изъ причинъ нашей неустойчивости, нашего рецидивизма—слабость, шаткость нашей психической организаціи. Мы душевно расплывчаты, слабы мыслью, нравственнымъ сознаніемъ, волею. У насъ мало душевной уравновѣшенности и крѣпости. Но, къ великому нашему счастью, изъ нашей среды—оказывается—могутъ выходить Бѣлинскіе, Добролюбовы, Чернышевскіе, Михайловскіе, вообще „Покорскіе". Безъ нихъ „Рудины", все равно — 40-хъ ли годовъ или послѣдующихъ, были бы только болтунами, безцѣльно, хотя и краснорѣчиво, вопіющими въ пустынѣ нашего безлюдья, а Лежневы совсѣмъ бы опошлились, отяжелѣли и заснули.

Когда Лежневъ окончилъ свой разсказъ о кружкѣ Покорскаго, онъ умолкъ, и „его безцвѣтное лицо раскраснѣлось".

Что такое Лежневъ? Это—умный, образованный, съ несомнѣннымъ здравымъ смысломъ русскій средній человѣкъ, съ лѣнцой и вялостью, съ „добра желаніемъ“ (его крестьяне—на оброкѣ), съ пониманіемъ того, что такое Рудинъ, что такое Покорскій. Фигура—характерная не для однихъ 40-хъ годовъ. Мы всѣ—болѣе или менѣе Лежневы, какъ болѣе или менѣе—Обломовы. Какъ у Лежнева, наши лица безцвѣтны, но способны покраснѣть при иныхъ хорошихъ воспоминаніяхъ. Наше большое достоинство въ томъ, что, обладая нѣкоторымъ чутьемъ и пониманіемъ, мы, подобно тургеневскому Лежневу, „страстно любимъ“ Покорскихъ „и ощущаемъ нѣкоторый страхъ передъ ними“ (гл. VI). И, подобно ему же, мы „стоимъ ближе“ къ Рудину.

Рудинъ намъ—свой братъ, и мы можемъ смотрѣть ему прямо въ глаза, можемъ критиковать, порицать его, или, наоборотъ, одобрять, поощрять. Лежневы имѣютъ даже нѣкоторое основаніе считать себя выше или лучше Рудиныхъ. Это обусловливается различными чертами душевной организаціи Рудина, но, кажется, скорѣе всего тѣмъ, что Рудинъ—неудачникъ и человѣкъ слабый, незаконченный.

6.

Какъ неудачникъ, онъ явился какъ разъ во-время и кстати послѣ Онѣгина и Печорина.

Въ немъ есть кое-что и „онѣгинское“, и „печоринское“. Пушкинскаго героя онъ напоминаетъ своею „холодностью“, которую отмѣтилъ въ немъ Лежневъ. Болѣзненнымъ самолюбіемъ, претензіей играть роль, покорять умы и сердца, въ особенности—женскія, онъ сближался съ Печоринымъ. Передъ нами какъ бы преемство родовыхъ чертъ общественно-психологическаго типа.

Свою незадачливость, свою душевную слабость онъ самъ хорошо сознаетъ и откровенно говоритъ объ этомъ въ пись-

мѣ къ Натальѣ: „Мнѣ природа дала много—я это знаю, но я умру, не оставивъ за собою никакого благотворнаго слѣда. Все мое богатство пропадетъ даромъ; я не увижу плодовъ отъ сѣмянъ своихъ. Мнѣ недостаетъ... я самъ не могу сказать, что именно не достаетъ мнѣ“... Но тутъ же онъ говоритъ, что ему недостаетъ способности „отдаться“: „я отдаюсь весь, съ жадностью, вполнѣ — и не могу отдаться“. Эта черта, какъ мы знаемъ, въ высокой степени характерна и для Онѣгина, и для Печорина.

Безъ способности „отдаться“, продолжаетъ Рудинъ, — „нельзя двигать сердцами людей, какъ и овладѣть женскимъ сердцемъ; а господство надъ одними умами и непрочно, и безполезно“. Эти слова переносятъ насъ въ то доброе старое время, когда, въ самомъ дѣлѣ, думали, что „господство надъ умами и непрочно, и безполезно“, т.-е не понимали или недостаточно цѣнили силу мысли, могущество идей и романтически уповали на чувство, на „сердце“, — когда плѣнить женское сердце, при помощи Шиллера или Гофманна, считалось чуть ли не общественнымъ дѣломъ, гражданскимъ подвигомъ. Романтизмъ настроеній, чувствительность и мечтательность, т.-е. душевное разслабленіе, были очень распространены въ 40-хъ годахъ, причудливо смѣшиваясь и сталкиваясь съ реализмомъ мысли, съ оздоровленіемъ психики, начавшимися и сдѣлавшими значительные успѣхи въ тѣ же годы.

Въ томъ же письмѣ Рудинъ жалуется, что не можетъ „побѣдить свою лѣнь“. — „Я остаюсь, — говоритъ онъ, — все тѣмъ же неоконченнымъ существомъ, какимъ былъ до сихъ поръ... Первое препятствіе—и я весь разсыпался“... (гл. XI).

Кромѣ, такъ сказать, „нормальной“ „обломовщины“, вообще свойственной русскому человѣку, я вижу здѣсь нѣкоторую особую ненормальность волевого уклада, которая, вмѣстѣ съ вышеуказанной „холодностью“ Рудина, и является главной причиной его участи, какъ неудачника.

Подобно своимъ предшественникамъ, Онѣгину и Печорину, Рудинъ — вѣчный странникъ. Но онъ выгодно отличается отъ нихъ тѣмъ, что онъ — горемыка, между тѣмъ какъ они — баловни. Барское баловство и пресыщенность жизнью и впечатлѣніями идетъ, уменьшаясь: въ Печоринѣ уже немного меньше этого „добра", чѣмъ въ Онѣгинѣ, въ Рудинѣ уже совсѣмъ мало. Параллельно этому идетъ, увеличиваясь, душевная содержательность: Рудинъ, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, несомнѣнно богаче душевнымъ содержаніемъ не только Онѣгина, но и Печорина. Какъ-никакъ, онъ живетъ умственною жизнью вѣка, онъ стоитъ на уровнѣ современнаго движенія умовъ въ Европѣ, онъ увлекается идеями философскими, поэтическими, общественными, какъ не умѣли увлекаться Онѣгины и Печорины. У него гораздо больше, чѣмъ у нихъ, умственной воспріимчивости.

И въ связи съ этимъ не совсѣмъ вѣрно то, что онъ говоритъ о безплодности своего существованія. Кое-что онъ сдѣлалъ, нѣкоторый слѣдъ оставилъ послѣ себя, чему нагляднымъ доказательствомъ служитъ признаніе его заслуги со стороны такого строгаго „критика", какъ Лежневъ. Вспомнимъ сцену XII главы, гдѣ Лежневъ, провозглашая въ дружеской бесѣдѣ тостъ за отсутствующаго Рудина, говоритъ между прочимъ: „А что касается до вліянія Рудина, клянусь вамъ, этотъ человѣкъ не только умѣлъ потрясти тебя, онъ съ мѣста тебя сдвигалъ, онъ не давалъ тебѣ останавливаться, онъ до основанія переворачивалъ, зажигалъ тебя!" Это — несомнѣнная заслуга: если не „переворачивать до основанія", не „зажигать" Лежневыхъ, они заснутъ, отяжелѣютъ, превратятся въ настоящихъ Обломовыхъ, въ азіатовъ, только одѣтыхъ по-европейски. И Лежневы сами сознаютъ это, и съ благодарностью вспоминаютъ они своихъ Рудиныхъ: „Въ немъ есть энтузіазмъ; а это, повѣрьте мнѣ, флегматическому человѣку, самое драгоцѣнное качество

въ наше время. Мы всѣ стали немыслимо разсудительны, равнодушны и вялы; мы заснули, и спасибо тому, кто хоть на мигъ насъ расшевелитъ и согрѣетъ!" Такой заслуги не числится ни за Онѣгиными, ни за Печориными.

Перейдемъ, слѣдя за Рудинымъ, — какъ освѣщается онъ Лежневымъ (а это—самое правильное освѣщеніе), къ заключительной сценѣ, къ „Эпилогу". Здѣсь, такъ сказать, раскрываются карты, подводится итогъ всей „дѣятельности" Рудина, и здѣсь мы найдемъ поистинѣ „вѣщія слова", которыми съ необычайною поэтическою прозорливостью раскрывается весь трагизмъ положенія Рудина, потрясающая драма горемычной жизни безпріютнаго скитальца.

Рудинъ разсказываетъ Лежневу свою жизнь за послѣдніе годы, свои неудачи. „Маялся я много, — говоритъ онъ, — скитался не однимъ тѣломъ — душой скитался".

Слѣдуетъ описаніе скитаній, суть которыхъ въ томъ, что Рудинъ, повинуясь какому-то фатальному влеченію, всегда хотѣлъ быть дѣятелемъ жизни, приносить пользу, искалъ людей, средствами или энергіею которыхъ онъ могъ бы воспользоваться не для себя, а для „дѣла". Тутъ и тупица-помѣщикъ, возомнившій себя ученымъ, тутъ и дѣлецъ Курбѣевъ, тутъ, наконецъ, и дебютъ Рудина въ роли преподавателя словесности въ гимназіи, гдѣ онъ затѣялъ провести „коренныя" реформы, полагаясь на свое вліяніе на директора. Читая всю эту скорбную Одиссею, мы невольно запоминаемъ характерныя выраженія Рудина въ родѣ: „...онъ (помѣщикъ - тупица) владѣлъ такими средствами, столько можно было черезъ него сдѣлать добра, принести пользы существенной...", или: „я попалъ было въ секретари къ благонамѣренному сановному лицу...", или о прожекторѣ Курбѣевѣ: „это былъ человѣкъ удивительно ученый, знающій, голова, творческая, братъ, голова въ дѣлѣ промышленности и предпріятіи торговыхъ...", или еще о женѣ директора гим-

нази: „она вѣрила въ добро, любила все прекрасное... и не боялась высказывать свои убѣжденія передъ кѣмъ бы то ни было...“

Передъ нами рядъ какъ бы миніатюръ, изображающихъ отношенія идеалиста-неудачника къ средѣ, къ которой онъ не можетъ приспособиться, при чемъ приходится винить не только его, за непрактичность, неумѣніе взяться за дѣло, но еще болѣе—среду, за ея уродство, тупость и злобное отношеніе къ уму, таланту, гуманности, просвѣщенію. Такъ или иначе, раньше или позже, она выбрасываетъ вонъ идеалиста-просвѣтителя, пользуясь первою его оплошностью, она готова оклеветать, унизить его, донести по начальству. И мы разстаемся съ Рудинымъ въ тотъ моментъ, когда онъ долженъ уѣхать изъ города и водвориться въ своей жалкой деревенькѣ. Но за все это Лежневъ уважаетъ его. Честь и слава Лежневу!

Лежневъ понимаетъ глубокій смыслъ вѣщихъ словъ: „скитался не однимъ тѣломъ — душой скитался“. Онъ говоритъ Рудину: „Ты уваженіе мнѣ внушаешь — вотъ что!“ И поясняетъ: „съ какими бы помыслами (ты) ни начиналъ дѣло, всякій разъ непремѣнно кончалъ его тѣмъ, что жертвовалъ своими личными выгодами, не пускалъ корней въ недобрую почву, какъ она жирна ни была...

Неумѣніе и нежеланіе „пускать корни въ недобрую почву“ — это качество несомнѣнной и значительно нравственной цѣнности.

„Я родился перекати-полемъ,—продолжаетъ Рудинъ, — я не могу остановиться“.

Вспомнимъ скитальческую жизнь Онѣгина и Печорина. Рудинъ—такой же вѣчный странникъ. Но не трудно видѣть всю разницу въ этомъ отношеніи между ними, съ одной стороны, и Рудинымъ—съ другой. Психологія скитальчества послѣдняго — уже не та, что у нихъ. Лежневъ говоритъ:

„...ты не можешь остановиться не оттого, что въ тебѣ червь живетъ... Не червь въ тебѣ живетъ, не духъ празднаго безпокойства, — огонь любви къ истинѣ въ тебѣ горитъ...“

„Огонь любви къ истинѣ“, конечно,—не вполнѣ подходящее выраженіе для того душевнаго побужденія, которое сказывалось въ скитальчествѣ Рудина. Но Лежневъ — человѣкъ 40-хъ годовъ—лучшаго термина подобрать не могъ. Слово „истина“ употреблялось тогда часто, кстати и некстати, и между прочимъ для обозначенія тѣхъ общегуманныхъ стремленій, которыя одушевляли идеалистовъ. Во всякомъ случаѣ, какова бы ни была эта „истина“, но нѣкій „священный огонь“, несомнѣнно, горитъ въ душѣ Рудина и мѣшаетъ ему приспособляться къ пошлой жизни, погрязнуть въ тѣни, и гонитъ его съ мѣста на мѣсто. Это не хандра Онѣгина и Печорина, о которыхъ ужъ никоимъ образомъ нельзя было бы сказать, что въ нихъ „горитъ огонь любви къ истинѣ“. Скитальчество Рудина — это не то „безпокойство“ и „охота къ перемѣнѣ мѣстъ“, которыя овладѣли Онѣгинымъ, и не та тоска и жажда новыхъ впечатлѣній, которыя привели Печорина къ сознанію, что ему „осталось одно — путешествовать“. Не „путешественникъ“— Рудинъ, а „безпріютный скиталецъ“; мы, подобно Лежневу, съ чувствомъ щемящей грусти разстаемся съ нимъ, читая эти печальныя строки: „А на дворѣ поднялся вѣтеръ и завылъ зловѣщимъ завываніемъ, тяжело и злобно ударяясь въ звенящія стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто въ такія ночи сидитъ подъ кровомъ дома, у кого есть теплый уголокъ... И да поможетъ Господь всѣмъ безпріютнымъ скитальцамъ!“

И вскорѣ на Руси настала своего рода „долгая осенняя ночь“ конца 40-хъ годовъ и первой половины 50-хъ.

Рудинъ очутился за границей, гдѣ, наконецъ, нашелъ себѣ „пристанище“—въ революціонномъ движеніи 1848 г. Онъ

погибъ на баррикадахъ Парижа 26 іюля 1848 года, во время возстанія „національныхъ мастерскихъ“.

Смерть окончательно примиряетъ насъ съ нимъ.

7.

Теперь остается отдать себѣ отчетъ въ томъ, можно ли, и въ какомъ смыслѣ, назвать Рудина лишнимъ человѣкомъ. Для Онѣгина и Печорина этотъ вопросъ рѣшается гораздо легче. Праздные, скучающіе, безучастные къ окружающей средѣ, къ народу, къ самому идеалу, они были лишніе не только потому, что не умѣли сдѣлаться дѣятелями жизни, но еще болѣе потому, что не имѣли никакой охоты къ этому. Иное дѣло — Рудинъ. Въ сущности, онъ ничего другого и не дѣлаетъ, какъ именно стремится стать дѣятелемъ, вліять на жизнь, на людей. Онъ суетится, хлопочетъ, изъ силъ выбивается, и въ этомъ смыслѣ онъ — человѣкъ вовсе не праздный. Совершенно справедливо говоритъ ему Лежневъ: „наши дороги разошлись, можетъ быть, именно оттого, что, благодаря моему состоянію, холодной крови да другимъ счастливымъ обстоятельствамъ, ничто мнѣ не мѣшало сидѣть сиднемъ, да оставаться зрителемъ, сложивъ руки; а ты долженъ былъ выйти на поле, засучивъ рукава, трудиться, работать...“ („Эпилогъ“). При всей своей невыдержанности въ трудѣ, о чемъ была рѣчь выше, при всей своей лѣни, въ которой онъ самъ признается, Рудинъ — не бѣлоручка, не баловень, не праздный туристъ, не „зритель“ жизни. Онъ — въ своемъ родѣ — труженикъ жизни, мученикъ „фразы“, за которою однако скрывается нѣчто положительное, — идеалистическое настроеніе, возвышенныя, хотя и неопредѣленныя, туманныя идеи, отъ которыхъ онъ такъ же не можетъ „отдѣлаться“, какъ не можетъ „отдѣлаться“ отъ красивой фразы. И эту „фразу“, вмѣстѣ съ настроеніемъ и идеей, въ ней скрытыми, онъ

несетъ въ жизнь; онъ обращается съ нею къ людямъ, къ средѣ, которая за это и выбрасываетъ его вонъ. Тогда и обнаруживается, что онъ — лишній въ этой средѣ. Иначе говоря, въ этой средѣ оказываются „лишними", не ко двору, тѣ идеалистическія настроенія, тѣ умственные интересы и гуманныя идеи, которыхъ адептомъ былъ Рудинъ. Въ средѣ, гдѣ онъ хотѣлъ дѣйствовать, всѣ эти духовныя блага не имѣли цѣны, и неудивительно, что ихъ представитель не могъ, даже если бы обладалъ гораздо большею работоспособностью, цѣпкостью и практическимъ смысломъ, осуществить въ этой средѣ свою общественную стоимость и подъ конецъ самъ убѣдился въ томъ, что онъ — „лишній". Это сознаніе скорбною нотой прозвучало въ его послѣднемъ разговорѣ съ Лежневымъ, гдѣ, между прочимъ, онъ говоритъ: „Мнѣ рѣшительно скрывать нечего: я вполнѣ, и въ самой сущности слова,—человѣкъ благонамѣренный; я смиряюсь, хочу примѣниться къ обстоятельствамъ, хочу малаго, хочу достигнуть цѣли близкой, принести хотя ничтожную пользу. Нѣтъ! не удается! Что это значитъ? Что мѣшаетъ мнѣ жить и дѣйствовать, какъ другіе?.. Я только объ этомъ теперь и мечтаю. Но едва успѣю я войти въ опредѣленное положеніе, остановиться на извѣстной точкѣ, судьба такъ и сопретъ меня съ нея долой... Я сталъ бояться ея — моей судьбы... Отчего все это? Разрѣши мнѣ эту загадку!" („Эпилогъ").

Подобный вопросъ, полный скорби, нерѣдко задавали себѣ всѣ лучшіе люди 40-хъ годовъ. Имъ зачастую казалось, что, какъ бы они ни „смирялись", какъ бы ни „примѣнялись къ обстоятельствамъ", среда, обширная, грозная стихія „рассейской дѣйствительности", по выраженію Бѣлинскаго, ихъ отвергаетъ, фатально дѣлаетъ ихъ „лишними". Вспомнимъ здѣсь, разставаясь съ Рудинымъ, слѣдующія грустныя строки изъ „Дневника" Герцена: „Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую

сторону нашего существованія? А между тѣмъ наши страданія—почка, изъ которой разовьется ихъ счастье. Поймутъ ли они, отчего мы — лѣнтяи, отчего ищемъ всякихъ наслажденій, пьемъ вино и пр.?.. Отчего руки не подымаются на большой трудъ? Отчего въ минуту восторга не забываемъ тоски? О, пусть они остановятся съ мыслью и съ грустью передъ камнями, подъ которыми мы уснемъ: мы заслужили ихъ грусть!" (Подъ 11 сент. 1842 г.).

8.

Можетъ быть, скажутъ: идеалисты 40-хъ годовъ оказывались, въ извѣстномъ смыслѣ, „лишними" потому, что были западники, и ихъ идеалы были чужды русской жизни и русскому національному духу. Это соображеніе было бы совершенно ложно, ибо достаточно извѣстно, что и славянофилы 40-хъ годовъ всецѣло раздѣляли участь „западниковъ", поскольку были также идеалисты. Аксаковы, Хомяковъ, Кирѣевскіе нерѣдко чувствовали себя „лишними" въ той же мѣрѣ и въ томъ же смыслѣ, какъ и Герценъ, Бѣлинскій, Грановскій и др. Не чувствовали себя „лишними" только тѣ, которые не были идеалистами по натурѣ, при чемъ все равно, принадлежали ли они къ тому или къ другому „лагерю", напр., такіе, какъ Погодинъ, Шевыревъ („славянофилы"), Катковъ (радикальный западникъ тогда) и др.

Тѣмъ не менѣе соображеніе о „западничествѣ" Рудина, какъ причинѣ его незадачливости, его участи „лишняго человѣка", не можетъ быть здѣсь оставлено нами безъ разсмотрѣнія, потому что оно выдвинуто въ романѣ самимъ авторомъ, какъ извѣстно,—крайнимъ западникомъ. Мы здѣсь подошли къ одному любопытному пункту въ творчествѣ Тургенева.

Въ главѣ XII, гдѣ Лежневъ объясняетъ собравшемуся

обществу, что такое Рудинъ, и, такъ сказать, „реабилитируетъ“ его, онъ однако бросаетъ ему упрекъ въ космополитизмѣ, въ отчужденіи отъ народности, къ чему и сводитъ все его „несчастье“. Онъ говоритъ: „Несчастье Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это точно большое несчастье. Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ; двойное горе тому, кто дѣйствительно безъ нея обходится! Космополитизмъ—чепуха, космополитизмъ — нуль, хуже нуля; внѣ народности нѣтъ ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ...“ и т. д.

Здѣсь нужно принять во вниманіе слѣдующее. „Рудинъ“ былъ написанъ какъ разъ въ то время, когда произошло нѣкоторое сближеніе между Тургеневымъ и славянофилами, когда поэтъ поддерживалъ дружескую переписку съ Аксаковыми. Можно предполагать нѣкоторое вліяніе со стороны послѣднихъ на автора „Записокъ охотника“, на что указалъ г. Грузинскій [1]). Это вліяніе я представлю себѣ въ слѣдующемъ видѣ. Тургеневъ не усвоилъ (и не могъ усвоить) доктрины славянофильства, не могъ стать на точку зрѣнія этой партіи, но онъ, какъ вдумчивый и чуткій художникъ, долженъ былъ заинтересоваться самымъ фактомъ появленія людей, проводившихъ принципъ народности, идеалистовъ, влюбленныхъ (если можно такъ выразиться) въ русскую національность и стремившихся сознательно обосновать на ея началахъ и поэзію, и всякое творчество, и общественные, и даже политическіе идеи и идеалы. Вспомнимъ, что въ ту эпоху, — въ половинѣ 50-хъ годовъ, — независимо отъ славянофильской пропаганды, интересъ къ народности сталъ распространяться въ широкихъ кругахъ общества, и уже

---

[1]) „Къ исторіи „Записокъ охотника“ Тургенева“, въ „Научномъ Словѣ“, іюль 1903, стр. 89.

возникало своеобразное умственное теченіе, занимавшее какъ бы середину между демократическимъ славянофильствомъ и радикальнымъ западничествомъ, — народничество, въ которомъ вскорѣ должны были объединиться лучшіе элементы того и другого. Интересъ къ народу и сочувствіе къ нему, все усиливавшіеся въ виду мелькавшей вдали, въ предразсвѣтномъ туманѣ безвременья, крестьянской реформы, оживляли и самое чувство народности. Тургеневъ не могъ остаться незатронутымъ этими вѣяніями. Они отразились уже въ „Запискахъ охотника", именно въ отдѣльномъ изданіи ихъ 1852-го года, какъ показалъ это г. Грузинскій. Три года спустя поэтъ отдалъ дань новому вѣянію въ „Рудинѣ" — вышеприведенной тирадой, вложенной въ уста Лежнева. Но это не значитъ, конечно, что въ фигурѣ Лежнева Тургеневъ хотѣлъ изобразить славянофильское умонастроеніе 40-хъ годовъ. Въ защиту идеи народности выступали тогда не одни славянофилы. Во всемъ остальномъ, что говоритъ Лежневъ, не видать сколько-нибудь ясныхъ признаковъ самой доктрины славянофильства. О пресловутомъ „гніеніи" западной цивилизаціи въ его рѣчахъ и помина нѣтъ. Въ энтузіазмѣ, съ которымъ Лежневъ говоритъ о народности, сквозитъ одно: сознаніе нѣкоторой отвлеченности и безпочвенности пропаганды Рудина, мысль, что нужно изучать Россію, народъ и, путемъ такого изученія, добиться обоснованія на національной почвѣ тѣхъ общечеловѣческихъ идеаловъ, проводникомъ которыхъ является Рудинъ. Если видѣть здѣсь народническую, въ тѣсномъ смыслѣ, идею, окрѣпшую и распространившуюся позже, то пришлось бы тираду Лежнева признать нѣкоторымъ анахронизмомъ. Но этотъ упрекъ отчасти смягчается тѣмъ соображеніемъ, что въ словахъ Лежнева мы видимъ только энтузіазмъ къ идеѣ народности, а вовсе не тотъ культъ самого народа, которымъ по преимуществу и характеризуется народничество, зачинавшееся въ 50-хъ годахъ. Идея Леж-

нева, собственно говоря, не народническая, а националистическая (терминъ „народность“ употреблялся тогда въ смыслѣ „національность“), и онъ легко могъ проникнуться ею не только подъ вліяніемъ ученія славянофиловъ 40-хъ годовъ, но и подъ впечатлѣніемъ того, что писалъ на эту тему Бѣлинскій [1]).

Указанное настроеніе самого Тургенева, возникшее въ немъ въ 50-хъ годахъ подъ вліяніемъ новыхъ тогда вѣяній, благопріятныхъ идеѣ народа и народности, еще ярче сказалось въ другомъ его произведеніи, написанномъ три года спустя послѣ „Рудина“, — въ романѣ „Дворянское Гнѣздо“, гдѣ также изображаются люди и эпоха 40-хъ годовъ. Главный герой романа, Лаврецкій, является, по самому замыслу автора, уже прямо славянофиломъ, а западничество представлено въ чертахъ отрицательныхъ—фигурою Паншина.

Разсмотрѣнію этихъ образовъ, какъ и всего романа, поскольку въ немъ даны художественныя обобщенія и истолкованія идей, настроеній и психологіи „людей 40-хъ годовъ“, мы посвящаемъ слѣдующую главу.

— —

[1]) „Что личность въ отношеніи къ идеѣ человѣка, то — народность въ отношеніи къ идеѣ человѣчества“, — говорилъ онъ въ „Обозрѣніи Литературы“ за 1846 г.—„Безъ національностей человѣчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія...“ — Цитируя это мѣсто, Анненковъ говоритъ, что оно пришлось не по вкусу крайнимъ западникамъ, которыхъ здѣсь же Бѣлинскій обзываетъ „гуманическими космополитиками“ и отдаетъ, въ отношеніи постановки идеи народности, рѣшительное предпочтеніе славянофиламъ. („Воспом. и критич. оч.“, III, 149).

•

ГЛАВА VII.

Люди 40-хъ годовъ. — Лаврецкій.

1.

Въ фигурѣ Лаврецкаго, героя „Дворянскаго гнѣзда", „заднимъ числомъ" воспроизведенъ духовный обликъ „человѣка 40-хъ годовъ", но только не западника, какъ Рудинъ, а славянофила.

Какъ извѣстно, всѣ симпатіи автора на сторонѣ Лаврецкаго, который выведенъ въ освѣщеніи гораздо болѣе благопріятномъ, чѣмъ Рудинъ. Передъ Лаврецкимъ пасуетъ западникъ Паншинъ, изображенный сатирически. Если бы, предположимъ, не были извѣстны убѣжденія Тургенева и его исконная и неизмѣнная принадлежность къ лагерю западниковъ, пришлось бы на основаніи „Дворянскаго гнѣзда" заключить, что этотъ романъ написанъ убѣжденнымъ славянофиломъ, который только остерегается почему-то внести сюда изложеніе самой доктрины славянофильства.

Въ статьѣ „По поводу „Отцовъ и дѣтей" мы имѣемъ прямое свидѣтельство самого Тургенева, относящееся къ данному вопросу: „Я — коренной, неисправимый западникъ и нисколько этого не скрывалъ и не скрываю; однако я, несмотря на это, съ особеннымъ удовольствіемъ вывелъ въ лицѣ Паншина (въ „Дворянскомъ гнѣздѣ") всѣ

комическія и пошлыя стороны западничества[1]), я заставилъ славянофила Лаврецкаго[1]) „разбить его, на всѣхъ пунктахъ“. Почему я это сдѣлалъ — я, считающій славянофильское ученіе ложнымъ и безплоднымъ? Потому, что въ данномъ случаѣ — такимъ именно образомъ, по моимъ понятіямъ[2]), сложилась жизнь, а я прежде всего хотѣлъ быть искреннимъ и правдивымъ“.

Въ романѣ „Дворянское гнѣздо“ дѣйствіе происходитъ въ 1842 году. Написанъ же романъ въ 1858-мъ. Спрашивается: къ которой изъ этихъ двухъ датъ нужно отнести свидѣтельство Тургенева, что „въ данномъ случаѣ такимъ именно образомъ (какъ изображено въ романѣ) сложилась жизнь?“ На этотъ вопросъ мы отвѣтимъ, не обинуясь: разумѣется, ко второй, ко времени написанія романа, но отнюдь не къ первой, когда разладъ между двумя партіями только начиналъ возникать, и онѣ еще только вырабатывали основы своихъ доктринъ и программъ.

Жизнь стала „складываться“ въ томъ видѣ, какъ изображено въ романѣ, именно во второй половинѣ 50-хъ годовъ, когда наканунѣ эпохи реформъ — западничество казалось на ущербѣ, а славянофильство брало перевѣсъ надъ нимъ и представлялось направленіемъ болѣе жизненнымъ и здоровымъ. Вспомнимъ: старая западническая партія разлагалась, на смѣну ей выступали новыя западническія направленія, изъ которыхъ одно, радикально-демократическое, съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ во главѣ, открыто выражало свою солидарность съ славянофилами по практическимъ вопросамъ подготовлявшагося освобожденія крестьянъ, а другое — поверхностно-либеральное и бюрократическое — не отличалось ни глубиной идей, ни широтой воззрѣнія и не могло привлечь къ себѣ какъ особливой при-

---

[1]) Курсивъ мой.

[2]) Курсивъ Тургенева.

верженности молодого поколѣнія, такъ и сочувствія лучшихъ представителей стараго западничества, хранившихъ завѣты Бѣлинскаго. Въ то же время образовалась и радикальная фракція въ самомъ славянофильствѣ (такъ называемая „молодая редакція Москвитянина"), гдѣ душою былъ смѣлый, убѣжденный демократъ Аполлонъ Григорьевъ. — А на очереди стояла великая реформа, для которой западно-европейскіе образцы оказывались непригодными, и силою вещей выдвигался русскій народный идеалъ: обезпеченное землей крестьянство и сохраненіе общины.

На литературной аренѣ славянофильство было представлено тогда рядомъ выдающихся, убѣжденныхъ, идеалистически-настроенныхъ дѣятелей (Константинъ и Иванъ Аксаковы, Хомяковъ, Ю. Самаринъ и др.). Напротивъ, ряды старыхъ западниковъ сильно порѣдѣли. Бѣлинскій давно уже покоился въ могилѣ. Да если бы онъ и оставался въ живыхъ, онъ стоялъ бы, безъ сомнѣнія, во главѣ не западничества въ традиціонной его формѣ, а во главѣ новой радикально-демократической группы, сближавшейся съ славянофилами. Герценъ былъ за границей и все болѣе склонялся къ пресловутой — по существу славянофильской — антитезѣ Востока и Запада. Кавелинъ далеко не былъ „правовѣрнымъ" западникомъ. В. Боткинъ, проживая за границей, отставалъ отъ интересовъ и задачъ русской жизни и погружался въ безплодный эстетизмъ, индифферентизмъ и эпикурейство.

Такъ „складывалась жизнь" и такъ разлагалось старое западничество. И неудивительно, что чуткій къ вѣяніямъ времени и ко всѣмъ поворотамъ исторіи художникъ-наблюдатель живо почувствовалъ это и, какъ бы повинуясь художническому инстинкту, повернулъ, оставаясь все тѣмъ же „неисправимымъ западникомъ" въ своемъ общемъ міросозерцаніи, въ сторону не доктрины, не философіи, а прак-

тическихъ, жизненныхъ идеаловъ и настроеній лучшихъ людей славянофильства. Завязались очень дружескія отношенія между Тургеневымъ и Аксаковыми, и отъ начала до конца 50-хъ годовъ мы имѣемъ ихъ оживленную интимную переписку, изъ которой изслѣдователь можетъ извлечь многое для объясненія художественной работы Тургенева въ этотъ періодъ вообще и для комментарія къ „Дворянскому гнѣзду“ въ частности [1]). Мы воспользуемся ниже нѣкоторыми указаніями этихъ писемъ для характеристики настроенія, отразившагося въ знаменитомъ романѣ.

А теперь обратимся къ Лаврецкому.

2.

Изъ вышеописаннаго явствуетъ, что для правильнаго сужденія о Лаврецкомъ, какъ о типѣ людей 40-хъ годовъ, нужно сперва устранить въ немъ специфическія черты, отзывающіяся настроеніемъ 50-хъ годовъ и тѣмъ „поворотомъ исторіи“, о которомъ мы только что говорили. Еще въ большей мѣрѣ относится это къ Паншину, который освѣщенъ не соотвѣтственно эпохѣ (начала 40-хъ годовъ). Скажемъ больше: онъ перенесенъ изъ 50-хъ годовъ въ 40-е. И его „посрамленіе“, торжество Лаврецкаго надъ нимъ, — все это отзывается духомъ второй половины 50-хъ годовъ.

Мы скажемъ такъ: Лаврецкій — это „художественный итогъ“ общественно-психологическимъ „формаціямъ“ 40-хъ годовъ, подведенный въ концѣ 50-хъ и окрашенный соотвѣтственно духу времени, когда романъ писался. Устраняя

---

[1]) Эта переписка опубликована въ Вѣстникѣ Европы, 1894, январь (стр. 329—345) и февраль (стр. 469—500), въ Русскомъ Обозрѣніи, 1894, августъ и сентябрь (письма Аксаковыхъ къ Тургеневу съ поясненіями академ. Л. Н. Майкова), въ Литературномъ Вѣстникѣ, 1903, кн. 5, стр. 78 и сл.

эту окраску, мы можемъ возстановить, такъ сказать, подлиннаго Лаврецкаго, какимъ онъ былъ въ дѣйствительности, въ свое время.

Этой операціи очень помогаютъ извѣстныя вводныя главы VIII — XVI, повѣствующія о предкахъ Лаврецкаго, о его воспитаніи, его юности, женитьбѣ и т. д. Все, что мы читаемъ здѣсь, невольно отвлекаетъ насъ отъ идей и настроенія 50-хъ годовъ и переноситъ насъ сперва въ XVIII вѣкъ, потомъ въ начало XIX, наконецъ—въ московскую студенческую жизнь 30-хъ годовъ и незамѣтно приводитъ насъ къ началу 40-хъ годовъ, къ которому и пріурочена фабула романа. Поэтъ ведетъ насъ въ этихъ главахъ не отъ 50-хъ годовъ назадъ, а отъ XVIII вѣка впередъ, и мы, не отвлекаясь въ сторону, имѣемъ возможность прослѣдить, такъ сказать, „подлинныхъ Лаврецкихъ" и понять интимное, но не идейное, не „программное", а психологическое происхожденіе ихъ „славянофильства", ихъ русскаго націонализма.

Итакъ, заглянемъ сперва въ родословную барскаго рода Лаврецкихъ: это — возведенная въ художественный типъ родословная самсго славянофильства.

Родъ Лаврецкихъ — старинный, служилый, именитый и, какъ таковой, давно уже (съ XVII вѣка) отгороженъ отъ народа стѣной крѣпостного права. — Рисуя жизнь и нравы этихъ баръ, поэтъ сгущаетъ краски, — и выходитъ картина, далеко не похожая на ту, которую мы имѣемъ въ „Войнѣ и мирѣ" и „Декабристахъ" Л. Н. Толстого. Послѣдній, если и не идеализируетъ крѣпостные порядки той эпохи и нравы стараго барства, то во всякомъ случаѣ, такъ сказать, облагораживаетъ ихъ эпическими пріемами своего творчества. Тургеневъ, напротивъ, беретъ изъ тогдашней дѣйствительности черты рѣзко-отрицательныя, отталкивающія, какихъ было въ ней очень много, и рѣзко оттѣняетъ безобразную жизнь и нравственное уродство старыхъ баръ.

Прадѣдъ Өедора Ивановича Лаврецкаго, Андрей, былъ „человѣкъ жестокій, дерзкій, умный и лукавый. До настоящаго дня не умолкала молва объ его самоуправствѣ, о бѣшеномъ его нравѣ, безумной щедрости и алчности неутолимой...“ (гл. VIII). Его сынъ, „Петръ, Өедоровъ дѣдъ, не походилъ на своего отца; это былъ простой, степной баринъ, довольно взбалмошный, крикунъ и копотунъ, грубый, но не злой, хлѣбосолъ и псовый охотникъ. Ему было за тридцать лѣтъ, когда онъ наслѣдовалъ отъ отца двѣ тысячи душъ въ отличномъ порядкѣ, но онъ скоро ихъ распустилъ, частью продалъ свое имѣніе, дворню избаловалъ...“ (VIII). Домъ его наполнился разными дармоѣдами, „мелкими людишками“, и „все это наѣдалось, чѣмъ попало, но досыта, напивалось допьяна и тащило вонъ, что могло, прославляя и величая ласковаго хозяина; и хозяинъ, когда былъ не въ духѣ, тоже величалъ своихъ гостей дармоѣдами и прохвостами, а безъ нихъ скучалъ...“ (VIII). — Все это — не западное, не европейское, а „истинно-русское“, свое, „самобытное“. Но вотъ въ воспитаніи сына этого помѣщика, Ивана, отца нашего героя, уже обнаруживается „западное вліяніе“. Иванъ „воспитывался не дома, а у богатой старой тетки“, которая „назначила его своимъ наслѣдникомъ“ и „одѣвала его, какъ куклу, нанимала ему всякаго рода учителей, приставила къ нему гувернера, француза, бывшаго аббата, ученика Жанъ-Жака Руссо, нѣкого m-r Courtin de Vaucelles, ловкаго и тонкаго проныру, fine fleur эмиграціи, — и кончила тѣмъ, что чуть не 70 лѣтъ вышла замужъ за этого „финьфлера“, перевела на его имя все свое состояніе и вскорѣ потомъ, разрумяненная, раздушенная амброй à la Richelieu, окруженная арапчонками, тонконогими собачонками и крикливыми попугаями, умерла на шелковомъ кривомъ диванчикѣ временъ Людовика XV, съ эмалевой табакеркой работы Петито въ рукахъ, — и умерла, оставленная мужемъ: вкрадчивый господинъ Куртэнъ предпочелъ уда-

литься въ Парижъ съ ея деньгами...“ (VIII).—Передъ нами—характерная страничка изъ бытовой исторіи русскаго XVIII вѣка, въ его 90-хъ годахъ. Старушка-тетка съ ея аббатомъ обрисовываетъ картину стараго барства, перекроеннаго на европейскій ладъ и усвоившаго преимущественно внѣшній лоскъ цивилизаціи, утонченность и распущенность французской аристократіи. Но однако какъ ни былъ ничтоженъ и уродливъ этотъ налетъ „французскаго образованія“, все-таки хоть что-нибудь отъ него оставалось,—и воспитанное въ „новомъ духѣ“ молодое поколѣніе уже кое-чѣмъ разнилось отъ отцовъ, загрубѣлыхъ въ безпросвѣтномъ невѣжествѣ. Когда Иванъ Лаврецкій вернулся къ отцу, „грязно, бѣдно, дрянно показалось (ему) его родимое гнѣздо; глушь и копоть степного житья-бытья на каждомъ шагу его оскорбляли, скука его грызла...“ (VIII). Дѣло было уже въ началѣ XIX вѣка, въ первые годы царствованія императора Александра I. Иванъ былъ по тому времени человѣкъ образованный, но это образованіе носило всѣ признаки той внѣшности, поверхностности, того отсутствія внутренней, самостоятельной переработки воспринятой премудрости, чѣмъ такъ характерно отличалась искусственно привитая образованность нашего XVIII вѣка. Это мѣтко схвачено въ слѣдующихъ словахъ: „...и Дидеротъ, и Вольтеръ сидѣли въ головѣ“ Ивана Петровича, „и не они одни—и Руссо, и Рейналь, и Гельвецій, и много другихъ, подобныхъ имъ сочинителей сидѣли въ его головѣ, но *въ одной только головѣ*[1]). Бывшій наставникъ Ивана Петровича, отставной аббатъ и энциклопедистъ, удовольствовался тѣмъ, что влилъ цѣликомъ въ своего воспитанника всю премудрость XVIII вѣка, и *онъ такъ и ходилъ наполненный ею; она пребывала въ немъ, не смѣшавшись съ его кровью, не проникнувъ въ его душу, не сказав-*

[1]) Курсивъ мой.

шись крѣпкимъ убѣжденіемъ...“[1]) (VIII). Дальше разсказывается романъ молодого человѣка съ крѣпостною дѣвушкой Маланьей, гнѣвъ и проклятіе отца, бѣгство сына, его женитьба на Маланьѣ и отъѣздъ сперва къ троюродному брату, потомъ въ Петербургъ, гдѣ ему удалось получить 5,000 руб. отъ престарѣлой тетки, его воспитавшей, и мѣсто при русской миссіи въ Лондонѣ. — Старикъ же, какъ ни былъ сердитъ на сына, все-таки пріютилъ его жену съ маленькимъ ея сыномъ Ѳедоромъ (гл. IX). — Въ X главѣ описывается та метаморфоза, которая произошла въ Иванѣ Петровичѣ за время его пребыванія въ Лондонѣ. Онъ „вернулся въ Россію англоманомъ“. Но это англоманство было столь же искусственнымъ и поверхностнымъ, какъ и прежнее французское образованіе. Онъ стригся и одѣвался по англійской модѣ, говорилъ сквозь зубы, пристрастился къ кровавымъ ростбифамъ и портвейну и къ „исключительно политическому и политико-экономическому разговору“ и т. д. Съ этой стороны „все въ немъ такъ и вѣяло Великобританіей; весь онъ казался пропитанъ ея духомъ“. Кстати упомянемъ, что этою изумительною способностью схватывать верхи, усваивать чужую внѣшность и переряживаться“ — физически и духовно — въ иностранные „костюмы“, то французскіе, то нѣмецкіе, то англійскіе (при Петрѣ Великомъ въ голландскіе), никакая другая аристократія въ мірѣ не отличалась такъ, какъ наша русская въ XVIII и частью еще въ XIX вѣкѣ. — Бытовая, идейная и моральная исторія XVIII вѣка вся какая-то „костюмированная“. Цѣлый классъ общества то и дѣло „переряживался“ до неузнаваемости и до безобразія, даже до коверканія русскаго произношенія, до потери родного языка.

Иванъ Петровичъ, перекроенный на англійскій фасонъ, сталъ пренебрегать обычаями русской жизни и даже плохо

[1]) Курсивъ мой.

изъяснялся по-русски. Но однако же изъ Англіи онъ вывезъ еще нѣчто, впрочемъ столь же поверхностное, какъ и все остальное: желаніе изобразить изъ себя „патріота", „гражданина" и облагодѣтельствовать отечество проектами реформъ въ англійскомъ духѣ[1]). „Иванъ Петровичъ привезъ съ собой нѣсколько рукописныхъ плановъ, касавшихся до устройства и улучшенія государства; онъ очень былъ недоволенъ всѣмъ, что видѣлъ,— отсутствіе системы въ особенности возбуждало его желчь". — Поселившись въ деревнѣ (послѣ смерти отца), онъ задумалъ „коренныя преобразованія". Эти „реформы" выразились въ томъ, что въ домѣ появилась новая мебель, плевальницы, „завтракъ сталъ иначе подаваться", вмѣсто отечественныхъ наливокъ и водки появились иностранныя вина, и всѣ приживальщики были изгнаны. Что же касается управленія имѣніемъ и быта крестьянъ, то „*все осталось по-старому, только оброкъ кой-гдѣ прибавился, да барщина стала потяжелѣе*[2]), да мужикамъ запретили обращаться прямо къ Ивану Петровичу. *Патріотъ очень ужъ презиралъ своихъ согражданъ*"[2]) (гл. X). Всѣми дѣлами завѣдывала сестра его, Глафира, женщина „настойчивая, властолюбивая" (VIII), „колотовка", какъ прозвали ее крѣпостные слуги, существо злое, — типичное порожденіе крѣпостныхъ порядковъ и дикихъ нравовъ „добраго стараго времени".

3.

Въ чемъ дѣйствительно была произведена „коренная реформа", такъ это — въ дѣлѣ воспитанія Ѳеди. Когда маль-

---

[1]) Поверхностное политическое англоманство этого рода проявлялось у насъ нерѣдко въ „Александровскую эпоху" и — позже. Вспомнимъ хотя бы позднѣйшее англоманство *Каткова* въ 50-хъ и началѣ 60-хъ гг., проводившееся имъ въ его — тогда либеральномъ — „Русскомъ Вѣстникѣ".

[2]) Курсивъ мой.

чикъ подросъ, отецъ начерталъ цѣлый планъ его воспитанія и образованія, взявъ за образецъ англійскую систему. „Я изъ него хочу сдѣлать человѣка, прежде всего, un homme,— сказалъ Иванъ Петровичъ сестрѣ Глафирѣ Петровнѣ,—и не только человѣка, но спартанца“. — И вотъ Ѳедю одѣли по-шотландски: 12-тилѣтній малый сталъ ходить съ обнаженными икрами и съ пѣтушьими перьями на складномъ картузѣ“ и т. д. Музыку отмѣнили, „какъ занятіе, недостойное мужчины“. На первый планъ поставили гимнастику, физическія упражненія, спортъ. Мальчика „будили въ 4 часа утра, тотчасъ окачивали холодной водой и заставляли бѣгать вокругъ высокаго столба на веревкѣ“ и т. п. Верховая ѣзда, стрѣльба и упражненія въ твердости воли составляли важную статью въ этой нелѣпой „системѣ“. Что касается образованія въ собственномъ смыслѣ, то въ его программу входили: „естественныя науки, международное право, математика, столярное ремесло, по совѣту Жанъ-Жака Руссо, и геральдика, для поддержанія рыцарскихъ чувствъ...“ (гл. XI). Обязанность каждый вечеръ заносить „въ особую книгу отчетъ прошедшаго дня и свои впечатлѣнія“ довершаетъ картину своеобразнаго воспитанія Ѳеди. Результаты получились такіе: „система сбила съ толку мальчика, поселила путаницу въ его головѣ, притиснула ее; но зато на его здоровье новый образъ жизни благодѣтельно подѣйствовалъ: сначала онъ схватилъ горячку, но вскорѣ оправился и сталъ молодцомъ“ (гл. XI).

Зимою Иванъ Петровичъ проживалъ въ Москвѣ. Шли двадцатые годы, эпоха либеральныхъ движеній въ обществѣ, и нашъ „европеецъ-англоманъ“ ораторствовалъ въ клубѣ и въ гостиныхъ и „болѣе чѣмъ когда-либо держался англоманомъ, брюзгой и государственнымъ человѣкомъ“.—Но послѣ 1825 года съ нимъ случилось удивительное превращеніе. Напуганный карою, которой подверглись нѣкоторые изъ его знакомыхъ и пріятелей, „Иванъ Петровичъ поспѣшилъ уда-

литься въ деревню и заперся въ своемъ домѣ. Прошелъ еще годъ, и Иванъ Петровичъ захилѣлъ, ослабѣлъ, опустился... Вольнодумецъ — началъ ходить въ церковь и заказывалъ молебны; европеецъ — сталъ париться въ банѣ и т. д.; государственный человѣкъ — сжегъ всѣ свои планы, всю переписку, трепеталъ передъ губернаторомъ и егозилъ передъ исправникомъ..." (гл. XI).

Между тѣмъ Ѳедѣ шелъ 19-ый годъ, „и онъ начиналъ размышлять и высвобождаться изъ-подъ гнета давившей его руки. Онъ и прежде замѣчалъ разладицу между словами и дѣлами отца, между его широкими либеральными теоріями и черствымъ, мелкимъ деспотизмомъ; но онъ не ожидалъ такого крутого перелома..." (XI).

Это былъ хорошій урокъ, и онъ-то и заронилъ въ душу умнаго юноши зерно будущихъ его воззрѣній на отношенія между русскою дѣйствительностью и пустымъ, обезьяньимъ перениманіемъ европейскихъ понятій и привычекъ. — Ѳедю потянуло въ университетъ.

Затянувшаяся болѣзнь отца удержала молодого человѣка въ деревнѣ, и онъ могъ поступить въ университетъ только послѣ смерти отца, уже имѣя 23 года. „Жизнь открывалась передъ нимъ" (XI). Онъ явился въ университетъ съ нѣкоторымъ запасомъ свѣдѣній, наблюденій и мыслей. Но въ его образованіи были большіе пробѣлы, а главное — онъ выросъ нелюдимымъ, „несвободнымъ", болѣзненно-застѣнчивымъ, неловкимъ въ обществѣ, особенно — женскомъ. „Недобрую шутку сыгралъ англоманъ съ своимъ сыномъ; капризное воспитаніе принесло свои плоды... Онъ не умѣлъ сходиться съ людьми: 23-хъ лѣтъ отъ роду, съ неукротимой жаждой любви въ пристыженномъ сердцѣ, онъ еще ни одной женщинѣ не смѣлъ взглянуть въ глаза..." (XII).

Любопытна и важна непосредственно слѣдующая за этими словами общая характеристика Ѳедора Лаврецкаго: „При его умѣ, ясномъ и здравомъ, но нѣсколько тя-

желомъ, при его наклонности къ упрямству, созерцанію и лѣни ему бы слѣдовало съ раннихъ лѣтъ попасть въ жизненный водоворотъ, а его продержали въ искусственномъ уединеніи“ (XII).

И вотъ онъ — студентъ московскаго университета. Дѣло было, конечно, въ началѣ 30-хъ годовъ, и Ѳедя Лаврецкій долженъ былъ встрѣчаться въ университетѣ со многими даровитыми юношами-баричами (многіе изъ которыхъ ѣздили въ университетъ въ собственныхъ экипажахъ и часто въ сопровожденіи гувернеровъ), — съ Сашей Герценомъ, Никомъ Огаревымъ, Костей Аксаковымъ и др., а равно и съ бѣдняками-разночинцами, казеннокоштными студентами, напр., съ Виссаріономъ Бѣлинскимъ. Но — нелюдимый, застѣнчивый — Ѳедя Лаврецкій не сходился съ ними: „они въ немъ не нуждались и не искали въ немъ, онъ избѣгалъ ихъ“ (XII).— Однако случай привелъ его сблизиться съ однимъ, но зато типичнымъ, представителемъ тогдашняго передового студенчества, съ „энтузіастомъ и стихотворцемъ“ Михалевичемъ, — и черезъ него Лаврецкій отчасти пріобщился къ настроенію и броженію молодежи того времени.

Въ дальнѣйшихъ главахъ (XIII — XVI) разсказана исторія любви Лаврецкаго къ Варварѣ Павловнѣ Коробьиной, его женитьба, для чего онъ долженъ былъ оставить университетъ, и послѣдующая исторія его семейной жизни въ деревнѣ, въ Петербургѣ, въ Парижѣ, окончившаяся разрывомъ съ женой и возвращеніемъ въ Россію.

Изъ этого повѣствованія отмѣтимъ три пункта: 1) Лаврецкій пробылъ въ университетѣ всего какихъ-нибудь три года, въ теченіе которыхъ онъ не сближался съ студенческой средой; и если послѣдняя все-таки оказала на него нѣкоторое вліяніе, то только черезъ посредство Михалевича. Онъ, стало быть, не жилъ жизнью тѣсныхъ, дружескихъ кружковъ молодежи, не участвовалъ въ спорахъ, кипѣвшихъ въ этихъ кружкахъ, не испыталъ вліянія краснорѣчія Ру-

дина и благородной натуры и высокаго ума Покорскаго. И если онъ все-таки усвоилъ себѣ извѣстныя убѣжденія, если онъ вышелъ не пустымъ, безпринципнымъ человѣкомъ, то этимъ онъ обязанъ самому себѣ, своей здоровой натурѣ, природному уму, жаждѣ знанія и упорству въ трудѣ. Очевидно, онъ не мало читалъ и умѣлъ работать головой. И, конечно, онъ перерабатывалъ и осмысливалъ впечатлѣнія дѣтства, вдумывался въ идеи, усвояемыя изъ книгъ, и въ то, что являла русская дѣйствительность. 2) Живя въ Петербургѣ и въ Парижѣ съ молодой женой, ведшей свѣтскую, разсѣянную жизнь, онъ не увлекся приманками и утѣхами этой жизни, онъ сознавалъ ея пустоту, и его тянуло къ книгѣ, къ работѣ мысли. Онъ не переставалъ учиться. Въ Петербургѣ „онъ принялся опять за собственное, по его мнѣнію, недоконченное, воспитаніе, опять сталъ читать, приступилъ даже къ изученію англійскаго языка. Странно было видѣть его могучую, широкоплечую фигуру, вѣчно согнутую надъ письменнымъ столомъ, его полное, волосатое, румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро онъ проводилъ за работой...“ (XV). Въ Парижѣ онъ... „слушалъ лекціи въ Sorbone и Collège de France, слѣдилъ за преніями палатъ, принялся за переводъ извѣстнаго ученаго сочиненія объ ирригаціяхъ“ (XV). — Тѣмъ временемъ онъ лелѣялъ планы будущей дѣятельности въ Россіи, хотя ему самому было еще не ясно, въ чемъ собственно должна состоять эта дѣятельность. — 3) Жизнь за границей, повидимому, не внушила ему какого-либо отрицательнаго отношенія къ Западу (тѣмъ паче — мысли его о „гніеніи“); но она и не захватила его, не заинтересовала такъ, чтобы онъ могъ сдѣлаться „западникомъ“ — по строю мысли или же просто по вкусамъ, привычкамъ, пристрастію къ условіямъ европейской жизни. Изъ него — даже при лучшихъ условіяхъ — не вышелъ бы такой „вѣчный туристъ“, какимъ былъ, напр., В. Боткинъ, частью П. В. Анненковъ, или такой

„проживатель за границей", какъ Гоголь или Тургеневъ. — Еще до разрыва съ женой, хотя онъ и не скучалъ въ Парижѣ, но „жизнь подчасъ тяжела становилась у него на плечахъ, — тяжела, потому что пуста" (XV). Лаврецкій и за границей оставался, какъ въ Петербургѣ и Москвѣ, — одинокъ.

Эти указанія наводятъ насъ на мысль, что Тургеневъ, задумавъ типъ Лаврецкаго, сознательно поставилъ своего героя внѣ той сферы, гдѣ въ 30-хъ годахъ и въ 40-хъ годахъ вырабатывались идеи и направленія, западническія и славянофильскія, гдѣ, при помощи Гегеля и въ нескончаемыхъ спорахъ, выковывались элементы личнаго, общественнаго и національнаго самосознанія. Рисуя Лаврецкаго, Тургеневъ видимо старается обойти и Гегеля, и всякую „доктрину", и кружковые споры, и безпредметные восторги, и все, что такъ ярко изображено въ „Рудинѣ". Въ этомъ отчасти можно усматривать нѣкоторый отпечатокъ того времени, когда писался романъ, когда давно уже распались идеалистическіе кружки, давно замолкли былые кружковые споры, и сама философія, въ томъ числѣ и Гегелевская, не имѣла уже прежней власти надъ умами. И, пожалуй, здѣсь приходится видѣть родъ анахронизма: въ 50-хъ годахъ могли появляться „славянофилы" — Лаврецкіе внѣ района московскихъ или иныхъ кружковъ и безъ содѣйствія Гегеля, — ибо „такъ складывалась жизнь". Но въ 40-хъ годахъ этого не было: старое „правовѣрное" славянофильство вышло, вмѣстѣ съ таковымъ же западничествомъ, изъ нѣдръ московской кружковой жизни, университетской среды и журналистики, при непремѣнномъ содѣйствіи Гегеля. И въ этомъ отношеніи люди 40-хъ годовъ не находятъ себѣ въ Лаврецкомъ вѣрнаго и типичнаго представителя. Кажется, самъ Тургеневъ почувствовалъ это — и пошелъ на „компромиссъ": онъ заставилъ Лаврецкаго пробыть 3 года въ Москвѣ студентомъ и, кромѣ того, свелъ его съ восторженнымъ, вѣчно-кипящимъ

„идеалистомъ“ Михалевичемъ. Этимъ „компромиссомъ“ значительно ослабляется тотъ „анахронизмъ“, на который я указалъ: Лаврецкій, не участвуя въ кружковой жизни, могъ черезъ Михалевича знакомиться съ идеями и настроеніями, вырабатывавшимися или возникавшими тамъ, какъ могъ узнать кое-что по этой части въ стѣнахъ университета.

Но спрашивается: зачѣмъ было Тургеневу прибѣгать къ этому компромиссу? Онъ могъ бы устранить „анахронизмъ“, вкравшійся въ его трудъ, гораздо проще и лучше другимъ путемъ: стоило только ввести Лаврецкаго-студента въ кружки 30-хъ годовъ и потомъ вывести его оттуда славянофиломъ или, по крайней мѣрѣ, идеалистомъ, склоняющимся къ націонализму и славянофильской идеѣ. — Почему Тургеневъ не сдѣлалъ этого, а, напротивъ, уединилъ, изолировалъ своего героя отъ среды, отъ движенія умовъ и предоставилъ его, такъ сказать, самому себѣ?

Отвѣтомъ на этотъ вопросъ служитъ весь эпизодъ о предкахъ Лаврецкаго, въ особенности о его отцѣ, потомъ — о его воспитаніи и первыхъ сознательныхъ движеніяхъ его мысли еще въ деревнѣ. Обиліе подробностей, тщательная обработка всей этой темы, строгая обдуманность картины, развертывающейся передъ нами въ главахъ VIII — XII, — все это ясно указываетъ на руководящую мысль Тургенена, на задачу, которую онъ поставилъ себѣ.

Эга задача состояла въ томъ, чтобы помощью историческаго экскурса въ XVIII вѣкъ и начало XIX, показать закономѣрность, историческую необходимость появленія у насъ того умонастроенія, которое съ наибольшею яркостью проявлялось у лучшихъ изъ славянофиловъ и сущность котораго сводилась къ естественной и здоровой реакціи противъ уродливостей подражанія западнымъ образцамъ, поверхностнаго перениманія понятій, идей, нравовъ, шедшихъ съ Запада, — безъ толку, безъ критики, безъ самостоятельной работы мысли и почти всегда въ сопровожденіи барскаго пре-

зрѣнія ко всему русскому вообще, къ закрѣпощенному народу въ частности. Эта реакція сказывалась, какъ извѣстно, еще въ XVIII вѣкѣ преимущественно въ формѣ національно-патріотической и часто съ окраскою политическаго консерватизма, потомъ, въ эпоху „Александровскую“, довольно ярко выразилась въ окраскѣ либеральныхъ идей и также—демократическихъ, въ стремленіяхъ и дѣятельности лучшихъ людей времени, напр., у Грибоѣдова, у многихъ изъ декабристовъ. Тургеневъ хотѣлъ въ лицѣ Лаврецкаго вывести новаго представителя этого националистическаго и въ то же время передового и демократическаго направленія, какъ оно развивалось и выражалось въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, но только по возможности отгородивъ его отъ искусственныхъ воздѣйствій философіи, доктрины, юной мечты, юныхъ идеалистическихъ убѣжденій, подогрѣваемыхъ и обостряемыхъ спорами, столкновеніемъ мнѣній, взаимнымъ ожесточеніемъ спорщиковъ. Ему хотѣлось въ указанной національно-демократической реакціи выдѣлить ея здоровое зерно, ея психологически-законную суть, о которой уже нельзя сказать, что она вычитана изъ книгъ и взята изъ Гегеля. И когда онъ рисовалъ Лаврецкаго, ему въ качествѣ „натуры“, очевидно, представлялся не Хомяковъ, спорщикъ и діалектикъ, и даже не Константинъ Аксаковъ, фанатикъ и прямолинейный адептъ „системы“, которую такъ не жаловалъ Тургеневъ, а скорѣе всего Иванъ Аксаковъ, какимъ онъ былъ въ 40-хъ и 50-хъ годахъ. Во всякомъ случаѣ старые московскіе славянофилы 40-хъ годовъ, гегеліанцы, діалектики, систематики, не нашли въ Лаврецкомъ обобщающаго и воспроизводящаго ихъ образа. Въ этотъ образъ совсѣмъ уже ничего не вошло, напр., отъ Погодина или Шевырева. Отъ него не отдаетъ ни кваснымъ патріотизмомъ, ни философіей славянофильства, ни византинизмомъ Хомякова, ни историческимъ романтизмомъ К. Аксакова, ни, наконецъ, правовѣрною религіозностью, свойственною большинству славянофиловъ. Но зато — для своего

героя — поэтъ взялъ у лучшихъ людей стараго славянофильства нѣчто болѣе цѣнное и психологически-важное, нѣчто болѣе „душевное“ — глубокую „гражданскую“ скорбь при видѣ уродствъ русской дѣйствительности, перекраиваемой безъ смысла на чужой образецъ, не всегда хорошій, уваженіе къ народности и любовь къ народу, наконецъ живую потребность найти въ русской жизни хоть что-нибудь самобытное и прогрессивное, на чемъ можно было бы опереться и обосновать дѣятельность, одушевляемую лучшими общечеловѣческими идеалами.

4.

Здѣсь будетъ у мѣста привести нѣкоторыя черты изъ личныхъ отношеній Тургенева къ представителямъ славянофильства, именно тѣ, въ которыхъ сказалось настроеніе поэта въ 50-хъ годахъ.

Тургеневъ сталъ, если можно такъ выразиться, присматриваться къ славянофиламъ еще съ конца 40-хъ годовъ. Съ 1850-го года онъ особенно сближается съ Аксаковыми [1]). Онъ усердно слѣдитъ въ это время за славанофильскими изданіями и ведетъ дѣятельную переписку со старикомъ С. Т. Аксаковымъ и его сыновьями. Сочиненія С. Т. Аксакова („Записки ружейнаго охотника“, потомъ „Семейная хроника“ и др.) возбуждаютъ въ немъ большой интересъ и сочувствіе, и онъ пишетъ для „Современника“ хвалебную рецензію о „Запискахъ ружейнаго охотника“. — Переписка ведется въ дружескомъ, задушевномъ тонѣ. Мѣстами корреспонденты вступаютъ въ полемику, при чемъ оппонентомъ Тургенева является преимущественно Конт. Серг. Аксаковъ, рѣже—Иванъ Серг. Аксаковъ.—Въ письмѣ отъ 4 окт. 1852 г.

---

[1]) „Русск. Обозр.“, 1894, авг. „Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковыхъ къ И. С. Тургеневу“ (1851—1852 гг.) съ поясненіями акад. Л. Н. Майкова, стр. 450.

послѣдній упрекаетъ Тургенева за сохраненіе въ отдѣльномъ изданіи „Записокъ охотника“ фигуры Лобозвонова, — какъ извѣстно, пародіи на Конст. Сергѣевича. — „Вы могли это написать въ 1847 г., но теперь, для краснаго словца, вы пожертвовали истиной...“, пишетъ Иванъ Серг. Аксаковъ, и въ дальнѣйшемъ указываетъ на то, что теперь, въ 1852 г., общее мнѣніе о славянофильствѣ радикально измѣнилось, и самъ Тургеневъ уже иначе относится къ нимъ, не такъ, какъ прежде. Изъ этого же письма видно, что разсказъ „Муму“ былъ предназначенъ для „Сборника“, который хотѣла издать группа московскихъ славянофиловъ. И. С. Аксаковъ уже получилъ рукопись и въ восторгѣ отъ разсказа. Въ дворникѣ Герасимѣ онъ видитъ „олицетвореніе русскаго народа, его страшной силы и непостижимой кротости, его удаленія къ себѣ и въ себя, его молчанія на всѣ запросы его нравственныхъ, честныхъ побужденій“.—Повидимому, и безъ вліянія своихъ славянофильскихъ друзей Тургеневъ принимается за изученіе русской исторіи, о чемъ и извѣщаетъ ихъ въ письмѣ отъ 6-го іюня 1852 г.: „Я эту зиму чрезвычайно много занимался русской исторіей и русскими древностями: прочелъ Сахарова, Терещенку, Снегирева e tutti quanti. Въ особый восторгъ привелъ меня Кирша Даниловъ.—Ваську Буслаева считаю я эпосомъ русскимъ, но къ результатамъ (привело) меня это все далеко не столь отраднымъ, какъ васъ, любезный К. С.[1]),—во всякомъ случаѣ къ другимъ результатамъ“ („Вѣстн. Евр.“, 1894, янв., стр. 334).—Теоретическія разногласія, на которыя мѣстами указываютъ письма, не мѣшали взаимному уваженію и симпатіи. Эти разногласія, повидимому, чувствовались преимущественно тогда, когда славянофильское воззрѣніе предъявлялось Константиномъ Аксаковымъ, наиболѣе рѣзкимъ и прямолинейнымъ представителемъ ученія. По крайней мѣрѣ, возраженія Турге-

[1]) Константинъ Сергѣевичъ.

нева адресуются обыкновенно ему лично. Такъ, въ письмѣ къ С. Т. Аксакову отъ 17 окт. 1852 г. читаемъ: „Къ сему письму приложено отъ меня нѣсколько словъ К—у С—чу насчетъ его замѣчаній, которыя я большею частью признаю справедливыми, хотя въ коренномъ нашемъ воззрѣніи на русскую жизнь, а оттого и на русское искусство, мы расходимся. Онъ это, я думаю, знаетъ; но чего онъ не знаетъ, можетъ быть, вполнѣ, это—та горячая симпатія, которую я чувствую къ его благородной и искренней натурѣ" („Вѣстн. Евр.", 1894, янв., 337).—Любопытно также обращенное къ Конст. Аксакову письмо отъ 16 янв. 1853 г., гдѣ между прочимъ Тургеневъ выражаетъ свое согласіе съ отрицательною оцѣнкою К. Аксаковымъ теоріи „родового быта" Соловьева и Кавелина и говоритъ, что эта теорія ему всегда казалась „чѣмъ-то искусственнымъ, систематическимъ, чѣмъ-то напоминавшимъ наши давно прошедшія гимнастическія упражненія на поприщѣ философіи". — „Всякая система, — продолжаетъ онъ,—въ хорошемъ и дурномъ смыслѣ этого слова—не русская вещь..."—Далѣе онъ указываетъ на свое разногласіе съ К. Аксаковымъ въ выводахъ: „... взглядъ вашъ вѣренъ и ясенъ, но, признаюсь вамъ откровенно, въ выводахъ вашихъ я согласиться не могу: вы рисуете картину вѣрную и, окончивъ ее, восклицаете: какъ все это прекрасно!.. Я никакъ не могу повторить этого восклицанія вслѣдъ за вами" („Вѣстн. Евр.", 1894 г., янв., стр. 340).—Дѣло идетъ объ идеализаціи „общиннаго быта и о противопоставленіи Россіи, искони крѣпкой духомъ „общинности", индивидуалистическому Западу. Ничего хорошаго, какъ извѣстно, Тургеневъ въ общинѣ не видѣлъ. И вотъ здѣсь онъ напоминаетъ А. Аксакову эпизодъ изъ былины о Васькѣ Буслаевѣ и мертвой головѣ. „Мы обращаемся съ Западомъ,—поясняетъ онъ,—какъ Васька Буслаевъ съ мертвой головой—подбрасываемъ его ногой—а сами... Вы помните, Васька Буслаевъ взошелъ на гору, да и сломилъ себѣ на прыжкѣ

шею. Прочтите, пожалуйста, отвѣтъ ему мертвой головы“ [1]) (тамъ же).

Въ 1853 г. (6 марта) Тургеневъ пишетъ С. Т. Аксакову, что видѣлся въ Орлѣ съ П. В. Кирѣевскимъ, и отзывается о немъ такъ: „это человѣкъ хрустальной чистоты и прозрачности, его нельзя не полюбить“ („Вѣстн. Евр.“, 1894, февр., стр. 469).—Въ ноябрѣ того же года заѣхалъ къ Тургеневу въ Спасское Иванъ Серг. Аксаковъ, и поэтъ извѣщаетъ объ этомъ его отца такъ: „Дорогой гость... былъ у меня третьяго дня и просидѣлъ до вечера. Вы можете себѣ представить, какъ я былъ ему радъ и какъ много мы съ нимъ толковали и разговаривали. Это посѣщеніе было для меня истиннымъ праздникомъ“ („Вѣстн. Евр.“, 1894, февр., стр. 480).

Наступившая послѣ Крымской кампаніи новая эпоха оживила и настроеніе, и переписку друзей. Завѣтныя мечты и упованія у нихъ были одни и тѣ же, при всѣхъ теоретическихъ разногласіяхъ. Указаніе на эти послѣднія находимъ еще разъ въ письмѣ Тургенева отъ 25 мая 1856 г., и они относятся и здѣсь спеціально къ Конст. Аксакову. „Семейная хроника“,—пишетъ поэтъ,—вещь положительно эпическая, а съ Константиномъ Серг., я боюсь, мы никогда не сойдемся. Онъ въ „мірѣ“ видитъ какое-то всеобщее лѣкарство, панацею, альфу и омегу русской жизни, а я, признавая его особенность и свойственность—если такъ можно вы-

[1]) Эта ссылка (по другому поводу, но при этомъ—попутно—въ томъ же полемическомъ направленіи) сдѣлана, много лѣтъ спустя, въ «Дымѣ», гл. XXV, гдѣ Потугинъ повѣствуетъ: „Васька хочетъ тоже свое счастіе извѣдать. И попадается ему мертвая голова, человѣчья кость; онъ пихаетъ ее ногой. Ну, и говоритъ ему голова: «Что ты пихаешься? Умѣлъ я жить, умѣю и въ пыли валяться—и тебѣ то же будетъ». И точно: Васька прыгаетъ черезъ камень, и совсѣмъ было перескочилъ, да каблукомъ задѣлъ и голову себѣ сломилъ. И тутъ я кстати долженъ замѣтить, что друзьямъ моимъ славянофиламъ, великимъ охотникамъ пихать ногою всякія мертвыя головы да гнилые народы, не худо бы призадуматься надъ этою былиною».

разиться—Россіи, все-таки вижу въ немъ одну лишь первоначальную, основную почву, но не болѣе какъ почву, форму, на которой строится, а не въ которую выливается государство. Дерево безъ корней быть не можетъ; но К. С., мнѣ кажется, желалъ бы видѣть корни на вѣтвяхъ. Право личности имъ [1]), что ни говори, уничтожается, а я за это право сражаюсь до сихъ поръ и буду сражаться до конца [2]) („Вѣстн. Евр.", 1894, февр. стр. 495).

Въ письмѣ отъ 1 ноября 1856 года (уже изъ Парижа) важно отмѣтить слѣдующія строки: „Что касается до меня, то пребываніе во Франціи произвело на меня обычное свое дѣйствіе: все, что я вижу и слышу, какъ-то тѣснѣе и ближе прижимаетъ меня къ Россіи, все родное становится мнѣ вдвойнѣ дорого..." (тамъ же, 496).

Въ связи съ такимъ настроеніемъ проявлялось у Тургенева въ ту пору и отрицательное отношеніе къ тогдашней (наполеоновской) Франціи, къ Парижу и къ французской литературѣ, объ оскудѣніи и измельчаніи которой онъ въ рѣзкомъ тонѣ говоритъ въ письмѣ отъ 8 янв. 1857 г. (изъ Парижа).—Здѣсь находимъ такія выраженія, какъ: „дребезжащіе звуки Гюго", „хилое хныканіе Ламартина", даже— „болтовня зарапортовавшейся Сандъ"... — „Общій уровень нравственности понижается съ каждымъ днемъ", читаемъ тутъ же, „и жажда золота томитъ всѣхъ и каждаго,—вотъ вамъ Франція!" („Вѣстн. Евр.", 1894, февр., стр. 488).

Все это рисуетъ намъ особое настроеніе Тургенева, такое, которое какъ разъ было подъ-стать для созданія фигуры „славянофила" Лаврецкаго, для воспроизведенія" — въ извѣстныхъ чертахъ — парижской жизни его жены, Вар-

---

[1]) Крестьянскимъ «міромъ», общиною.

[2]) Курсивъ мой.

13*

вары Павловны, для сатирическаго изображенія — въ лицѣ Паншина — поверхностнаго, пошлаго западничества, — вообще для того, чтобы взять надлежащій тонъ и найти строй тѣхъ идей и чувствъ, которыя такъ поэтически, можно сказать—„музыкально“ выражены въ романѣ „Дворянское Гнѣздо“.

5.

Вернемся къ роману и присмотримся ближе къ тому, что представляетъ собою Лаврецкій.

Напрасно будемъ искать у него, да и вообще въ романѣ славянофильской доктрины, своеобразной „философіи исторіи“, разработанной Ив. Кирѣевскимъ, К. Аксаковымъ, Хомяковымъ, ихъ идеалистическаго „византинизма“ и т. д. Взамѣнъ всего этого находимъ ярко выраженное тяготѣніе къ Россіи, „чувство родины“, отвращеніе къ сутолокѣ западно-европейской (парижской) жизни и то настроеніе, которое выше мы отмѣтили у самого Тургенева въ 1856 — 1857 годахъ, т.-е. непосредственно передъ тѣмъ, какъ идея „Дворянскаго Гнѣзда“ и типъ Лаврецкаго стали складываться въ его умѣ.

Въ главахъ XVIII — XX описанъ, съ необыкновеннымъ мастерствомъ въ передачѣ ощущеній и настроенія, пріѣздъ Лаврецкаго въ деревню.

Передъ нами картина русской дореформенной деревни, съ ея патріархальнымъ складомъ... или, вѣрнѣе, деревенской жизни помѣщика-дворянина, барина-идеалиста, который послѣ треволненій и разочарованій столичной и заграничной жизни возвращается, одинокій и грустный, на родное пепелище и ищетъ отрады одиночества въ старинномъ господскомъ домѣ, давно необитаемомъ, въ старомъ, тѣнистомъ саду, давно запущенномъ. Онъ хочетъ отдохнуть душою на лонѣ убаюкивающей деревенской тишины, дремотной и чут-

кой, среди которой такъ хорошо мечтать и перебирать прошлое, подводить итоги своей жизни, строить планъ будущей дѣятельности и, не спѣша, исподволь начинать... хотѣть жить и работать. „И какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой *бездѣйственной*[1]) тиши!“ (глава XX). Благодѣтельная лѣнь мысли, врачующая дремота чувствъ залѣчиваетъ старыя раны. Нѣтъ суеты, некуда спѣшить, не зачѣмъ и не для чего кипѣть и волноваться...

Незыблемы еще устои крѣпостного строя, ихъ, повидимому, нельзя и тронуть, но можно смягчить отношенія, „улучшить бытъ“ крестьянъ, можно снять съ нихъ лишнюю тяготу барщины или оброка, быть для нихъ отцомъ роднымъ, благодѣтелемъ. Въ этомъ смыслѣ здѣсь, среди этой, на видъ остановившейся жизни, можно много добра сдѣлать, — и все останется попрежнему неподвижно. Хорошо здѣсь и мечтать, но эта мечта бездѣйственна; всеобщая неподвижность отрезвляетъ. Застывшая жизнь и дремотная тишь одинаково благопріятны и мечтѣ и „трезвости“. И получается какое-то оздоровляющее и пріятное равновѣсіе духа! — „Вотъ когда я на днѣ рѣки“, думалъ Лаврецкій. „И всегда во всякое время тиха и неспѣшна здѣсь жизнь... Кто входитъ въ ея кругъ — покоряйся: здѣсь не зачѣмъ волноваться, нечего мутить; здѣсь только тому и удача, кто прокладываетъ свою тропинку, не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ...“ (XX). „На женскую любовь ушли мои лучшіе годы“, продолжаетъ думать Лаврецкій, „пусть же отрезвитъ меня здѣсь скука, пусть успокоитъ меня, подготовитъ къ тому, *чтобы и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло*“[2]) (XX). Въ чемъ же будетъ состоять это дѣло? Какія цѣли можно бы поставить себѣ? Какія средства должны быть примѣнены? Все это пока не ясно. Ясно одно: *нужно дѣлать дѣло не спѣша*. Да и куда спѣ-

[1]) Курсивъ мой. [2]) Курсивъ мой.

шить? Зачѣмъ торопиться? Сама жизнь здѣсь никуда не спѣшитъ... Тишина убаюкиваетъ, и, заколдованный ею, Лаврецкій все „прислушивается“ къ ней, „ничего не ожидая и въ то же время какъ будто бы ожидая чего-то...“ (XX). И въ дремотѣ созерцаній, въ ласкающемъ переливѣ грустныхъ мыслей, сонныхъ чувствъ — „скорбь о прошедшемъ таяла въ его душѣ, какъ весенній снѣгъ, — и странное дѣло! — никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины“ [1]).

Въ этомъ „глубокомъ и сильномъ чувствѣ родины“ — вся суть „славянофильства“ Лаврецкаго.

Но какъ ни властна тишина деревни, какъ ни обворожительна прелесть созерцанія и дремоты думъ и чувствъ, — Лаврецкому все-таки не удалось заснуть на этомъ глубокомъ и сильномъ „чувствѣ родины“.

Шумъ ворвался въ его тихое убѣжище — въ лицѣ вѣчнокипящаго, неугомоннаго Михалевича, и Лаврецкому пришлось выдержать всенощный споръ, — „одинъ изъ тѣхъ нескончаемыхъ споровъ, на которые способны только русскіе люди“ (XXV). — И спору этому, при всей его комичности и кажущейся безтолковости, нельзя однако отказать въ нѣкоторомъ смыслѣ и принципіальномъ значеніи. Можно даже сказать, что онъ разбудилъ Лаврецкаго отъ затягивавшей его спячки. Михалевичъ напалъ на главную душевную „позицію противника“. Онъ представилъ въ преувеличенномъ видѣ ту дремоту душевныхъ силъ, въ которую втягивался Лаврецкій, и выругалъ его байбакомъ, лѣнтяемъ, скептикомъ, даже вольтеріанцемъ. „И когда же, гдѣ же вздумали люди обайбачиться? — кричалъ онъ подъ конецъ спора, въ 4 часа утра, — у насъ! теперь! въ Россіи! когда на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая предъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собою! Мы

---

[1]) Курсивъ мой.

снимъ, а время уходитъ...“ [1]) (XXV).—И что же? Проводивъ пріятеля, Лаврецкій подумалъ: „А вѣдь онъ, пожалуй, правъ... пожалуй, что я байбакъ“.—„Многія изъ словъ Михалевича,—добавляетъ Тургеневъ,—*неотразимо вошли ему въ душу* [2]), хотя онъ и спорилъ и не соглашался съ нимъ“ (XXV).

„Глубокое и сильное чувство родины, которое Тургеневъ самъ испыталъ въ 1856—1857 годахъ, проживая въ Парижѣ, а потомъ изобразилъ въ XX главѣ „Дворянскаго гнѣзда“, очевидно, по наблюденію поэта, заключаетъ въ своемъ психологическомъ составѣ нѣчто лѣниво-сонное, нѣчто убаюкивающее. Многое зависитъ тутъ, конечно, отъ свойствъ самой родины. Если она представляетъ собою громадное, неподвижное цѣлое, застывшее въ исторически-сложившихся формахъ, какимъ была дореформенная Россія, то, разумѣется, этотъ усыпляющій элементъ „чувства родины“ получаетъ особливую силу. И оно становится чувствомъ „бездѣйственнымъ“, какъ та деревенская „тишь“. Оно сковываетъ волю человѣка и, подавляя въ немъ гражданина и дѣятеля, нечувствительно, шагъ за шагомъ, ведетъ его къ „примиренію съ дѣйствительностью“.

Вотъ именно на этомъ-то опасномъ пути и находился Лаврецкій. Вѣроятно, онъ самъ раньше или позже сумѣлъ бы свернуть съ него въ другую сторону. Но Михалевичъ ускорилъ дѣло, указавъ ему на опасность опуститься, „примириться“, „обайбачиться“.

6.

Единственное мѣсто, гдѣ авторъ нѣсколько опредѣлительнѣе вводитъ насъ въ кругъ *идей* (а не только на-

---

[1]) Это также отзывается второй половиной 50-хъ гг., эпохой пробужденія и «новыхъ вѣяній».

[2]) Курсивъ мой.

строенія) Лаврецкаго, это—то, гдѣ описанъ его споръ съ Паншинымъ (гл. XXXIII).

Паншинъ высказываетъ шаблонныя западническія мысли, ставшія „общимъ мѣстомъ“, въ родѣ того, что мы „только наполовину сдѣлались европейцами“, что „Россія отстала отъ Европы“ и „нужно подогнать ее“,—„мы поневолѣ должны заимствовать у другихъ“ и т. д. „Всѣ народы, — заявляетъ онъ,—въ сущности одинаковы; вводите только хорошія учрежденія, и дѣло съ концомъ. Пожалуй, можно приноравливаться къ существующему народному быту; это наше дѣло, дѣло людей... (онъ чуть не сказалъ: государственныхъ) служащихъ; учрежденія передѣлаютъ самый этотъ бытъ“.—Лаврецкій сталъ возражать и „покойно разбилъ Паншина на всѣхъ пунктахъ“. А именно: „онъ доказалъ ему невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе, требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею [1]), того смиренія, безъ котораго и смѣлость противу лжи невозможна; не отклонился, наконецъ, отъ заслуженнаго, по его мнѣнію, упрека въ легкомысленной растратѣ времени и силъ“ (XXXIII).

На вопросъ Паншина: „что же вы намѣрены дѣлать въ Россіи?“—онъ отвѣчаетъ: „Пахать землю и стараться какъ можно лучше ее пахать“.—Но мы понимаемъ, что этою сельскохозяйственною стороною его дѣятельность не ограничится.

Въ „Эпилогѣ“ мы узнаемъ, что онъ добросовѣстно выполнилъ свою „программу“: „онъ сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; онъ, насколько

[1]) Курсивъ мой.

могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ своихъ крестьянъ" [1]).

А что касается западника Паншина, то онъ, устроившись въ Петербургѣ, сдѣлался зауряднымъ чиновникомъ-карьеристомъ и „мѣтитъ уже въ директоры".

Итакъ, „славянофилъ" Лаврецкій—человѣкъ земли, дѣятель, можетъ быть, и не блещущій особливой энергіей и инициативой, но во всякомъ случаѣ одушевленный положительнымъ идеаломъ, любовью къ родинѣ и народу, трудящійся—въ духѣ своихъ убѣжденій—на „нивѣ народной".— Напротивъ, западникъ Паншинъ — пустой фразеръ, чиновникъ - карьеристъ, человѣкъ безъ настоящихъ убѣжденій...

Къ 40-мъ годамъ это не подходитъ, но „такъ складывалась жизнь" въ 50-хъ.

7.

Постараемся теперь уяснить себѣ, какое мѣсто принадлежитъ Лаврецкому въ разсмотрѣнной нами серіи общественно - психологическихъ типовъ, открывающейся Онѣгинымъ.

Не трудно видѣть, что сравнительно съ Онѣгинымъ, Печоринымъ и Рудинымъ Лаврецкій представляется наименѣе „лишнимъ человѣкомъ", наименѣе „неудачникомъ".

Неудачникъ онъ только въ личной жизни. Какъ величина общественная, какъ дѣятель, онъ не можетъ быть причисленъ къ этому сорту людей — безъ дѣла, безъ осуществленнаго призванія, безъ „общественной стоимости", людей, томящихся въ пустотѣ безцѣльной неудавшейся жизни. — Если это такъ, то нельзя назвать его и „лишнимъ человѣкомъ" въ собственномъ смыслѣ.

---

[1]) Курсивъ мой.

Но есть и другая сторона медали.

Дѣло, которое дѣлаетъ Лаврецкій, составляетъ только минимумъ того, что нужно было, да и — пожалуй — можно было бы сдѣлать въ то время, принимая во вниманіе большія средства, которыми располагалъ Лаврецкій, его положеніе богатаго дворянина-помѣщика, наконецъ его личныя качества и силы. И въ самомъ дѣлѣ: этотъ богатый, родовитый, независимый, умный, образованный, полный силъ человѣкъ, ясно сознающій свою задачу, выработавшій себѣ простую и сравнительно удобоисполнимую программу жизни и дѣятельности, вѣдь могъ бы повести дѣло шире, захватить глубже, не ограничиваясь „паханіемъ“ да „улучшеніемъ быта крестьянъ“. Правда, время было глухое, и о крѣпостномъ правѣ было запрещено писать; но отпускать крестьянъ на волю и обезпечивать надѣломъ не запрещалось. Вспомнимъ привилегированное положеніе въ то время и „вѣсъ“ богатыхъ дворянъ-помѣщиковъ въ провинціи: пользуясь этимъ положеніемъ и вѣсомъ, мыслящее барство той эпохи могло бы много сдѣлать для подготовки будущей эмансипаціи. Но оно оказалось въ этомъ отношеніи и неумѣлымъ, и медлительнымъ... Лаврецкій хоть что-нибудь сдѣлалъ... Но и онъ подлежитъ упреку въ барской медлительности, въ недостаткѣ иниціативы, въ неумѣніи придать своей программѣ должную широту. Мы не назовемъ его „байбакомъ“, какъ назвалъ его Михалевичъ. Но „бариномъ“ — назовемъ...

Это „барство“ было основано на психологическомъ укладѣ натуры не одного Лаврецкаго, но всего общественнаго класса, къ которому онъ принадлежалъ. Обратимъ вниманіе на общую медлительность, неповоротливость всѣхъ душевныхъ процессовъ въ немъ. Чтобы выйти на дорогу и взяться, какъ слѣдуетъ, за дѣло, ему понадобилось восемь лѣтъ (послѣ постриженія Лизы). „Въ теченіе этихъ 8 лѣтъ (читаемъ въ „Эпилогѣ“) совершился, наконецъ, пере-

ломъ въ его жизни [1]), тотъ переломъ, котораго многіе не испытываютъ, но безъ котораго нельзя остаться порядочнымъ человѣкомъ до конца: онъ дѣйствительно пересталъ думать о собственномъ счастьѣ, о своекорыстныхъ цѣляхъ"... Лучшее время жизни и большую часть своихъ незаурядныхъ силъ Лаврецкій потратилъ на погоню за личнымъ счастьемъ, и только когда оно оказалось недостижимымъ, онъ, измученный душевно, затаивъ глубокую скорбь, принялся за дѣло — почти какъ за средство забыться, скрасить жизнь. Далеко не безплодна его работа, и его жизнь, несомнѣнно, получила и смыслъ, и общественное значеніе... Но, при всемъ томъ, мы хорошо понимаемъ и возможность и глубокій смыслъ, и всю скорбь тѣхъ думъ, которымъ онъ предается (въ „Эпилогѣ"), обращаясь мысленно къ беззаботному, шумному поколѣнію, водворившемуся въ домѣ Калитиныхъ: „Играйте, веселитесь, растите молодыя силы! Жизнь у васъ впереди... вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать дорогу, бороться, падать... Мы хлопотали о томъ какъ бы уцѣлѣть... [1]), а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать... А мнѣ... остается отдать вамъ послѣдній поклонъ — и... сказать, въ виду конца, въ виду ожидающаго Бога: здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!.."

Было что-то особо-трагическое въ положеніи людей 40-хъ годовъ, что дѣлало даже лучшихъ и наиболѣе дѣятельныхъ изъ нихъ въ своемъ родѣ „лишними", что мѣшало имъ развернуть всѣ свои силы, осуществить въ полной мѣрѣ свою „общественную стоимость".

Это „трагическое" въ ихъ положеніи, въ ихъ психологіи заслуживаетъ ближайшаго разсмотрѣнія.

До сихъ поръ, у рощая задачу, мы говорили о „людяхъ 40-хъ годовъ" такъ, какъ будто въ ту эпоху ничего не было

---

[1]) Курсивъ мой.

у насъ, кромѣ дореформенныхъ порядковъ и той умственной культуры, которую представляли они, эти люди, на разныхъ поприщахъ возможной тогда дѣятельности, — въ литературѣ, въ наукѣ, на университетской каѳедрѣ, въ деревнѣ, на службѣ... Но была еще одна „сила“, — великая и творческая. И если подойти къ эпохѣ и лучшимъ людямъ ея со стороны того, что сотворила и выстрадала эта сила, то многое, иначе темное, прояснится и опредѣлится. Имя этой силы — Гоголь.

ГЛАВА VIII.

„Люди 40-хъ годовъ“ и Гоголь.

1.

Въ настоящее время трудно представить себѣ то огромное значеніе, какое имѣлъ въ 40-е годы Гоголь (преимущественно, какъ авторъ „Мертвыхъ душъ“) для передовыхъ людей обѣихъ партій, западнической и славянофильской. Ни Рудиныхъ, ни Лаврецкихъ нельзя понять безъ Гоголя, примѣрно такъ, какъ нельзя понять Чацкихъ безъ Грибоѣдова, а передовыхъ людей 60-хъ и 70-хъ годовъ безъ сатиры Салтыкова.

Въ извѣстномъ некрологѣ Гоголя (въ „Моск. Вѣд.“ отъ 13 марта 1852 г.) Тургеневъ писалъ: „Гоголь умеръ! Какую русскую душу не потрясутъ эти два слова? — Онъ умеръ. Потеря наша такъ жестока, такъ внезапна, что намъ все еще не хочется ей вѣрить. Въ то самое время, когда мы всѣ могли надѣяться, что онъ нарушитъ, наконецъ, свое долгое молчаніе, что онъ обрадуетъ, превзойдетъ наши нетерпѣливыя ожиданія,— пришла эта роковая вѣсть! Да, онъ умеръ, этотъ человѣкъ, котораго мы теперь имѣемъ право, горькое право, данное намъ смертью, назвать великимъ; человѣкъ, который своимъ именемъ означилъ эпоху въ исторіи русской литературы; человѣкъ, которымъ мы гордимся, какъ одной изъ славъ нашихъ“...

Чувство, вылившееся въ этихъ словахъ, раздѣлялось всѣми лучшими людьми эпохи. Въ некрологѣ, за который, какъ извѣстно, авторъ „Записокъ охотника“ поплатился гауптвахтой и ссылкой въ деревню, сказался прежде всего человѣкъ 40-хъ годовъ, оплакивающій потерю могучаго властителя думъ того времени. Таковымъ и былъ Гоголь, несмотря на мистицизмъ, на отсталость нѣкоторыхъ взглядовъ, на отчужденность его отъ передовыхъ идей и вѣяній эпохи, на „Переписку съ друзьями“ и уничтожающее письмо Бѣлинскаго.

Въ 40-хъ годахъ на великаго художника-сатирика были устремлены „полныя ожиданія очи“ мыслящихъ людей безъ различія „партіи“ и направленій. Появленіе въ 1842 году „Мертвыхъ душъ“ было цѣлымъ событіемъ. „Великая поэма“ сулила, кромѣ великихъ умственныхъ наслажденій, какія-то новыя откровенія —она должна была повѣдать важную, хотя и горькую, правду о Руси, о русскомъ человѣкѣ, о русской жизни. И вотъ что записалъ Герценъ въ свой „Дневникъ“ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ только что прочитанной „Одиссеи“ Павла Ивановича Чичикова: „...Мертвыя души“ Гоголя —удивительная книга, горькій упрекъ современной Руси но не безнадежный. Тамъ, гдѣ взглядъ можетъ проникнуть сквозь туманъ нечистыхъ, навозныхъ испареній, тамъ онъ видитъ удалую, полную силы національность. Портреты его удивительно хороши, жизнь сохранена во всей полнотѣ; не типы отвлеченные, а добрые люди, которыхъ каждый изъ насъ видѣлъ сто разъ. Грустно въ мірѣ Чичикова такъ, какъ грустно намъ въ самомъ дѣлѣ; и тамъ, и тутъ одно утѣшеніе въ вѣрѣ и упованіи на будущее. Но вѣру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упованіе ins Blaue, а имѣетъ реалистическую основу, кровь какъ-то хорошо обращается у русскаго въ груди... (подъ 11 іюня 1842 г.).

Какъ видно изъ этихъ строкъ, „поэма“ произвела въ концѣ

концовъ бодрящее впечатлѣніе. Герценъ сразу уловилъ поэтическую идею Гоголя: дѣйствительности, изображенной въ чертахъ рѣзко-отрицательныхъ, пошлой жизни, нравственной и умственной темнотѣ противопоставлена „удаль“ русскаго человѣка, широкій размахъ „широкой русской натуры“. Эти черты Герценъ наблюдалъ и самъ и любилъ останавливаться на созерцаніи ихъ, на размышленіи о нихъ. Онъ видѣлъ здѣсь нѣкоторый залогъ лучшаго будущаго: натура у русскаго человѣка, въ особенности у народа, крѣпка, здорова, свѣжа; много силъ припасено и лежитъ подъ спудомъ; современемъ эти силы такъ или иначе обнаружатся, и дѣйствительность, съ которою такъ трудно было примириться лучшимъ людямъ дореформенной эпохи (Герценъ никогда съ нею не мирился), отоійдетъ въ прошлое, исчезнетъ, какъ сонъ... Но тяжелъ и ужасенъ этотъ долгій историческій сонъ... Вдохновленный поэзіей „Мертвыхъ душъ“, Герценъ продолжаетъ размышлять на тему о здоровой сущности и душевномъ размахѣ русскаго человѣка: „Я часто смотрю изъ окна на бурлаковъ, особенно въ праздничный день, когда, подгулявши, съ бубнами и пѣньемъ они ѣдутъ на лодкѣ,—крикъ, свистъ, шумъ. Нѣмцу во снѣ не пригрезится такого гулянія; и потомъ въ бурю—какая дерзость, смѣлость, летитъ себѣ...“ Но тутъ же онъ сознается, что „все это ни одной іотой не уменьшаетъ горечь жизни...“ Эта горечь обусловливается прежде всего одиночествомъ мыслящаго человѣка на Руси: съ міромъ Чичиковыхъ у него нѣтъ ничего общаго, а народъ „не довѣряетъ“ ему. Герценъ говоритъ, что самъ испытываетъ это недовѣріе очень часто (тамъ же).

Любопытна также запись подъ 29 іюля того же года по поводу толковъ и споровъ о „Мертвыхъ душахъ“. Славянофилы увидѣли въ поэмѣ „апотеозу Руси“, „нашу Илліаду“,—говоритъ Герценъ.—Какъ извѣстно, это утвержалъ Конст. Аксаковъ,—къ великому огорченію Гоголя. Но, однако, не

всѣ славянофилы такъ смотрѣли: были и такіе, которые увидѣли въ поэмѣ „анаѳему Руси“ и ополчились на Гоголя. Приблизительно такъ же раздѣлились и западники („антиславянисты“). Такимъ образомъ, появленіе „Мертвыхъ душъ“ произвело расколъ въ обѣихъ партіяхъ. Герценъ держится особаго взгляда,—въ общемъ того самаго, который проводилъ Бѣлинскій. Онъ заноситъ въ „Дневникъ“: „Видѣть апотеозу смѣшно, видѣть одну анаѳему несправедливо. Есть слова примиренія, есть предчувствія и надежды будущаго полнаго и торжественнаго, но это не мѣшаетъ настоящему отражаться во всей отвратительной дѣйствительности...“ (тамъ же). Герценъ замѣтилъ и оцѣнилъ чередованіе у Гоголя сатиры и лирики: „...съ каждымъ шагомъ вязнете, тонете глубже, лирическое мѣсто вдругъ оживитъ, освѣтитъ и сейчасъ замѣняется опять картиной, напоминающей еще яснѣе, въ какомъ рвѣ ада находимся... „Мертвыя души“—поэма глубоко выстраданная[1]). Мертвыя души? Это заглавіе само носитъ въ себѣ что-то наводящее ужасъ. И иначе онъ не могъ назвать, не ревизскія — мертвыя души, а всѣ эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti—вотъ мертвыя души, и мы ихъ встрѣчаемъ на каждомъ шагу...“ (тамъ же).

Великое произведеніе геніальнаго художника, столь далекаго отъ круга идей и отъ настроенія Герцена, однако удивительно гармонировало съ этими идеями и настроеніемъ. Оно затрогивало глубокія струны его души. И вотъ какія строки занесъ онъ въ свой „Дневникъ“ 10-го апрѣля 1843 года: „Сегодня я читалъ какую-то статью о „Мертвыхъ душахъ“ въ „Отеч. Зап.“, тамъ приложены отрывки. Между прочимъ—русскій пейзажъ (зимняя и лѣтняя дорога); перечитываніе этихъ строкъ задушило меня какой-то безвыходной грустью, эта степь-Русь такъ живо представилась мнѣ, современный вопросъ такъ болѣзненно по-

---

[1]) Курсивъ мой.

вторялся, что я готовъ былъ рыдать [1]). Дологъ сонъ, тяжелъ. За что мы такъ рано проснулись —спать бы себѣ, какъ все около...“

Художественное творчество Гоголя, воплощавшее въ яркихъ, законченныхъ типахъ все отрицательное, все темное, пошлое и нравственно-убогое, чѣмъ такъ богата была дореформенная Россія, было для людей 40-хъ годовъ неоскудѣвающимъ источникомъ умственныхъ и нравственныхъ возбужденій. Темные Гоголевскіе типы, всѣ эти Собакевичи, Маниловы, Ноздревы, Чичиковы, явились для нихъ источникомъ свѣта, ибо они умѣли извлечь изъ этихъ образовъ скрытую мысль поэта, его поэтическую и человѣческую скорбь; его „незримыя, невѣдомыя міру слезы“, превращенныя въ „видимый смѣхъ“, были имъ и видны, и понятны. Великая скорбь художника шла отъ сердца къ сердцу...

Такое магическое дѣйствіе „поэмы“ испыталъ на себѣ еще Пушкинъ, когда, слушая чтеніе черновыхъ набросковъ „Мертвыхъ душъ“ изъ устъ автора, онъ произнесъ „голосомъ тоски“: „Боже, какъ грустна наша Россія!“ Къ этому-то восклицанію или тому душевному движенію, выраженіемъ котораго оно было, и сводятся въ концѣ концовъ разнообразныя мысли, чувства, настроенія, вызывавшіяся въ лучшихъ людяхъ эпохи геніальнымъ твореніемъ Гоголя. „Боже! Какъ грустна наша Россія, и какъ глубоко-трагично и безотрадно положеніе въ ней людей мыслящихъ, человѣчно-чувствующихъ, просвѣщенныхъ!“—такова распространенная формула, подъ которую можно подвести все то, что переживали лучшіе люди 40-хъ годовъ, читая и перечитывая похожденія Павла Ивановича Чичикова. Скорбная мысль о Руси, казалось застывшей въ типѣ крѣпостного и всякаго иного безправія, скорбная мысль о себѣ самихъ, которымъ міръ Чичиковыхъ такъ національно близокъ и такъ нрав-

[1]) Курсивъ мой.

ственно-чуждъ,— вотъ естественныя, раціональныя отправныя точки личнаго, общественнаго и національнаго самосознанія, установленію которыхъ великій поэтъ-сатирикъ способствовалъ могущественнѣе не только философіи Гегеля и другихъ просвѣтительныхъ вліяній, но даже поэзіи Пушкина. И мы вполнѣ признаемъ справедливость свидѣтельства Анненкова, который говорилъ о Бѣлинскомъ, что въ то время (послѣ появленія „Мертвыхъ душъ") всевозможные литературные вопросы и „яркая полемика" по ихъ поводу „не могли заслонить ни на минуту передъ Бѣлинскимъ чисто-русскаго вопроса, который тогда цѣликомъ сосредоточивался у него на одномъ имени Гоголя и на его романѣ „Мертвыя души"[1]) („Воспом. и крит. очерки", III, стр. 103). „Онъ не уставалъ (читаемъ далѣе) указывать... почему являются на Руси типы такого безобразія, какіе выведены въ поэмѣ; почему могутъ совершаться на Руси такія невѣроятныя событія, какъ въ ней разсказаны; почему могутъ существовать на Руси, не приводя никого въ ужасъ, такія рѣчи, мнѣнія, взгляды, какіе переданы въ ней.—Бѣлинскій думалъ, что добросовѣстный отвѣтъ на вопросъ можетъ сдѣлаться для человѣка, добывшаго его, программой дѣятельности на остальную жизнь и особенно положить прочную основу для его образа мыслей и для правильнаго сужденія о себѣ и другихъ"[1]) (тамъ же).

Чтобы дать все это лучшимъ умамъ эпохи, нужно было быть Гоголемъ съ его глубокою натурой плачущаго сатирика и съ его великимъ геніемъ художника. Чтобы получить все это отъ Гоголя, нужно было быть Бѣлинскимъ, Герценомъ, Грановскимъ и т. д. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что Гоголь творилъ для немногихъ, для из-

---

[1]) Курсивъ мой.

бранныхъ, и что только эти избранники умѣли брать у него все, что онъ давалъ.

И мы понимаемъ, становясь на эту точку зрѣнія, глубокій смыслъ и всю правду страстныхъ словъ Бѣлинскаго въ его позднѣйшемъ знаменитомъ письмѣ къ Гоголю: „Да, я любилъ васъ со всею страстью, какъ человѣкъ, кровью связанный со своею страною, можетъ любить ея надежду, честь и славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса...“

Если вспомнимъ теперь, какъ высоко цѣнился геній Гоголя передовыми славянофилами, какимъ почетомъ, какою любовью, почти обожаніемъ былъ окруженъ творецъ „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“ въ семьѣ Аксаковыхъ, то мы получимъ достаточно яркое представленіе о великомъ значеніи „комическаго писателя“ для мыслящей и передовой части русскаго общества въ 40-хъ годахъ. Онъ былъ для этой части настоящимъ и полноправымъ „властителемъ думъ“.

2.

Въ интересахъ разъясненія этого обаянія Гоголя, этой власти его надъ умами и сердцами лучшихъ людей эпохи я позволю себѣ высказать нѣсколько соображеній, которыя, можетъ быть, окажутся нелишними.

Художественному генію Гоголя, его огромной творческой работѣ, создавшей широкіе національные типы, яркія картины, богатый запасъ художественныхъ идей и обобщеній принадлежитъ, разумѣется, первое мѣсто въ этомъ процессѣ „магическаго“ воздѣйствія поэта на общество или извѣстную часть его. Но все-таки, какъ ни велико художественное достоинство произведеній Гоголя, имъ однимъ нельзя объяснить всего обаянія и всей его власти надъ умами.

Теперь, когда опубликована его обширная переписка, когда, благодаря трудамъ Тихонравова, Шенрока и другихъ, мы имѣемъ возможность глубже взглянуть во внутренній міръ и въ самый процессъ творчества этогого необыкновеннаго человѣка,— выясняются нѣкоторыя интимныя психологическія связи, которыми творецъ „Мертвыхъ душъ“ былъ связанъ съ эпохою 40-хъ годовъ, съ завѣтными думами, стремленіями и великою скорбью лучшихъ людей ея. Я постараюсь отмѣтить здѣсь важнѣйшія изъ этихъ связей.

Лучшій матеріалъ для этого даетъ та—психологическая, интимная — исторія эпохи, съ которою мы знакомимся по письмамъ, дневникамъ, воспоминаніямъ ея дѣятелей. Надъ чѣмъ задумывались они, какія чувства ихъ волновали, какія настроенія были у нихъ преобладающими и наиболѣе устойчивыми — вотъ вопросы, на которые матеріалъ писемъ, дневниковъ и т. д. даетъ опредѣленные и обстоятельные отвѣты. Разумѣется, мы имѣемъ въ виду лучшихъ людей, жившихъ сознательною жизнью и доработавшихся до извѣстной высоты гуманнаго развитія. Въ ихъ ряду мы найдемъ весьма различные умы, натуры, дарованія, но, при всѣхъ различіяхъ, они объединяются въ одну группу тѣмъ отличительнымъ признакомъ, что они переживали мыслью и чувствомъ рядъ особыхъ, характерныхъ для эпохи душевныхъ состояній, болѣе или менѣе скорбныхъ или тягостныхъ. Это были нравственныя страданія человѣческой личности, угнетаемой общею пошлостью и попираемой всеобщимъ безправіемъ. Глубокая гражданская скорбь и острое чувство негодованія звучатъ не только въ страстныхъ тирадахъ писемъ Бѣлинскаго, въ „Дневникѣ“ и позднѣйшихъ воспоминаніяхъ („Былое и думы“) Герцена, но, напр., и въ извѣстномъ „Дневникѣ“ Никитенко.

Эти стоны, эти жалобы, это благородное негодованіе образуютъ цѣнное душевное достояніе, завѣщанное людьми 40-хъ годовъ послѣдующимъ поколѣніямъ. Нелишнимъ бу-

деть освѣжить въ памяти нѣкоторыя мѣста, хотя они и достаточно извѣстны.

Никитенко писалъ: „Печальное зрѣлище представляетъ наше современное общество! Въ немъ ни великодушныхъ стремленій, ни правосудія, ни простоты, ни чести въ нравахъ, словомъ—ничего, свидѣтельствующаго о здравомъ, естественномъ и энергичномъ развитіи нравственныхъ силъ... Общественный развратъ такъ великъ, что понятія о чести, о справедливости считаются или слабодушіемъ, или признакомъ романической восторженности... Образованность наша—одно лицемѣріе... Зачѣмъ заботиться о пріобрѣтеніи познаній, когда наша жизнь и общество въ противоборствѣ со всѣми великими идеями и истинами, когда всякое покушеніе осуществить какую-нибудь мысль о справедливости, о добрѣ, о пользѣ общей клеймится и преслѣдуется, какъ преступленіе? Къ чему воспитывать въ себѣ благородныя стремленія?..“ (подъ 15 янв. 1841 г.). „Я долженъ преподавать русскую литературу, — а гдѣ она? Развѣ литература у насъ пользуется правами гражданства?.. Я, какъ ребенокъ, какъ дуракъ, играю въ мечты и призраки! О, кровью сердца написалъ бы я исторію моей внутренней жизни! Проклятое время, гдѣ существуетъ выдуманная, оффиціальная необходимость моральной дѣятельности, безъ дѣйствительной въ ней нужды — гдѣ общесто возлагаетъ на насъ обязанности, которыя само презираетъ...“ (подъ 28 окт. 1841 г.). По поводу указа объ увеличеніи налога на заграничные паспорта (100 руб. сер. за полгода): „Вслѣдствіе положеннаго на нее запрета Европа становится какою-то обѣтованною землей. Но вѣдь нельзя же, чтобы идеи изъ нея не проникли къ намъ... Вездѣ насилія и насилія, стѣсненія и ограниченія — нигдѣ простора бѣдному русскому духу. Когда же и гдѣ этому конецъ?“ (подъ 19 марта 1844 г.) [1]). „Чудная эта зе-

[1]) На эту мѣру откликнулся и Герценъ въ своемъ „Дневникѣ“ подъ 30 марта того же 1844 года: „Никто ранѣе 25 лѣтъ не можетъ ѣхать за

мля Россія! Полтораста лѣтъ прикидывались мы стремящимися къ образованію. Оказывается, что это было притворство и фальшь: мы улепетываемъ назадъ быстрѣе, чѣмъ когда-либо шли впередъ. Дивная, чудная земля!“ (подъ 1 дек. 1848 г.).

Порядокъ мыслей и чувствъ, характеризуемый этими выдержками, проходитъ черезъ всю дореформенную часть дневника Никитенко, окрашивая ее опредѣленнымъ настроеніемъ, во многомъ совпадающимъ съ тѣмъ, которымъ проникнутъ дневникъ Герцена.

Я уже цитировалъ (въ гл. VI) то мѣсто изъ этого „Дневника“, которое начинается словами: „Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе люди весь ужасъ, всю трагическую сторону нашего существованія?..“ Приведу здѣсь окончаніе тирады: „Была ли такая эпоха для какой-либо страны? Римъ въ послѣдніе вѣка существованія, — да и то нѣтъ. Тамъ были святыя воспоминанія, было прошедшее, наконецъ, оскорбленный состояніемъ родины могъ успокоиться на лонѣ юной религіи, являвшейся во всей чистотѣ и поэзіи. Насъ убиваетъ пустота и безпорядокъ въ прошедшемъ, какъ въ настоящемъ — отсутствіе всякихъ общихъ интересовъ...“ (подъ 11 сент. 1842 г.).

Подъ 10 сент. того же года: „Когда безъ всякаго внѣшняго побужденія, безъ всякой причины со дна души поднимается какая-то давящая грусть, которая растетъ, растетъ, и вдругъ дѣлается нѣмая, жестокая боль, и такъ станетъ ясно все дурное, трагическое нашей жизни, — готовъ бы умереть, кажется. Суета послѣдняго времени заглушала этотъ голосъ... Лишь только стало спокойнѣе и лучше, вѣчный голосъ скорби, вопль негодованія, вопль духа, рвущагося къ формѣ жизни пол-

границу, пошлины 700 руб. въ годъ...“ и т. д. „Всѣ эти оскорбительныя, исполненныя презрѣнія всѣхъ правъ мѣры возрастаютъ... и вѣроятно долго продлятся. Какія плечи надобно имѣть, чтобы не сломиться...“

ной, человѣческой, свободной, снова раздался...“ [1]) Подъ 25 сент. 1843 г.: „Грустно, тяжело, — грустно, страшное время и ничего впереди. Конечно, пройдутъ вѣка... стара пѣсня, разумѣется такъ, но видѣть около, возлѣ, и всю жизнь быть только страдательнымъ зрителемъ... Какую грудь, какія плечи надобно имѣть!“

Послѣдняя запись „Дневника“ (подъ 29 окт. 1845 г.) начинается такъ: „И на послѣднемъ листѣ повторится то же, что было сказано на первомъ. Страшная эпоха для Россіи, въ которой мы живемъ, и не видать никакого выхода...“

У Бѣлинскаго этотъ порядокъ чувствъ и настроеній переходилъ, какъ извѣстно, въ настоящій вопль измученной и возмущенной души. Вспомнимъ: „Мочи нѣтъ, куда ни взглянешь — душа возмущается, чувства оскорбляются... Вотъ уже нашъ кружокъ и разсыпался, и еще больше разсыплется, а куда преклонить голову, гдѣ сочувствіе, гдѣ пониманіе, гдѣ человѣчность?.. Мы живемъ въ страшное время, судьба налагаетъ на насъ схиму, мы должны страдать, чтобы нашимъ внукамъ было лучше жить...“ (изъ письма къ Боткину отъ 14 марта 1840 г., — уже было цитировано въ гл. III). То и дѣло встрѣчаются въ перепискѣ Бѣлинскаго характерныя выраженія: „гнусная россійская дѣйствительность“, „россійская дѣйствительность ужасно гнететъ меня“ (письмо отъ 16 апр. 1840 г.) и т. д. Въ письмѣ отъ 13 іюля того же года онъ говоритъ: „...На насъ обрушилось безалаберное состояніе общества, въ насъ отразился одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ моментовъ общества, силою отторгнутаго отъ своей непосредственности и принужденнаго тернистымъ путемъ итти къ пріобрѣтенію разумной непосредственности, къ *очеловѣченію*. Положеніе истинно трагическое!.. Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинные посредственности, а все благо-

[1]) Курсивъ мой.

родное и даровитое лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... Отчего же европеецъ въ страданіи бросается въ общественную дѣятельность и находитъ въ ней выходъ изъ самаго страданія?..“ Въ томъ же письмѣ находится и характерное выраженіе: „Любовь моя къ родному, къ русскому стала грустнѣе: это уже не прекраснодушный энтузіазмъ, но страдальческое чувство. Все субстанціальное въ нашемъ народѣ велико, необъятно, но опредѣленіе гнусно, грязно, подло“. Подъ этою гегельянскою терминологіей („субстанціональное“ — сущность, основныя, постоянныя черты; „опредѣленіе“ — временная, историческая форма выраженія сущности, какъ она обнаруживается въ индивидуумахъ, въ отдѣльныхъ классахъ и т. д.) скрывалась та самая идея, которую такъ геніально выразилъ Гоголь въ художественныхъ типахъ и картинахъ „Мертвыхъ душъ“.

3.

Не умножая цитатъ этого рода, которыхъ можно было бы привести еще не мало, скажу только, что всѣ эти выраженія недовольства, неудовлетворенности, негодованія и чувства отчужденности отъ широкой общественной среды должны быть разсматриваемы, какъ новый въ то время и важный фактъ въ исторіи умственнаго и нравственнаго развитія нашего общества. Чувствамъ, съ которыми мы имѣемъ здѣсь дѣло, нельзя отказать въ высокомъ подъемѣ и достоинствѣ, и они громко свидѣтельствуютъ о томъ, какъ быстро шло тогда развитіе личности, хотя оно и не захватывало широкой среды. Оно было въ высокой степени интенсивно, но вмѣстѣ съ тѣмъ было недостаточно экстенсивно. Хорошо мыслили и благородно чувствовали, скорбѣли и негодовали немногіе, но зато эти немногіе создали большія цѣнности мысли и чувства. Эти „цѣнности“ образовали большую пси-

хическую силу, которой, чтобы она дѣйствовала правильно и не становилась для ея обладателей бременемъ неудобоносимымъ, необходимъ былъ откликъ, исходъ и точка приложенія къ жизни. Душевныя настроенія этого порядка и имъ соотвѣтствующая работа мысли требуютъ, съ особливою настойчивостью, выраженія и раздѣленія. Оттуда, между прочимъ, образованіе кружковъ и обиліе интимной переписки и устныхъ изліяній. Оттуда также — живая потребность найти себѣ точку опоры въ самой жизни, опуститься съ облаковъ на землю. Мысли, чувства и настроенія, о которыхъ мы ведемъ рѣчь, движутся въ направленіи къ дѣйствительности, враждуя съ нею, и раньше или позже непремѣнно обнаружится ихъ тѣсное психологическое сродство съ пріемами и нормами реалистическаго мышленія (въ обширномъ смыслѣ, — какъ въ философіи и наукѣ, такъ и въ искусствѣ) [1].

Это станетъ вполнѣ понятно, если мы точнѣе опредѣлимъ психологическую природу данныхъ процессовъ мысли и чувства.

Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ идейнымъ отрицаніемъ дѣйствительности, какъ нравственнымъ правомъ личности, переросшей данный уровень общественнаго, моральнаго и національнаго сознанія. Гражданская скорбь, національный стыдъ, чувство оскорбленнаго человѣческаго достоинства, негодованіе, — все это служитъ симптомами указаннаго роста лично-

---

[1] Мастерской анализъ различныхъ эпизодовъ изъ интимной жизни Бѣлинскаго, Герцена и др., — эпизодовъ, въ которыхъ ярко обнаружился этотъ поворотъ къ реализму мышленія, совпадавшій съ критикою и отрицаніемъ дѣйствительности, читатель найдетъ въ превосходныхъ статьяхъ П. Н. Милюкова: „Любовь у идеалистовъ 30-хъ годовъ", „По поводу переписки В. Г. Бѣлинскаго съ невѣстою", „Надеждинъ и первыя критическія статьи Бѣлинскаго", вошедшихъ въ книгу „Изъ исторіи русской интеллигенціи" (С.-Петерб. 1902 г.).

сти. Сама эта личность не съ неба свалилась, а выросла изъ той же дѣйствительности; она — продуктъ этой послѣдней, и понятно, что между нею и дѣйствительностью устанавливаются сложныя отношенія взаимодѣйствія, которыя не позволятъ настроеніямъ, чувствамъ и мыслямъ личности выродиться въ безпредметную, отвлеченную скорбь, въ романтическую тоску, въ заоблачный порывъ, въ расплывчатый и безплодный Weltschmertz. Все это было и можетъ явиться вновь, но оно всегда было и будетъ признакомъ болѣзненной стороны въ развитіи личности, — недуговъ ея молодости, недуговъ ея старости, вообще симптомомъ ея неуравновѣшенности, иногда дряблости. Но при мало-мальски здоровомъ развитіи личности работа ея мысли и чувства тѣснѣйшимъ образомъ будетъ связана съ даннымъ порядкомъ вещей, съ опредѣленнымъ укладомъ общественныхъ отношеній, со всѣмъ обиходомъ и строемъ дѣйствительности, какъ она исторически сложилась и какою является въ данное время. И съ психологическою необходимостью вырабатываются у людей мыслящихъ и чувствующихъ такія потребности и склонности мысли, которыя дѣлаютъ этихъ людей реалистами въ ихъ общемъ міросозерцаніи, въ ихъ философіи, ихъ публицистикѣ, ихъ искусствѣ. Въ особенности дорожатъ они реализмомъ этого послѣдняго. Бредъ и фантазія романтизма ихъ не удовлетворятъ. Имъ нужна поэзія дѣйствительности, которая одна можетъ дать имъ разгадку или, по крайней мѣрѣ, постановку ихъ личной задачи, сводящейся къ уясненію и установленію ихъ отношеній къ дѣйствительности, къ жизни, къ средѣ.

Изучая жизнь и дѣятельность людей 40-хъ годовъ, мы видимъ, какъ быстро, по мѣрѣ выясненія ихъ разлада съ дѣйствительностью, стушевывались ихъ отвлеченные, метафизическіе интересы и романтическія настроенія. Романтизмъ въ поэзіи палъ главнымъ образомъ оттого, что выяснился и окончательно установился разладъ лучшихъ лю-

дей съ дѣйствительностью. И этотъ-то разладъ и былъ важнѣйшей причиною необычайно быстраго успѣха „натуральной школы“ вообще и поэзіи Гоголя въ особенности.

Указанному движенію въ направленіи реализма мысли нисколько не противорѣчитъ увлеченіе людей 40-хъ годовъ философіей Гегеля. Ибо, во-первыхъ, изъ всѣхъ метафизическихъ системъ философія Гегеля можетъ по праву быть названа наиболѣе „реалистическою“, и она — по своему — была именно „философіей дѣйствительности“. Во-вторыхъ, интересъ къ „абсолютамъ“ и разнымъ тонкостямъ гегеліанской „діалектики“ шелъ быстро на убыль — именно по мѣрѣ того, какъ крѣпло отрицаніе, какъ окончательно устанавливался разладъ мыслящихъ людей съ дѣйствительностью и выяснялись жизненныя задачи (онѣ же и чисто-личныя), изъ этого разлада вытекающія. Такъ было и въ западной Европѣ, когда въ отрицаніи и радикализмѣ лѣваго гегеліанства (Фейербахъ, К. Марксъ, потомъ Лассаль) поблекла и стушевалась метафизическая сторона системы.

Но въ вопросѣ, здѣсь занимающемъ насъ, поворотъ художественнаго мышленія гораздо важнѣе, чѣмъ поворотъ мышленія философскаго. Когда широко раскрылись умственныя очи людей мыслящихъ и способныхъ чувствовать по-человѣчески, эти очи увидѣли прежде всего дѣйствительдость и всю мерзость ея запустѣнія, — и тогда, не взирая ни на какую философію, при всевозможныхъ интересахъ отвлеченной, даже метафизической мысли, образы обыденно-художественнаго мышленія, въ которыхъ была дана все та же дѣйствительность, не могли не получить особаго значенія, должны были привлечь къ себѣ преимущественное вниманіе. Постигнуть дѣйствительность и уяснить свои отношенія къ ней, дать выраженіе своему отрицанію, своей критикѣ данныхъ формъ общественности — вотъ то, что, составляя глубокую, насущную потребность людей мыслящихъ,

отнюдь не могло обойтись безъ формъ и пріемовъ реально-художественнаго мышленія. Оттуда особливый, живой интересъ къ реалистической поэзіи Пушкина и въ особенности Гоголя. Оттуда и собственныя попытки, лучшею изъ которыхъ былъ романъ Герцена „Кто виноватъ?“, — попытки, показывающія, что мысль идеалистовъ-отрицателей той эпохи формировалась и находила себѣ выраженіе въ пріемахъ и образахъ реально-художественнаго мышленія, даже при отсутствіи настоящаго поэтическаго таланта и призванія.

Движеніе 40-хъ годовъ, характеризуемое разладомъ съ дѣйствительностью, привело такимъ образомъ къ созданію реальной (или натуральной, какъ ее тогда называли) школы въ нашей художественной литературѣ и беллетристикѣ, — школы, признававшей Гоголя своимъ вождемъ и основателемъ. Ея представителями были Гончаровъ, Тургеневъ, Достоевскій, Григоровичъ — въ ихъ раннихъ произведеніяхъ второй половины 40-хъ годовъ.

Творчество Гоголя, въ особенности то, которое выразилось въ „Ревизорѣ“ и „Мертвыхъ душахъ“, было — по своему реалистическому характеру и отрицательному направленію — какъ разъ тѣмъ, чего жаждала мысль, къ чему стремилось чувство нашихъ идеалистовъ-отрицателей 40-хъ годовъ. Въ этомъ смыслѣ можно — парадоксально — сказать что „Ревизоръ“ и „Мертвыя души“, гдѣ художественно отрицалось все то, что они отрицали всѣми силами души, были написаны преимущественно для нихъ, чтобы они не были такъ одиноки въ своемъ разладѣ съ дѣйствительностью и, черпая душевное обновленіе и силу въ созданіяхъ поэта, могли еще сильнѣе отрицать, еще энергичнѣе негодовать. Вспомнимъ и тутъ это страстное обращеніе Бѣлинскаго къ Гоголю: „Да, я любилъ васъ со всею страстью, какъ человѣкъ, кровью связанный со своей страной, можетъ любить ея надежду, честь и славу, одного изъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса“...

Все вышеизложенное можетъ быть кратко выражено въ слѣдующемъ итогѣ: мы не поймемъ, какъ слѣдуетъ, ни психологіи „людей 40-хъ годовъ“, ни ихъ великаго значенія въ развитіи нашего общественнаго самосознанія, если не оттѣнимъ того факта, что они (каждый по-своему) были не только идеалисты и гуманисты-просвѣтители, но и отрицатели (въ отношеніи къ дѣйствительности), и что именно это отрицаніе, въ которомъ лучшіе изъ западниковъ сходились съ лучшими изъ славянофиловъ, шло и крѣпло съ психологическою необходимостью, вмѣстѣ съ развитіемъ у нихъ реалистическаго мышленія вообще, художественнаго въ особенности. Откуда въ частности — „культъ Гоголя“, раздѣлявшійся какъ западниками, такъ и славянофилами.

4.

Теперь перейдемъ къ самому Гоголю.

Если заглянемъ во внутренній міръ великаго поэта-властителя думъ лучшей части людей 40-хъ годовъ, то мы, къ удивленію, не найдемъ тамъ какъ разъ того, чѣмъ были „живы“ эти люди, — ни ихъ идеализма, ни ихъ отрицанія, ни тѣхъ скорбныхъ думъ и настроеній, съ которыми мы познакомились выше. То, что такъ занимало мысль и такъ волновало душу этихъ людей, было чуждо и недоступно Гоголю. Напрасно въ огромной перепискѣ Гоголя будемъ искать общественнаго и даже моральнаго негодованія [1]). Это цѣнное чувство, можно сказать, не значится въ душевномъ обиходѣ творца „Ревизора и „Мертвыхъ душъ“ — фактъ, на первый взглядъ представляющійся

---

[1]) Моральныя филиппики и поученія найдутся тамъ въ изобиліи, но въ нихъ не сквозитъ оскорбленное нравственное чувство, въ нихъ нѣтъ негодованія въ собственномъ смыслѣ.

невѣроятнымъ, сбивающійся на какой-то психологическій парадоксъ. И мы готовы спросить: если у этого человѣка не было общественнаго и нравственнаго негодованія, то какъ могъ онъ создать великія произведенія, рисующія нашу „бѣдность да бѣдность", какъ могъ онъ художественно изобличить нравственное убожество Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Чичиковыхъ, Собакевичей и т. д., наконецъ, какъ могъ онъ явиться въ роли моралиста?

Въ этюдѣ о Гоголѣ („Н. В. Гоголь", 1903 г. Изд. „Вѣст. Воспит.") я сдѣлалъ попытку проникнуть въ психологію творчества этого великаго художника и въ душевный міръ этого исключительно-своеобразнаго человѣка. Изъ данныхъ, сгруппированныхъ тамъ, и изъ ихъ посильнаго психологическаго анализа можно вывести слѣдующія заключенія по вопросу, насъ интересующему въ настоящее время.

У Гоголя не было тѣхъ высокихъ душевныхъ цѣнностей, которыми „были живы" лучшіе люди 40-хъ годовъ, какъ Бѣлинскій, Герценъ, К. Аксаковъ, Грановскій, Кирѣевскіе и др., но зато были, если можно такъ выразиться, психологическіе (а также и психо-патологическіе) эквиваленты" этихъ душевныхъ цѣнностей, оказавшіеся особливо пригодными — какъ движущая пружина творчества Гоголя и въ качествѣ импульса къ дѣятельности моралиста.

У Гоголя не было высокаго, гуманнаго идеализма „людей 40-хъ годовъ", коренившагося въ самомъ душевномъ складѣ этихъ избранныхъ натуръ и воспитаннаго работой мысли, сознательнымъ усвоеніемъ сокровищъ общечеловѣческаго знанія. Гоголь не былъ „идеалистомъ" ни по натурѣ, ни по образованію. Міръ идей и идеаловъ былъ чуждъ ему. Онъ не интересовался ни наукой, ни философіей, ни всемірною литературой. Въ эти высшія области мысли онъ заглядывалъ лишь урывками. Корифеи мысли, на твореніяхъ которыхъ воспитался рядъ поколѣній, были

извѣстны ему только по наслышкѣ. Онъ жилъ, мыслилъ и творилъ такъ, какъ будто никогда не существовало ни Лессинга, ни Гёте, ни Гегеля, ни всей европейской науки и философіи. Его образованіе и кругъ идей ограничивались нѣкоторыми свѣдѣніями и небольшою начитанностью по извѣстнымъ отдѣламъ исторіи (Средніе вѣка, исторія Малороссіи), по искусству (живопись, скульптура, архитектура), по народной поэзіи (преимущественно малорусской), по исторіи христіанства и церкви. Только новую русскую литературу онъ зналъ достаточно хорошо и слѣдилъ за ея развитіемъ. Изъ великихъ поэтовъ онъ зналъ и постоянно перечитывалъ лишь немногихъ: Пушкина, Данта, Гомера... По цѣлымъ годамъ весь поглощенный то своею творческою работой, то своимъ такъ называемымъ „душевныхъ дѣломъ", то своими недугами, онъ не слѣдилъ за текущею литературой и движеніемъ мысли въ Европѣ, гдѣ живалъ подолгу.

Конечно, изученіе философіи, занятіе наукой, интересъ къ литературѣ и т. д., все это еще не можетъ само по себѣ сдѣлать человѣка „идеалистомъ". Встрѣчаются люди ученые и широко образованные, интересующіеся всѣмъ, что дѣлается въ мірѣ мысли, и въ то же время чуждые всякаго „идеализма". Это только — воспріимчивые и любознательные умы, усвоившіе себѣ извѣстные умственные вкусы, и очень обыденныя, „прозаическія", низменныя натуры. Но разъ у человѣка имѣются идеалистическіе задатки въ самомъ складѣ его души, онъ инстинктивно будетъ тянуться къ свѣту мысли, онъ будетъ жадно ловить и усваивать все то, что въ области общечеловѣческаго знанія и творчества окажется доступнымъ ему. Вспомнимъ Бѣлинскаго, который, какъ манны небесной, жаждалъ философскихъ откровеній и, можно сказать, ловилъ на лету мысли, знанія, выводы, какіе только могъ поймать. Гоголь же, живя годами за границей и владѣя тремя иностранными языками (французскимъ, нѣмецкимъ, итальянскимъ), имѣя полную возмож-

ность пріобрѣсть хорошее — европейское — образованіе, открыть себѣ доступъ въ сферу современной мысли, не сдѣлалъ однако никакихъ усилій въ этомъ направленіи.

Читатель понимаетъ, что мы беремъ здѣсь терминъ „идеализмъ“ въ очень широкомъ и чисто-психологическомъ смыслѣ, разумѣя подъ нимъ такой строй духа, при которомъ общечеловѣческіе идейные интересы занимаютъ въ сознаніи человѣка настолько видное мѣсто, что омутъ обыденной жизни уже не въ состояніи затянуть его душу плѣсенью.

Въ этомъ смыслѣ Гоголь не былъ „идеалистомъ“. Но тѣмъ не менѣе его душа не затягивалась тиной, не покрывалась плѣсенью, потому что у него взамѣнъ „идеализма“ было нѣчто другое,—какой-то „психологическій эквивалентъ“ послѣдняго. Это именно—столь извѣстная склонность Гоголя къ отшельнической и созерцательной жизни, его вѣчное бѣгство отъ общества, отъ „дрязга“ жизни, какъ онъ выражался, его углубленіе въ себя, въ свое „душевное дѣло“, долгое — по цѣлымъ годамъ — обдумываніе и „вынашиваніе“ художественныхъ образовъ, высокое понятіе о призваніи поэта и грозная „вьюга вдохновенія“, освѣжавшая его душу, потомъ мистическое наитіе молитвы, наконецъ, та „глубина душевная“, благодаря которой онъ умѣлъ „возводить въ перлъ созданія“ „картины, взятыя изъ презрѣнной жизни“...

Въ противоположность лучшимъ людямъ 40-хъ годовъ, Гоголь не былъ отрицатель. Напрасно будемъ искать у него критики тогдашней дѣйствительности, дореформенныхъ порядковъ; къ удивленію, мы не найдемъ у творца „Мертвыхъ душъ“ даже отрицанія крѣпостного права. И однако же великій поэтъ-сатирикъ содѣйствовалъ больше, чѣмъ кто-либо въ то время, установленію критическаго отношенія къ дореформенному строю. Очевидно, въ его душѣ было нѣчто, съ избыткомъ восполнявшее недостатокъ идейнаго отрицанія и критической общественной мысли. Этотъ

психологическій эквивалентъ отрицанія, служившій въ то же время основаніемъ его моральныхъ стремленій, сводился къ особому, мучительному соціальному и національному самочувствію Гоголя. Организація крайне сложная, неуравновѣшенная и болѣзненно-чувствительная, Гоголь реагировалъ своеобразными душевными муками на пошлую сторону человѣка и общественности, на „дрязгъ" жизни. Онъ по-своему — живо и болѣзненно — чувствовалъ тяготу существованія при данныхъ порядкахъ, отношеніяхъ, нравахъ, и, можно сказать даже, ему, по особенностямъ его душевной организаціи, было тошнѣе жить среди господствовавшей умственной тьмы и нравственной слѣпоты, чѣмъ многимъ и многимъ, въ томъ числѣ и кое-кому изъ тѣхъ, которые принадлежали къ передовымъ и просвѣщеннѣйшимъ людямъ эпохи. Онъ первый на Руси увидѣлъ, почувствовалъ и „вызвалъ наружу" въ геніальномъ художественномъ воспроизведеніи „всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ повседневныхъ характеровъ"... — и содрогнулся столь же судорожно, какъ содрогнулся Бѣлинскій, когда почувствовалъ всю „гнусность" „рассейской дѣйствительности". Но Гоголь ужаснулся не идейно, не какъ философски и морально развитая личность, а чисто-психологически, всѣмъ своимъ геніальнымъ, болѣзненнымъ, неуравновѣшеннымъ существомъ, какъ исключительно тонкая душевная организація, странности которой заставили С. Т. Аксакова написать въ своихъ воспоминаніяхъ о немъ: „...мы не можемъ судить Гоголя по себѣ, даже не можемъ понимать его впечатлѣній, потому что, вѣроятно, весь организмъ его устроенъ какъ-нибудь иначе, чѣмъ у насъ; что нервы его, можетъ быть, во сто разъ тоньше нашихъ: слышатъ то, чего мы не слышимъ, и содрогаются отъ причинъ, намъ неизвѣстныхъ" („Исторія моего знакомства съ Гоголемъ", стр. 54).

Великій отрицатель-художникъ, великій поэтъ-сатирикъ, онъ не былъ и не могъ быть отрицателемъ-мыслителемъ или публицистомъ въ томъ смыслѣ, какъ были таковыми Бѣлинскій, Герценъ и другіе. Главнымъ и непреодолимымъ препятствіемъ къ тому служила сама натура его, — неуравновѣшенность его души, угнетенной и тяготою существованія, и избыткомъ рефлексіи, и излишествомъ самоанализа, наконецъ, столь склонной къ нравственному сомнѣнію въ себѣ, къ самобичеванію и мистицизму. Для такой души и философское, и общественное, и вообще идейное отрицаніе было бы бременемъ непосильнымъ. Оно явилось бы въ ней, и безъ того отравленной душевными ядами, лишнимъ разлагающимъ началомъ. Отрицаніе оздоровляетъ и закаляетъ души уравновѣшенныя и гармоническія или, по крайней мѣрѣ, имѣющія соотвѣтственные задатки. Отрицаніе — борьба, и оно предполагаетъ запасъ здоровой умственной силы и моральной крѣпости, не говоря уже о крѣпости нервной и психо-физической. Для такихъ психо-физическихъ и психическихъ организацій, какъ Гоголь, потребно не отрицаніе, а умиротвореніе, успокоеніе. Не борьба, а молитва — ихъ пристанище. Разладъ съ дѣйствительностью только осложняетъ и безъ того тяжелую болѣзнь ихъ внутренняго разлада. Гоголь, какъ извѣстно, не вынесъ тяжести даже того чисто-художественнаго отрицанія, которое вытекало изъ свойствъ его таланта, изъ психологіи его геніальности, изъ самой натуры его. Присоединить къ этой тяжести еще и бремя идейнаго отрицанія было для него психологическою невозможностью, если бы даже онъ и захотѣлъ усвоить тѣ идеи, точки зрѣнія и предпосылки, на которыхъ оно основывалось тогда. И онъ, какъ бы повинуясь инстинкту самосохраненія, уклонялся отъ усвоенія этихъ предпосылокъ, даже избѣгалъ знакомства и общенія съ людьми идейнаго отрицанія. Этотъ скрытый, можетъ быть, неясный ему самому мотивъ пред-

ставляется тѣмъ вѣроятнѣе, что, какъ выясняется теперь, Гоголь не былъ консерваторомъ въ собственномъ смыслѣ — по убѣжденіямъ, по идеаламъ. Онъ не отрицалъ прогресса, онъ только боялся его или извѣстныхъ его проявленій и сторонъ... Онъ даже интересовался — порою — передовыми людьми, какъ это видно изъ писемъ къ Анненкову [1]). Изъ тѣхъ же писемъ явствуетъ, что его возраженія противъ передовыхъ дѣятелей вытекали изъ чисто-субъективнаго мотива: вѣчно занятый своимъ душевнымъ міромъ, вѣчно въ поискахъ за успокоеніемъ, умиротвореніемъ своей мысли, совѣсти, чувствъ, онъ невольно судилъ о другихъ по себѣ, предполагая у нихъ аналогичный разладъ, и, наприм., совѣтовалъ Анненкову, прежде чѣмъ критиковать и отрицать, сперва „самому состроиться" (письмо отъ 7-го сент. 1847 г.), воспитать себя въ духѣ какой-то всеобъемлющей „правды", которая стояла бы выше всѣхъ партій и была бы авторитетна для всѣхъ. Его пугали споры, разногласія, недоразумѣнія, партійныя распри. Ему претили „излишества", какія онъ находилъ у западниковъ, съ одной стороны, у славянофиловъ — съ другой.

Слѣдующее мѣсто въ томъ же письмѣ къ Анненкову хорошо рисуетъ точку зрѣнія, съ которой Гоголь судилъ о „направленіяхъ" и „партіяхъ": „Ваше желаніе слѣдить все, не останавливаясь особенно ни надъ чѣмъ, очень по-

---

[1]) Въ письмѣ отъ 7-го сент. 1847 г. читаемъ: „Въ письмѣ вашемъ вы упоминаете, что въ Парижѣ находится Герценъ. Я слышалъ о немъ очень много хорошаго. О немъ люди всѣхъ партій отзываются, какъ о благороднѣйшемъ человѣкѣ. Это лучшая репутація въ нынѣшнее время. Когда буду въ Москвѣ, познакомлюсь съ нимъ непремѣнно, а покуда извѣстите меня, что онъ дѣлаетъ, что его болѣе занимаетъ и что — предметомъ его наблюденій. Увѣдомьте меня, женатъ ли Бѣлинскій, или нѣтъ; мнѣ кто-то сказывалъ, что онъ женился. Изобразите мнѣ также портретъ молодого Тургенева, чтобы я получилъ о немъ понятіе, какъ о человѣкѣ; какъ писателя, я его отчасти знаю: сколько могу судить по тому, что прочелъ, талантъ въ немъ замѣчательный и обѣщаетъ большую дѣятельность въ будущемъ".

нятно: въ немъ слышится разумное стремленіе всего нынѣшняго вѣка; но непонятенъ для меня духъ нѣкотораго *удовлетворенія*[1]) вашимъ нынѣшнимъ состояніемъ, точно какъ бы вы уже нашли важную часть того, что ищете, и какъ бы стали уже на верховную точку вашего разумѣнія и вашего воззрѣнія на вещи. Вы уже подымаете заздравный кубокъ и говорите: да здравствуетъ простота положеній и отношеній, основанныхъ на практической дѣйствительности, здравомъ смыслѣ, положительномъ законѣ, принципѣ равенства и справедливости! Смыслъ всего этого необъятно обширенъ. Цѣлая бездна между этими словами и примѣненіями ихъ къ дѣлу. Если вы станете дѣйствовать и проповѣдывать, и то прежде всего замѣтятъ въ вашихъ рукахъ эти заздравные кубки, до которыхъ такой охотникъ русскій человѣкъ, и перепьются всѣ, прежде чѣмъ узнаютъ, изъ за чего было пьянство. Нѣтъ, мнѣ кажется, никому изъ насъ не слѣдуетъ въ нынѣшнее время торжествовать и праздновать настоящій мигъ своего *взгляда* и *разумѣнія*[1]). Онъ завтра не можетъ быть уже другимъ; завтра же можемъ мы стать умнѣй насъ *сегодняшнихъ*..." [1]).

Эта выдержка, подобно другимъ въ томъ же родѣ, показываетъ, какъ необыкновенно уменъ былъ этотъ странный человѣкъ даже въ своихъ ошибкахъ и заблужденіяхъ. Опровергать эти заблужденія здѣсь не мѣсто, и мы только указываемъ на нихъ для того, чтобы нагляднѣе пояснить нашу мысль: отрицаніе идейное и партійное, вмѣстѣ съ неизбѣжно сопутствующею ему полемикой, борьбой, „крайностями", „излишествами", было чуждо уму Гоголя и не мирилось съ общимъ строемъ его души.

Психологія художественнаго отрицанія Гоголя и психологія идейнаго отрицанія передовыхъ людей эпохи были по существу различны, но ихъ результаты совпадали. Мало того: при всемъ различіи было въ этой психологіи нѣчто

[1]) Курсивъ Гоголя.

такое, что, одинаково выдѣляя и Гоголя, и передовыхъ людей изъ остальной массы общества, сближало и родпило ихъ. Это именно — душевныя муки отщепенства, грусть и скорбь моральнаго одиночества. Вспомнимъ знаменитое лирическое мѣсто въ началѣ VII главы I части „Мертвыхъ душъ“, гдѣ, составляя „двухъ писателей“, поэтъ въ яркихъ чертахъ рисуетъ горькій „удѣлъ“ того изъ нихъ, который видитъ и изображаетъ то, „чего не зрятъ равнодушныя очи“: „безъ раздѣленія, безъ отвѣта, безъ участія, какъ безсемейный путникъ, останется онъ одинъ посреди дороги...“.

Какъ не вспомнить, читая эти строки, душу раздирающій крикъ Бѣлинскаго: „... а куда голову приклонить, гдѣ сочувствіе, гдѣ пониманіе...“, и всѣ аналогичныя жалобы лучшихъ людей эпохи; какъ не вспомнить, наконецъ, и безсемейнаго путника Рудина, „душой скитавшагося“, и душевное одиночество Лаврецкаго, когда, подведя итогъ своей жизни, онъ говоритъ: „здравствуй, одинокая старость, догорай, безполезная жизнь!“

Сердце сердцу вѣсть подаетъ. Лучшіе люди 40-хъ годовъ видѣли въ Гоголѣ не только великаго поэта-отрицателя, но и такого же „скитальца“ и страдальца, какими были они сами. И, несмотря на все различіе идей и убѣжденій, они его любили страстно и восторженно. „Какое ты умное, и странное, и больное существо!“ „думалось“ Тургеневу, когда онъ въ послѣдній разъ видѣлъ поэта 20 окт. 1851 года... Анненковъ, разсказывая о своемъ послѣднемъ свиданіи съ Гоголемъ (въ Москвѣ, около того же времени), заканчиваетъ такъ: Это была моя послѣдняя бесѣда *съ чудною личностью, украсившею вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, Герценомъ, Грановскимъ и другими мою молодость* [1]. Проходя къ дому Тол-

[1]) Курсивъ мой.

стого [1]) на возвратномъ пути и прощаясь съ нимъ, я услыхалъ отъ него трогательную просьбу сберечь о немъ доброе мнѣніе и поратовать о томъ между партіей, „къ которой принадлежите...“ [1])

Упомянувъ еще объ одной мимолетной встрѣчѣ съ Гоголемъ нѣсколько времени спустя, Анненковъ оканчиваетъ разсказъ восклицаніемъ: „Бѣдный страдалецъ!“ („П. В. Анненковъ и его друзья“, 1892 г., стр. 516).

5.

Огромная умственная и нравственная тягота и работа, которую вынесли на своихъ плечахъ передовые люди 40-хъ годовъ, какъ извѣстно, сводилась не только къ созданію гуманныхъ стремленій и общественной мысли, но и къ выработкѣ національнаго самосознанія.

Въ другомъ мѣстѣ („Этюды о творчествѣ И. С. Тургенева“, изд. 2-е, 1904 г., Введеніе) я старался показать, что какъ славянофилы, такъ и западники одинаково были заняты вопросами національнаго самосознанія, только ставили и понимали ихъ различно; они шли къ одной и той же цѣли, только различными путями. Славянофильство было націонализмомъ положительнымъ, выдвигавшимъ впередъ защиту такъ назыв. „національныхъ началъ“; западничество было націонализмомъ отрицательнымъ, исходившимъ изъ критики нашего національнаго склада. Герценъ стоялъ посрединѣ, примыкая по нѣкоторымъ пунктамъ къ славянофильству, по другимъ же — по большинству — къ западничеству. Въ „Дневникѣ“ подъ 17 мая 1844 года онъ записалъ: „Странное положеніе мое, какое-то невольное juste milieu: въ славянскомъ вопросѣ передъ ними (славянофилами) я человѣкъ запада, передъ

[1]) Гдѣ жилъ Гоголь.

ихъ врагами (западниками) человѣкъ востока. Изъ этого слѣдуетъ, что для нашего времени эти одностороннія опредѣленія не годятся". Любопытна также запись подъ 12 мая того же года: „Истиннаго сближенія между ихъ (славянофиловъ) воззрѣніемъ и моимъ не могло быть, но могло быть довѣріе и уваженіе... Съ полною гуманностью, подвергаясь упрекамъ со стороны всѣхъ друзей, протягивалъ я имъ руку, желалъ ихъ узнать, оцѣнилъ хорошее въ ихъ воззрѣніи. Но они фанатики и нетерпящіе люди. Они создали міръ химеръ и оправдываютъ его двумя-тремя порядочными мыслями, на которыхъ они выстроили не то зданіе, которое слѣдовало... Всѣхъ ближе изъ нихъ общечеловѣческому взгляду — Самаринъ; но и у него еще много твердо и исключительно славянскаго. Аксаковъ [1]) во вѣки вѣковъ останется благороднымъ, но и онъ не поднимается дальше Москвафиліи".

Споръ между двумя партіями шелъ о значеніи реформы Петра, котораго славянофилы (именно славянофилы-идеалисты) ненавидѣли, а западники превозносили (вспомнимъ восторженныя страницы Бѣлинскаго, посвященныя Петру), о старорусскихъ, „исконныхъ" началахъ, процвѣтавшихъ, будто бы, въ московскую эпоху, идеализированную славянофилами, о великолѣпной будущности славянства и пресловутомъ „гніеніи" Запада, рѣшительно отвергаемомъ западниками и т. д.

Какъ относился ко всему этому Гоголь? — Онъ мало входилъ въ суть дѣла, и ему казалось, что въ этомъ спорѣ много пустой болтовни, сопровождаемой разными „излишествами". Связанный личными отношеніями съ славянофилами (Аксаковыми съ одной стороны, Шевыревымъ и Погодиными—съ другой, а также съ поэтомъ славянофильства—Языковымъ), онъ отнюдь не раздѣлялъ ихъ доктрины. Старую

[1]) Константинъ.

допетровскую Русь онъ не любилъ, на великолѣпную будущность славянства большихъ надеждъ не возлагалъ, „гніенія“ Запада не усматривалъ, хотя и пугался отрицательныхъ идей и революціоннаго броженія. Съ другой стороны, онъ примыкалъ и къ западничеству, какъ доктринѣ и направленію критическому.

И тѣмъ не менѣе коренной вопросъ, подымавшійся обѣими партіями,—вопросъ національнаго самосознанія,—былъ ему, можно сказать, кровно-близокъ и занималъ его—и какъ художника, и какъ человѣка, и даже какъ моралиста.

Уже въ „Ревизорѣ“ онъ ставилъ себѣ задачей—показать не только уродство бытовыхъ типовъ, но также „искривленіе“ національной физіономіи. Хлестаковъ вышелъ у него типомъ національнымъ. И вообще всякія уродства, легко объясняемыя строемъ жизни, состояніемъ нравовъ, отсутствіемъ просвѣщенія и т. д., онъ склоненъ былъ изображать, какъ національныя. Вслѣдъ за Ив. Алекс. Хлестаковымъ національнымъ типомъ вышелъ у него и Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. Онъ самъ категорически заявлялъ, что главною его задачей, какъ художника, является познаніе и изображеніе психологіи русскаго человѣка [1]). И лично, какъ человѣка, вопросъ о психологическомъ характерѣ и складѣ русской національности (или, лучше сказать, „русскихъ національностей) живо интересовалъ его [2]).

Къ „Мертвымъ душамъ“ болѣе, чѣмъ къ какому-либо другому изъ великихъ произведеній нашей поэзіи, примѣнимо выраженіе: „здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ“. Во второй части „поэмы“ вопросъ о русскомъ че-

---

[1]) Объ этомъ см. въ моей книжкѣ «Н. В. Гоголь», глава IV, стр. 116 и слѣд.

[2]) См. въ той же книжкѣ гл. V.

ловѣкѣ, какъ таковомъ, можно сказать, поставленъ ребромъ. И эта постановка явилась отправною точкой нѣкоторыхъ сторонъ въ творчествѣ послѣдующихъ писателей, какъ увидимъ это въ дальнѣйшемъ.

Не трудно понять, что поэтъ, раскрывавшій и такъ ярко воспроизводившій національный складъ русскаго человѣка, долженъ былъ получить особое значеніе въ эпоху, когда въ сознаніи мыслящихъ людей впервые вырабатывались формы національнаго самосознанія.

ГЛАВА IX.

Типъ Тентетникова и вторая часть „Мертвыхъ душъ".

1.

Если оставить въ сторонѣ художественные образы людей 40-хъ годовъ, созданные Тургеневымъ „заднимъ числомъ", въ 50-хъ, и придерживаться строго хронологическаго порядка, то непосредственно вслѣдъ за Печоринымъ мы встрѣтимъ Гоголевскаго Тентетникова, этого „предтечу" Ильи Ильича Обломова [1]).

Во второй части „Мертвыхъ душъ" великій поэтъ, открыто выступившій теперь въ роли моралиста, хотѣлъ показать „другія стороны русскаго человѣка", не затронутыя въ первой части, гдѣ, въ геніальныхъ образахъ Чичикова, Манилова, Собакевича, Ноздрева, Плюшкина и др., было „выставлено на всенародныя очи" то, что Гоголь понималъ какъ искривленіе національной физіономіи, какъ нравственное

[1]) Вторую часть „поэмы" Гоголь началъ писать еще въ 1840 году. Черезъ пять лѣтъ, въ 1845 году, трудъ былъ оконченъ и готовъ для печати, но лѣтомъ этого года Гоголь сжегъ рукопись и принялся за работу сначала. — Подробности читатель найдетъ въ статьѣ Н. С. Тихонравова („Сочиненія Н. В. Гоголя", подъ редакц. Тихонравова, 1889, стр. 533 и сл.).— Эта новая обработка второй части „Мертв. душъ" была сожжена поэтомъ незадолго до смерти. Сохранившіеся отрывки были впервые изданы въ 1855 г.

искаженіе натуры русскаго человѣка. Теперь, во второй части поэмы, выступаютъ другія лица, иные характеры, не столь безнадежные, натуры, не столь безпросвѣтныя. Но и въ нихъ поэтъ находитъ извѣстное искривленіе и порчу — только въ другую сторону.

Прежде всего нужно обратить вниманіе на то, что эти новыя лица, въ противоположность героямъ первой части, принадлежатъ къ средѣ образованной и не чужды умственныхъ интересовъ. Передъ нами представители тогдашней интеллигенціи, дворяне-помѣщики, учившіеся въ лучшихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ университетѣ. Свойственная имъ порча русской натуры изображена въ лицѣ Тентетникова, Платона Платонова, Хлобуева, Кошкарева и, въ существѣ дѣла,—за исключеніемъ только Кошкарева,— все это — разныя формы того недуга, который позже, благодаря художественному діагнозу Гончарова и критическому Добролюбова, былъ опредѣленъ—какъ обломовщина.

Передъ нами — люди вялые, опустившіеся, неспособные управлять собою, лишенные воли, живущіе спустя рукава. Остановимся дольше на самомъ видномъ изъ нихъ, на Тентетниковѣ, характеръ котораго разработанъ съ наибольшею обстоятельностью.

Мы узнаемъ исторію его воспитанія, его прошлое. И здѣсь, въ первой же главѣ, обнаруживается тотъ ущербъ въ художественной правдѣ изображенія, который сказывался у Гоголя все ярче, по мѣрѣ того, какъ моралистъ-проповѣдникъ бралъ въ немъ перевѣсъ надъ художникомъ-сатирикомъ. По мысли Гоголя, все несчастье Тентетникова произошло отъ того, что его идеальный воспитатель, фантастическій Александръ Петровичъ, умеръ какъ разъ тогда, когда Тентетниковъ долженъ былъ перейти на послѣдній курсъ, гдѣ молодые люди получали окончательный закалъ и пріобрѣтали самостоятельный характеръ. Въ небываломъ и въ невозможномъ учебномъ заведеніи Александра Петровича

не столько обучали наукамъ, сколько воспитывали характеры и вырабатывали „гражданъ земли своей“. Переводу на старшій курсъ удостоивались только наиболѣе умные и даровитые, и здѣсь имъ преподавали „науку жизни“. „Большая часть лекцій состояла въ разсказахъ о томъ, что ожидаетъ впереди человѣка на всѣхъ поприщахъ и ступеняхъ государственной службы и частныхъ занятій“. Преподаваніе Александра Петровича дѣлало чудеса: „Изъ этого курса вышло немного, но эти немногіе были крѣпыши, были окуренные порохомъ люди. Въ службѣ они удержались на самыхъ шаткихъ мѣстахъ, тогда какъ многіе, гораздо ихъ умнѣйшіе, не вытерпѣвъ, бросили службу изъ-за мелочныхъ личныхъ непріятностей, бросили вовсе, или же, не вѣдая ничего, очутились въ рукахъ взяточниковъ и плутовъ. Но воспитанные Александромъ Петровичемъ не только не пошатнулись, но, умудренные познаніемъ человѣка и души, возымѣли высокое нравственное вліяніе даже на взяточниковъ и дурныхъ людей. Но этого ученія не удалось попробовать бѣдному Андрею Ивановичу...“ (II часть „Мерт. душъ“, гл. I).

Андрей Ивановичъ Тентетниковъ — типичный русскій хорошій человѣкъ, съ умомъ, „съ добра желаніемъ“. Характерная особенность этихъ натуръ — воспріимчивость, податливость и пассивность. Онѣ нуждаются въ постороннихъ благотворныхъ вліяніяхъ, въ воспитаніи, въ руководительствѣ. Сами собственными силами онѣ не пробьются къ свѣту, къ жизни, къ дѣятельности. Чтобы ихъ пробудить, направить, поставить на ноги, нужна исключительная школа и фантастическій воспитатель, — иначе говоря, нужны особыя, исключительно благопріятныя условія, среди которыхъ протекала бы ихъ юность. При отсутствіи этихъ условій хорошій русскій человѣкъ опускается, излѣнивается, превращается въ лежебока. Такъ и случилось съ Тентетниковымъ, типичнымъ „коптителемъ неба“. Великолѣпное изо-

браженіе „журнала дня“ Тентетникова завершается такимъ заключеніемъ: „Изъ этого журнала читатель можетъ видѣть, что Андрей Ивановичъ Тентетниковъ принадлежалъ къ семейству тѣхъ людей, которыхъ на Руси много, которымъ имена — увальни, лежебоки, байбаки и тому подобныя. Родятся ли уже сами собою такіе характеры или создаются потомъ, это еще вопросъ. Я думаю, что лучше, вмѣсто отвѣта, разсказать исторію дѣтства и воспитанія Андрея Ивановича“. Вотъ тутъ-то мы и ожидали бы встрѣтить картину, аналогичную той, какую нарисовалъ Гончаровъ въ знаменитомъ „Снѣ Обломова“. Крѣпостные порядки съ ихъ даровымъ трудомъ, жизнь на всемъ готовомъ, съ дѣтства укореняющаяся привычка ничего не дѣлать, ни о чемъ не заботиться и по прихоти распоряжаться трудомъ рабовъ, избытокъ досуга, излишества сытости и баловства,—все это, дѣйствуя изъ поколѣнія въ поколѣніе, достаточно хорошо объясняетъ и лѣнь, и безпечность, и бездѣятельность, и парализацію воли нашихъ „байбаковъ“, „увальней“, „лежебоковъ“ добраго стараго времени. Но, вмѣсто такой картины и такой мотивировки, Гоголь распространяется о необыкновенномъ воспитателѣ Александрѣ Петровичѣ и о неудачной попыткѣ Тентетникова устроиться на службѣ въ Петербургѣ. При всемъ томъ здѣсь есть черты, заслуживающія вниманія. Въ школѣ Александра Петровича Тентетниковъ получилъ хорошее общее образованіе, и, кромѣ того, согласно системѣ воспитателя, въ немъ было возбуждено честолюбіе,— страсть, которую Гоголь признавалъ въ высокой степени благотворною, при надлежащемъ направленіи и при соотвѣтственной выработкѣ характера. И вотъ, движимый этой страстью, Тентетниковъ поступаетъ на службу въ одинъ изъ департаменговъ, съ мыслью о полезной дѣятельности, о блестящей карьерѣ. „Настоящая жизнь на службѣ,—говорилъ онъ себѣ,—тамъ подвиги“. Но вышло слѣдующее: „Съ большимъ трудомъ и съ помощью дяди-

ныхъ протекцій, проведя два мѣсяца въ каллиграфическихъ урокахъ, досталъ онъ, наконецъ, мѣсто списывателя бумагъ въ какомъ-то департаментѣ. Когда взошелъ онъ въ свѣтлый залъ, гдѣ за письменными лакированными столами сидѣли пишущіе господа, шумя перьями и наклоня голову на бокъ, и когда посадили его самого, предложа ему тутъ же переписать какую-то бумагу, — необыкновенно-странное чувство его проникнуло. Ему на время показалось, какъ бы онъ очутился въ какой-то малолѣтней школѣ, затѣмъ, чтобы снова учиться азбукѣ. Сидѣвшіе вокругъ его господа показались ему такъ похожими на учениковъ! Иные изъ нихъ читали романъ, засунувъ его въ большіе листы разбираемаго дѣла, какъ бы занимались они самимъ дѣломъ, и въ то же время вздрагивая при всякомъ появленіи начальника...“ И Тентетниковъ очень скоро охладѣлъ къ службѣ. При первомъ же столкновеніи съ начальникомъ онъ поспѣшилъ выйти въ отставку, къ великому огорченію дяди, дѣйствительнаго статскаго совѣтника, и уѣхалъ въ деревню, движимый такими помыслами: „...вы позабыли, — говоритъ онъ дядѣ, дѣйствительному статскому совѣтнику, — что у меня есть другая служба: у меня 300 душъ крестьянъ, имѣніе въ разстройствѣ, а управляющій —дуракъ. Государству утраты немного, если вмѣсто меня сядетъ въ канцеляріи другой переписывать бумагу, но большая утрата, если 300 человѣкъ не заплатятъ податей. Я помѣщикъ: званіе это также не бездѣльно. Если я позабочусь о сохраненіи, о сбереженіи и улучшеніи ввѣренныхъ мнѣ людей и представлю государству 300 трезвыхъ, работящихъ подданныхъ, — чѣмъ моя служба будетъ хуже службы какого-нибудь начальника отдѣленія Лѣницына?“

Прибывъ въ свое помѣстье, изображенное въ началѣ главы какъ роскошный и благодатный уголокъ природы, Тентетниковъ предается такимъ размышленіямъ: „Ну, не дуракъ ли я былъ доселѣ? Судьба назначила мнѣ быть

обладателемъ земного рая, принцемъ, а я закабалилъ себя въ канцелярію писцомъ! Учившись, воспитавшись, просвѣтившись, сдѣлавши порядочный запасъ тѣхъ именно свѣдѣній, какія требуются для управленія людьми, улучшенія цѣлой области, для исполненія многообразныхъ обязанностей помѣщика, являющагося и судьей, и распорядителемъ, и блюстителемъ порядка, ввѣрить это мѣсто невѣжѣ-управителю!..“

Съ такими приблизительно мыслями пріѣзжали тогда въ свои помѣстья образованные и гуманные молодые помѣщики, искавшіе разумной и полезной дѣятельности. Но, къ сожалѣнію, лишь немногіе изъ нихъ возвышались до сознанія негодности и безобразія крѣпостного строя, какъ таковаго, даже при наилучшихъ отношеніяхъ между помѣщиками и крестьянами, при самомъ гуманномъ обращеніи рабовладѣльца съ рабами. Тентетниковъ, какъ и самъ Гоголь, очевидно, не принадлежалъ къ числу этихъ немногихъ. Помимо того, насъ поражаетъ его самоувѣренность: онъ вообразилъ, будто въ самомъ дѣлѣ вынесъ изъ школы Александра Петровича „тѣ именно свѣдѣнія, какія требуются для управленія людьми“ и т. д. Это—самоувѣренность самого Гоголя, вообразившаго, что онъ можетъ и призванъ научить русскихъ помѣщиковъ—какъ управлять „подданными“, какъ облагодѣтельствовать ихъ и цѣлый край. Во второй части „Мертвыхъ душъ“ онъ и хотѣлъ преподать эти наставленія въ художественной формѣ...

Какъ и слѣдовало, ожидать, Тентетниковъ началъ съ того, что уменьшилъ барщину, убавилъ дни работы на себя, прибавилъ времени мужикамъ работать на нихъ самихъ. Но въ этомъ отношеніи онъ нѣсколько отсталъ даже отъ Онѣгина, который совсѣмъ отмѣнилъ барщину, замѣнивъ ее „легкимъ оброкомъ“. Надо думать, идеальный наставникъ Александръ Петровичъ не стоялъ на высотѣ идейныхъ стремленій времени и не внушалъ своимъ

питомцамъ того отрицательнаго отношенія къ крѣпостному праву, какое мы видимъ уже у лучшихъ людей 20-хъ годовъ. Вѣроятно также и то, что тотъ кружокъ протестующихъ „огорченныхъ", по выраженію Гоголя, людей, въ который попалъ было Тентетниковъ, мало думалъ о работѣ по вопросу объ улучшеніи быта крестьянъ и о подготовкѣ ихъ будущей эмансипаціи, о чемъ думали такъ или иначе лучшіе люди эпохи. Не думалъ объ этомъ и самъ Гоголь, мало знавшій существовавшіе тогда кружки „огорченныхъ людей" и питавшій особливое недовѣріе къ тѣмъ, которые дерзали отрицать установленныя формы жизни, ея вѣковые устои. Вотъ какъ изображаетъ онъ этихъ отрицателей въ той же первой главѣ второй части „Мертвыхъ душъ": „Это были тѣ безпокойно-странные характеры, которые не могутъ переносить равнодушно не только несправедливость, но даже и всего того, что кажется въ ихъ глазахъ несправедливостью. Добрые по началу, но безпорядочные сами въ своихъ дѣйствіяхъ, они исполнены нетерпимости къ другимъ..." На Тентетникова „сильно подѣйствовали" „пылкая рѣчь ихъ и благородный образъ негодованія". Ниже мы узнаемъ, что два пріятеля Тентетникова, „принадлежавшіе къ классу огорченныхъ людей", затянули было Андрея Ивановича въ какое-то „общество", имѣвшее цѣлью — „доставить счастье всему человѣчеству". Учредителями общества были „какіе-то философы изъ гусаръ, да недоучившійся студентъ, да промотавшійся игрокъ". Собирались огромныя пожертвованія, расходованіе которыхъ было въ вѣдѣніи „верховнаго распорядителя", который одинъ только и зналъ, куда эти деньги ушли. Пріятели же Тентетникова — изъ числа „огорченныхъ" — „отъ частыхъ тостовъ во имя науки, просвѣщенія и прогресса сдѣлались потомъ горькими пьяницами". Наконецъ „общество" запуталось въ какихъ-то неблаговидныхъ дѣяніяхъ, повлекшихъ за собою вмѣшательство полиціи. Тентетниковъ, впрочемъ, успѣлъ во-время выйти изъ обще-

ства. Но все-таки ёкнуло его сердце, когда однажды, уже въ деревнѣ, онъ увидѣлъ бричку, подкатившую къ его крыльцу, и когда изъ нея выскочилъ съ быстротою и ловкостью почти военнаго человѣка господинъ необыкновенно приличной наружности... Тентетниковъ принялъ было Павла Ивановича Чичикова за „чиновника отъ правительства“.

„Общество“, о которомъ говоритъ Гоголь, а равно и „огорченные люди“ въ его описаніи и освѣщеніи — все это почти такъ же неправдоподобно и не соотвѣтствуетъ тогдашней дѣйствительности, какъ и идеальный воспитатель Александръ Петровичъ съ его удивительною школою, гдѣ вырабатывались умы высшаго порядка и закаленные характеры „гражданъ земли своей“.

Но зато отнюдь не фантастиченъ самъ Андрей Ивановичъ Тентетниковъ. Это — фигура, цѣликомъ выхваченная изъ жизни. Гоголь уловилъ характерную душевную складку людей этого типа, и Гончарову оставалось потомъ только глубже проанализировать и разобрать въ подробностяхъ психологію лѣни и безволія русскаго образованнаго человѣка, благородно мыслящаго и ничего не дѣлающаго, да и неспособнаго ни къ какому дѣлу.

Тентетниковъ сперва съ жаромъ принялся за дѣло улучшенія быта своихъ крестьянъ и устройства имѣнія, самъ во все входилъ, самъ надзиралъ за работами и т. п. Но скоро обнаружилось, что онъ рѣшительно неспособенъ ни благотворно вліять на крестьянъ, ни вести хозяйство. Крестьяне излѣнились, отбились отъ рукъ, стали пьянствовать, чинили всякія безобразія подъ носомъ у барина, котораго не боялись и не уважали. Все шло изъ рукъ вонъ плохо, и Тентетниковъ сразу охладѣлъ и бросилъ всѣ свои планы и затѣи. Эта способность охладѣвать при первой неудачѣ изображена очень ярко и заставляетъ насъ вспомнить не только Илью Ильича Обломова, но также хотя бы и Рудина и всѣхъ

16

русскихъ хорошихъ людей дореформеннаго времени, которые, не будучи лежебоками, однако столь же быстро и безъ достаточныхъ основаній охладѣвали къ своему излюбленному дѣлу при первомъ встрѣтившемся препятствіи и съ легкимъ сердцемъ бросали его, погружаясь въ лѣнь, скуку и хандру.

Эта черта въ Тентетниковѣ оттѣняется съ особенною рельефностью сопоставленіемъ съ противоположною чертою Чичикова. Живой, неутомимый, настойчивый, упорный въ преслѣдованіи своихъ цѣлей, Павелъ Ивановичъ Чичиковъ являетъ полную противоположность лежебоку и коптителю неба Андрею Ивановичу Тентетникову.

И невольно думается: если бы дать Андрею Ивановичу живой умъ, подвижность, энергію Павла Ивановича, а Павлу Ивановичу дать образованіе и благородный образъ мыслей Андрея Ивановича, мы имѣли бы передъ собою совсѣмъ иную картину нравовъ и общественной жизни и не узнали бы нашей дореформенной Руси съ ея темными проходимцами, дикими понятіями, жестокими нравами, бездѣйствующими идеалистами, скучающими господами и т. д. О такой преображенной Руси и мечталъ Гоголь и думалъ силою моральной проповѣди и художественнаго изображенія облагородить однихъ, возбудить энергію другихъ...

Преслѣдуя эту мудреную задачу, онъ все пристальнѣе всматривался въ русскую дѣйствительность и все глубже проникалъ въ душу русскаго человѣка, выслѣживая въ первой намеки на лучшее будущее, ища во второй проблесковъ добра и душевной силы,—и вотъ во второй части „Мертвыхъ душъ“ является передъ нами Русь уже не столь безнадежно-темная и неподвижная, какъ въ первой части, являются русскіе люди, о чемъ-то тоскующіе, мечтающіе, желающіе начать новую жизнь, сознающіе свои грѣхи, свое безобразіе, даже протестующіе,—и въ самомъ Павлѣ Ивановичѣ Чичиковѣ начинаетъ пробуждаться желаніе стать по-

рядочнымъ человѣкомъ... Какъ великій художникъ-реалистъ, Гоголь отлично понималъ всю трудность задачи. Отсюда эта неувѣренность и осторожность творческой работы, эта кропотливая переработка темы, наконецъ—сожженіе уже оконченнаго, но неудавшагося творенія, ложнаго въ цѣломъ, геніальнаго въ частяхъ.

Превосходно, прежде всего, сопоставленіе въ первыхъ главахъ Руси темной и нравственно спящей, представленной Павломъ Ивановичемъ Чичиковымъ, съ Русью новой, просвѣщенной, нравственно пробужденной, представленной фигурами Тентетникова и Улиньки.

Чичиковъ никакъ не можетъ понять обидчивости Тентетникова, который оскорбился тѣмъ, что генералъ Бетрищевъ сказалъ ему „ты", и который, несмотря на любовь къ его дочери, Улинькѣ, порвалъ знакомство съ нимъ, пожертвовавъ счастьемъ чувству собственнаго достоинства. У Павла Ивановича совсѣмъ нѣтъ „собственнаго достоинства" и нѣтъ его чувства, — понятно, поступокъ Тентетникова представляется ему какимъ-то нелѣпымъ сумасбродствомъ. И никакъ не могутъ они столковаться по этому пункту. — „Какъ?—сказалъ Тентетниковъ, смотря пристально въ глаза Чичикову, — вы хотите, чтобы я продолжалъ бывать у него послѣ такого поступка?" — „Да какой же это поступокъ? Это даже не поступокъ!" сказалъ Чичиковъ. „Какой странный человѣкъ этотъ Чичиковъ!" подумалъ про себя Тентетниковъ. „Какой странный человѣкъ этотъ Тентетниковъ!" подумалъ про себя Чичиковъ.

Еще пуще пришлось изумиться Чичикову, когда онъ услышалъ отъ Тентетникова, что онъ позволилъ бы говорить ему „ты" другому, если бы этотъ другой былъ просто почтенный человѣкъ, старикъ, бѣднякъ, не гордый, не чванливый, не генералъ. „Онъ совсѣмъ дуракъ!" подумалъ про себя Чичиковъ. „Оборвышу позволить, а генералу не позволить!" Очевидно, цѣлая пропасть залегла въ пониманіи

16*

вещей и въ моральномъ развитіи между Тентетниковымъ и Чичиковымъ. — Въ свою очередь изумился Тентетниковъ, когда Чичиковъ объявилъ ему, что ѣдетъ къ генералу „засвидѣтельствовать почтеніе“. „Какой странный человѣкъ этотъ Чичиковъ!“ подумалъ Тентетниковъ. „Какой странный человѣкъ этотъ Тентетниковъ!“ подумалъ Чичиковъ“.

Писемскій въ своей извѣстной статьѣ о второй части „Мертвыхъ душъ“, приведя это мѣсто, говоритъ: „Не правда ли, что во всей этой сценѣ какъ будто разговариваютъ два человѣка, отдаленные другъ отъ друга столѣтіемъ: въ одномъ ни воспитаніемъ, ни жизнью никакія нравственныя начала не тронуты, а въ другомъ они уже черезчуръ развиты... Странное явленіе, но въ то же время поразительно вѣрное дѣйствительности!“ („Полное собраніе сочиненій А. Ѳ. Писемскаго“, изд. М. О. Вольфа, 1895 г., т. 6-й, стр. 358). Самъ большой художникъ и знатокъ дореформенной Руси, Писемскій въ восторгѣ отъ фигуры Тентетникова. „...Не могу выразить, — говоритъ онъ, — какое полное эстетическое наслажденіе чувствовалъ я, читая первую главу, съ появленія въ ней и обрисовки Тентетникова. Надобно только вспомнить, сколько повѣстей писано на тему этого характера и у сколькихъ авторовъ только еще надумывалось что-то такое сказаться; надобно было потомъ приглядѣться къ дѣйствительности, чтобы понять, до какой степени лицо Тентетникова, нынче уже отживающее и рѣдѣющее [1]), тогда было современно и типично“ (тамъ же, стр. 353).

Свидѣтельство авторитетнаго современника имѣетъ для насъ большое значеніе. Писемскій увидѣлъ въ Тентетниковѣ хорошо знакомыя ему, тонкому наблюдателю жизни той эпохи, черты тѣхъ опустившихся, облѣнившихся дворянъ-помѣщиковъ, какихъ тогда было не мало и которые сами

[1]) Статья Писемскаго была написана въ 1855 году.

сознавали, что опускаются, пошлѣютъ, и порою съ болью сердца вспоминали лучшее время своей жизни, годы ученія, былыя мечты, неопредѣленныя, но живыя стремленія своей юности. Такъ и Тентетниковъ: „Когда привозила почта газеты, новыя книги и журналы и попадалось ему въ печати знакомое имя прежняго товарища, уже преуспѣвшаго на видномъ поприщѣ государственной службы или приносившаго посильную дань наукамъ и образованію всемірному, тайная тихая грусть подступала ему подъ сердце, и скорбная, безмолвно-грустная тихая жалоба на бездѣйствіе свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его... Градомъ лились изъ глазъ его слезы...“ („Мертв. души“, ч. II, гл. I).

Конечно, не всѣ Тентетниковы того времени были такими лежебоками, какъ гоголевскій. Въ послѣднемъ краски сгущены примѣрно такъ, какъ въ Обломовѣ Гончарова. Но психологія „ничегонедѣланія“ и причина душевнаго упадка, въ силу котораго образованные и одушевленные лучшими сремленіями молодые люди опускали руки, охладѣвали къ дѣлу, опошливались и погружались въ спячку, были все тѣ же: отсутствіе энергіи, вялость духа, дряблость чувства, слабость воли, — черты почти патологическія, выращенныя въ русскомъ человѣкѣ, въ особенности въ дворянинѣ-помѣщикѣ, характеромъ и условіями нашей исторической жизни вообще, разслабляющимъ и деморализующимъ воздѣйствіемъ крѣпостного права въ частности.

2.

Сопоставимъ теперь Тентетникова съ рядомъ предшествующихъ ему типовъ и посмотримъ, какое освѣщеніе получатъ они и жизнь, ими представляемая, отъ фигуры Гоголевскаго „Обломова“.

Тентетниковъ — не Чацкій. Цѣлая пропасть между ними — и въ смыслѣ характера, темперамента, общаго уклада натуры, и также въ отношеніи тѣхъ моментовъ общественнаго развитія, представитлями которыхъ они являются. Чацкій никогда не дошелъ бы до той распущенности и апатіи, какими характеризуется Тентетниковъ. А этотъ послѣдній, по всему строю своей душевной жизни, всего менѣе годился бы для роли, аналогичной роли Чацкаго, и для характеристики людей 20-хъ годовъ. Но при всемъ томъ есть нѣчто общее между нимъ и Чацкимъ. Это именно — отчужденность отъ окружающей среды, глубокій разладъ между ними и обществомъ. Мы видѣли выше, какъ Чичиковъ не понимаетъ Тентетникова, а Тентетниковъ — Чичикова. Мало того: Тентетниковъ „опустился", впалъ въ апатію и т. д. вовсе не въ томъ смыслѣ, чтобы онъ утратилъ пріобрѣтенное имъ душевное развитіе и приноровился къ окружающей грубой и пошлой средѣ. Напротивъ, его лѣнь и апатія отчасти тѣмъ и объясняются, что эта среда ему противна, что онъ не можетъ ладить съ нею, не въ силахъ даже выносить присутствія и разговора пошляковъ, невѣждъ, болтуновъ и другихъ представителей застоявшейся, умственно и нравственно убогой жизни. „Временами (читаемъ въ 1-й гл.) изъ сосѣдей завернетъ къ нему бывало отставной гусаръ-поручикъ, прокуренный насквозь трубочный куряка, или брандеръ-полковникъ, мастеръ и охотникъ на разговоры обо всемъ. Но и эго ему стало надоѣдать. Разговоры ихъ начали ему казаться какъ-то поверхностными; живое, ловкое обращеніе, потрепки по колѣну и прочія развязности начали ему казаться уже черезчуръ прямыми и открытыми. Онъ рѣшилъ съ ними раззнакомиться и произвелъ это даже довольно рѣзко. Именно, когда представитель всѣхъ полковниковъ-брандеровъ, наипріятнѣйшій во всѣхъ поверхностныхъ разговорахъ обо всемъ, Варваръ Николаичъ Вишнепокромовъ, пріѣхалъ къ

нему за тѣмъ именно, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философіи, и литературы, и морали, и даже состоянія финансовъ въ Англіи, онъ выслалъ сказать, что его нѣтъ дома, и въ то же время имѣлъ неосторожность показаться передъ окошкомъ. Гость и хозяинъ встрѣтились взорами. Одинъ, разумѣется, проворчалъ сквозь зубы: „скотина“, другой послалъ ему нѣчто въ родѣ свиньи. Такъ и кончилось знакомство. Съ тѣхъ поръ не заѣзжалъ къ нему никто. Уединеніе полное водворилось въ домѣ“.

„Общественное мнѣніе о немъ—читаемъ въ другомъ мѣстѣ той же главы,—было скорѣй неблагопріятное, чѣмъ благопріятное“. Сосѣдъ изъ отставныхъ штабъ-офицеровъ „выражался о немъ лаконическимъ выраженіемъ: естественнѣйшій скотина!“ Генералъ (Бетрищевъ) говорилъ: „Молодой человѣкъ не глупый, но много забралъ себѣ въ голову...“ „Капитанъ - исправникъ замѣчалъ: да вѣдь чинишка на немъ — дрянь; а вотъ я завтра же къ нему за недоимкой!“ Наконецъ „мужикъ его деревни на вопросъ о томъ, какой у нихъ баринъ, ничего не отвѣчалъ“.

Тентетниковъ, не хуже Чацкаго, сознаетъ и чувствуетъ пошлость и мракъ окружающей среды, и его одиночество, прежде всего, умственнаго и нравственнаго порядка. Какъ Чацкій, онъ въ своей средѣ, — лишній и чужой. Если Чацкій бѣжитъ „искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ“, то Тентетниковъ запирается у себя дома и живетъ въ полномъ одиночествѣ. Страстный протестъ Чацкаго, столь характерный для эпохи 20-хъ годовъ, низведенъ въ Тентетниковѣ къ вялому отчужденію и грустному одиночеству, типичнымъ для его времени. Времена перемѣнились. И если „протестъ“ Тентетникова, въ противоположность протесту Чацкаго, совершенно пассивенъ, если этотъ „герой безвременья“ вялъ, безстрастенъ, апатиченъ, то за нимъ все-таки остается, однако, та „заслуга“, что онъ уже настолько переросъ темную среду, что — психологиче-

ски—не въ состоянiи понимать ее. Она совершенно чужда ему, и этимъ также, кромѣ вялости и апатiи, объясняется пассивность его протеста. „Какой странный человѣкъ этотъ Чичиковъ!“ думаетъ онъ про себя... и находитъ, что при всемъ томъ Павелъ Ивановичъ—единственный человѣкъ, съ которымъ онъ, Тентетниковъ, можетъ жить подъ одной кровлей. Но, относясь такъ мягко и снисходительно къ Чичиковымъ, Тентетниковъ обнаруживаетъ горячность и темпераментъ, когда вспоминаетъ объ обидѣ, нанесенной ему генераломъ Бетрищевымъ. Разсказывая эту исторiю Чичикову, „смирный и кроткiй Андрей Ивановичъ засверкалъ глазами; въ голосѣ его послышалось раздраженiе оскорбленнаго чувства“. Это — потому, что въ немъ уже развилась и созрѣла личность, хотя и слабая въ дѣлѣ общественнаго протеста, но сильная сознанiемъ своего человѣческаго достоинства. Въ этомъ отношенiи онъ типиченъ для эпохи, когда общественный протестъ былъ почти невозможенъ, но зато, въ кругахъ мыслящихъ людей, вырабатывалась личность человѣческая, живущая высшими интересами мысли, занятая сложною внутреннею работою чувства, совѣсти, идей и возвышавшаяся до тонкоразвитого и очень чуткаго сознанiя своего человѣческаго достоинства.

Тентетниковъ—не Онѣгинъ. Но, читая о хлопотахъ его въ деревнѣ, объ его отношенiяхъ къ сосѣдямъ, объ его попыткахъ писать, о безуспѣшности этихъ попытокъ, мы невольно вспоминаемъ пушкинскаго героя. При всѣхъ индивидуальныхъ отличiяхъ они сближаются — какъ типы русскихъ интеллигентныхъ неудачниковъ.

Тентетниковъ, въ сущности, вовсе не такъ пассивенъ и безволенъ, какъ Обломовъ,—онъ только „холоденъ“, какъ Онѣгинъ, и, какъ онъ же, не умѣетъ выбрать себѣ дѣла по душѣ и берется за трудъ, къ которому неспособенъ. Его умъ жаждетъ работы, не хочетъ оставаться празднымъ, но

въ результатѣ выходитъ слѣдующее: „За два часа до обѣда Андрей Ивановичъ уходилъ къ себѣ въ кабинетъ, чтобы заняться серьезно, и, дѣйствительно, занятіе было, точно, серьезное. Оно состояло въ обдумываніи сочиненія, которое уже издавна и постоянно обдумывалось. Сочиненіе это долженствовало обнять всю Россію со всѣхъ точекъ — съ гражданской, политической, религіозной, философической; разрѣшить затруднительныя задачи и вопросы, заданныя ей временемъ, и опредѣлить ясно ея великую будущность; словомъ, большого объема. Но покуда все оканчивалось однимъ обдумываніемъ: изгрызалось перо, являлись на бумагѣ рисунки, и потомъ все это отодвигалось въ сторону, бралась, на мѣсто того, въ руки книга и уже не выпускалась до самаго обѣда. Книга эта читалась вмѣстѣ съ супомъ, съ соусомъ, жаркимъ и даже съ пирожнымъ, такъ что иныя блюда оттого стыли, а другія принимались вовсе нетронутыми...“

Мѣткое опредѣленіе Онѣгина, сдѣланное Веневитиновымъ, съ нѣкоторыми измѣненіями, вполнѣ примѣнимо къ Тентетникову. Вспомнимъ (см. въ гл. IV): „...опытъ поселилъ въ немъ (Онѣгинѣ) не страсть мучительную, не ѣдкую и дѣятельную досаду, а скуку, наружное безстрастіе, свойственное русской холодности (мы не говоримъ — русской лѣни)... Въ примѣненіи къ Тентетникову это гласило бы такъ: ничтожный опытъ жизни поселилъ въ немъ не страсть мучительную, не ѣдкую и дѣятельную досаду (какъ это было у Чацкаго), а скуку, апатію, безстрастіе (и не только наружное), свойственное русской холодности и русской лѣни...

Тентетниковъ—это родъ Онѣгина, перенесеннаго въ 40-е годы, и намъ думается, что Гоголь, создавая образы Тентетникова и Улиньки, невольно обращался мыслью къ Онѣгину и Татьянѣ...

Всего менѣе точекъ соприкосновенія у Тентетникова съ

Печоринымъ. У добраго Андрея Ивановича нѣтъ ни кипучихъ страстей, ни сатанинской гордости Печорина, — тѣмъ паче нѣтъ той силы характера, которою такъ ярко отличается лермонтовскій „герой безвременья“. Но если мы (въ гл. V) могли, при всѣхъ индивидуальныхъ отличіяхъ между Онѣгинымъ и Печоринымъ, занести ихъ, слѣдуя Бѣлинскому, въ одну группу, могли ихъ сблизить — какъ представителей одного и того же общественно-психологическаго типа, то не будетъ натяжкою и сближеніе, въ томъ же смыслѣ, Тентетникова съ Печоринымъ. По-своему, Тентетниковъ такой же лишній человѣкъ, какъ и Печоринъ, такъ же неуживчивъ, какъ и онъ, такой же, только совсѣмъ пассивный, отщепенецъ отъ среды. Правда, онъ не „чувствуетъ въ себѣ силы необъятныя“ и не кипитъ страстями, какъ Печоринъ, а стынетъ, какъ Онѣгинъ; не прожигаетъ жизни въ приключеніяхъ, романахъ, путешествіяхъ, дуэляхъ и т д., а сиднемъ сидитъ дома въ халатѣ, какъ Обломовъ,—но психологическая суть отщепенства, неудовлетвореннаго честолюбія и нравственнаго одиночества остается какъ тутъ, такъ и тамъ, все та же.

Какъ человѣкъ 40-хъ годовъ, Тентетниковъ ближе подходитъ къ Рудину, котораго онъ напоминаетъ „холодностью“ натуры, недостаткомъ силы воли, слабою работоспособностью. Рудинъ также пишетъ или „обдумываетъ“ большую статью, которую никогда не окончитъ... И, повидимому, какъ у того, такъ и у другого одною изъ причинъ неудачи литературныхъ предпріятій является неопредѣленность идей, расплывчатость міросозерцанія, недостатокъ подготовки къ умственному труду. Къ общей душевной апатіи присоединяется здѣсь еще и вялость мысли, „умственная апатія“, если можно такъ выразиться. Мало того: Тентетниковъ, оказывается, владѣетъ своего рода „музыкою краснорѣчія“, напоминающею чарующую рѣчь Рудина. Объ этомъ ничего не говорится въ сохранившемся текстѣ второй части „Мертвыхъ

душъ". Но въ извѣстной запискѣ Арнольди, гдѣ подробно изложено содержаніе сожженныхъ главъ, читанныхъ самимъ Гоголемъ въ Калугѣ у Смирновыхъ, находимъ между прочимъ слѣдующее:

„Благодаря посредничеству Чичикова, Тентетниковъ примиряется съ генераломъ Бетрищевымъ и пріѣзжаетъ къ нему. На вопросъ генерала о сочиненіи Тентетникова, послѣдній распространяется (съ цѣлью выгородить Чичикова, совравшаго, будто Тентетниковъ пишетъ исторію генераловъ) о томъ, что будто бы его задачею было — не писать обстоятельное сочиненіе о войнѣ 12-го года съ исторической точки зрѣнія, а только очертить тотъ общій подъемъ духа, то патріотическое возбужденіе и самопожертвованіе, которое охватило тогда всѣ классы общества, и представить яркую картину этихъ „невидимыхъ подвиговъ и высокихъ, но тайныхъ жертвъ". „Тентетниковъ (разсказываетъ Арнольди) говорилъ долго и съ увлеченіемъ, весь проникнулся въ эту минуту чувствомъ любви къ Россіи. Бетрищевъ слушалъ его съ восторгомъ, и въ первый разъ такое живое, теплое слово коснулось его слуха. Слеза, какъ брильянтъ чистѣйшей воды, повисла на сѣдыхъ усахъ. Генералъ былъ прекрасенъ; а Улинька? Она вся впилась глазами въ Тентетникова; она, казалось, ловила съ жадностью каждое его слово, она, какъ музыкой, упивалась его рѣчами; она любила его, она гордилась имъ!.. Когда Тентетниковъ кончилъ, водворилась тишина, всѣ были взволнованы..." (Сочиненія Н. В. Гоголя", подъ редакц. Н. С. Тихонравова, томъ III, стр. 558—559).

Точно сцена изъ „Рудина", и Тентетниковъ обнаруживается тутъ какъ истый „человѣкъ 40-хъ годовъ" — съ восторженною рѣчью, отъ которой кружится голова восторженной барышни, съ культомъ „всего высокаго, прекраснаго, благороднаго", и мы готовы уже сказать: вотъ въ чемъ настоящее призваніе этого человѣка — благородно мыслить, краснорѣчиво говорить и благотворно вліять на всѣхъ

имѣющихъ уши, чтобы слышать, — и это „дѣло“ Тентетниковъ могъ бы дѣлать не хуже самого Рудина.

Тентетниковъ представляетъ собою разновидность „человѣка 40-хъ годовъ“, характеризующуюся, въ отличіе отъ Рудина и другихъ, тѣмъ, что на ней нѣтъ того особаго отпечатка, какой налагала „школа“ московскихъ идеалистическихъ кружковъ, и еще тѣмъ, что слабость воли, безхарактерность, „русская холодность“ и безстрастіе доведены въ немъ до того предѣла, гдѣ человѣкъ—умный, образованный, молодой и, казалось бы, полный силъ, къ тому же не чуждый передовыхъ идей и стремленій вѣка—превращается въ „увальня“, „лежебока“, „байбака“.

Кромѣ Рудина, Тентетниковъ заставляетъ насъ вспомнить и о Лаврецкомъ или, лучше сказать, объ одномъ эпизодѣ въ его жизни, когда онъ—въ деревнѣ—почувствовалъ себя „на самомъ днѣ рѣки“. Уединеніе, одиночество, отчужденность отъ окружающей среды, тишина кругомъ и въ душѣ Лаврецкаго, сонныя мысли, дремотныя воспоминанія, убаюканныя грезы, тихое погруженіе въ душевную бездѣйственность—развѣ все это не та же „обломовщина“, хотя и кратковременная, не тотъ же, въ сущности, „журналъ дня“ Тентетникова, не тотъ же сонъ души, отъ котораго пробудилъ Лаврецкаго неугомонный и шумный Михалевичъ, обозвавшій, кстати, пріятеля „байбакомъ“, какъ опредѣляетъ Тентетникова Гоголь?

Лаврецкій не превратился въ „байбака“, не сдѣлался ни Тентетниковымъ, ни Обломовымъ, но, читая великолѣпныя страницы, изображающія деревенскую жизнь Лаврецкаго, мы невольно думаемъ: какъ однако пріятно русскому человѣку очутиться „на самомъ днѣ рѣки“, какъ манитъ его тихій сонъ души среди медлительной жизни, лѣниво протекающей вдали отъ шума и суеты, никуда не спѣшащей и какъ бы застывшей въ вѣковыхъ формахъ, являющихъ ложный видъ неподвижности и крѣпости...

3.

Весь рядъ — Чацкій, Онѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ, Лаврецкій, — какъ было указано нами въ своемъ мѣстѣ, характеризуется между прочимъ тѣмъ, что всѣ они — „вѣчные странники“ въ прямомъ и переносномъ, психологическомъ смыслѣ, вѣчно ищущіе и не находящіе „душевнаго пристанища“ одинокіе скитальцы въ юдоли дореформенной русской жизни.

Въ Тентетниковѣ, а за нимъ и въ Обломовѣ, примыкающихъ, въ общественно-психологическомъ смыслѣ, къ тому же ряду типовъ и какъ бы завершающихъ его, эта черта впервые устраняется. На вопросъ, въ чемъ главное отличіе Тентетникова и Обломова, какъ типовъ общественно-психологическихъ, отъ предшествующихъ имъ образовъ того же порядка, — мы отвѣтимъ такъ: они — не „странники“, не „скитальцы“, и ихъ отщепенство, ихъ душевное одиночество получило иное выраженіе — „покоя“, физической и психической бездѣятельности, застыло въ неподвижности, притаилось и замерло въ однообразіи будней, въ какой-то восточной косности.

Это отличіе и эта особенность Тентетникова и Обломова, какъ типовъ, явились выраженіемъ особыхъ мыслей, наблюденій и выводовъ ихъ авторовъ, Гоголя и Гончарова,—здѣсь ярко обнаруживается основной ихъ замыселъ, какого не было ни у Грибоѣдова, ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни даже у Тургенева (въ „Рудинѣ“ и въ „Двор. Гнѣздѣ“, мы не говоримъ о „Запискахъ охотника“, а равно и о послѣдующихъ его произведеніяхъ, 1860-хъ и 1870-хъ гг.).

Дѣло въ томъ, что эти поэты, создавая широкіе типы, воплощавшіе въ себѣ извѣстные моменты нашего общественнаго развитія, преслѣдовали задачу въ тѣсномъ смыслѣ пси-

хологическую: ихъ интересовалъ, по преимуществу, внутренній міръ героя, его характеръ, его настроеніе и т. д., а равно и психологія отношеній героя къ средѣ. Гоголь, какъ позже Гончаровъ, кромѣ этой задачи, ставилъ себѣ и другую: нарисовать картину экономической отсталости Россіи, показать, какъ плохо ведется у насъ помѣщичье хозяйство, какъ не устроены крестьяне, какъ мало заботъ прилагаютъ и какое неумѣніе обнаруживаютъ дворяне-помѣщики въ томъ дѣлѣ, къ которому они призваны по самому положенію своему. Это была задача, аналогичная той, какую впослѣдствіи, въ эпоху пореформенную, неоднократно выдвигала сатира Салтыкова и разрабатывалъ Терпигоревъ (С. Атава) въ своихъ извѣстныхъ очеркахъ „Оскудѣніе".

Что касается собственно Гоголя, то у него постановка и разработка этой важной темы, по необходимости, оказались неудачными и ложно направленными. Ибо для правильной ея постановки и разработки требовалось прежде всего основательное и раціональное политическое образованіе, котораго у Гоголя не было. Великій художникъ подошелъ къ вопросу — какъ моралистъ и, позволю себѣ сказать, какъ неврастеникъ, а не какъ политически образованный умъ, который бы ясно сознивалъ, что корень зла — въ крѣпостномъ правѣ и въ общемъ закрѣпощеніи мысли и совѣсти русскихъ людей.

Я попрошу читателя припомнить здѣсь то, что было сказано въ главѣ VIII о натурѣ, складѣ ума и настроеніяхъ Гоголя. Тамъ я указалъ на присущую великому поэту боязнь отрицанія, на его отвращеніе къ принципіальной критикѣ, къ партійнымъ раздорамъ и спорамъ. Всего этого не выносила его уравновѣшенная душа, его больная неврастеническая организація. Онъ жаждалъ внутренняго мира, успокоенія, согласія и примиренія партій, всяческаго „порядка". Пуще всего боялся онъ, чтобы не проникли къ намъ западно-европейскія отрицательныя направленія... Са-

мая умѣренная и осторожная критика основного строя жизни и установившихся порядковъ казалась ему зловѣщимъ предзнаменованіемъ грядущей катастрофы, всеобщаго разгрома и разложенія жизни. Онъ пугался „страшныхъ словъ“, даже такихъ, какъ слово „реформа“... Онъ хотѣлъ бы сохранить существующій строй въ его основахъ и вѣрилъ, что его можно облагородить силою моральной проповѣди и религіи. Художественное изображеніе отрицательныхъ сторонъ жизни, въ особенности же недостатковъ русскаго человѣка, казалось ему однимъ изъ могущественныхъ средствъ благотворнаго воздѣйствія на умы и сердца. Его творчество становилось, въ его глазахъ, дѣломъ моралиста-проповѣдника, который, не трогая основъ жизни, исправляетъ людей. Вторая часть „Мертвыхъ душъ“ была яркимъ выраженіемъ этой фантастической идеи.

Оттуда, между прочимъ, и та мечта объ идеальномъ учебномъ заведеніи, руководимомъ необыкновеннымъ наставникомъ, которая выразилась въ извѣстномъ эпизодѣ первой главы. Вернемся на минуту къ этой мечтѣ, — она въ высокой степени характерна для Гоголя. Въ старшемъ классѣ, гдѣ преподавалась „наука жизни“ и воспитывался характеръ „гражданина земли своей“, Александръ Петровичъ „возвѣщалъ, что доселѣ онъ требовалъ отъ учениковъ простого ума, теперь требуетъ ума высшаго, — не того ума, который умѣетъ подтрунить надъ дуракомъ и посмѣяться, но умѣющаго вынесть всякое оскорбленіе, спустить дураку и не раздражиться [1]). Здѣсь-то сталъ онъ требовать того, что другіе требуютъ отъ дѣтей. Это-то и называлъ онъ высшею степенью ума. Сохранить посреди какихъ бы то ни было огорченій высокій покой, въ которомъ вѣчно долженъ пребывать человѣкъ, — вотъ что называлъ онъ

[1]) Курсивъ мой.

умомъ"...[1]) Можно подумать, что это школа философовъ, во главѣ которой стоитъ своего рода Спиноза, только не европейскій, а азіатскій, и въ ней воспитываются будущіе индійскіе мудрецы, а не будущіе россійскіе — да еще дореформенные — чиновники и помѣщики...

Самъ ощущая потребность — почти органическую — въ „душевномъ покоѣ", въ мирѣ и, вмѣстѣ, подъемѣ строя мыслей, чувствъ и страстей, достигаемомъ путемъ религіозной практики и моральныхъ стремленій, Гоголь, при свойственномъ ему эгоцентризмѣ сознанія и субъективности творчества, вообразилъ, будто такую же потребность ощущаютъ или должны ощутить и многіе въ Россіи, въ особенности опустившіеся помѣщики, какъ Тентетниковъ, скучающіе господа, какъ Платоновъ, распущенные и разорившіеся Хлобуевы и т. д., а всего болѣе тѣ „огорченные люди", которые такъ нескладно и съ такимъ излишествомъ „негодуютъ" и безъ толку вопіютъ противъ „несправедливостей". И его больному уму рисовалась чудная картина: просвѣщенные, нравственно облагороженные, достигшіе „высшаго покоя" чиновники и помѣщики, не трогая „основъ", не суетясь, не горячась, не вопія, не „огорчаясь" и, слѣдовательно, не возбуждая ничьихъ подозрѣній, мирно, тихо, степенно дѣлаютъ „благое дѣло среди царящаго зла", устраиваютъ бытъ крестьянъ, ведутъ образцовое хозяйство, улучшаютъ нравы, благотворно вліяютъ на взяточниковъ и даже на проходимцевъ-Чичиковыхъ, морально дѣйствуютъ на всѣхъ поприщахъ и созидаютъ матеріальное и нравственное благосостояніе Россіи, которой устои — рабовладѣльческіе, бюрократическіе и авторитарные — остаются незыблемы...

Въ этомъ смыслѣ — и только въ этомъ — онъ и понималъ свое знаменитое „*впередъ!*" — „это чудное словцо, производящее такія чудеса надъ русскимъ человѣкомъ", словцо,

---

[1]) Курсивъ мой.

„котораго жаждетъ повсюду, на всѣхъ ступеняхъ стояній, всѣхъ сословій, званій и промысловъ, русскій человѣкъ"... („Мертв. души", ч. II, гл. I).

Второю частью „Мертвыхъ душъ" и предположенною третьею Гоголь и думалъ „крикнуть" это магическое слово „душѣ русскаго человѣка" „живымъ пробуждающимъ голосомъ" (тамъ же).

Итакъ, вотъ каковъ былъ замыселъ художника, и вотъ постановка вопроса. Передъ художникомъ стояла проблема матеріальнаго и духовнаго прогресса Россіи. Онъ понималъ эту проблему неправильно, ставилъ вопросъ нераціонально, и его „впередъ!", какъ онъ понималъ это „магическое словцо", въ нашихъ глазахъ либо значитъ „назадъ", либо, въ лучшемъ случаѣ, ровно ничего не значитъ... Но это не отнимаетъ у Гоголя заслуги самой постановки вопроса. И разъ этотъ вопросъ былъ поставленъ и на немъ сосредоточились интересы художника, — личность и психологія героя, олицетворяющаго извѣстный моментъ въ нашемъ общественномъ развитіи, должны были получить, въ свою очередь, новую постановку и новое освѣщеніе. Поэтъ подходилъ къ герою уже не съ прежнимъ вопросомъ, какъ и почему ты страдаешь и „душою скитаешься", а съ новымъ вопросомъ: почему ты ничего не дѣлаешь, не работаешь, не содѣйствуешь, по мѣрѣ силъ и возможности, матеріальному и духовному прогрессу страны? Въ самомъ вопросѣ уже заключалось обвиненіе, которое и выразилось въ изображеніи „ничегонедѣланія" героя, въ созданіи типа образованнаго и благородно мыслящаго лежебока. Болѣе или менѣе интересные герои, олицетворявшіе извѣстный моментъ умственнаго развитія нашего общества, превращались, словно по мановенію волшебнаго жезла, въ вялыхъ и скучныхъ Тентетниковыхъ и Обломовыхъ. Къ „бѣдности да бѣдности", изображенной въ первой части поэмы, къ безпросвѣтной темнотѣ міра Чичиковыхъ при-

соединилась теперь картина духовнаго обнищанія и упадка образованнаго общества, тоіі новой Руси, которая, казалось, такъ далеко ушла отъ міра Чичиковыхъ...

Благодаря исключительной художественной геніальности великаго юмориста, картина вышла изумительная и, несмотря на нераціональную постановку вопроса, глубоко правдивая. Образы Тентетникова, генерала Бетрищева, Пѣтуха, Кошкарева, Хлобуева, Платоновыхъ такъ ярки, такъ содержательны, такъ много и хорошо говорятъ, что узко моральная и политически отсталая точка зрѣнія автора какъ бы стушевывается, теряется изъ виду и, можно сказать, обезвреживается, и великое слово „впередъ", брошенное поэтомъ, получаетъ иной, болѣе глубокій, истинно прогрессивный смыслъ.

Оттуда — и тотъ культъ Гоголя, который передовые люди 50-хъ годовъ хранили столь же неизмѣнно, какъ и ихъ предшественники, люди 40-хъ годовъ. Несмотря на отсталость общественной мысли, на мистицизмъ, на выдуманные и фальшиво освѣщенные образы Костанжогло, Муразова и т. п., великій поэтъ оставался, въ глазахъ новаго поколѣнія, все тѣмъ же могучимъ двигателемъ общественнаго и національнаго сознанія, какимъ онъ былъ для Бѣлинскаго, Герцена и другихъ. Ярче всего сказалось это въ знаменитыхъ „Очеркахъ Гоголевскаго періода русской литературы", которыми Н. Г. Чернышевскій подвелъ итогъ критической работѣ 40-хъ годовъ и впервые выяснилъ великое значеніе творчества Гоголя и критики Бѣлинскаго. Здѣсь не лишнимъ будетъ привести отзывъ знаменитаго публициста о второй части „Мертвыхъ душъ".

„Многіе изъ этихъ отрывковъ (2-ой части, тогда только что изданной), писалъ Чернышевскій, рѣшительно такъ же слабы и по выполненію и особенно по мысли, какъ слабѣйшія мѣста „Переписки съ друзьями"; таковы особенно отрывки, въ которыхъ изображаются идеалы самого автора,

напр., дивный воспитатель Тентетникова, многія страницы отрывка о Костанжогло, многія страницы отрывка о Муразовѣ; но это еще ничего не доказываетъ. Изображеніе идеаловъ было всегда слабѣйшею стороною въ сочиненіяхъ Гоголя, и, вѣроятно, не только по односторонности таланта, которой многіе приписываютъ эту неудачность, сколько именно по силѣ его таланта, стоявшей въ необыкновенно тѣсномъ родствѣ съ дѣйствительностью: когда дѣйствительность представляла идеальныя лица, они превосходно выходили у Гоголя, какъ, напр., въ „Тарасѣ Бульбѣ"... „Далѣе критикъ указываетъ на тѣ вліянія, которымъ, по его мнѣнію, подчинялся Гоголь и которыя такъ пагубно отразились на „Перепискѣ съ друзьями" и на второй части „Мертв. душъ". „Сдѣлавъ эти оговорки (продолжаетъ Чернышевскій), внушенныя не только глубокимъ уваженіемъ къ великому писателю, но еще болѣе чувствомъ справедливаго снисхожденія къ человѣку, окруженному неблагопріятными для его развитія отношеніями, мы не можемъ, однакоже, не сказать прямо, что понятія, внушившія Гоголю многія страницы второго тома „Мертв. душъ", не достойны ни его ума, ни таланта, ни особенно его характера, въ которомъ, несмотря на всѣ противорѣчія, донынѣ остающіяся загадочными, должно признать основу благородную и прекрасную. Мы должны сказать, что на многихъ страницахъ второго тома, въ противорѣчіе съ другими и лучшими страницами, Гоголь является адвокатомъ закоснѣлости; впрочемъ, мы увѣрены, что онъ принималъ эту закоснѣлость за что-то доброе, обольщаясь нѣкоторыми сторонами ея, съ односторонней точки зрѣнія могущими представляться въ поэтическомъ и кроткомъ видѣ и закрывать глубокія язвы, которыя такъ хорошо видѣлъ и добросовѣстно изобличалъ Гоголь въ другихъ сферахъ, болѣе ему извѣстныхъ, и которыхъ не различалъ въ сферѣ дѣйствій Костанжогло, ему не столь хорошо знакомой..." Но все это съ избыткомъ вы-

купается рядомъ фигуръ и картинъ, проникнутыхъ гоголевскимъ юморомъ, гдѣ Гоголь остается „прежнимъ великимъ Гоголемъ“. Перечисливъ эти образы и сцены, Чернышевскій заключаетъ: „однимъ словомъ, въ этомъ рядѣ черновыхъ отрывковъ, которые намъ остались отъ второго тома „Мертв. душъ“, есть слабые, которые, безъ сомнѣнія, были бы передѣланы или уничтожены авторомъ при окончательной отдѣлкѣ романа, но въ большей части отрывковъ, несмотря на ихъ неотдѣланность, великій талантъ Гоголя является съ прежнею своею силою, свѣжестью, съ благородствомъ направленія, врожденной его высокой натурѣ“ [1]) („Очерки Гоголевскаго періода русской литературы“, С.-Петербургъ, 1892 г., стр. 7—11, примѣчаніе. — Впервые „Очерки“ были напечатаны въ „Современникѣ“ Некрасова въ 1855—1856 гг.).

Теперь, когда издано обширное, почти полное собраніе писемъ Гоголя и когда, трудами Тихонравова, Шенрока, Кирпичникова и др., освѣщены многія стороны его натуры, разъяснены обстоятельства его жизни, и т. д., мы имѣемъ возможность внести поправку въ этотъ, по существу вѣрный, отзывъ критика 50-хъ годовъ. Вліяніе „друзей“ на Гоголя было незначительно, и то, что Чернышевскій называетъ „закоснѣлостью“, было органически свойственно уму великаго поэта и находилось въ ближайшей причинной связи съ укладомъ его нервной организаціи и его психики. Но эта „закоснѣлость“, т.-е. отсталость его идеаловъ и невоспитанность его общественной мысли, не исключала „благородства направленія, врожденнаго его высокой натурѣ“. Онъ болѣлъ душою, онъ внутренно содрогался и скорбѣлъ при видѣ несовершенствъ нашей жизни, при созерцаніи всей нашей „бѣдности да бѣдности“, и напряженно, упорно, много лѣтъ подъ рядъ бился онъ надъ вопросомъ о причинахъ нашихъ язвъ и о средствахъ исцѣлить ихъ. Оттуда—

[1]) Курсивъ мой.

тотъ поворотъ художественныхъ интересовъ и замысловъ, въ силу котораго на первый планъ выдвигалась картина нашей „мерзости запустѣнія“ и изслѣдованіе психологіи русскаго человѣка, изъяны которой были — въ глазахъ поэта — главною причиною нашихъ бѣдъ, нашей матеріальной, экономической отсталости и нашего моральнаго вообще, гражданскаго, въ частности, извращенія.

И получалась такая картина русской жизни, какой не найдемъ ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Тургенева (въ „Рудинѣ“ и „Двор. гнѣздѣ“); и только Грибоѣдовъ, какъ политическій сатирикъ, отчасти — намеками — предвосхитилъ художественный діагнозъ Гоголя. Но и у Грибоѣдова—на первомъ планѣ „мильонъ терзаній“ Чацкаго, конфликтъ передового человѣка эпохи съ отсталою, закоснѣлою средой, какъ повторяется это у Пушкина, Лермонтова, Тургенева, при чемъ изъ-за страданій, изъ-за личной жизни тоскующаго, скучающаго, „душой скитающагося“ героя мы видимъ дореформенную Россію почти только какъ фонъ и рамку картины. У Гоголя она-то и выступаетъ на первый планъ, и „Мертвыя души“—истинная національная „поэма“, въ которой герой — Россія, и гдѣ показанъ не „мильонъ терзаній“ личности, а мильонъ экономическихъ и общественныхъ язвъ страны. И вышло такъ, что психологія русскаго человѣка, раскрытію которой, въ ея злѣ и — потомъ — въ ея добрѣ, посвятилъ Гоголь свой трудъ, явилась средствомъ изобразить наши общественные непорядки и язвы. И, можно сказать, читателю дѣла нѣтъ до „закоснѣлости“ автора: непорядки показаны и освѣщены такъ, что лучше всякой раціональной критики строя обнаруживаютъ его негодность. Вспомнимъ хотя бы того же Тентетникова, потомъ Хлобуева, потомъ Кошкарева, — и, становясь на точку зрѣнія блага и человѣческаго достоинства крестьянъ, мы невольно начнемъ отрицать самый строй, самый „порядокъ“ вещей, въ силу котораго трудящееся, земледѣльче-

ское населеніе страны является безотвѣтною собственностью помѣщиковъ, все равно какихъ, гуманныхъ ли, какъ Тентетниковъ, безпутныхъ ли, какъ Хлобуевъ, нелѣпыхъ ли, какъ Кошкаревъ... Дико звучатъ въ нашихъ ушахъ даже исполненныя лучшихъ намѣреній слова Тентетникова: „У меня 300 душъ крестьянъ... Если я позабочусь о сохраненіи, сбереженіи и улучшеніи ввѣренныхъ мнѣ людей и представлю государству 300 трезвыхъ, работящихъ подданныхъ,— чѣмъ моя служба будетъ хуже службы какого-нибудь начальника отдѣленія?..“ — точно дѣло идетъ о 300 баранахъ, объ улучшеніи породы скота, о собственности, съ которою можно поступить какъ угодно, можно сберечь и пріумножить, можно и растратить...

4.

Объясняя наши язвы и неустройства психическими особенностями русскаго человѣка, Гоголь въ своихъ поискахъ за „идеальнымъ типомъ“, именно идеальнымъ хозяиномъ и помѣщикомъ, пришелъ къ мысли, что нужно искать таковаго среди иностранцевъ, конечно, обрусѣлыхъ. Это долженъ быть по натурѣ, характеру, душевному складу—не „русскій“ человѣкъ, который будто бы отъ природы лѣнивъ и склоненъ къ моральной и всякой иной распущенности, и въ то же время это долженъ быть по языку, по національности, по симпатіямъ и т. д. человѣкъ вполнѣ „русскій“. Такого и нашелъ поэтъ въ обрусѣломъ грекѣ Костанжогло или Скудронжогло (какъ называется онъ въ первой редакціи текста). Эта мысль — искать „настоящаго“ дѣятеля, человѣка съ твердыми правилами, съ энергіей, съ инціативой среди обрусѣвшихъ иностранцевъ — во всякомъ случаѣ любопытна. Вслѣдъ за Гоголемъ пришелъ къ ней и Гончаровъ, выразившій ее въ фигурѣ обрусѣлаго нѣмца Штольца.

Въ III главѣ второй части „Мертвыхъ душъ", гдѣ впервые является Скудронжогло, Гоголь говоритъ о немъ слѣдующее:

„Лицо Скудронжогло было очень замѣчательно. Въ немъ было замѣтно южное происхожденіе. Волосы на головѣ и на бровяхъ темны и густы, глаза говорящіе, блеску сильнаго. Умъ сверкалъ во всякомъ выраженіи лица, и *ужъ ничего не было въ немъ соннаго* [1]. Но замѣтна однако же была примѣсь чего-то желчнаго и озлобленнаго. *Онъ былъ не совсѣмъ русскаго происхожденія. Есть много на Руси русскихъ не-русскаго происхожденія, въ душѣ однако же русскіе* [2]. Скудронжогло не занимался своимъ происхожденіемъ, находя, что это нейдетъ въ дѣло; притомъ не зналъ и другого языка, кромѣ русскаго". Сохранилось извѣстіе, что, такъ сказать, „натурою" для характера Скудронжогло послужилъ Гоголю откупщикъ Бенардаки, съ которымъ Гоголь былъ хорошо знакомъ. (См. В. И. *Шенрокъ*, „Матеріалы для біографіи Н. В. Гоголя", т. III, стр. 429).

Передъ нами любопытное наблюденіе художника, свидѣтельствующее о его внимательномъ отношеніи къ русской жизни. Дѣйствительно, у насъ есть много обрусѣлыхъ иностранцевъ и инородцевъ, которымъ нельзя отказать въ принадлежности къ русской національности (разъ ихъ родной языкъ — русскій); но въ психологическій составъ русскаго національнаго уклада они вносятъ нѣкоторыя черты, какихъ нѣтъ, или какія еще недостаточно отчетливо обозначались у русскихъ „русскаго происхожденія". Въ ряду этихъ чертъ Гоголь отмѣтилъ тѣ, присутствіе которыхъ у Скудронжогло выразилось прежде всего внѣшнимъ образомъ тѣмъ, что „ужъ ничего не было въ немъ соннаго". Гордость, энергія,

---

[1]) Въ противность сонному выраженію Платонова. Курсивъ мой.

[2]) Курсивъ мой.

практическій и живой умъ, сила воли, работоспособность, иниціатива, дѣловитость -- вотъ что замѣтилъ и чѣмъ заинтересовался Гоголь, наблюдая обрусѣлыхъ иностранцевъ, какихъ случалось ему встрѣчать. Онъ высоко цѣнилъ эти качества и — въ лицѣ Костанжогло — выставилъ ихъ, такъ сказать, въ укоръ и въ поученіе облѣнившимся Тентетниковымъ, скучающимъ Платоновымъ, промотавшимся Хлобуевымъ и т. д.

Въ чемъ собственно выразились положительныя „нерусскія“ качества Костанжогло, достаточно извѣстно: онъ — образцовый хозяинъ, искусный „пріобрѣтатель“, но онъ хозяйничаетъ и пріумножаетъ свое достояніе не просто какъ человѣкъ наживы, какъ „загребистая лапа“, а, такъ сказать, „идейно“, слѣдуя нѣкоторой „программѣ“, въ которой Гоголь видѣлъ именно то самое, что̀ нужно Россіи въ интересахъ ея экономическаго, моральнаго и гражданскаго развитія. Костанжогло не отдѣляетъ своихъ выгодъ, какъ помѣщика, отъ интересовъ мужика. Онъ строитъ свое благосостояніе на благосостояніи крестьянъ. Онъ заботится о своихъ крѣпостныхъ, помогаетъ имъ, учитъ ихъ уму-разуму. И его деревня являетъ рѣдкое зрѣлище мужицкой зажиточности и довольства. „Все тутъ было богато: торныя улицы, крѣпкія избы; стояла гдѣ телѣга — телѣга была крѣпкая и новешенькая; попадался ли конь — конь былъ откормленный и добрый; рогатый скотъ — какъ на отборъ, даже мужичья свинья глядѣла дворяниномъ. Такъ и видно, что здѣсь именно живутъ мужики, которые, какъ поется въ пѣснѣ, гребутъ серебро лопатой...“ (гл. III). Однимъ словомъ, это — иллюстрація къ излюбленной идеѣ Гоголя — о призваніи помѣщиковъ радѣть о крестьянахъ, не трогая крѣпостного права, и согласовать свои интересы землевладѣльца съ интересами мужика, служа тѣмъ самымъ и пользѣ государства. Этотъ крѣпостническій идеалъ Гоголь возвѣстилъ міру сперва въ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки

съ друзьями“, а во второй части „Мертвыхъ душъ“ онъ попытался дать ему художественное выраженіе, т.-е. создать соотвѣтственные образы и картины, въ основу которыхъ положены были бы наблюденія надъ самою дѣйствительностью. Нельзя отрицать, что въ ту эпоху могли встрѣчаться умные и добрые помѣщики-хозяева, радѣвшіе о благѣ своихъ крестьянъ и понимавшіе свои обязанности и свои выгоды такъ, какъ совѣтовалъ понимать ихъ Гоголь,—и въ этомъ смыслѣ фигура Костанжогло не представляетъ собою ни-ничего невозможнаго или ложнаго. Невозможно и ложно только возведеніе этой фигуры въ идеалъ, потому что это значитъ — оправдывать, санкціонировать крѣпостное право. Вполнѣ понятно то единодушное осужденіе, съ которымъ лучшая часть публики, не говоря уже о передовыхъ дѣятеляхъ литературы, отнеслась къ „идеальному хозяину и помѣщику“ Костанжогло. Даже Писемскій, человѣкъ, въ своемъ политическомъ образованіи недалеко ушедшій отъ Гоголя, писалъ: „До сихъ поръ всѣхъ героевъ „Мертвыхъ душъ“ (за исключеніемъ неудавшейся Улиньки) художникъ подчинялъ себѣ и своимъ воззрѣніемъ стоялъ выше ихъ, но въ Костанжогло вы сейчасъ чувствуете, что онъ самъ подчиняется ему, и изъ этого, полагаю, можно заключить, что это лицо — одинъ изъ обѣщанныхъ доблестныхъ мужей, къ которымъ долженъ возгорѣться любовью читатель. И посмотрите, сколько пріемовъ употреблено поэтомъ, чтобы освѣтить своего любимца приличнымъ свѣтомъ!..“ („Полное собраніе сочиненій А. Ѳ. Писемскаго“, изд. Вольфа, 1895 г., т. VI, стр. 366, статья „По поводу Мертвыхъ душъ“). Въ Костанжогло Писемскій видитъ „резонера, а не живое лицо“, и говоритъ, что Костанжогло „рѣшительно неспособенъ поселить вѣру въ то, что онъ хорошій человѣкъ“ (тамъ же, стр. 369). „Скажу еще болѣе откровенно,—продолжаетъ Писемскій: — вглядываясь внимательно въ живыя стороны Костанжогло, насколько ихъ авторъ далъ ему, сейчасъ видно

въ немъ какого-нибудь, должно быть, греческаго выходца, который, еще служа въ полку и нося эполеты, начиналъ при всякомъ удобномъ случаѣ обзаводиться выгоднымъ хозяйствомъ, а въ настоящее время уже монополистъ и загребистая, какъ прекрасно выразился Чичиковъ, лапа, которому и слѣдовало предоставить опытный, практическій умъ, оборотливость, твердость характера и ко всему этому приличную сухость сердца. Поэтическій взглядъ Костанжогло на хозяйство, доброе дѣло въ отношеніи къ Чичикову, которому онъ, не зная, кто онъ и что онъ за человѣкъ, даетъ 10.000 р. взаймы подъ расписку,— все это звучитъ такимъ фальшемъ, что даже грустно говорить объ этомъ подробно..." (тамъ же, стр. 369—370).

Несмотря на все это, я думаю однако, что подъ фальшивой идеализаціей Костанжогло и его дѣятельновти скрывался у Гоголя мотивъ, которому нельзя отказать въ нѣкоторой — психологической — законности. Какъ и въ наше время, такъ и въ эпоху дореформенную мыслящіе и чувствующіе люди не могли не принимать близко къ сердцу нашей экономической отсталости, вообще бѣдности нашей матеріальной культуры. Въ этомъ отношеніи Россія представляетъ поразительный контрастъ, съ одной стороны, съ Западною Европой, а съ другой — даже со старыми варварскими цивилизаціями Востока. Количество и качество труда, затрачиваемаго Россіей на выработку матеріальныхъ благъ, далеко уступаетъ количеству и качеству труда, затрачиваемаго на это западно-европейскими народами и такими азіатами, какъ китайцы и японцы. Это — фактъ, бьющій въ глаза. Его причины многообразны и сложны, и ужъ, конечно, нельзя сводить ихъ исключительно къ недостаткамъ нашей національной психологіи. Еще несомнѣннѣе то, что ихъ нельзя устранить, что нельзя поправить дѣло моральною проповѣдью,

обскурантизмомъ и застоемъ. Нормальный и единственно возможный путь нашего прогресса, матеріальнаго и духовнаго, ясно указанъ днемъ 19-го февраля 1861 года и идетъ въ направленіи раскрѣпощенія, свободы, развитія личности, упорядоченія и расширенія общественной инициативы, наконецъ — созданія политической самодѣятельности народа.

Тѣ, которые, подобно Гоголю, не могли почему бы то ни было возвыситься до этой простой, ясной и раціональной мысли, приходили при видѣ нашей всяческой „бѣдности да бѣдности" къ инымъ заключеніямъ и иной программѣ, поражающимъ „бѣдностью да бѣдностью" общественной мысли. „Программа" гласила: не надо намъ высшихъ благъ культуры: это для насъ роскошь, — народу едва ли нужна простая грамота, а всего болѣе необходимъ ему „страхъ Божій", и ежевыя рукавицы; помѣщикамъ не зачѣмъ учиться въ университетахъ и усваивать высшіе умственные интересы, философскія и разныя другія идеи, имъ нуженъ здравый смыслъ, практическія свѣдѣнія, усвоиваемыя опытомъ, охота и умѣніе пріобрѣтать и пріумножать свое достояніе, а равно — сознаніе, что должно, для ихъ же блага и для пользы государства, щадить и беречь крестьянъ, какъ должно беречь всякое иное имущество; наконецъ, что они, помѣщики, также должны жить въ „страхѣ Божьемъ" и избѣгать всякой распущенности и т. д. и т. д. Оттуда — этотъ культъ наживы и пріобрѣтенія, проповѣдуемый вмѣстѣ съ моралью, гражданскимъ долгомъ, религіей, христіанскимъ самоотверженіемъ, — странное совмѣщеніе и смѣшеніе понятій, свидѣтельствующее прежде всего о бѣдности философской и общественной мысли.

5.

Это фанастическое совмѣстительство культа наживы и культа моральнаго и религіознаго идеала яснѣе и беззакон-

нѣе выразилось въ фигурѣ откупщика Муразова. Онъ энергиченъ, дѣловитъ, оборотливъ, у него десять милліоновъ, и самъ Костанжогло пасуетъ и преклоняется передъ нимъ. Ко всему положительному, что̀ есть у Костанжогло, присоединяется въ Муразовѣ еще нѣкая высшая мудрость, христіанское смиренномудріе, глубокая религіозность аскетическаго пошиба... Это человѣкъ необыкновенной честности, — свои милліоны онъ нажилъ самымъ добросовѣстнымъ образомъ... Онъ пользуется всеобщимъ уваженіемъ; его высоко цѣнитъ самъ генералъ-губернаторъ, представитель идеи просвѣщеннаго и благожелательнаго абсолютизма, снисходительно выслушивающій его совѣты и даже упреки въ излишней горячности и скороспѣлости рѣшеній...

Въ лицѣ Муразова опустившимся и душевно-слабымъ дворянамъ-помѣщикамъ противопоставленъ „истинно-русскій" человѣкъ крестьянскаго происхожденія. Рядомъ съ поисками дѣлового человѣка, положительнаго типа изъ обрусѣлыхъ иностранцевъ, поэтъ обращается къ народу и ищетъ настоящаго человѣка и дѣятеля въ крестьянской средѣ. Какъ ни хорошъ — въ глазахъ Гоголя — Костанжогло, онъ все-таки далекъ отъ идеала, лелѣемаго поэтомъ: онъ желченъ, онъ горячъ, негодуетъ, волнуется, неспокоенъ духомъ, неспособенъ снисходить и прощать... Муразовъ, напротивъ, — воплощенная кротость и смиреніе, высшее спокойствіе духа, та „мудрость", которой училъ воспитатель Тентетникова, Александръ Петровичъ...

Пусть эти поиски оказались неудачными и найденные Гоголемъ „положительные типы" вышли фальшивыми, — общее впечатлѣніе и смыслъ картины, развертывающейся передъ нами во второй части „Мертвыхъ душъ", пострадали отъ этого гораздо меньше, чѣмъ можно было ожидать. Скажу болѣе: фигуры Костанжогло и Муразова еще усиливаютъ это впечатлѣніе и придаютъ картинѣ особое значеніе, какого поэтъ отнюдь не имѣлъ въ виду.

Картина выходитъ такая:

Облѣнившійся и вялый „коптитель неба“, „байбакъ“ Тентетниковъ, — не глупый, но своенравный генералъ Бетрищевъ (одна изъ великолѣпнѣйшихъ генеральскихъ фигуръ въ нашей литературѣ), — обжора Пѣтухъ, томящійся хандрой Платонъ Платоновъ (новое воплощеніе онѣгинской и печоринской тоски), — его братъ Василій, добропорядочный, но чудаковатый помѣщикъ, возлагающій всѣ упованія на русскій національный костюмъ и русскій національный напитокъ — квасъ (очевидная сатира на славянофильство), далѣе — полоумный западникъ Кошкаревъ, возлагающій всѣ упованія на нѣмецкое платье и бюрократическое дѣлопроизводство, — безпутный Хлобуевъ, помѣщикъ изъ чиновниковъ Лѣницынъ, не умѣющій рѣшить вопроса, дозволено или не дозволено продавать мертвыя души, — объѣзжающій всю эту великолѣпную „галлерею типовъ“ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, попадающій, наконецъ, подъ судъ, — затѣмъ изображеніе слѣдствія надъ нимъ, удивительная фигура „юрисконсульта“, мошенничества чиновниковъ, полное безсиліе власти, которая рѣшительно не въ состояніи справиться съ заварившейся кашей, — генералъ-губернаторъ, одушевленный лучшими намѣреніями, но дѣйствующій сгоряча и опрометчиво, голодъ въ губерніи, волненія раскольниковъ... вотъ она, Русь, наша дореформенная, гоголевская Русь, исправить грѣхи и уврачевать язвы которой оказываются безсильны идеальные помѣщики Костанжогло и премудрые откупщики Муразовы, т.-е. консервативныя и религіозно-нравственныя идеи, проповѣдникомъ которыхъ былъ Гоголь. Такова картина и таковъ ея смыслъ, не предвидѣнный поэтомъ, но самъ собою выступающій изъ обломковъ великой поэмы.

Разставаясь съ нею, упомянемъ еще объ одномъ лицѣ, въ ней выведенномъ. Я говорю объ Улинькѣ, дочери гене-

рала Бетрищева, невѣстѣ Тентетникова. Писемскій, цитируя то мѣсто, гдѣ Гоголь описываетъ ея наружность и ея необыкновенныя душевныя качества, находитъ это описаніе реторичнымъ, фальшивымъ, ставитъ его ниже соотвѣтственныхъ изображеній у Марлинскаго и о самой героинѣ высказываетъ суровое сужденіе, какъ о лицѣ неправдоподобномъ и „сочиненномъ“. Я рѣшительно не могу согласиться съ такою оцѣнкою. Правда, изображеніе Улиньки проведено въ приподнятомъ тонѣ; но этотъ тонъ, въ данномъ случаѣ, ничуть не мѣшаетъ художественной правдѣ: такія натуры, какъ Улинька, были и есть. Улинька Гоголя — достойная предшественница героинь Тургенева. Здѣсь, какъ и во многомъ другомъ, Гоголь намѣтилъ путь дальнѣйшихъ художественныхъ изысканій. Натура честная и чистая, пылкая и смѣлая, вся — восторженность и протестъ, Улинька воплощаетъ въ себѣ хорошо знакомыя намъ черты передовой русской женщины, и никакой „фальши“ тутъ нѣтъ.

Въ концѣ предшествующей главы VIII мы сказали, что второю частью „Мертвыхъ душъ“ Гоголь поставилъ ребромъ вопросъ о „русскомъ человѣкѣ“ и что эта постановка явилась отправною точкою нѣкоторыхъ сторонъ въ творчествѣ послѣдующихъ писателей. Теперь, послѣ всего сказаннаго въ этой главѣ, мы можемъ опредѣленнѣе указать эти стороны. Картина провинціальной жизни (помѣщики, чиновники, мужики) и дореформенныхъ порядковъ, начертанная Гоголемъ, получитъ дальнѣйшую разработку въ повѣстяхъ Писемскаго и въ ранней сатирѣ Щедрина („Губернскіе очерки“, „Невинные разсказы“). Исканіе въ народѣ „положительнаго типа“ (у Гоголя неудавшееся) составитъ излюбленную мысль писателей-народниковъ, которые подойдутъ къ этой задачѣ безъ той предвзятой идеи, какая вдохновляла Гоголя, и безъ неумѣстной идеализаціи откупщиковъ и дѣльцовъ.

Тургеневскія женщины оправдываютъ гоголевскую Улиньку. Наконецъ, типъ лежебока Тентетникова получитъ новую, болѣе обстоятельную обработку и иное освѣщеніе въ знаменитомъ романѣ Гончарова, гдѣ будетъ опять взята тема противопоставленія дѣловитаго обрусѣвшаго иностранца русскому лежебоку.

Типъ Обломова — одинъ изъ самыхъ широкихъ въ нашей художественной литературѣ, картина „обломовщины", нарисованная Гончаровымъ, доселѣ остается единственною въ своемъ родѣ, какъ единственнымъ остается критическое истолкованіе типа и картины, сдѣланное Добролюбовымъ въ знаменитой статьѣ „Что такое обломовщина?"

Романомъ Гончарова, преимущественно фигурою Ильи Ильича Обломова, и статьей Добролюбова былъ въ свое время подведенъ итогъ цѣлой эпохѣ. Разсмотрѣнію и провѣркѣ этого итога мы посвятимъ слѣдующую главу.

ГЛАВА X.

Илья Ильичъ Обломовъ.

1.

Типъ Обломова, которымъ Гончаровъ обезсмертилъ свое имя, по праву признается однимъ изъ самыхъ глубокихъ по замыслу и удачныхъ по исполненію созданій нашей художественной литературы. — Это одинъ изъ тѣхъ растяжимыхъ, много говорящихъ образовъ, обобщающее дѣйствіе которыхъ простирается далеко за предѣлы того, что непосредственно дано въ нихъ.

Это сказывается, во-первыхъ, тѣмъ, что образъ Обломова подводитъ итогъ цѣлому ряду типовъ, ему предшествовавшихъ, а весь романъ завершаетъ эпоху, подводя итогъ Руси дореформенной, Руси крѣпостнической. Во-вторыхъ, обобщающее дѣйствіе обломовскаго типа, какъ это показалъ Добролюбовъ, простирается на множество натуръ, характеровъ, умовъ, какихъ Гончаровъ не имѣлъ въ виду и для которыхъ лицо Ильи Ильича Обломова, въ его ярко выраженной индивидуальности, отнюдь не типично. Дѣло въ томъ, что въ этой художественной фигурѣ, кромѣ конкретнаго лица Ильи Ильича Обломова, пріуроченнаго къ опредѣленному времени, къ извѣстному соціальному строю, заключенъ еще и другой, болѣе обобщенный образъ, другой Обломовъ, не

пріуроченный къ данному времени и данному порядку вещей, — Обломовъ уже не историческій, не бытовой, а, такъ сказать, психологическій, — и этотъ послѣдній и сейчасъ живъ и здравствуетъ, между тѣмъ какъ первый, конкретный Илья Ильичъ, уже отошелъ въ прошлое и является для насъ фигурою историческою.

Знаменитый романъ не только повѣствуетъ объ Обломовѣ и другихъ лицахъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ яркую картину „обломовщины“, и эта послѣдняя, въ свою очередь, оказывается двоякою: 1) обломовщиною бытовою дореформенною, крѣпостническою, которая для насъ — уже прошлое, и 2) обломовщиною психологическою, не упраздненною вмѣстѣ съ крѣпостнымъ правомъ и продолжающеюся при новыхъ порядкахъ и условіяхъ.

Это растяженіе типа, это распространеніе картины обломовщины за грань эпохи не только заставляетъ насъ думать, что старина живуча, что прошлое оставило послѣ себя свои пережитки, свое наслѣдіе и завѣщаніе, но, кромѣ того, внушаетъ намъ рядъ иныхъ мыслей, относящихся уже не къ смѣнѣ эпохъ, а къ психологіи и психопатологіи русскаго національнаго уклада. Обломовъ — типъ національный, обломовщина—явленіе специфически-русское, и Гончаровъ, создавая эти художественныя „понятія“, продолжалъ дѣло Гоголя — изслѣдованіе „порчи“ „русскаго человѣка“, „искривленія“ нашей національной физіономіи.

Все это, вмѣстѣ взятое, придаетъ глубокій неувядающій интересъ классическому произведенію Гончарова.

Обращаясь къ анализу этого „истинно-русскаго“ бытового и психологическаго типа, начнемъ съ вопроса объ отношеніи Обломова къ людямъ 40-хъ годовъ.

Что этимъ послѣднимъ были свойственны нѣкоторыя обломовскія черты, это достаточно извѣстно, — благодаря классической статьѣ Добролюбова „Что такое обломовщина?“.

Но Добролюбовъ открываетъ тѣ же черты и у ихъ предше-

ственниковъ, людей 30-хъ и 20-хъ годовъ, начиная Онѣгинымъ. Онъ говоритъ „...раскройте, напр., „Онѣгина“, „Героя нашего времени“, „Кто виноватъ“ „Рудина“ или „Лишняго человѣка“, или „Гамлета Щигровскаго уѣзда“, — въ каждомъ изъ нихъ вы найдете черты, почти буквально сходныя съ чертами Обломова („Сочиненія Н. А. Добролюбова“, т. II, стр. 486). — Слѣдуетъ рядъ сопоставленій, гдѣ не забыть и Тентетниковъ. — „Во всей семьѣ та же обломовщина“, заключаетъ Добролюбовъ.

Отсылая читателя къ статьѣ знаменитаго критика, мы не будемъ повторять здѣсь его доводовъ и попытаемся пойти дальше. Оставляя въ сторонѣ Онѣгина, Печорина и вообще эпоху 20—30 годовъ и имѣя въ виду только людей 40-хъ годовъ въ тѣсномъ смыслѣ (типы Рудина, Лаврецкаго, Тентетникова и др.— и соотвѣтственные оригиналы), мы не будемъ искать въ нихъ обломовскихъ чертъ, уже указанныхъ Добролюбовымъ, но постараемся оттѣнить присутствіе свойственныхъ имъ и для нихъ характерныхъ чертъ въ Обломовѣ (на что также было указано Добролюбовымъ), а засимъ остановимся дольше на тѣхъ чертахъ, которыми Обломовъ р ѣ з к о о т л и ч а е т с я отъ людей 40-хъ годовъ. Мы увидимъ, что для пониманія Обломова — к а к ъ и т о г а,— необходимо имѣть въ виду не только черты сходства съ людьми 40-хъ гг., но и черты отличія.

Прежде всего — одно замѣчаніе хронологическаго характера. Строго говоря, Обломовъ — человѣкъ не 40-хъ, а 50-хъ годовъ [1]). Это хронолтгическое различіе имѣетъ свое зна-

[1]) Гончаровъ писалъ романъ лѣтъ 10, съ конца 40-хъ годовъ до конца 50-хъ. Въ печати романъ появился въ 1859 г. (въ «Отечественныхъ Запискахъ» Краевскаго).— Дѣйствіе пріурочено, очевидно, къ 50-мъ годамъ. Оно растянуто на нѣсколько лѣтъ, а послѣднія страницы ясно указываютъ на наступленіе новой эпохи и новыхъ вѣяній второй половины 50-хъ годовъ. Только дѣтство, учебные годы и молодость Ильи Ильича относится къ 40-мъ годамъ.

ченіе,— оно вполнѣ гармонируетъ со всѣми отношеніями Обломова къ „настоящимъ" людямъ 40-хъ годовъ.

Илья Ильичъ Обломовъ унаслѣдовалъ отъ 40-хъ годовъ извѣстные умственные интересы, вкусъ къ поэзіи, даръ мечты, гуманность и то, что можно назвать душевною воспитанностью. Знакомый обликъ идеалиста-мечтателя встаетъ въ нашемъ воображеніи, когда о „байбакѣ", лежащемъ цѣлый день на диванѣ, узнаемъ, что „ему доступны были наслажденія высокихъ помысловъ" и что „онъ не чуждъ былъ всеобщихъ человѣческихъ скорбей" (часть I, гл. VI).— Недаромъ этотъ человѣкъ воспитывался въ 40-хъ годахъ и учился въ московскомъ университетѣ, этомъ центрѣ и разсадникѣ тогдашняго идеализма.— Какъ всѣ лучшіе люди той эпохи, „онъ горько въ глубинѣ души плакалъ, въ иную пору, надъ бѣдствіями человѣчества, испытывалъ безвѣстныя, безыменныя страданія и тоску и стремленіе куда-то вдаль..." (ч. I, гл. VI).— Все это Гончаровъ опредѣляетъ выраженіемъ „внутренняя волканическая работа пылкой головы, гуманнаго сердца" (тамъ же),— и это опредѣленіе, на первый взглядъ, какъ-то не вяжется съ нашимъ представленіемъ о вѣчно-заспанномъ лежебокѣ и вяломъ обитателѣ Гороховой улицы.

Тѣмъ не мѣнѣе это несоотвѣтствіе типично и полно глубокаго смысла. Уже у людей 40-хъ годовъ мы замѣчаемъ признаки такого душевнаго противорѣчія — между „волканической" работою мысли, пылкостью гуманной мечты съ одной стороны и нѣкоторою пассивностью натуры съ другой. Но въ Обломовѣ это противорѣчіе доведено до крайности, какая для людей 40-хъ годовъ не характерна. У послѣднихъ „волканической работѣ пылкой головы и гуманнаго сердца" отвѣчала все-таки извѣстная внѣшняя дѣятельность или, по крайней мѣрѣ, стремленіе къ ней. Они стремились выразить такъ или иначе то, что наполняло ихъ душу,— они жаждали обмѣна мысли и старались распространять свои

идей: они жили кружками, гдѣ было много шуму, споровъ, восторговъ, изліяній. Имѣть аудиторію, вліять на умы, волновать сердце силою мысли и рѣчи было для нихъ насущною душевною потребностью. Они были „ораторы“ и „пропагандисты“. Въ этомъ и состояла ихъ „дѣятельность“. И, если они подлежатъ упреку въ вялости дѣйствующей воли, то въ этомъ случаѣ имѣется въ виду практическая дѣятельность, и, кромѣ того, упрекъ отчасти смягчается соображеніемъ о неблагопріятныхъ для нея условіяхъ времени. И нужно все-таки помнить, что стремленіе къ практической дѣятельности обнаруживали не только Рудины и Лаврецкіе, но даже Тентетниковъ, по крайней мѣрѣ, въ первое время его жизни въ деревнѣ. „Настоящіе“, лучшіе люди 40-хъ годовъ подлежатъ упреку только въ недостаткѣ стойкости, настойчивости, выдержки въ трудѣ вообще, въ практической дѣятельности въ особенности. Оставляя въ сторонѣ людей исключительныхъ, какъ Грановскій, Герценъ, Бѣлинскій, мы скажемъ, что нѣкоторая пассивность натуры, нѣкоторый родъ умѣренной „обломовщины“ былъ присущъ большинству идейныхъ или просто хорошихъ людей 40-хъ годовъ. Этотъ родъ „обломовщины“ у иныхъ получалъ болѣе рѣзкое выраженіе и переходилъ въ ту душевную вялость и апатію, отъ которыхъ уже недалеко до полной бездѣятельности и безволія Обломова. Переходная ступень отъ пассивности, отъ умѣренной обломовщины людей 40-хъ годовъ до уже патологической обломовщины Ильи Ильича всего лучше представлена фигурами Тентетникова и Платона Платонова.

Отъ лучшихъ людей 40-хъ годовъ Илья Ильичъ Обломовъ рѣзко отличается тѣмъ, что не только не можетъ и не умѣетъ, но и не хочетъ „дѣйствовать“. Не говоря уже о какой бы то ни было практической дѣятельности, ему тягостна даже и та, которая сводится къ простому обнаруженію его мыслей и чувствъ. На всемъ протяженіи романа

онъ только два или три раза оживился (не считая, разумѣется, разговоровъ съ Ольгой и препирательствъ съ Захаромъ) и пустился излагать свои „взгляды“, „убѣжденія“ и „идеалы“: въ спорѣ съ литераторомъ Пенкинымъ (ч. I, гл. II) и въ разговорахъ со Штольцемъ, о которыхъ будетъ у насъ рѣчь ниже. За вычетомъ этихъ случаевъ, Илья Ильичъ такъ усердно скрываетъ свои мысли, чувства, мечты, что мы бы и не подозрѣвали объ ихъ существованіи, если бы Гончаровъ не позаботился засвидѣтельствовать, что Обломову „доступны были наслажденія высокихъ помысловъ“ и т. д. Вообще о „внутренней жизни“ Ильи Ильича мы знаемъ только со словъ Гончарова, который, познакомивъ насъ съ нею, говоритъ (въ концѣ главы VI I части): „Никто не зналъ и не видалъ этой внутренней жизни Ильи Ильича: всѣ думали, что Обломовъ такъ себѣ, только лежитъ да кушаетъ на здоровье и что больше отъ него нечего ждать; что едва ли у него вяжутся и мысли въ головѣ. Такъ о немъ и толковали вездѣ, гдѣ его знали“.

„Внутреннюю жизнь“ Обломова зналъ только одинъ человѣкъ — Штольцъ.

Если Обломовъ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, „человѣкъ 40-хъ годовъ“, то мы скажемъ, что это такой „человѣкъ 40-хъ годовъ“, который облѣнился и опустился до того, что, въ противоположность Тентетникову, даже пересталъ читать книги, и прежде всего долженъ быть, вмѣстѣ съ Тентетниковымъ, причисленъ, говоря словами Гоголя, „къ семейству тѣхъ людей, которыхъ на Руси много, которымъ имена — увальни, лежебоки, байбаки и тому подобныя“.

Не лишено значенія и то, что Обломову лѣнь читать. „Я у тебя и книгъ не вижу“, упрекаетъ его Штольцъ. „Вотъ книга!“ замѣтилъ Обломовъ, указавъ на лежавшую на столѣ книгу. „Что такое?—спросилъ Штольцъ, посмотрѣвъ книгу.— „Путешествіе въ Африку“. И страница, на которой ты остановился, заплѣсневѣла. Ни газеты не видать. Читаешь ли

ты газеты?" — „Нѣтъ, печать мелка, портитъ глаза... и нѣтъ надобности..." (ч. II, гл. III). Въ другомъ мѣстѣ мы узнаемъ, что „неестественно [1]) и тяжело казалось ему... неумѣренное чтеніе..." и что „серьезное чтеніе его утомляло" [1]), — „мыслителямъ не удалось расшевелить въ немъ жажду къ умозрительнымъ истинамъ..." (ч. I, гл. IV).

Этою косностью мысли, этой апатіей ума Обломовъ рѣзко отличается отъ „настоящихъ" людей 40-хъ годовъ. Мы говорили въ своемъ мѣстѣ о философской жаждѣ, которою они были томимы, объ ихъ философскихъ дарованіяхъ, о томъ, какъ искали они и умѣли находить, при помощи то Шеллинга, то Гегеля, объединяющія идеи, о томъ, какъ вырабатывали они свое міросозерцаніе и т. д.

Въ противоположность имъ, Илья Ильичъ Обломовъ не только не стремится къ выработкѣ цѣльнаго философскаго міровоззрѣнія, но, повидимому, даже и не способенъ чувствовать необходимость объединяющей идеи. „Голова его представляла сложный архивъ мертвыхъ дѣлъ, лицъ, эпохъ, цифръ, религій, ничѣмъ не связанныхъ [2]) политико-экономическихъ, математическихъ и другихъ истинъ, задачъ, положеній и т. п. Это была какъ будто библіотека, состоящая изъ однихъ разрозненныхъ томовъ по разнымъ частямъ знаній" (ч. I, гл. VI).

Его образованіе скудно и хаотично. У него нѣтъ „того груза знаній, которыя бы могли дать направленіе вольно гуляющей въ головѣ или праздно дремлющей мысли" (тамъ же).

И опять спросимъ себя: какъ же согласовать съ этимъ „волканическую работу пылкой головы"?

Эта „работа" и „пылкость" выражаются въ необузданной мечтательности Обломова, въ игрѣ его воображенія. Фантазировать, — это единственное излюбленное занятіе Ильи

[1]) Курсивъ мой. [2]) Курсивъ мой.

Ильича, которому онъ предается съ тѣмъ же усердіемъ, съ какимъ лежитъ на диванѣ въ халатѣ и туфляхъ. Главный предметъ его мечты — онъ самъ, его жизнь. Онъ все „чертитъ узоръ своей жизни“ (ч. I, гл. VI), находя въ ней цѣлый кладезь „премудрости и поэзіи“. „Измѣнивъ службѣ и обществу, онъ началъ иначе рѣшать задачу существованія, вдумывался въ свое назначеніе и, наконецъ, открылъ, что горизонтъ его дѣятельности и житья-бытья кроется въ немъ самомъ“ (тамъ же).—Въ этой „работѣ мысли“, направленной на задачу самоопредѣленія и начертанія „узора собственной жизни“, различаются двѣ стороны: одна, такъ сказать, общественная, другая — чисто личная. Первая выражается въ обдумываніи „новаго, свѣжаго, сообразнаго съ потребностями времени плана устройства имѣнія и управленія крестьянами“. —„Онъ нѣсколько лѣтъ неутомимо работаетъ надъ планомъ, думаетъ, размышляетъ и ходя, и лежа; то дополняетъ, то измѣняетъ разныя статьи, то возобновляетъ въ памяти придуманное вчера и забытое ночью; а иногда вдругъ, какъ молнія, сверкнетъ новая, неожиданная мысль и закипитъ въ головѣ — и пойдетъ работа“ (тамъ же).

Такая мечтательность была бы не къ лицу „настоящему“ человѣку 40-хъ годовъ. Она характерна именно для празднаго лежебока, у котораго еще сохранился нѣкоторый запасъ душевной энергіи, находящей себѣ исходъ въ этой игрѣ „вольно гуляющей въ головѣ или праздно дремлющей мысли“. Это — своего рода сны наяву, повидимому, указывающіе не только на праздность, но и на нѣкоторую ненормальность душевной жизни.

Принимая въ соображеніе все это, мы приходимъ ко взгляду на Обломова, какъ на эпигона или, пожалуй, выродка людей 40-хъ годовъ. Эти послѣдніе составляли цвѣтъ интеллигенціи своего времени. Обломовъ — не только не „цвѣтъ“, но его, строго говоря, даже трудно причислить къ настоящей интеллигенціи. Въ сущности, среда,

къ которой онъ наиболѣе подходитъ, это — либо патріархальная, полуобразованная среда захолустныхъ помѣщиковъ стараго времени, либо мѣщанство того типа, какой изображенъ въ послѣднихъ главахъ романа. И сама Обломовка, какъ она представлена въ знаменитомъ „Снѣ Обломова“, вовсе не принадлежитъ къ числу тѣхъ „дворянскихъ гнѣздъ“, которыя въ доброе старое время были истинно-культурными уголками и разсадниками свѣта, мысли, идей, великодушныхъ чувствъ и гуманности. Обломовцы, изъ среды которыхъ вышелъ Илья Ильичъ, — не интеллигенція, и самъ онъ — лишь случайный пришлецъ въ образованномъ и мыслящемъ обществѣ, откуда его такъ и тянетъ, можно сказать, стихійно и инстинктивно тянетъ къ иной средѣ — попроще, гдѣ не ломаютъ головы надъ мудреными вопросами, гдѣ мысль, чувство и воля могутъ мирно дремать на лонѣ непосредственности и привычныхъ, традиціонныхъ формъ вялой и косной жизни.

2.

Но самое рѣзкое отличіе Обломова отъ идеалистовъ 40-хъ годовъ — это то, что онъ крѣпостникъ. Тѣ только выростали на лонѣ крѣпостного права (и то не всѣ) и невольно усваивали себѣ привычки барской избалованности и нѣкоторыя — соотвѣтственныя — замашки. Но они хорошо сознавали и живо чувствовали все зло и безобразіе крѣпостного права, они его отрицали въ принципѣ и зачастую отказывались отъ сопряженныхъ съ нимъ „правъ и преимуществъ“. Илья Ильичъ — крѣпостникъ до мозга костей, крѣпостникъ и по привычкамъ и по убѣжденію. Онъ и Захаръ — величины соотносительныя. Одинъ не можетъ вообразить себя безъ другого.

Ильѣ Ильичу нуженъ не просто слуга, а именно крѣпостной слуга, съ которымъ его связуютъ узы своего рода

„симбіоза“ — барина и раба. Этотъ „симбіозъ“ разслѣдованъ Гончаровымъ во всѣхъ подробностяхъ, и психологія крѣпостничества разработана имъ съ необыкновеннымъ мастерствомъ. Вспомнимъ, напр., великолѣпную характеристику Захара въ VIII главѣ 1 части, заканчивающуюся слѣдующимъ выводамъ: „*Старинная связь была неистребима между ними*[1]). Какъ Илья Ильичъ не умѣлъ ни встать, ни лечь спать, ни быть причесаннымъ и обутымъ, ни отобѣдать безъ помощи Захара, такъ Захаръ не умѣлъ представить себѣ другого барина, кромѣ Ильи Ильича, другого существованія, какъ одѣвать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и въ то же время внутренно благоговѣть передъ нимъ“.

Въ пресловутомъ планѣ устройства имѣнія, который Илья Ильичъ „разрабатываетъ“, и въ безконечныхъ мечтахъ его о своемъ житьѣ-бытьѣ въ деревнѣ бросается въ глаза между прочимъ слѣдующее: о мужикахъ онъ думаетъ и фантазируетъ совсѣмъ мало, да и то только съ точки зрѣнія интересовъ и удобствъ помѣщика-крѣпостника: „Онъ быстро пробѣжалъ въ умѣ нѣсколько серьезныхъ, коренныхъ статей объ оброкѣ, о запашкѣ, *придумалъ новую мѣру, построже, противъ лѣни и бродяжничества крестьянъ*[2]) и перешелъ къ устройству собственнаго житья-бытья въ деревнѣ“ (ч. I, гл. VIII). — Размышленія на эту послѣднюю тему разыгрываются въ упоительную мечту о томъ, какъ онъ, приведя имѣніе въ порядокъ и женившись, заживетъ въ деревнѣ помѣщикомъ-хлѣбосоломъ, въ кругу семьи, родныхъ, друзей, и жизнь будетъ нескончаемымъ, неомрачаемымъ праздникомъ, — „будетъ вѣчное веселье, сладкая ѣда да сладкая лѣнь...“ (I, VIII). Отъ всѣхъ деталей картины, отъ всѣхъ подробностей идилліи такъ и

---

[1]) Обломовымъ и Захаромъ. Курсивъ мой.

[2]) Курсивъ мой.

разитъ закоренѣлымъ крѣпостничествомъ. Тутъ и „праздная дворня“ у воротъ, и „дѣвки играютъ въ горѣлки“, и „Захаръ, произведенный въ мажордомы“...

Закоренѣлое крѣпостничество Обломова ярко обнаружено въ знаменитой сценѣ съ Захаромъ (въ той же главѣ I, VIII). Дѣло, какъ извѣстно, идетъ о переѣздѣ на другую квартиру. Слова Захара, что „другіе, молъ, не хуже насъ, да переѣзжаютъ, такъ и намъ можно“, — задѣли Илью Ильича за живое. Онъ и изумленъ, и возмущенъ, и озадаченъ. „Другіе не хуже! — *съ ужасомъ*[1]) повторилъ Илья Ильичъ. — Вотъ ты до чего договорился! Я теперь буду знать, что я для тебя все равно, что „другой“... „Обломовъ долго не могъ успокоиться; онъ ложился, вставалъ, ходилъ по комнатѣ и опять ложился. Онъ въ низведеніи себя Захаромъ до степени *другихъ* видѣлъ нарушеніе правъ своихъ на исключительное предпочтеніе Захаромъ особы барина всѣмъ и каждому“. Послѣ долгихъ размышленій о продерзости Захара Илья Ильичъ опять зоветъ его, — и начинается великолѣпный діалогъ, въ которомъ Илья Ильичъ донимаетъ Захара жалкими словами. Здѣсь оба, каждый по-своему, обнаруживаются какъ неисправимые крѣпостники: Обломовъ — какъ баринъ, Захаръ — какъ рабъ. Великолѣпно здѣсь въ особенности, то мѣсто, гдѣ Обломовъ объясняетъ разницу между нимъ, Ильей Ильичемъ, и „другимъ“. „Что такое другой?“ спрашиваетъ онъ и отвѣчаетъ: „Другой есть такой человѣкъ, который самъ себѣ сапоги чиститъ, одѣвается самъ, *хоть иногда и бариномъ смотритъ, да вретъ, онъ и не знаетъ, что такое прислуга*...“ — „Я другой! Да *развѣ я мечусь, развѣ работаю*... Кажется, подать, сдѣлать — есть кому! Я *ни разу не натянулъ себѣ чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу!*[1]) Стану ли я безпокоиться? Изъ-за чего мнѣ? И кому

---

[1]) Курсивъ мой.

я это говорю? *Не ты ли съ дѣтства ходилъ за мною? Ты все это знаешь, видѣлъ, что я воспитанъ нѣжно, что я ни холода, ни голода никогда не терпѣлъ, нужды не зналъ, хлѣба себѣ не зарабатывалъ и вообще чернымъ дѣломъ не занимался* [1]). Такъ какъ же это у тебя достало духу равнять меня съ другими?"—Илья Ильичъ, въ заключеніе, упрекаетъ Захара въ неблагодарности, напоминая о благодѣяніяхъ, которыя онъ расточаетъ своимъ крѣпостнымъ: онъ денно и нощно заботится о нихъ, все ломаетъ голову, какъ бы ихъ получше устроить.—„Я (говоритъ онъ) думаю все крѣпкую думу, чтобъ крестьяне не терпѣли ни въ чемъ нужды, чтобъ не позавидовали чужимъ, чтобъ не плакались на меня Господу Богу на страшномъ судѣ, а молились бы да поминали меня добромъ. Неблагодарные!.." Здѣсь Илья Ильичъ, несомнѣнно, приврѣлъ: его безконечныя размышленія объ устройствѣ имѣнія, какъ мы видѣли выше, имѣли совсѣмъ другой характеръ и другое направленіе. Но онъ приврѣлъ, такъ сказать, чистосердечно. Онъ—добрый баринъ, мухи не обидитъ, и въ данную патетическую минуту ему кажется, что, когда онъ мечтаетъ о своемъ будущемъ житьѣ-бытьѣ въ деревнѣ и рисуетъ въ воображеніи извѣстную намъ идиллію, онъ будто бы радѣетъ преимущественно о мужикахъ. Тутъ, пожалуй, есть и своего рода „логика": разъ дана „идиллія",—крестьяне, само собой разумѣется, благоденствуютъ, чему, конечно, способствуютъ и проектированныя строгія мѣры противъ лѣни и бродяжничества. Въ невольномъ лганьѣ сказался типичный крѣпостникъ—изъ числа тѣхъ, которые не могли пережить день 19-го февраля 1861 года и либо сходили съ ума отъ изумленія, либо умирали отъ огорченія.

Илья Ильичъ Обломовъ, можно думать, не пережилъ бы

[1]) Курсивъ мой.

„катастрофы". Онъ — крѣпостникъ не только по унаслѣдованнымъ привычкамъ, по воспитанію, но также и по убѣжденіямъ, и эти его убѣжденія весьма близки къ тѣмъ, которыя возвѣстилъ міру Гоголь въ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями". Такъ, наприм., на совѣтъ Штольца завести школу въ деревнѣ онъ отвѣчаетъ: „Не рано ли? Грамотность вредна мужику: выучи его, такъ онъ, пожалуй, и пахать не станетъ" [1]) (ч. II, гл. III). Ему свойственно и столь характерное для дворянъ-помѣщиковъ крѣпостной эпохи презрѣніе къ труду и къ трудящимся классамъ. Это ярко сказалось въ вышеприведенныхъ „жалкихъ" словахъ, которыми онъ „донимаетъ" Захара („да развѣ я мечусь, развѣ работаю..."), а также въ слѣдующемъ мѣстѣ главы IV II части: Штольцъ совѣтуетъ ему жениться, — Обломовъ отвѣчаетъ, что его средства не позволяютъ этого: пойдутъ дѣти и нечѣмъ будетъ обезпечить ихъ. — „Дѣтей воспитаешь, сами достанутъ, умѣй направить ихъ такъ...", возражаетъ Штольцъ, но Обломовъ „сухо перебиваетъ" его словами: „Нѣтъ, что изъ дворянъ дѣлать мастеровыхъ!" [1]) Штольцъ, вызывая Обломова на откровенность, проситъ его нарисовать свой идеалъ жизни, и вотъ Илья Ильичъ опять фантазируетъ и рисуетъ упоительную картину счастливой, благообразной помѣщичьей жизни, съ виду какъ будто напоминающей жизнь въ культурныхъ уголкахъ-помѣстьяхъ идеалистовъ, 30—40-хъ годовъ, но въ этой картинѣ то и дѣло проглядываютъ черты крѣпостничества. „Мужики идутъ съ поля, съ косами на плечахъ... Тамъ толпа босоногихъ бабъ, съ серпами, голосятъ... Вдругъ завидѣли господъ, притихли, низко кланяются..." [1]) И тутъ же такая „подробность": „Одна изъ нихъ, съ загорѣлой шеей, съ голыми локтями, съ робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-

[1]) Курсивъ мой.

чуть, для виду только обороняется отъ барской ласки, а сама счастлива... тс!.. жена чтобъ не увидѣла, Боже сохрани!"

Штольцъ находитъ, что вся эта идиллія отзывается стариной: это то самое, „что бывало у дѣдовъ и отцовъ". На это замѣчаніе Обломовъ возражаетъ, „почти обидѣвшись": „Нѣтъ, не то... Развѣ у меня жена сидѣла бы за вареньями да за грибами?.. Развѣ била бы дѣвокъ по щекамъ? Ты слышишь: ноты, книги, рояль, изящная мебель..." — „Ну, а ты самъ?" продолжаетъ допытываться Штольцъ. — „И самъ я, — поясняетъ Илья Ильичъ, — прошлогоднихъ бы газетъ не читалъ, въ колымагѣ бы не ѣздилъ, ѣлъ бы не лапшу и гуся, выучилъ бы повара въ англійскомъ клубѣ или у посланника..."

Итакъ, кто же онъ такой, этотъ добрый, гуманный, безобидный человѣкъ съ нѣжной душой? Этотъ вопросъ задаетъ ему и Штольцъ въ такой формѣ: „Къ какому же разряду общества причисляешь ты себя?" Отвѣтъ Ильи Ильича великолѣпенъ: „С п р о с и   З а х а р а" [1]), говоритъ онъ.

„Соціальное положеніе" Обломова очень правильно понимаетъ Пшеницына: въ ея представленіи Илья Ильичъ — это человѣкъ, который „можетъ ничего не дѣлать и не дѣлаетъ, ему дѣлаютъ все другіе: у него есть Захаръ и еще 300 Захаровъ..." Поэтому „онъ баринъ, онъ сіяетъ, блещетъ!" (ч. IV, гл. I). — И, очевидно, Илья Ильичъ полюбилъ Пшеницыну не только за ея бѣлые локти и другія добродѣтели, но главнымъ образомъ за то, что она видитъ въ немъ барина, взлелѣяннаго крѣпостнымъ правомъ, и благоговѣетъ передъ нимъ какъ существомъ высшаго порядка, и неустанно, самоотверженно, какъ раба, работаетъ на него, холитъ его, ухаживаетъ за нимъ — не хуже любой крѣпостной няньки. Въ Агаѳьѣ Матвѣевнѣ Обломовъ видѣлъ какъ бы воплощеніе

---

[1]) Курсивъ мой.

идеала „того необозримаго, какъ океанъ, и ненарушимаго покоя жизни, картина котораго неизгладимо легла на его душу въ дѣтствѣ, подъ отеческой кровлей“ (ч. IV, гл. I). Прочтемъ и непосредственно слѣдующее за этимъ мѣсто, поясняющее этотъ „идеалъ“: „Какъ тамъ отецъ его, дѣдъ, дѣти, внучата и гости сидѣли или лежали въ лѣнивомъ покоѣ, зная, что есть въ домѣ вѣчно ходящее около нихъ и промышляющее око и непокладныя руки, которыя обошьютъ ихъ, накормятъ, напоятъ, одѣнутъ и обуютъ и спать положатъ, а при смерти закроютъ имъ глаза, такъ и тутъ Обломовъ, сидя и не трогаясь съ дивана, видѣлъ, что движется что-то живое и проворное въ его пользу, и что не взойдетъ завтра солнце, застелятъ небо вихри, понесется бурный вѣтеръ изъ концовъ въ концы вселенной, а супъ и жаркое явятся у него на столѣ, а бѣлье его будетъ чисто и свѣжо, а паутина снята со стѣны, и онъ не узнаетъ, какъ это сдѣлается, и не дастъ себѣ труда подумать, чего ему хочется, а оно будетъ угадано и принесено ему подъ носъ, не съ лѣнью, не съ грубостью, не грязными руками Захара, а съ бодрымъ и кроткимъ взглядомъ, съ улыбкой глубокой преданности, чистыми бѣлыми руками и съ голыми локтями“.

Чтобы закончить характеристику Обломова, „какъ крѣпостника“, необходимо отмѣтить тотъ фактъ, что Илья Ильичъ, будучи несомнѣннымъ крѣпостникомъ по убѣжденію, привычкамъ и по самой натурѣ, однакоже отнюдь не можетъ быть причисленъ къ тѣмъ, которые хотѣли и пытались отстаивать крѣпостное право, — къ крѣпостникамъ-политикамъ, составлявшимъ партію. И если бы Обломовъ вообще могъ преодолѣть свою лѣнь и косность и сдѣлаться адептомъ какой-нибудь „партіи“, то онъ примкнулъ бы къ либераламъ, къ людямъ прогресса. За это ручается его дружба съ Штольцемъ, въ особенности тѣ чувства, которыя питаетъ къ нему Штольцъ, несомнѣнный человѣкъ движенія и прогресса (хотя и съ не вполнѣ ясной программой).

Обломовъ — крѣпостникъ, но не злостный, не воинствующій. Крѣпостническія тенденціи, въ смыслѣ опредѣленной политической программы, не согласовались бы съ его кротостью, мягкостью, благодушіемъ, прекраснодушіемъ, въ особенности же—съ его обломовщиною. Эта обломовщина, какъ особый строй души, такъ сильна въ немъ, что онъ охотно бы отдалъ всѣхъ своихъ 300 Захаровъ и всѣ свои права и прерогативы помѣщика и дворянина, лишь бы только спокойно лежать на диванѣ, лишь бы „жизнь его не трогала", лишь бы нашлось какое - нибудь „промышляющее о немъ око". Таковое и нашлось въ лицѣ вдовы Пшеницыной. Живя у нея и съ нею, Обломовъ „рѣшилъ, что ему некуда больше итти, нечего искать, что идеалъ его жизни осуществился, хотя безъ тѣхъ лучей, которыми нѣкогда воображеніе рисовало ему барское, широкое и безпечное теченіе жизни въ родной деревнѣ, среди крестьянъ, дворни [1])" (ч. IV. гл. IX).

Иными словами, въ Обломовѣ, въ его психологіи и его судьбѣ представленъ процессъ, такъ сказать, самопроизвольнаго вымиранія крѣпостнической Руси — процессъ ея „естественной смерти", исключавшій необходимость насильственнаго переворота. Нужно только къ этой картинѣ присоединить поясненіе, что, во-первыхъ, далеко не вся крѣпостническая Русь была обезврежена обломовщиной и, во-вторыхъ, что сама обломовщина, ускоряя естественную смерть старой Руси, была безсильна создать новую Русь. Не Обломовы подготовляли реформу, не они проводили ее въ жизнь. Они даже не были въ числѣ тѣхъ, которые искренно обрадовались реформѣ и поддержали дѣло эмансипаціи сочувствіемъ, хотя бы пассивнымъ.

Обломовщина убиваетъ энергію мысли и чувства...

Но прежде всего она парализуетъ волю.

---

[1]) Курсивъ мой.

3.

При всемъ томъ, какъ извѣстно, Илья Ильичъ Обломовъ——на рѣдкость хорошій и чрезвычайно симпатичный человѣкъ. Не даромъ такъ любитъ и цѣнитъ его Штольцъ, не даромъ полюбила его Ольга. Вспомнимъ его характеристику, сдѣланную Штольцемъ въ концѣ романа: „Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало къ нему грязи. Не обольститъ его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечетъ на фальшивый путь; пусть волнуется около него цѣлый океанъ дряни, зла, пусть весь міръ отравится ядомъ и пойдетъ навыворотъ — никогда Обломовъ не поклонится идолу лжи, въ душѣ его всегда будетъ чисто, свѣтло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа; такихъ людей мало; они рѣдки; это перлы въ толпѣ!..“ (ч. IV, гл. VIII).

Эту, очевидно, приподнятую характеристику Добролюбовъ призналъ неправильною, несоотвѣтствующею дѣйствительности и опровергаетъ ее такъ: „Онъ не поклонится идолу зла! Да вѣдь почему это? Потому что ему лѣнь встать съ дивана. А стащите его, поставьте на колѣни передъ этимъ идоломъ: онъ не въ силахъ будетъ встать. Не подкупишь его ничѣмъ! Да на что его подкупать-то? На то, чтобы съ мѣста сдвинулся? Ну, это дѣйствительно трудно. Грязь къ нему не пристанетъ! Да, пока лежитъ одинъ, такъ еще ничего; а какъ придетъ Тарантьевъ, Затертый, Иванъ Матвѣичъ — брр! — какая отвратительная гадость начинается около Обломова...“ („Сочин. Н. А. Добролюбова“, т. II, стр. 503). Здѣсь приходится возразить знаменитому критику, что всѣ эти обвиненія опять-таки направлены на обломовщину Обломова, а не на него самого, не на его „я“— и самъ обвинитель принужденъ сказать: „гадость начинается около него“— значитъ онъ виноватъ лишь въ томъ, что терпитъ эту гадость, самъ же онъ остается незамараннымъ.

Такъ же точно отпарируются и другія обвиненія, напр., что, если Обломова поставить на колѣни передъ идоломъ, онъ такъ и останется: „онъ не въ силахъ будетъ встать“, говоритъ Добролюбовъ, и, на нашъ взглядъ, это лишь указываетъ все на ту же лѣнь, безволіе, обломовщину, но это вовсе не предполагаетъ, что Обломовъ призналъ идола и молится ему: его „я“ осталось свободно отъ идолопоклонства.

Обломовъ подлежитъ осужденію за то, что его, дѣйствительно, хорошее, доброе, чистое „я“, его „хрустальная, прозрачная душа“ парализована „обломовщиною“. И поскольку этотъ „параличъ“ простирается не только на волю, но и на мысль, чувства и совѣсть, постольку характеристика, сдѣланная Штольцемъ, представляется не то что ложною, неправильною, а такъ сказать, чрезмѣрною, слишкомъ приподнятою, панегирическою. Въ ней — тотъ родъ неправды, какой свойственъ „похвальнымъ надгробнымъ словамъ“— по пословицѣ: de mortuis aut bene, aut nihil. Добролюбовъ такъ и называетъ эту идеализацію Обломова—„похвальнымъ надгробнымъ словомъ“, которое, однако же, оказывается обращеннымъ не столько лично къ Ильѣ Ильичу Обломову, сколько въ обломовщинѣ, ко всей „старой Обломовкѣ“. Слова Штольца: „прощай, старая Обломовка, ты отжила свой вѣкъ“ (ч. IV, гл. IX) выражаютъ, по мнѣнію Добролюбова, взглядъ самого Гончарова, но критикъ этого взгляда не раздѣляетъ, видя здѣсь заблужденіе и неправду. Онъ говоритъ: „Вся Россія, которая прочитала или прочитаетъ Обломова, не согласится съ этимъ. Нѣтъ, Обломовка есть наша прямая родина [1]), ея владѣльцы — наши воспитатели, ея триста Захаровъ всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова, и еще рано писать намъ

[1]) Курсивъ мой.

надгробное слово". И цитируя вышеприведенную идеализированную характеристику Обломова, сдѣланную Штольцемъ, Добролюбовъ предпосылаетъ цитатѣ такія слова: „Не за что говорить объ насъ съ Ильею Ильичемъ слѣдующія строки". (Сочин., II, 502).

Этотъ взглядъ великаго критика-публициста, очевидно, опирался на пессимистическомъ, отрицательномъ отношеніи его къ нашему національному характеру или складу, испорченному всей нашей прошлой исторіей, въ которой крѣпостное право было не единственною, хотя, можетъ быть, и важнѣйшею причиной этой порчи. Обломовщина, съ этой точки зрѣнія, является уже не только недостаткомъ опредѣленнаго класса, именно дворянъ-помѣщиковъ, деморализованныхъ крѣпостнымъ правомъ, а всей русской націи. „Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова", говоритъ Добролюбовъ, и пишетъ по пунктамъ извѣстный обвинительный актъ, гласящій: Если я вижу теперь [1]) помѣщика, толкующаго о правахъ человѣчества и о необходимости развитія личности,—я уже съ первыхъ словъ его знаю, что это Обломовъ. Если встрѣчаю чиновника, жалующагося на запутанность и обременительность дѣлопроизводства, онъ — Обломовъ... Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ злоупотребленій и радость о томъ, что наконецъ сдѣлано то, чего мы давно желали,— я думаю, что это все пишутъ изъ Обломовки. Когда я нахожусь въ кружкѣ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ нуждамъ человѣчества и въ теченіе многихъ лѣтъ съ неуменьшающимся жаромъ разсказывающихъ все тѣ же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточникахъ, о притѣсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода,— я невольно чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку..." (Сочин., II, 501 — 502).

---

[1]) 1856 — 1860 гг.

Почему же, однако, всѣ эти люди, эти помѣщики, чиновники, офицеры литераторы, интеллигенты и т. д.—Обломовы, въ чемъ ихъ обломовщина? Они—Обломовы потому, что только говорятъ и ничего не дѣлаютъ, что они даже не знаютъ, какъ приняться за дѣло, и если вы имъ предложите „самое простое средство", „они скажутъ: да какъ же это такъ вдругъ?" Наконецъ, на вопросъ—„что же вы намѣрены дѣлать?—они вамъ отвѣтятъ тѣмъ, чѣмъ Рудинъ отвѣтилъ Натальѣ: „что дѣлать? Разумѣется, покориться судьбѣ..." „Больше (заключаетъ Добролюбовъ) отъ нихъ вы ничего не дождетесь, потому что на всѣхъ нихъ лежитъ печать обломовщины" (II, 502).

Это, стало быть, уже обломовщина всероссійская, обломовщина—какъ черта національнаго психическаго склада, которою характеризуются (конечно, въ разной степени) всѣ классы, всѣ „званія и состоянія" на Руси,—черта, присущая русскому человѣку, какъ таковому.

Вотъ теперь и разсмотримъ, въ какомъ смыслѣ и, главное, въ какомъ видѣ обломовщина можетъ считаться признакомъ русскаго національнаго склада.

4.

Во избѣжаніе недоразумѣній изложу сперва, по возможности сжато, свой взглядъ на психологію національности. Онъ сводится къ слѣдующимъ пунктамъ:

1) Національность есть психологическая форма, а не содержаніе: содержаніе душевной жизни человѣка мѣняется съ возрастомъ, положительное содержаніе жизни народа (учрежденія, понятія, степень развитія идеалы, вѣрованія и т. д.) измѣняются десятилѣтіями и столѣтіями,—національность же человѣка и народа остается въ своихъ основныхъ чертахъ та же самая (кромѣ, разу-

мѣется, случаевъ денаціонализаціи). Въ одну и ту же національную форму можетъ быть вложено весьма различное содержаніе душевныхъ качествъ, стремленій, понятій, вѣрованій, идеаловъ: русскій по національности можетъ быть умный и добрый или, наоборотъ, глупый и злой,—нѣмецъ по національности не перестаетъ быть нѣмцемъ, если онъ, напр., католикъ, а не протестантъ, или если онъ соціалъ-демократъ, а не прусскій шовинистъ, и т. д., и т. д.

2) Тѣмъ не менѣе психологическая форма, извѣстная подъ именемъ національности, не есть нѣчто неподвижное: какъ все на свѣтѣ, она измѣняется, но только перемѣны, въ ней совершающіяся, въ теченіе долгаго времени остаются незамѣтными,—ихъ результатъ обнаруживается по прошествіи вѣковъ. Гораздо быстрѣе измѣняются классовыя психологическія формы. Крупная перемѣна въ экономическомъ, юридическомъ, политическомъ положеніи класса черезъ какія-нибудь два поколѣнія радикально измѣняетъ психологію класса. Такъ, Обломовъ, какъ типъ классовый, былъ уже немыслимъ въ 70-хъ годахъ.

3) Національный укладъ до безконечности варіируется и разнообразится отъ человѣка къ человѣку: всякій русскій—по-своему русскій, всякій французъ—по-своему французъ. Національность есть принадлежность индивидуума (откуда, между прочимъ, практическій выводъ: національныя права суть права личности). Когда мы говоримъ: „русская національность", „нѣмецкая національность", „французская" и т. д., то это только обобщенія, отвлеченія отъ подлинныхъ, конкретныхъ психическихъ чертъ извѣстнаго порядка и характера, принадлежащихъ личностямъ и получающихъ въ каждой изъ нихъ особое индивидуальное выраженіе. Эта индивидуализація національнаго психологическаго склада усиливается и разнообразится: а) по мѣрѣ развитія классовъ и

профессій (классовой и профессіональной психологической дифференціаціи), б) подъ вліяніемъ общенія личности съ представителями другихъ націй, в) въ силу этнографическаго и расоваго смѣшенія, г) наконецъ, силою культурнаго вообще, умственнаго въ частности развитія націи, вызывающаго все большую индивидуализацію психики человѣческой, все большее развитіе личности.

Оттуда и выходитъ, что, напр., русскій человѣкъ, какъ представитель національнаго типа, будетъ весьма различно-русскимъ, смотря по тому, къ какому классу онъ принадлежитъ (дворянству, купечеству, крестьянству и т. д.), какою профессіей занимается (чиновникъ, литераторъ, ремесленникъ и т. д.), какія иностранныя національныя вліянія отразились на немъ, какую этнографическую и расовую смѣсь онъ представляетъ, на какой ступени культурнаго и умственнаго развитія онъ стоитъ.

4) Черты, входящія въ составъ національнаго уклада и отличающія одну націю отъ другой, принадлежатъ преимущественно (если не исключительно) къ умственной и волевой сферамъ психики, при чемъ онѣ, эти черты, характеризуютъ собою не содержаніе мысли и не цѣли волевыхъ актовъ, а типъ организаціи ума и воли. Національности — это особые, до безконечности разнообразные умственные и волевые типы, на которые дѣлится человѣчество психологически, — и это дѣленіе не слѣдуетъ смѣшивать съ другимъ — антропологическимъ, въ силу котораго человѣчество распадается на расы. Говоря такъ, я отнюдь не отрицаю психологіи расъ. Но эта послѣдняя въ историческомъ и культурномъ человѣчествѣ заслонена, какъ бы прикрыта, психологіей національностей. Для изученія расовой психологіи нужно обратиться къ тѣмъ племенамъ, которыя еще не имѣютъ національной, — къ такъ называемымъ дикарямъ.

Національныя особенности, сказали мы выше, разнообразятся отъ человѣка къ человѣку. Теперь добавимъ, что эти индивидуальныя различія въ національномъ складѣ получаютъ особенный интересъ для изслѣдователя тогда, когда они выражаются въ степеняхъ яркости проявленія національнаго типа. Присматриваясь къ этимъ степенямъ, мы легко замѣтимъ, что національный типъ ярче проявляется у тѣхъ лицъ, которыя въ умственномъ отношеніи или по своей общественной дѣятельности возвышаются надъ среднимъ уровнемъ. И чѣмъ выше они подымаются надъ уровнемъ, чѣмъ большую энергію мысли и воли развиваютъ они, тѣмъ ярче и полнѣе обнаруживается въ нихъ національный типъ. Давно извѣстно, что самыми яркими, наиболѣе типичными представителями данной націи являются ея великіе люди, т.-е. высшіе таланты и геніи въ сферѣ умственнаго творчества (художественнаго, научнаго, философскаго), и въ области практической дѣятельности (политика, мораль, религія). Англійская національность находитъ свое наиболѣе яркое выраженіе въ Ньютонѣ, Дарвинѣ, Гладстонѣ и т. д. французская — въ В. Гюго, Контѣ и т. д. И гораздо слабѣе выраженною окажется французская, англійская, нѣмецкая и т. д. національность, если мы будемъ наблюдать ее въ среднемъ, заурядномъ французѣ, англичанинѣ, нѣмцѣ и т. д. Если, такимъ образомъ, яркость выраженія національнаго типа увеличивается прямо пропорціонально росту умственной и волевой энергіи лица, то это уже наводитъ насъ на мысль выше формулированную, именно, что національности — это особые типы умственной и волевой дѣятельности. Къ тому же самому приводятъ насъ и другія наблюденія, какъ-то: а) люди, умственная и волевая энергія которыхъ ничтожна (дураки, идіоты и т. д.), а равно и тѣ, у которыхъ та и другая, не будучи ничтожною, однако заслонена или извращена чувствами, аффектами, страстями, оказываются весьма неяркими, невзрачными представителями національ-

ности: въ нихъ все національное выражено такъ слабо, что зачастую представляется равнымъ нулю, и эти субъекты являютъ любопытное зрѣлище какъ бы атрофіи національной психики или денаціонализаціи разныхъ степеней. б) Женщины, поскольку онѣ лишены участія въ умственной, общественной, политической жизни страны и поскольку, въ своей психологіи, онѣ являютъ картину преимущественнаго и односторонняго развитія души чувствующей, не обнаруживаютъ большой яркости національнаго типа,—онѣ, если можно такъ выразиться, представляютъ собою психологическій половой типъ общечеловѣческаго, интернаціональнаго характера... Вопросъ эмансипаціи женщинъ есть въ то же время вопросъ пріобрѣтенія ими большей яркости національной „физіономіи". в) Національный отпечатокъ весьма ярко обнаруживается въ тѣхъ массовыхъ (общественныхъ народныхъ) движеніяхъ, на организацію и политику которыхъ затрачивается наибольшая доля умственной и волевой энергіи, имѣющейся въ распоряженіи передовой части націи въ данное время. Рѣзкій примѣръ — рабочее движеніе, интернаціональное по существу дѣла, общечеловѣческое по идеаламъ и цѣлямъ и въ то же время отчетливо разнообразящееся со стороны способа дѣйствія, организаціи, тактики, политики, по національностямъ (нѣмецкая соціалъ - демократія, французскій коллективизмъ, англійская рабочая партія и т. д.). Напротивъ, тѣ массовыя движенія, которыя основаны на чувствахъ, аффектахъ, страстяхъ (паника, буйство толпы, патріотическое одушевленіе, бунтъ и т. д.), не обнаруживаютъ національныхъ отличій, являются почти одинаковыми у разныхъ націй. г) Національныя психологическія отличія становятся ярче, отчетливѣе, законченнѣе въ мѣру культурнаго и умственнаго прогресса народовъ: современный французъ, нѣмецъ и т. д., несомнѣнно, обладаетъ болѣе яркою и законченною національною формою психики, чѣмъ та, какою обладалъ французъ или нѣмецъ въ средніе вѣка.

Психологія національностей еще не раскрыта, но можно уже теперь предположить, что она сводится къ особымъ видамъ сохраненія и освобожденія умственной и волевой энергіи. Національности различаются между собою не чувствами, не страстями, не добродѣтелями и пороками, вообще не качествами нравственнаго порядка, а способами мыслить и дѣйствовать.

Національные пути мышленія и дѣйствованія — это тѣ различныя дороги, которыя ведутъ въ одинъ и тотъ же — Римъ — общечеловѣческихъ идеаловъ. Поэтому исчезновеніе какой-либо національности это всегда потеря для человѣчества, это означаетъ, что утрачена одна изъ такихъ дорогъ, — а вѣдь человѣчеству, въ интересахъ его прогрессивнаго развитія, его восхожденія на высшія ступени человѣчности, необходимо имѣть въ своемъ распоряженіи какъ можно больше различныхъ видовъ и путей творческой мысли и творческой дѣятельности.

Ставя вопросъ такъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ приходимъ къ рѣшительному отрицанію всякаго національзма. Всякая національная программа заключаетъ въ себѣ — скрыто или явно — враждебное отношеніе къ другимъ націямъ. Національность, какъ таковая, а равно и ея данное историческое содержаніе не должны быть поставляемы цѣлью и возводимы въ идеалъ. Идеалъ одинъ — человѣчность, и онъ не можетъ быть національнымъ. Къ нему ведутъ національные пути мысли и дѣйствованія, но самъ онъ слагается не изъ этихъ путей, а изъ результатовъ мысли и дѣла, которые, по существу, интернаціональны и образуютъ общее достояніе, общее благо всего человѣчества.

Къ сказанному остается добавить одно: какъ все психическое, такъ и національность имѣетъ не только свою психологію, но и свою психопатологію. Есть болѣзни и ненормальности въ функціяхъ національнаго мышленія и дѣйствованія. Къ числу этихъ ненормальностей прежде всего

принадлежитъ національизмъ цѣлей, политики, идеаловъ. Другая болѣзнь — это извращеніе національныхъ функцій мысли дѣйствованія подъ вліяніемъ дефектовъ классовой психологіи, въ особенности, если данный классъ находится въ состояніи разложенія, регресса или застоя.

Такой именно случай мы и имѣемъ въ обломовщинѣ. Въ картинѣ обломовщины мы наблюдаемъ „картину болѣзни" русской національной психики. Но, изучая по этой „картинѣ" психопатологію русской національной формы, мы можемъ извлечь оттуда весьма любопытныя и цѣнныя указанія относительно характера русской національной формы въ ея нормальномъ состояніи.

5.

Уже изъ приведенныхъ выше цитатъ изъ романа Гончарова видно, какъ правильно поставилъ художникъ діагнозъ и какъ хорошо выяснилъ онъ причины и весь ходъ болѣзни.

Передъ нами, такъ сказать, „національный паціентъ". Его жизнь раскрыта передъ нами чуть ли не изо дня въ день; мы хорошо освѣдомлены о его прошломъ, его дѣтствѣ, его воспитаніи. Въ нашемъ распоряженіи всѣ данныя, какихъ только можно пожелать. Остается только сдѣлать правильный выводъ. Этотъ выводъ гласитъ такъ:

Илья Ильичъ Обломовъ прежде всего — лежебокъ, лѣнтяй, но его лѣнь — специфическая, классовая, помѣщичья, дворянская, продуктъ крѣпостного права. И если она — болѣзнь, то болѣзнь классовая, а не національная. Мало того: въ самомъ классѣ она ограничена хронологически: послѣ отмѣны крѣпостного права она должна была исчезнуть (сохранились только нѣкоторыя ея послѣдствія). Итакъ, передъ нами явленіе частное и временное. Спрашивается:

можно ли обобщать его, можно ли выводить его за предѣлы класса и времени и смотрѣть на него, какъ на одинъ изъ признаковъ русской національной психики вообще? Вопросъ этотъ сложнѣе, чѣмъ кажется, и не будемъ спѣшить отвѣчать на него отрицательно.

Болѣзнь Обломова есть родъ болѣзни воли. Подходя къ паціенту со стороны вышеизложеннаго понятія о національности, какъ объ особомъ психологическомъ укладѣ мысли и воли, мы скажемъ, что въ Обломовѣ боленъ или поврежденъ именно этотъ національный укладъ.

Вотъ именно здѣсь-то и возникаетъ коренной вопросъ: какъ понимать эту болѣзнь или это поврежденіе? Можетъ быть, національный укладъ мысли и воли въ Обломовѣ атрофированъ или искаженъ до неузнаваемости? Можетъ быть, Илья Ильичъ—субъектъ денаціонализированный? Или же болѣзнь должна быть понимаема иначе, и никакой атрофіи тутъ нѣтъ, какъ нѣтъ и денаціонализаціи?

Случаи денаціонализаціи намъ хорошо извѣстны — въ высшемъ великосвѣтскомъ кругу (въ XVIII вѣкѣ и частью еще въ XIX), но они, повидимому, ничего общаго съ обломовщиною не имѣютъ. Сомнѣнія нѣтъ: Илья Ильичъ — человѣкъ „истинно-русскій", и о всей картинѣ обломовщины, какъ она изображена Гончаровымъ, можно смѣло сказать: „здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ". И притомъ пахнетъ не только крѣпостной, помѣщичьей Русью „добраго стараго времени", но вообще Русью: „картина" растяжима, типъ широкъ, и невольно отъ нихъ наша мысль переносится къ другимъ формамъ русской лѣни, къ другимъ проявленіямъ русской бездѣятельности и апатіи. На этомъ-то растяженіи картины и типа, на этой утилизаціи психологіи Обломова для характеристики психологіи русскаго человѣка вообще и была основана критическая статья Добролюбова.

Сомнѣнія нѣтъ: обломовщина, какъ болѣзнь, не есть

атрофія русской національной формы. Съ гораздо большимъ правомъ мы могли бы опредѣлить эту болѣзнь, какъ гипертрофію. Въ ней нормальные русскіе способы мыслить и дѣйствовать получили крайнее, гиперболическое выраженіе. Устраняя изъ психологіи Обломова это крайнее выраженіе, возвращая ея черты къ нормѣ, мы получимъ типичную картину русской національной психики, — и Обломовъ превратится въ типъ національный.

Лѣнь Ильи Ильича, доведенная до крайности и находящаяся въ несомнѣнной причинной связи съ фактомъ существованія при немъ Захара, найдется — въ иной, конечно, формѣ — и въ другихъ классахъ, у русскихъ людей другихъ званій и состояній, — она найдется, напр., въ видѣ косности, отсутствія инициативы, и почти всегда также въ явно патологическомъ выраженіи, уклоняющемся отъ нормы. Чтобы получить норму, т.-е. здоровое выраженіе русскаго національнаго уклада воли, нужно было бы изслѣдовать русское безволіе, нашу косность, лѣнь, вялость и т. д. по всѣмъ классамъ, званіямъ и состояніямъ, устранить все явно-анормальное, патологическое, мысленно „выпрямить“ нашъ „волевой аппаратъ“, и такимъ образомъ отчасти предварить то, что должна сдѣлать сама жизнь. Вотъ именно такую задачу и преслѣдовала какъ наша художественная литература, такъ и наша такъ называемая „публицистическая“ критика, лучшимъ представителемъ которой и былъ Добролюбовъ.

Художественная литература воспроизводила яркую картину нашей дѣятельности, лѣни, апатіи. Въ ряду такихъ картинъ самою яркою и была картина обломовщины. Лежебоку Обломову художникъ противопоставилъ вѣчнодѣятельнаго, энергичнаго Штольца, полунѣмецкое происхожденіе котораго должно, по мысли Гончарова, оттѣнить и подчеркнуть національное значеніе обломовской апатіи и лѣни. Но, повидимому, Гончаровъ, въ противоположность

Добролюбову, думалъ, что, вмѣстѣ съ крѣпостнымъ правомъ и старыми порядками вообще, обломовщина исчезнетъ, по крайней мѣрѣ въ томъ ея крайнемъ и патологическомъ выраженіи, въ какомъ онъ изобразилъ ее. Русскій человѣкъ проснется для труда, для дѣятельности, для проявленія своей мысли и воли въ общественномъ самосознаніи и творчествѣ. И очевидно Штольцъ выражаетъ мысль Гончарова, когда, простившись навсегда съ окончательно опустившимся другомъ, онъ говоритъ: „Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой вѣкъ!“ Достойны вниманія и тѣ строки, которыя передаютъ мысли Штолца, заключившіяся приведенными словами: „Погибъ ты, Илья: нечего тебѣ говорить, что твоя Обломовка не въ глуши больше, что до нея дошла очередь, что на нее пали лучи солнца! Не скажу тебѣ, что года черезъ четыре она будетъ станціей дороги, что мужики твои пойдутъ работать насыпь, а потомъ по чугункѣ покатится твой хлѣбъ къ пристани... А тамъ... школы, грамота, а д а л ь ш е...[1]) Нѣтъ, перепугаешься ты зари новаго счастья, больно будетъ непривычнымъ глазамъ...“ (ч. IV, гл. IX).

Вся послѣдующая исторія нашей внутренней жизни показала, что не такъ-то легко перейти отъ обломовщины разныхъ видовъ и степеней къ дѣятельности, къ той работѣ мысли и той энергичности воли, въ которыхъ выражается здоровый національный укладъ. Но надо принять въ соображеніе и то, что національному творчеству предстояли двѣ задачи: о т р и ц а т е л ь н а я ликвидація старыхъ порядковъ) и п о л о ж и т е л ь н а я (созданіе новыхъ). Штольцу не была ясна вторая задача. Онъ отчетливо сознавалъ, только первую и наивно полагалъ, что, разъ будетъ отмѣнено крѣпостное право и другіе старые порядки, останется только сбросить съ себя лѣнь и апатію, взяться за дѣло, работать. Дѣйствительность очень скоро обнаружила всю тщету этого

---

[1]) Курсивъ мой.

оптимизма. Теперь, по истеченіи сорока съ лишнимъ лѣтъ, стало, наконецъ, болѣе или менѣе ясно, что есть какой-то дефектъ въ **волевой функціи** нашей національной психологіи, препятствующій намъ выработать опредѣленныя, стойкія, отвѣчающія духу и потребностямъ времени формы общественнаго творчества. Но тотъ же опытъ сорокалѣтняго переустройства и неустройства показалъ, что разные виды обломовщины дѣйствительно пошли на убыль, нѣкоторые изъ нихъ совсѣмъ исчезли, — и мы хотя прерывисто и неровно, но все-таки подвигаемся впередъ къ національному оздоровленію, которое уже достаточно ясно проявилось въ творчествѣ индивидуальномъ и которому предстоитъ теперь обнаружиться въ творчествѣ общественномъ и политическомъ.

Постараемся теперь нѣсколько глубже вникнуть въ психологію „обломовщины", какъ „гипертрофіи" русскаго національнаго уклада мысли и воли, — сдѣлаемъ попытку мысленно „выпрямить" этотъ укладъ, чтобы составить себѣ приблизительное понятіе о томъ, какъ онъ могъ бы функціонировать въ здоровомъ, нормальномъ состояніи. Въ этомъ опытѣ поможетъ намъ сопоставленіе съ Обломовымъ любопытной фигуры **Штольца**, какъ намъ кажется, недостаточно выясненной въ нашей критической литературѣ.

ГЛАВА XI.

Обломовщина и Штольцъ.

1.

Въ предыдущей главѣ я старался установить воззрѣніе на обломовщину, какъ на родъ болѣзни русскаго національнаго уклада. Изучая эту болѣзнь, мы имѣемъ возможность судить о характерѣ и свойствахъ русской національной психологіи въ ея болѣе или менѣе нормальномъ состояніи. И въ то же время невольно навязывается намъ мысль, что въ самой исторіи Россіи нашъ національный укладъ проявляется, какъ сила дѣйствующая, не только въ своемъ болѣе или менѣе нормальномъ видѣ, но и въ болѣзненномъ, въ формѣ обломовщины. Добролюбовъ совершенно справедливо утверждалъ, что слово обломовщина „служитъ ключомъ въ разгадкѣ многихъ явленій русской жизни...“ Печать обломовщины дѣйствительно лежитъ на нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, сторонахъ или процессахъ нашего общественнаго развитія. Н. И. Пироговъ (кстати сказать, человѣкъ, совершенно чуждый какихъ бы то ни было обломовскихъ чертъ) говорилъ, что освобожденіе крестьянъ запоздало по меньшей мѣрѣ лѣтъ на 50. Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что въ этомъ запозданіи значительно виновата именно обломовщина.

При всемъ томъ, однако, я думаю, что не слѣдуетъ преувеличивать значеніе и размѣры этой національной болѣзни нашей. Добролюбовъ преувеличивалъ ихъ, когда говорилъ, что „въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова“ (Сочин., т. II, стр. 502). Вотъ и постараемся точнѣе опредѣлить тотъ кругъ явленій, который можетъ быть подведенъ подъ понятіе „обломовщины“, тѣ симптомы, какими характеризуется эта болѣзнь, и, наконецъ, ея отношеніе къ „нормѣ“, къ русскому національному складу въ его здоровомъ состояніи.

Въ этомъ дѣлѣ большую помощь окажетъ намъ тотъ самый художникъ, который впервые такъ обстоятельно изслѣдовалъ нашу національную болѣзнь. Гончаровъ говоритъ о ней не только въ „Обломовѣ“, но и въ своихъ воспоминаніяхъ, озаглавленныхъ „На родинѣ“. Тѣ данныя, которыя мы здѣсь находимъ, сразу расширяютъ кругъ явленій, подводимыхъ подъ понятіе „обломовщины“. Оказывается, что первыя — дѣтскія и юношескія — впечатлѣнія, впослѣдствіи претворившіяся у Гончарова въ картину и идею обломовщины, были вынесены имъ не изъ деревни, а изъ города,— русскаго провинціальнаго, захолустнаго города, и въ частности изъ среды не исключительно дворянской, а, такъ сказать, смѣшанной — дворянско-купеческой. Самъ Гончаровъ, какъ извѣстно, былъ купеческаго происхожденія, — и „Обломовка“, гдѣ онъ родился и провелъ дѣтство, была не деревня, а городской домъ, правда, походившій на помѣстье. „Домъ у насъ, — читаемъ въ главѣ II „На родинѣ“, — былъ, что называется, полная чаша, какъ, впрочемъ, было почти у всѣхъ семейныхъ людей въ провинціи, не имѣвшихъ поблизости деревни. Большой дворъ, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлѣвами, сараями, амбарами, птичникомъ и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки — все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разнаго

шена и всяческой провизіи для продовольствія нашего и обширной дворни. Словомъ, цѣлое имѣніе, деревня". Деревенская „Обломовка" вторгалась въ городъ, и самъ этотъ городъ былъ своего рода большой, сложной „Обломовкой" съ губернаторомъ, чиновниками, купцами, дворянами, проживавшими тамъ или пріѣзжавшими на выборы. Гончаровъ живо помнилъ впечатлѣніе, произведенное на него этимъ городомъ, когда онъ пріѣхалъ туда уже по окончаніи университетскаго курса: „Меня обдало, — пишетъ онъ (гл. IV), — той же „обломовщиной", какую я наблюдалъ въ дѣтствѣ. Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кромѣ картины сна и застоя... Такъ и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонныя окна съ опущенными шторами и жалюзи, на сонныя физіономіи сидящихъ по домамъ и попадающіяся на улицѣ лица. „Намъ нечего дѣлать!—зѣвая, думаетъ, кажется, всякое изъ этихъ лицъ, глядя лѣниво на васъ:—мы не торопимся, живемъ — хлѣбъ жуемъ да небо коптимъ!" И Гончаровъ рисуетъ картину этого провинціальнаго сна и застоя. Тутъ и чиновники, и купцы, и дворяне, и весь обиходъ жизни... Это были его юношескія впечатлѣнія. Имъ предшествовали соотвѣтственныя дѣтскія, которыхъ описаніе Гончаровъ завершаетъ такими словами (въ концѣ главы III): „Мнѣ кажется, у меня, очень зоркаго и впечатлительнаго мальчика, уже тогда, при видѣ всѣхъ этихъ фигуръ, этого беззаботнаго житья-бытья, бездѣлья и лежанія и зародилось неясное представленіе объ обломовщинѣ".

„Фигуры", о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, — это крестный Гончарова, дворянинъ-помѣщикъ, отставной морякъ Николай Николаевичъ Трегубовъ (названный въ воспоминаніяхъ Якубовымъ[1]), и его пріятели помѣщики-дворяне Козыревъ

[1]) О немъ см. въ книгѣ Ев. Ляцкаго „Иванъ Александровичъ Гончаровъ" (1904), стр. 192 и сл.

и Гастуринъ. О Козыревѣ между прочимъ читаемъ: „Онъ не выходилъ изъ халата и очень рѣдко выѣзжалъ изъ предѣловъ своего имѣнія... У него была въ нѣсколькихъ верстахъ другая деревня, но онъ и въ ту не всякій годъ заглядывалъ... Кромѣ сада и библіотеки, онъ ничего знать не хотѣлъ, ни полей, ни лѣсовъ, ни границъ имѣнія, ни доходовъ, ни расходовъ. Когда онъ ѣзжалъ въ другую деревню,— разсказывали мнѣ его же люди,—онъ спрашивалъ: „чьи это лошади?", на которыхъ ѣхалъ (глава III). „Точно такъ же,—продолжаетъ Гончаровъ,—не зналъ и не хотѣлъ знать ничего этого и „крестный" мой, и третій близкій ихъ другъ и сверстникъ, А. Г. Гастуринъ..." Якубовъ на вопросы о его хозяйствѣ, доходахъ и пр. отвѣчалъ („говаривалъ, зѣвая"): „А не знаю,—что привезетъ денегъ мой кривой староста, то и есть..." (гл. III).

Когда Козыревъ и Гастуринъ пріѣзжали въ городъ на выборы, они останавливались у Якубова, жившаго во флигелѣ у Гончаровыхъ,—и въ памяти пѣвца обломовщины сохранились объ этомъ такія воспоминанія: „Съ утра, бывало, они всѣ трое лежатъ въ постеляхъ, куда имъ подавали чай или кофе. Въ полдень они завтракали. Послѣ завтрака опять забирались въ постели. Такъ ихъ заставали и гости. Рѣдко, только въ дни выборовъ, они натягивали на себя допотопные фраки или екатерининскихъ временъ мундиры и панталоны, спрятанные въ высокіе сапоги съ кисточками, надѣвали парики, чтобъ ѣхать въ дворянское собраніе на выборы. Какіе смѣшные были всѣ трое! Они хохотали, оглядывая другъ друга, и мы, дѣти, глядя на нихъ" (гл. III).

Изъ нихъ двое, Якубовъ и Козыревъ, были люди не только образованные, но и въ своемъ родѣ „идейные". Это были запоздалые вольтеріанцы XVIII-го вѣка. У Козырева была большая библіотека—„все французскія книги" (гл. III). Онъ „былъ поклонникъ Вольтера и всей школы энциклопеди-

стовъ, и самъ смотрѣлъ маленькимъ Вольтеромъ, острымъ, саркастическимъ... Духъ скептицизма, отрицанія свѣтился въ его насмѣшливыхъ взглядахъ, улыбкѣ и сверкалъ въ рѣчахъ...“ (гл. III).

Передъ нами любопытные образчики Обломовыхъ первой четверти XIX-го вѣка. Бездѣлье, лежаніе, халатъ, лѣнь заняться даже своими дѣлами, запущенныя имѣнія, благодушіе и та специфическая „прозрачность“ или „хрустальность“ души, какою характеризуется Илья Ильичъ,— всѣ эти внѣшніе и внутренніе признаки настоящей обломовщины здѣсь налицо. Не отсутствуютъ и другія черты, столь же существенныя: подобно Ильѣ Ильичу, эти добрые господа были крѣпостники, и Гончаровъ, въ главѣ V-ой, подробно говоритъ объ этомъ (собственно о крѣпостничествѣ Якубова), стараясь обѣлить ихъ, во-первыхъ, съ исторической точки зрѣнія (они были люди своего вѣка) и, во-вторыхъ, указаніемъ на то, что они не злоупотребляли своими правами рабовладѣльцевъ и обращались съ „подданными“ мягко, гуманно. Другая черта иллюстрируется подробностями въ родѣ слѣдующей: Козыревъ и Гастуринъ пріѣзжали въ губернскій городъ въ три года разъ на дворянскіе выборы, но совсѣмъ не затѣмъ, чтобы ихъ выбирали, а, напротивъ, чтобы не выбирали. „Когда мы хотимъ повидаться съ ними,— сказывалъ мнѣ предводитель дворянства, Бравинъ: — стоитъ только написать имъ, что ихъ намѣрены баллотировать: сейчасъ же оба бросятъ свои захолустья и пріѣдутъ просить, чтобъ не выбирали“ (гл. III).— Они пуще всего боялись того самаго, чего такъ боится Илья Ильичъ Обломовъ: чтобы (выражаясь любимой формулой этого послѣдняго) жизнь ихъ не тронула. Когда Ильѣ Ильичу приходится перебираться на другую квартиру или когда онъ получаетъ непріятныя извѣстія изъ деревни, вообще когда ему приходится что-нибудь предпринять, хлопотать,— онъ жалуется, что „жизнь трогаетъ“. Якубовъ, Козыревъ и

Гастуринъ, подобно Ильѣ Ильичу, удаляются отъ жизни, избѣгаютъ общества, прячутся и — совершенно счастливы въ своемъ одиночествѣ. Имъ чуждо столь свойственное всякому нормальному человѣку стремленіе участвовать въ общественной жизни, вращаться въ обществѣ, — у нихъ нѣтъ честолюбія и нѣтъ даже элементарной потребности осуществить свою „общественную стоимость". Отсутствіе этой потребности указываетъ на коренной изъянъ въ ихъ психикѣ, — тотъ самый, какой мы видимъ у Ильи Ильича Обломова.

Обломовщина — не только лѣнь, апатія, квіетизмъ, но и соединенное съ боязнью жизни отсутствіе самаго чувства общественной стоимости человѣка, т.-е. такое состояніе психики, при которомъ человѣкъ не страдаетъ отъ того, что его общественная стоимость не осуществилась. Замѣною или суррогатомъ общественной стоимости служитъ имъ классовое и сословное самочувствіе: они проникнуты до глубины души сознаніемъ, что они — помѣщики, владѣльцы крѣпостныхъ душъ, дворяне, привилегированное сословіе и могутъ съ спокойною совѣстью ничего не дѣлать. Но это классовое сознаніе и чувство у нихъ больше пассивно, чѣмъ активно, — они плохіе представители своего класса, не способны къ классовой борьбѣ и не сумѣли бы, а можетъ быть и не захотѣли бы въ критическую минуту отстаивать свои права и прерогативы. Этой — помѣщичьей, крѣпостнической, дворянской — разновидности обломовщины отвѣчаетъ соотвѣтственная купеческая, чиновническая и всякая иная сословная или профессіональная. Вездѣ, гдѣ наблюдается усыпленное состояніе мысли и бездѣйствіе воли, гдѣ чувство личной общественной стоимости замѣняется классовымъ самочувствіемъ и въ то же время нѣтъ способности къ классовой борьбѣ, — мы имѣемъ обломовщину. Гдѣ этихъ признаковъ нѣтъ, тамъ нѣтъ и обломовщины. Поэтому, напр., бабушка въ „Обрывѣ"

(вопреки мнѣнію г. Ляцкаго) не можетъ быть отнесена къ обломовщинѣ [1]).

Наблюдая различные виды и ступени обломовщины, мы замѣчаемъ, что эта болѣзнь развивается въ человѣкѣ постепенно и обнаруживается при обстоятельствахъ, ей благопріятствующихъ, въ среднемъ возрастѣ или въ старости. Обломовщина — не дѣтская и не юношеская болѣзнь. Чтобы заболѣть ею, нужно пожить, сложиться, стать зрѣлымъ человѣкомъ. Илья Ильичъ сдѣлался лежебокомъ уже послѣ окончанія курса въ университетѣ и двухлѣтней службы въ Петербургѣ Въ гл. V первой части, гдѣ изложено curriculum vitae Ильи Ильича, мы слѣдимъ за постепеннымъ, хотя и довольно быстрымъ, развитіемъ его обломовщины. Оставивъ службу, онъ продолжалъ еще бывать въ обществѣ; потомъ сталъ отставать и отъ общества, „простился съ толпой друзей“,—„его почти ничто не влекло изъ дома, и онъ съ каждымъ днемъ все крѣпче и постояннѣе водворялся въ своей квартирѣ“. „Сначала ему тяжело стало пробыть цѣлый день одѣтымъ, потомъ онъ лѣнился обѣдать въ гостяхъ... Вскорѣ и вечера надоѣли ему...“ Наконецъ, узнаемъ, что у него „съ лѣтами возвратилась какая-то ребяческая робость, ожиданіе опасности и зла отъ всего, что не встрѣчалось въ сферѣ его ежедневнаго быта, вслѣдствіе отвычки отъ разнообразныхъ внѣшнихъ явленій“.

Такъ и старички, изображенные въ воспоминаніяхъ, превратились въ Обломовыхъ уже въ зрѣломъ возрастѣ, даже

[1]) Книга г. Ляцкаго представляетъ собою несомнѣнно цѣнный вкладъ въ литературу о Гончаровѣ. По своимъ задачамъ и характеру она относится къ тому роду изслѣдованій, въ которомъ выдвигаются на первый планъ вопросы психологіи и исторіи творчества изучаемаго писателя. Недостатки и спорныя положенія труда г. Ляцкаго указаны въ рецензіи г. Грузинскаго („Вѣстникъ Восп.“, сент. 1904). — Г. Ляцкій слишкомъ расширяетъ субъективную сторону въ творчествѣ Гончарова. Равнымъ образомъ слишкомъ широко понятіе „обломовщины“ въ истолкованіи г. Ляцкаго.

подъ старость. Якубовъ въ молодости жилъ дѣятельною жизнью моряка, совершалъ кругосвѣтныя плаванія, участвовалъ въ морскомъ сраженіи, много читалъ, основательно изучилъ географію, астрономію, математику и развилъ въ себѣ незаурядные умственные интересы. Потомъ, выйдя въ отставку и вернувшись на родину, сблизился съ тогдашнимъ дворянскимъ кругомъ и рѣшительно завоевалъ себѣ общую симпатію и уваженіе... „Онъ былъ вездѣ принятъ съ распростертыми объятіями, его ласкали, не давали быть одному. И у себя онъ давалъ часто обѣды, ужины, на которыхъ нерѣдко присутствовали и дамы..." [1]). Наконецъ, былъ членомъ масонской ложи. Человѣкъ онъ былъ живой, общительный, умный, интересный... Но потомъ вышло слѣдующее:

„Пріѣзжая послѣ, въ мои университетскія каникулы,—разсказываетъ Гончаровъ,—я сталъ замѣчать, что посѣтители у него становились рѣдки, а самъ онъ не выѣзжалъ никуда, совершая только свои ежедневныя прогулки въ экипажѣ... Я видѣлъ, что онъ и на прогулкахъ сталъ избѣгать встрѣчъ, даже съ близкими его знакомыми. Отъ прочихъ онъ скрывался, сколько могъ" [1]). Самъ онъ объяснялъ это тѣмъ, что „на старости отвыкъ отъ людей". Гончарову это объясненіе казалось недостаточнымъ, и въ главѣ IV онъ отмѣчаетъ и другое: „вглядываясь и вдумываясь тогда въ его образъ мыслей и жизнь сознательно, я видѣлъ коечто въ его характерѣ, къ чему прежде у меня не было ключа, что-то постороннее, кромѣ старческой усталости: не то боязнь, не то осторожность". Онъ „точно остерегался общества, пятился отъ знакомыхъ, а незнакомыхъ вовсе не принималъ".—Загадка разъяснилась, когда Гончаровъ удостовѣрился, что послѣ событія 14 декабря 1825 года Якубовымъ, какъ и многими, овладѣлъ несказанный страхъ

[1]) „На родинѣ", гл. III.

и трепетъ, изображенный Гончаровымъ въ той же главѣ съ юморомъ, напоминающимъ тотъ, съ какимъ описанъ страхъ, обуявшій Илью Ильича, когда онъ по ошибкѣ направилъ казенную бумагу вмѣсто Астрахани въ Архангельскъ.

Якубовъ перепугался потому, что принадлежалъ къ масонской ложѣ и имѣлъ „образъ мыслей". Но нетрудно понять, что психологическимъ основаніемъ этого специфическаго страха послужила у Якубова все та же обломовщина, предрасполагающая къ боязни людей вообще, къ нелюдимости. Это все то же настроеніе, въ силу котораго Илья Ильичъ ожидалъ непредвидѣннаго несчастья, все та же „ребяческая робость" и тотъ „нервическій страхъ", о которыхъ говорится въ главѣ V первой части романа: „онъ пугался окружающей его тишины и просто и самъ не зналъ чего — у него побѣгутъ мурашки по тѣлу..." Обломовщина создаетъ вокругъ себя „атмосферу" тишины, одиночество, безлюдье и внушаетъ безпричинный, нервическій страхъ, и если вдругъ въ самомъ дѣлѣ случится что-нибудь чрезвычайное, въ родѣ землетрясенія или тѣхъ обысковъ, арестовъ и допросовъ, о которыхъ разсказано въ главѣ IV „На родинѣ", — обломовцы больше другихъ подвержены всѣмъ чрезмѣрностямъ трепета, вообще свойственнаго русскому человѣку. Исключенія, какія могли быть, только подтверждаютъ правило. Гончаровъ отмѣчаетъ ихъ: „только старички, въ родѣ Козырева и еще немногихъ, ухомъ не вели и не выползали изъ своихъ норъ. Козыревъ саркастически посмѣивался и надъ крутыми мѣрами властей, и надъ переполохомъ. Громъ въ деревенскія затишья не доходилъ".

Изъ чертъ, здѣсь сгруппированныхъ, мы получаемъ довольно опредѣленную „картину болѣзни", именуемой обломовщиною. Самою характерною чертой нужно признать боязнь жизни и перемѣнъ. Обломовцы — это тѣ, которые, подобно

Ильѣ Ильичу Обломову, пуще всего боятся, какъ бы жизнь не тронула ихъ. Всѣ тѣ, которые этого не боятся, — не Обломовы, хотя бы они ничего не дѣлали, были лѣнивы не меньше Ильи Ильича и являлись такими же байбаками и увальнями, какъ Тентетниковъ. Конечно, въ большинствѣ случаевъ такъ и выходитъ, что именно лежебоки и лѣнтяи оказываются одержимыми боязнью жизни и перемѣнъ, грозящихъ нарушить ихъ покой. Но принципіально и психологически это явленія разнаго порядка. Возможны случаи, когда человѣкъ превращается въ лѣнтяя и лежебока просто потому, что ему нечего дѣлать и не зачѣмъ трудиться, — но онъ былъ бы очень радъ, если бы жизнь его тронула и побудила его стряхнуть съ себя лѣнь и апатію. Съ другой стороны, могутъ оказаться своего рода Обломовыми и люди, ведущіе болѣе или менѣе подвижной и дѣятельный образъ жизни: нужно только, чтобы ихъ умонастроеніе и весь душевный складъ были отмѣчены ясно выраженнымъ психологическимъ консерватизмомъ, чтобы они боялись всего, что грозитъ нарушить строй ихъ жизни, выбить ихъ изъ привычной колеи. Я называю этотъ консерватизмъ психологическимъ въ томъ смыслѣ, что онъ не связанъ съ интересами человѣка и даже можетъ вредить имъ. Это — просто косность воли и мысли, соединенная съ инстинктивною, болѣе или менѣе патологическою боязнью какой бы то ни было перемѣны въ условіяхъ жизни, въ соціальномъ положеніи человѣка, который можетъ при этомъ отчетливо сознавать всю выгоду перемѣны. Психологическій консерватизмъ есть явленіе общечеловѣческое и найдется повсюду. Но у насъ онъ, очевидно, связанъ съ нашимъ національнымъ укладомъ, который въ своемъ нормальномъ — не обломовскомъ — видѣ являетъ черты, аналогичныя или психологически родственныя тому роду консерватизма, о которомъ идетъ рѣчь и который въ своемъ крайнемъ выраженіи даетъ картину обломовщины съ ея халатомъ, туфлями, вѣчнымъ

леживаніемъ, лѣнивымъ покоемъ, апатіей, квіетизмомъ и разными „ребяческими“ страхами.

Нашъ національный психическій укладъ въ его нормальномъ видѣ характеризуется между прочимъ нѣкоторою пассивностью волевыхъ процессовъ, замедленнымъ темпомъ дѣйствующей воли, и въ сферѣ мысли это отражается наклонностью къ фатализму того или другого рода. Эту послѣднюю черту отмѣтилъ г. Ляцкій у Штольца („И. А. Гончаровъ“, стр. 183). Но я думаю, нѣтъ основаній смотрѣть на нее, по примѣру г. Ляцкаго, какъ на проявленіе обломовщины у Штольца: послѣдній совершенно свободенъ отъ обломовщины, и если онъ не чуждъ фатализма, то это потому, что онъ по національности — русскій, несмотря на полунѣмецкое происхожденіе.

Во избѣжаніе недоразумѣній необходимо яснѣе и точнѣе опредѣлить это понятіе фатализма, какъ характерной принадлежности русскаго національнаго уклада.

Прежде всего этотъ фатализмъ можетъ и не быть сознательнымъ и теоретическимъ: русскій человѣкъ остается своеобразнымъ фаталистомъ и тогда, когда не вѣритъ въ „судьбу“. Нашъ національный фатализмъ — волевого происхожденія, онъ — не теорія, не вѣрованіе, а умонастроеніе, которое можетъ прилаживаться къ какимъ угодно теоріямъ, вѣрованіямъ, воззрѣніямъ. Но, разумѣется, наиболѣе сродни ему тѣ, которыя отмѣчены извѣстнымъ фаталистическимъ пошибомъ. Мы съ бóльшею готовностью, чѣмъ другіе народы, усвояемъ себѣ воззрѣнія, ограничивающія роль личности и значеніе личной иниціативы въ исторіи и выдвигающія на первый планъ закономѣрный или фатальный „ходъ вещей“. Это отлично гармонируетъ съ нашимъ волевымъ укладомъ. Но, съ другой стороны, съ тѣмъ же укладомъ согласуются и теоріи, приписывающія исключительное значеніе великимъ людямъ, „вождямъ“ и „героямъ“: нашъ во-

левой укладъ одинаково приспособленъ какъ къ тому, чтобы мы послушно и понуро шли за „ходомъ вещей“, такъ и къ тому, чтобы мы болѣе или менѣе охотно слѣдовали за своимъ „героемъ“ или „вождемъ“, избавляя себя отъ труда хотѣть и дѣйствовать. Иначе говоря, строй нашей волевой психики отчасти приближается къ психологіи толпы и пока еще недостаточно приспособленъ къ организованному общественному дѣйствованію, сознательному и цѣлесообразному, предрѣшающему событія, создающему „ходъ вещей“. Оттуда между прочимъ и слабость у насъ классовой организаціи.

Французское выраженіе „faire l'histoire“ [1]), столь характерное для французскаго національнаго склада, совершенно не примѣнимо у насъ: наша исторія какъ-то сама собою дѣлается... Въ сущности, разумѣется, это мы ее дѣлаемъ, но только пассивно, а не активно,—и для насъ характерны выраженія, въ которыхъ о насъ-то и умалчивается, въ родѣ: „повѣяло весной“, „наступила реакція“, „времена измѣнились“ и т. п. Такъ, Штольцъ говоритъ Обломову: „Ты не знаешь, что закипѣло у насъ теперь...“—Это „закипѣли“ „вѣянія“ конца 50-хъ годовъ, когда почуялась близость великой реформы, за которою должны были послѣдовать и другія. Для современниковъ, какъ и для послѣдующихъ поколѣній, было не вполнѣ ясно, какія именно общественныя силы и въ какой мѣрѣ участвовали въ этихъ событіяхъ первостепенной важности. Опять приходится вспомнить психологію толпы. Впослѣдствіи понадобились спеціальныя изысканія, чтобы выяснить весь этотъ ходъ „вещей“. Равнымъ образомъ долго оставался открытымъ вопросъ о томъ, чему собственно мы обязаны побѣдой надъ Наполеономъ въ 1812 году: морозу или мудрой медлительности Кутузова, столь геніально изображенной Толстымъ—именно какъ нашъ національный способъ дѣйствовать?

---

[1]) „Дѣлать исторію“.

Вотъ именно Кутузовъ въ „Войнѣ и мирѣ“ и является художественнымъ воплощеніемъ нашего національнаго волевого уклада и фаталистическихъ наклонностей нашей мысли, въ ихъ нормальномъ видѣ и въ историческомъ обнаруженіи [2]). И, можно сказать, мы дѣлали и дѣлаемъ нашу исторію „по-кутузовски“. Къ сожалѣнію, приходится сознаться, что до сихъ поръ мы дѣлали ее и „по-обломовски“. Надо уповать, что этотъ послѣдній „факторъ“ пойдетъ на убыль, что приближается время, когда обломовщина, какая еще есть, будетъ вытѣснена изъ сферы общественной жизни и дѣятельности и перестанетъ опредѣлять собою „ходъ вещей“ у насъ. Симптомы этого оздоровленія нашей національной психики уже намѣчаются. И не трудно видѣть, что ближайшимъ результатомъ этого будетъ также нѣкоторое измѣненіе въ нормальномъ функціонированіи нашихъ волевыхъ актовъ: ихъ темпъ ускорится, нашъ „волевой фатализмъ“ пойдетъ на убыль, яснѣе обозначатся системы силъ, творящія исторію,— и мы будемъ знать, куда идемъ, что и какъ дѣлаемъ...

2.

Важнѣйшіе признаки обломовщины оттѣняются фигурою Штольца. Задуманное и изображенное въ противоположность Обломову, это лицо, какъ художественный образъ, оставляетъ впечатлѣніе нѣкоторой апріорности и, пожалуй, искусственности построенія. При всемъ томъ однако мы не можемъ присоединиться къ мнѣнію, будто Штольцъ не удался Гончарову примѣрно такъ, какъ не удался Гоголю Костанжогло. Штольцъ, во всякомъ случаѣ, не выдуманъ. То, что въ немъ признается неяснымъ, было въ ту эпоху

[2]) Объ этомъ я писалъ подробнѣе въ книгѣ „Л. Н. Толстой какъ художникъ“, глава IV и V.

неясно въ самой жизни, и какъ этою, такъ и другими сторонами Штольцъ представляется намъ фигурою, далеко не лишенною типичности для второй половины 50-хъ годовъ и начала 60-хъ.

Другъ и сверстникъ Обломова, Штольцъ — отрицатель и противникъ обломовщины. Онъ отрицаетъ ее во всѣхъ ея видахъ. Идеалъ барской жизни въ деревнѣ, который лелѣетъ Обломовъ, представляется Штольцу совершенно нелѣпымъ. „Это не жизнь! — говоритъ онъ въ отвѣтъ на разглагольствованія замечтавшагося Ильи Ильича (ч. II, гл. IV), — это какая-то... обломовщина“. — Когда Обломовъ хочетъ доказать ему, что всѣ люди стремятся къ покою, что это свойственно природѣ человѣческой, Штольцъ отвѣчаетъ: „И утопія-то у тебя обломовская“ (тамъ же). — Обломовскому культу покоя и квіетизма онъ противопоставляетъ культъ труда и непрерывнаго стремленія впередъ. Илья Ильичъ готовъ согласиться съ тѣмъ, что можно работать, трудиться, „мучиться“, по его опредѣленію, но только съ тою цѣлью, чтобы „обезпечить себя навсегда и удалиться потомъ на покой, отдохнуть“. — „Деревенская обломовщина!“ восклицаетъ Штольцъ. „Или достигнуть службой значенія и положенія въ обществѣ, — продолжаетъ развивать свою мысль Обломовъ, — и потомъ въ почетномъ бездѣйствіи наслаждаться заслуженнымъ отдыхомъ...“ — „Петербургская обломовщина!“ восклицаетъ Штольцъ (ч. II, гл. IV). Вотъ именно въ противоположность этому, столь характерному для обломовщины стремленію къ „отдыху“, „покою“, почетному или непочетному „бездѣйствію“, Штольцъ настаиваетъ на необходимости труда — ради труда, безъ всякихъ видовъ на „отдыхъ“. На вопросъ Обломова: „для чего же мучиться весь вѣкъ?“ онъ отвѣчаетъ: „для самого труда, больше ни для чего. Трудъ — образъ, содержаніе, стихія и цѣль жизни, по крайней мѣрѣ, моей“ (тамъ же). — Эти слова, конечно, не означаютъ, что для Штольца безразлично, какимъ бы дѣ-

ломъ ни заниматься, что его нисколько не интересуетъ вопросъ о цѣли и значеніи его труда. Онъ не будетъ толочь воду въ ступѣ... Мы хорошо знаемъ, чѣмъ онъ занятъ: онъ „пріобрѣтаетъ", составляетъ себѣ состояніе, ведетъ свои дѣла, вмѣстѣ съ тѣмъ онъ учится, развивается, слѣдитъ за всѣмъ, что творится на бѣломъ свѣтѣ, наконецъ много путешествуетъ, какъ по Россіи, такъ и за границей [1]). Онъ — просвѣщенный дѣлецъ и „грюндеръ". И совершенно очевидно, что этому „труду" онъ, какъ и самъ Гончаровъ, приписываетъ прогрессивное общественное значеніе. Мало того: его проповѣдь „труда" не лишена моральнаго оттѣнка. Это было въ духѣ времени. Отживающей обломовщинѣ, какъ порожденію крѣпостничества, противопоставляли, наканунѣ паденія крѣпостного права, необходимость предпріимчивости, дѣловитости, иниціативы, и эти качества представлялись въ видѣ культурной и даже моральной силы, призванной обновить и возродить Россію. Сама собой устанавливалась „психологическая ассоціація" представленій этихъ качествъ съ идеями либерализма, просвѣщенія, общественнаго развитія. И это было симптомомъ того поворота, который обозначился въ нашей внутренней жизни около половины 50-хъ годовъ: на смѣну крѣпостническаго строя выступалъ буржуазный, выдвигавшій вмѣстѣ съ культомъ наживы, духомъ предпріимчивости, грюндерствомъ новую политическую программу, правда, не вполнѣ ясную, но во всякомъ случаѣ отмѣченную печатью либерализма, общихъ идей просвѣщенія, прогресса, свободы. Теперь уже нельзя было сочетать дѣловитости, предпріимчивости и наживы съ обскурантизмомъ и политической отсталостью, какъ это

[1]) Онъ говоритъ Обломову: „Я два раза былъ за границей, послѣ нашей премудрости смиренно сидѣлъ на студенческихъ скамьяхъ въ Боннѣ, въ Іенѣ, въ Эрлангенѣ, потомъ выучилъ Европу, какъ свое имѣніе... Я видѣлъ Россію вдоль и поперекъ. Тружусь..." И увѣрялъ, что никогда не перестанетъ „трудиться", хотя бы утвердилъ свои капиталы (ч. II. гл. IV).

дѣлалъ Гоголь. Новый Костанжогло являлся либераломъ, „просвѣщеннымъ раціоналистомъ“ [1]), прогрессистомъ.

Штольцъ при случаѣ заводитъ рѣчь о фабрикахъ, о путяхъ сообщенія, о пристаняхъ, о сбытѣ. Но онъ заводитъ рѣчь также о школахъ, именно — народныхъ, о просвѣщеніи. Его „программа“ — либерально-буржуазная и просвѣтительная: раскрѣпощеніе, экономическое развитіе страны, промышленный прогрессъ, просвѣтительная дѣятельность. Онъ восторженно привѣтствуетъ зарю новой жизни, занимавшуюся въ концѣ 50-хъ годовъ: онъ ожидаетъ близкой смѣны крѣпостнической и обломовской эпохи новою, либерально-буржуазною, прогрессивною, когда, вмѣсто обломовскаго сна и застоя, закипитъ работа на всѣхъ поприщахъ и процессъ оздоровленія общественнаго организма быстро пойдетъ впередъ... Вспомнимъ еще разъ тѣ думы, которымъ предается Штольцъ, когда онъ навсегда разстается съ Обломовымъ, сказавшимъ при прощаніи: „Не забудь моего Андрея“ (сына Ильи Ильича отъ Пшеницыной). — „Нѣтъ, не забуду я твоего Андрея... Погибъ ты, Илья: нечего тебѣ говорить, что твоя Обломовка не въ глуши больше, что до нея дошла очередь, что на нее пали лучи солнца! Не скажу тебѣ, что года черезъ четыре она будетъ станціей дороги, что мужики твои пойдутъ работать насыпь, а потомъ по чугункѣ покатится твой хлѣбъ къ пристани... А тамъ... школы, грамота, а дальше... Нѣтъ, перепугаешься ты зари новаго счастья, больно будетъ непривычнымъ глазамъ. Но поведу твоего Андрея, куда ты не могъ итти... и *съ нимъ будемъ приводить въ дѣло наши юношескія мечты*“ [2]) **(ч. IV, глава IX).**

Отсюда между прочимъ видно, что этотъ практическій дѣятель, этотъ грюндеръ и дѣловой человѣкъ лелѣетъ „юно-

---

[1]) Выраженіе г. Ляцкаго о Штольцѣ („Ив. Ал. Гончаровъ“, стр. 183).

[2]) Курсивъ мой.

шескія мечты" и надѣется проводить ихъ въ жизнь. Несомнѣнно, на личности Штольца лежитъ еще свѣжій отпечатокъ идеализма 40-хъ годовъ, къ которымъ относятся его юность, его воспитаніе, его университетскіе годы. Онъ учился въ московскомъ университетѣ, онъ слушалъ Грановскаго, онъ, конечно, зачитывался статьями Бѣлинскаго. Изъ этой „школы" онъ вынесъ широкіе умственные интересы, а также и тѣ „юношескія мечты", которыя, какъ мы видѣли, онъ хранитъ и въ зрѣломъ возрастѣ. Въ чемъ онѣ состояли, мы не знаемъ, но имѣемъ основаніе думать, что онѣ были довольно скромны и едва ли шли дальше тѣхъ освободительныхъ идей, которыя выдвинула эпоха реформъ.— Духу 40-хъ годовъ обязанъ Штольцъ также тѣмъ своеобразнымъ „эпикурействомъ" или „разумнымъ эгоизмомъ", которымъ отмѣчена его душевная жизнь, а также и вся его дѣятельность. Вѣдь, въ концѣ концовъ, всѣ усилія его направлены на то, чтобы создать себѣ обезпеченную, счастливую, разумную, изящную жизнь. Нельзя сказать, чтобы это было идеаломъ людей 40-хъ годовъ, но это воспитывалось въ нихъ условіями времени: общественная дѣятельность была тогда невозможна,—приходилось замыкаться въ тѣсномъ кругу,—и нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что лучшіе люди невольно впадали въ „эпикурейство". Личная жизнь съ ея вопросами любви, счастья, умственныхъ интересовъ и т. д. силою вещей выдвигалась на первый планъ. Вспомнимъ, какую выдающуюся роль въ жизни лучшихъ людей той эпохи играли любовь, дружба, эстетика, философскій и научный дилетантизмъ. Эти черты еще обострились въ глухое время первой половины 50-хъ годовъ. И когда, въ эти годы, явились новые, молодые дѣятели, вышедшіе изъ другой, не барской среды, одушевленные широкими общественными идеями, натуры стоическаго пошиба и высокаго нравственнаго закала, тогда и возникла та рознь между „отцами" и „дѣтьми", которая, помимо разногласія

въ направленіи, въ идеяхъ и „программахъ", была, прежде всего, столкновеніемъ противоположныхъ натуръ, психологическимъ конфликтомъ „эпикурейцевъ" и „стоиковъ". Въ литературѣ представителями новаго поколѣнія и вмѣстѣ съ тѣмъ новаго психологическаго типа были Чернышевскій, Добролюбовъ, Елисеевъ и др.

Къ которому изъ этихъ двухъ типовъ принадлежитъ Штольцъ? Ни къ тому, ни къ другому. Штольцъ скорѣе всего — представитель третьяго, тогда нарождавшагося типа — либерала и практическаго дѣятеля, сохранившаго еще отпечатокъ идеализма 40-хъ годовъ и унаслѣдовавшаго отъ нихъ „эпикурейскіе" наклонности и вкусы.

Но въ другихъ отношеніяхъ онъ, какъ психологическій типъ, рѣзко отличается отъ людей 40-хъ годовъ. Онъ — человѣкъ положительный, натура уравновѣшенная, чуждая излишествъ рефлексіи, бодрая, дѣятельная, жизнерадостная. По складу ума онъ — позитивистъ. „Мечтѣ, загадочному, таинственному не было мѣста въ его душѣ. То, что не подвергалось анализу опыта, практической истины, было въ глазахъ его оптическій обманъ... У него не было и того дилетантизма, который любитъ порыскать въ области чудеснаго, или подонкихотствовать въ полѣ догадокъ и открытій за тысячу лѣтъ впередъ..." (ч. II, гл. II). — Это написано Гончаровымъ, очевидно, съ оглядкою на идеалистовъ и дилетантовъ метафизики 40-хъ годовъ и съ цѣлью оттѣнить въ лицѣ Штольца новый психологическій типъ, выступавшій на смѣну прежнему. Новый типъ оказывается болѣе здоровымъ, цѣльнымъ, болѣе жизнеспособнымъ. Въ немъ отмѣчено обыкновенное развитіе задерживающей и регулирующей воли — въ противоположность ея слабости у многихъ представителей старшаго поколѣнія. Мотивировано это — у Штольца — наслѣдственностью (со стороны отца) и спартанскимъ воспитаніемъ. Какъ бы то ни было, оказывается, что весь душевный міръ Штольца постоянно нахо-

дится подъ контролемъ его воли: „кажется, и печалями, и радостями онъ управлялъ какъ движеніемъ рукъ, какъ шагами ногъ...“ (ч. II, гл. II).—Онъ стремится къ тому, чтобы не было „ничего лишняго“ въ его душѣ („въ нравственныхъ отправленіяхъ его жизни“),—„онъ искалъ равновѣсія практическихъ сторонъ съ тонкими потребностями духа“ (тамъ же). Его задачею было — поменьше мудрить и выработать себѣ „простой, т.-е. прямой, настоящій взглядъ на жизнь“; зная всю трудность этой задачи („мудрено и трудно жить просто!“ говорилъ онъ), онъ „боялся воображенія и всякой мечты“ и зорко слѣдилъ за собою, за каждымъ шагомъ своимъ. Между прочимъ, „слѣдилъ онъ и за сердцемъ“: вопросъ любви къ женщинѣ занимаетъ свое мѣсто въ его душевной экономіи: „онъ и среди увлеченія чувствовалъ землю подъ ногой и довольно силы въ себѣ, чтобы, въ случаѣ крайности, рвануться и быть свободнымъ“ (тамъ же). Онъ не вѣрилъ „въ поэзію страстей, не восхищался ихъ бурными проявленіями и разрушительными слѣдами, а все хотѣлъ видѣть идеалъ бытія и стремленій человѣка въ строгомъ пониманіи и отправленіи жизни“ (тамъ же).

Таковъ Штольцъ... Гончаровъ, какъ видно, очень цѣнилъ такія качества ума и характера и думалъ фигурою Штольца отвѣтить на вопросъ, поставленный Гоголемъ: какіе люди нужны Россіи? Ему казалось, что великое слово „впередъ!“, о которомъ мечталъ Гоголь, будетъ сказано сперва Штольцами, русскими по національности, полуиностранцами по крови, и уже вслѣдъ за ними явятся соотвѣтственные дѣятели чисто-русскаго происхожденія. Прочтемъ слѣдующее мѣсто изъ той же главы: „Чтобъ сложиться такому характеру, можетъ быть, нужны были и такіе смѣшанные элементы, изъ какихъ сложился Штольцъ. Дѣятели издавна отливались у насъ въ пять-шесть стереотипныхъ формъ, лѣниво вполглаза глядя вокругъ, прикладывали руку къ общественной машинѣ и съ дре-

мотой двигали ее по обычной колеѣ, ставя ногу въ оставленный предшественникомъ слѣдъ. Но вотъ глаза очнулись отъ дремоты, послышались бойкіе, широкіе шаги, живые голоса... Сколько Штольцевъ должно явиться подъ русскими именами!“

Упованія, возлагавшіяся Гончаровымъ на дѣятелей этого типа, какъ извѣстно, не оправдались. Россіи, конечно, нужны были, какъ и теперь нужны, дѣятели съ такимъ запасомъ энергіи, какой мы видимъ у Штольца, но одной энергіи мало, — нужно еще, чтобы она была направлена на выработку общественнаго самосознанія, на общественное дѣло, на проложеніе новыхъ путей внутренняго развитія Россіи. У Штольца она направлена больше на личныя цѣли, на грюндерство и на урегулированіе его собственной душевной жизни. Онъ, пожалуй, окажется отличнымъ работникомъ и умѣлымъ проводникомъ новыхъ началъ въ жизни, но вѣдь онъ — не человѣкъ творческой мысли въ вопросахъ общественнаго развитія. Это видно уже изъ того, что онъ не имѣетъ ясной программы, что его идеологія исчерпывается „юношескими мечтами“, вынесенными изъ 40-хъ годовъ, между тѣмъ какъ уже заканчивались 50-е, приближалась эпоха великихъ реформъ и подымался основной и труднѣйшій вопросъ русской жизни — о народѣ, объ устроеніи его экономическаго быта, — вопросъ, для правильной постановки котораго либерализмъ и просвѣщенный раціонализмъ Штольца недостаточны, а его грюндерство могло служить даже препятствіемъ. Требовалась широкая демократическая программа, согласованная съ возможно широкимъ идеаломъ политическаго развитія Россіи, и для этого нужны были дѣятели и мыслители совсѣмъ иного направленія и иного строя души. Таковые и не замедлили явиться. Одинъ изъ самыхъ яркихъ представителей этого новаго общественно-психологическаго типа, великій критикъ-

публицистъ Н. А. Добролюбовъ, отнесся къ Штольцу отрицательно. Онъ писалъ „...что онъ (Штольцъ) дѣлаетъ и какъ онъ ухитряется дѣлать что-нибудь порядочное тамъ, гдѣ другіе ничего не могутъ сдѣлать,—это для насъ остается тайной. Онъ мигомъ устроилъ Обломовку для Ильи Ильича:—какъ? этого мы не знаемъ. Онъ мигомъ уничтожилъ фальшивый вексель Ильи Ильича; — какъ? это мы знаемъ. Поѣхалъ къ начальнику Ивана Матвѣича, которому Обломовъ далъ вексель, поговорилъ съ нимъ дружески,—Ивана Матвѣича призвали въ присутствіе и не только что вексель велѣли возвратить, но даже изъ службы выходить приказали. И подѣломъ ему, разумѣется; но, *судя по этому случаю, Штольцъ не доросъ еще до идеала общественнаго русскаго дѣятеля*“ [1]) (Сочин. Н. А. Добролюбова, т. II, стр. 500—504).

Средство, къ которому Штольцъ прибѣгалъ въ данномъ случаѣ, было глубоко-антипатично Добролюбову. Онъ рѣшительно выступалъ противъ такихъ пріемовъ въ борьбѣ съ темными силами. Въ этомъ отношеніи онъ какъ и Чернышевскій, далеко опередилъ свое время и явилъ образецъ „общественнаго русскаго дѣятеля“ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Оттого и сталъ онъ призваннымъ и признаннымъ учителемъ и воспитателемъ поколѣній. — Напротивъ, Штольцъ, не брезгавшій вышеуказанными пріемами борьбы, былъ, въ этомъ отношеніи, шаблоннымъ челавѣкомъ своего времени. Но самъ Добролюбовъ смягчаетъ суровость своего приговора непосредственно слѣдующими за приведеннымъ мѣстомъ словами: „Да и нельзя еще (достичь идеала общественнаго русскаго дѣятеля): рано“.—Окончательное заключеніе Добролюбова о Штольцѣ сводится къ тому, что „онъ не тотъ человѣкъ, который сумѣетъ на языкѣ, понятномъ

---

[1]) Курсивъ мой.

для русской души, сказать намъ это всемогущее слово: впередъ!" [2]) (Сочин., II, 505).

Штольцъ — не вождь, не герой. Онъ не пролагаетъ новыхъ путей. Онъ только идетъ за временемъ и является представителемъ эпохи, когда отживала старая обломовщина и на смѣну крѣпостного строя возникалъ новый порядокъ вещей. Гончаровъ, конечно, идеализируетъ Штольца. Устраняя эту идеализацію, мы все-таки скажемъ, что въ предразсвѣтную эпоху конца 50-хъ годовъ, когда, по выраженію Добролюбова, нужно было „расчищать лѣсъ", чтобы выйти на большую дорогу и убѣжать отъ „обломовщины", Штольцы свою лепту вносили въ это дѣло, хотя бы уже тѣмъ, что не сидѣли на мѣстѣ, не спали, не кисли, а суетились, просвѣщались, тормошили Обломовыхъ, радовались наступленію новой эры, отрицали крѣпостное право.

Штольцъ, какъ общественный дѣятель и моральная величина, не выдержитъ критики, если судить о немъ съ высоты Добролюбовскаго идеала. Но по сравненію съ окружавшею его тьмою и пустотою (кстати сказать, превосходно изображенной въ романѣ Гончарова второстепенными и вводными фигурами), съ безнадежною спячкою обломовцевъ, съ глубокими залежами обскурантизма, тогда почти не тронутаго, — Штольцъ долженъ быть признанъ явленіемъ въ свое время прогрессивнымъ.

Отмѣтимъ, въ заключеніе, еще одну черту, которою Штольцъ рѣзко отличается отъ новыхъ людей Добролюбовскаго типа. Это — болѣе чѣмъ добродушное отношеніе Штольца къ той самой обломовщинѣ, которую онъ такъ послѣдовательно отрицаетъ. Добролюбовъ, какъ извѣстно, не щадитъ ея и произноситъ надъ нею „судъ безпощадный". Для него она — почти порокъ, во всякомъ случаѣ — уродство, и человѣкъ, зараженный обломовщиной, не за-

[2]) Извѣстное мѣсто изъ первой главы второй части „Мертвыхъ душъ".

служиваетъ, по глубокому убѣжденію критика, ни сожалѣнія, ни снисхожденія. Въ его глазахъ обломовцы — народъ никуда не годный, и обломовщина — наше національное несчастье и проклятье. Для Штольца она — только болѣзнь, и онъ относится къ обломовцамъ съ состраданіемъ,— онъ ихъ жалѣетъ, какъ больныхъ, безмощныхъ, слабыхъ духомъ и волею, но, по существу, хорошихъ, чистыхъ и честныхъ людей, достойныхъ лучшей участи. Очевидно, это потому такъ, что онъ самъ выросъ подъ сѣнью обломовщины, знаетъ обломовцевъ съ дѣтства, принадлежитъ къ ихъ кругу, ихъ средѣ, и еще потому, что онъ выражаетъ отношеніе къ обломовщинѣ самого Гончарова, — послѣдовательно-отрицательное, но спокойное и благодушное, какъ оно выразилось и въ знаменитомъ романѣ, и въ автобіографическихъ очеркахъ „На родинѣ“.

Но Гончаровъ указалъ на возможность и, пожалуй, необходимость и иного — болѣе радикальнаго — отрицанія нашей „національной болѣзни“, близкаго къ Добролюбовскому. Это отрицаніе, въ мягкой, женственной формѣ, не нарушающей его послѣдовательности, его принципіальности, дано въ самомъ романѣ и было въ свое время отмѣчено и превосходно комментировано Добролюбовымъ. Оно представлено героиней романа *Ольгой Ильинской,* о которой великій критикъ писалъ: „въ ней-то болѣе, нежели въ Штольцѣ, можно видѣть намекъ на новую русскую жизнь; отъ нея можно ожидать слова, которое сожжетъ и развѣетъ обломовщину...“ (Сочин., II, 505).

Къ тому, что сказано нашей критикой объ этомъ женскомъ образѣ, занимающемъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ нашей художественной литературѣ, прибавлять нечего. Но я позволю себѣ, прежде чѣмъ разстаться съ обломовщиной и ея противовѣсомъ — Штольцемъ и перейти къ эпохѣ и людямъ 60-хъ годовъ, сказать нѣсколько словъ объ этомъ чудномъ женскомъ образѣ, сохраняющемъ до сихъ поръ

свое обаяніе — какъ умъ и характеръ, и свое значеніе — какъ типъ.

3.

(Посвящается П. Е. Майковой).

Незаурядная сила и ясность ума, цѣльность натуры, вѣчное стремленіе впередъ — къ разумной дѣятельности, къ плодотворной общественной работѣ — вотъ тѣ черты, которыя ставятъ Ольгу выше другихъ, даже лучшихъ, женщинъ ея времени и вмѣстѣ съ тѣмъ являются главнымъ основаніемъ того, что въ лицѣ Ольги обломовщина встрѣтила судью и противника гораздо болѣе послѣдовательнаго и рѣшительнаго, чѣмъ Штольцъ.

Ольга изображена Гончаровымъ такъ, что читателю становятся вполнѣ ясными ея дальнѣйшіе пути въ жизни. Уже Добролюбовъ предсказывалъ, что она когда-нибудь броситъ Штольца, разочаровавшись въ немъ, какъ въ общественномъ дѣятелѣ и величинѣ моральной. Личнымъ и семейнымъ счастьемъ она не удовлетворится. Натура изящно-женственная, она вмѣстѣ съ тѣмъ одарена мужскимъ умомъ и мужскимъ стремленіемъ къ дѣлу, работѣ, борьбѣ. Спокойная, тихая, счастливая жизнь пугаетъ ее, какъ призракъ обломовщины, какъ болотная тина, грозящая затянуть и поглотить человѣка. Всего менѣе могла бы выйти изъ нея самодовольная мать, женщина-насѣдка, „нянька своихъ дѣтей", жена-хозяйка. Это понялъ и оцѣнилъ въ ней Штольцъ[1]). Ничего нѣтъ въ ней *буржуазнаго*, — и, очевидно, это послужитъ когда-нибудь причиной ея разрыва съ Штольцемъ.

---

[1]) Вдали ему улыбался новый образъ, не эгоистки Ольги, не страстно любящей жены, не матери-няньки, увядающей потомъ въ безцвѣтной, никому ненужной жизни, а что-то другое, высокое, почти небывалое... Ему грезилась мать-создательница и участница нравственной и общественной жизни цѣлаго счастливаго поколѣнія..." (ч. IV, гл. VIII).

„Чѣмъ счастье ея полнѣе, тѣмъ она становилась задумчивѣе и даже... боязливѣе. Она стала строго замѣчать за собой и уловила, что ее смущала эта тишина жизни, *ея остановка на минутахъ счастья...*“ (ч. IV, гл. VIII). — Не трудно предвидѣть, что когда-нибудь, въ одну изъ такихъ „остановокъ жизни“, глаза Ольги откроются, и она вдругъ пойметъ, что ея мужъ, въ сущности, далеко не соотвѣтствуетъ ея идеалу. У такихъ, какъ Штольцъ, оборотная, пошлая сторона души маскируется ихъ „дѣятельностью“, подвижностью, предпріимчивостью, суетой и шумомъ; зато тѣмъ ярче можетъ выступить она — на досугѣ, въ тѣ счастливыя минуты „тишины“ и „остановокъ жизни“... И кажется, Ольга потому и боится этихъ минутъ, что смутно предчувствуетъ разочарованіе, которое онѣ принесутъ ей. Ольга любитъ не слѣпо, а сознательно. Къ ней не приложима поговорка: „не по-хорошу милъ, а по-милу хорошъ“. — „Признавъ разъ въ избранномъ человѣкѣ достоинство и права на себя, она вѣрила въ него и потому любила, а переставала вѣрить — переставала и любить, какъ случилось съ Обломовымъ“ (ч. IV, гл. VIII). Такъ и Штольца полюбила она „не слѣпо, а съ сознаніемъ“, и „чѣмъ сознательнѣе она вѣровала въ него, тѣмъ труднѣе было ему держаться на одной высотѣ, быть героемъ не ума ея и сердца только, но и воображенія“ (тамъ же). И, конечно, онъ не удержится „на высотѣ“. Онъ могъ бы, пожалуй, остаться „героемъ ея воображенія“ въ глухое обломовское время, на безлюдьи; но времена перемѣнились, — явилась возможность нѣкоторой общественной работы, борьба манила, новый идеалъ дѣятеля уже складывался въ сознаніи лучшихъ людей, и эти лучшіе люди уже выступали на арену, разоблачая незначительность „дѣятельности“ и буржуазно-либеральной идеологіи Штольцевъ.

И Ольга „готовилась, ждала“... „Она росла все выше и выше“ (тамъ же). Предугадывая ея дальнѣйшую жизнь, мы

скажемъ, что она, раньше или позже, разочаруется въ Штольцѣ, убѣдится въ ничтожности его „дѣятельности“ и въ недостаточности его „программы“. Она выступитъ на иной путь, трудный и тернистый, исполненный лишеній и невзгодъ. И куда бы судьба ни забросила ее, въ какомъ бы забытомъ уголкѣ ни пришлось ей жить, — она повсюду сохранитъ на всю жизнь завѣты своей молодости. Пройдутъ года, — она состарится тѣломъ, но не духомъ: если вы ее гдѣ-нибудь встрѣтите, вы будете поражены и очарованы ясностью ея ума, свѣжестью ея чувства, ея живою отзывчивостью на всѣ вопросы и злобы времени.

Въ противоположность фигурѣ Штольца, въ Ольгѣ нѣтъ ничего искусственнаго, апріорнаго. Это живое лицо прямо взято изъ жизни. Въ художественномъ отраженіи, въ поэтическомъ обобщеніи — оно явилось психологическимъ типомъ, объединяющимъ лучшія стороны русской образованной женщины, сильной умомъ, волею и внутреннею свободою, — женщины, имѣющей всѣ данныя, чтобы явить тотъ идеалъ общественнаго дѣятеля, о которомъ нѣкогда мечталъ Добролюбовъ...

ГЛАВА XII.

Н. А. Некрасовъ.

1.

Эпоха, о которой мы вели рѣчь въ двухъ предыдущихъ главахъ, вторая половина 50-хъ годовъ, была великимъ поворотнымъ пунктомъ русской исторіи, кануномъ великихъ реформъ, началомъ новой эры. Въ такія эпохи всегда появляются „новые люди“, возникаютъ новые общественно-психологическіе типы.

Новые типы, возникавшіе во вторую половину 50-хъ годовъ, окончательно выяснились и достигли наибольшей яркости выраженія въ 60-е годы, когда закладывались устои новой Россіи и наша общественная жизнь являла оживленную картину борьбы различныхъ умственныхъ теченій и идеаловъ.

Въ это время Штольцы уже становились анахронизмомъ. Они быстро сходили со сцены, уступая мѣсто либеральнымъ дѣльцамъ и бюрократамъ-карьеристамъ, въ родѣ, напр., Калиновича, героя романа Писемскаго „Тысяча душъ“. Этому типу предстояла дальнѣйшая „эволюція“, превосходно воспроизведенная, какъ увидимъ въ своемъ мѣстѣ, въ нѣкоторыхъ романахъ и повѣстяхъ П. Д. Боборыкина. Одновременно обозначился и типъ „разночинца“,

воодушевленнаго тѣми идеями, которыя вскорѣ кристаллизовались въ доктрину радикальнаго народничества. Выходцы изъ духовенства, мѣщанства и народа, эти „разночинцы“, несомнѣнно, представляли собою не только извѣстное направленіе общественной мысли, но и весьма опредѣленный общественно-психологическій типъ, лучшими представителями котораго были въ литературѣ Добролюбовъ и Чернышевскій. Уже въ концѣ 50-хъ годовъ между этими „разночинцами“, или „семинаристами“, какъ ихъ обзывали, и представителями старшаго поколѣнія, воспитавшагося въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, обнаружился коренной разладъ, который, въ существѣ своемъ, былъ не столько идейнымъ, сколько психологическимъ: это была рознь и даже взаимная антипатія натуръ противоположнаго душевнаго уклада. Объ этой розни намъ придется говорить въ дальнѣйшемъ. Здѣсь я хочу указать только на то, что столкновеніе людей, скажемъ для краткости, „добролюбовскаго“ типа съ людьми „тургеневскаго“ или „герценовскаго“ типа было первымъ по времени и наиболѣе знаменательнымъ появленіемъ неизбѣжной распри между „дѣтьми“ и „отцами“, — распри, которая, все болѣе осложняясь и обостряясь, затянулась на многіе годы. Наша общественная жизнь и наши литературныя направленія 60-хъ и 70-хъ годовъ ярко окрашены различными выраженіями этой распри. Уже въ самомъ началѣ 60-хъ годовъ она осложнилась появленіемъ особой разновидности „новыхъ людей“, именно той, наиболѣе яркимъ и блестящимъ представителемъ которой былъ Д. И. Писаревъ. Что это была — психологически — особая разновидность, весьма отличная отъ „разночинцевъ“ добролюбовскаго типа, — это въ настоящее время не подлежитъ сомнѣнію. Въ суматохѣ того времени, въ горячкѣ литературной полемики, когда нерѣдко выходило, что „своя своихъ не познаша“, люди весьма различнаго душевнаго склада смѣшались и искус-

ственно объединялись подъ однимъ и тѣмъ же названіемъ или кличкою въ родѣ „нигилисты", „мыслящіе реалисты", „мыслящій пролетаріатъ", или просто „новые люди". Но, однако, при всей искусственности, это объединеніе оправдывалось тѣмъ, что, дѣйствительно, были нѣкоторыя черты, общія почти всѣмъ разновидностямъ „новыхъ людей" и довольно рѣзко разграничивавшія ихъ отъ ихъ историческихъ предшественниковъ, отъ „отцовъ".

Въ ряду этихъ чертъ на первый планъ нужно выдвинуть ту, которая относится къ сферѣ національной психологіи: это именно отсутствіе обломовщины. Люди 60-хъ годовъ въ общемъ — не обломовцы. Конечно, между ними попадались отдѣльныя лица, отмѣченныя въ той или иной мѣрѣ печатью нашей „національной болѣзни", но эта печать не была характернымъ признакомъ поколѣнія, и „обломовцы" по натурѣ или унаслѣдованнымъ привычкамъ, подчиняясь общему духу бодрости, общему стремленію къ труду и борьбѣ, излѣчивались отъ „національнаго недуга" или не имѣли возможности обнаруживать соотвѣтственныхъ чертъ своего характера или настроенія. Можно сказать, 60-е годы были эпохой, когда, вмѣстѣ съ дореформенными порядками, хоронилась и обломовщина. Статья Добролюбова „Что такое обломовщина?" — была, въ этомъ смыслѣ, своего рода „манифестомъ", — и появленіе знаменитаго романа Гончарова въ 1859 году было знаменіемъ времени. Вотъ именно наступило такое время, что всякаго рода „обломовщина" приходилась „не ко двору", на нее не было спроса, нужны были иные люди, обломовцы же становились „лишними". Въ связи съ этимъ на арену общественной жизни должны были выступить представители тѣхъ слоевъ, которые, по всей обстановкѣ жизни, отнюдь не представляли условій, благопріятствующихъ развитію обломовщины. Первое мѣсто принадлежитъ здѣсь духовенству, которое издавна было у насъ наименѣе обло-

мовскимъ классомъ. Борьба съ обломовщиною и велась по преимуществу дѣятелями, вышедшими изъ этого класса. Къ нимъ не замедлили присоединиться и выходцы изъ другихъ слоевъ, между прочимъ и тѣ, которыхъ позже, въ 70-хъ годахъ, Михайловскій назвалъ „кающимися дворянами". Это была особая общественно-психологическая разновидность, сперва не замѣченная, но потомъ обозначившаяся довольно ясно на фонѣ нашей общественной жизни и литературы. Яркимъ ея представителемъ былъ самъ Н. К. Михайловскій, какъ нѣсколько раньше — Д. И. Писаревъ. Люди этого склада, въ большинствѣ, не были обломовцами.

Здѣсь мы отмѣтимъ тотъ важный фактъ, что „кающіеся дворяне", и при томъ не зараженные обломовщиною, появлялись и раньше. Мы найдемъ ихъ въ 40-хъ годахъ. Но въ высокой степени знаменательно то, что они могли выступить на сцену и обнаружиться, какъ сила, только въ концѣ 50-хъ годовъ и въ 60-хъ. По возрасту и по воспитанію люди 40-хъ годовъ, они стали, по своей дѣятельности, истинными людьми 60-хъ годовъ и даже явились вождями передового движенія этой эпохи,—одни изъ нихъ—творцами или проводниками великихъ реформъ, другіе—первенствующими представителями прогрессивныхъ направленій въ литературѣ.

Въ ряду этихъ передовыхъ литературныхъ дѣятелей, воспитавшихся и выступившихъ еще въ 40-е годы, но проявившихъ всю силу своего дарованія въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, особенное вниманіе привлекаютъ къ себѣ, именно какъ представители эпохи и вожди движенія, Н. А. Некрасовъ и М. Е. Салтыковъ.

2.

Обращаясь къ Некрасову, мы постараемся уяснить себѣ преимущественно тѣ черты его натуры и ума, кото-

рыми этотъ большой поэтъ, замѣчательный журналистъ и необыкновенный человѣкъ былъ, можно сказать, кровно связанъ съ эпохою 60-хъ годовъ, къ которой относится расцвѣтъ его дѣятельности. По лѣтамъ и воспитанію онъ принадлежитъ 40-мъ годамъ, когда и началъ писать и печатать. Но психологически, по духу, по складу мысли, да и по самой натурѣ своей онъ имѣетъ весьма мало общаго съ эпохою 40-хъ годовъ. Всего меньше онъ—философъ-идеалистъ, метафизикъ, теоретикъ, мечтатель. Онъ — человѣкъ практическаго смысла и живого дѣла. Въ противоположность типичнымъ людямъ 40-хъ годовъ, въ немъ нѣтъ ничего барскаго, дилетантскаго, нѣтъ душевной утонченности и „прекраснодушія“. Мы не найдемъ у него никакихъ слѣдовъ унаслѣдованной или благопріобрѣтенной обломовщины. Онъ — не бѣлоручка, онъ — работникъ, труженикъ, не боящійся „черной работы“, а равно не уклоняющійся отъ такихъ дѣлъ или положеній, гдѣ можно „замарать руки“. Извѣстны тяжелыя условія, среди которыхъ протекла его молодость. Ему пришлось выбиваться изъ нищеты, — и въ трудной борьбѣ за существованіе еще болѣе закалился его характеръ, отъ природы сильный и упорный. Быть можетъ, не совсѣмъ неправы тѣ, которые утверждали, что въ этой борьбѣ его душа не только закалилась, но отчасти и ожесточилась, даже огрубѣла. Но — въ силу сплетенія разныхъ обстоятельствъ — эта „порча“ была такъ раздута, такъ чудовищно преувеличена, что, въ концѣ концовъ, въ представленіи современниковъ и потомства, духовный обликъ одного изъ крупнѣйшихъ нашихъ поэтовъ исказился до неузнаваемости. Только теперь этотъ туманъ начинаетъ разсѣиваться, благодаря новымъ работамъ о Некрасовѣ и опубликованію документальныхъ данныхъ, къ нему относящихся. Въ ряду этихъ работъ особливо важна книга покойнаго Пыпина „Н. А. Некрасовъ“ (С.-Петерб., 1903 г.), гдѣ, между прочимъ, впервые обнародованы письма поэта къ Тур-

геневу и гдѣ также помѣщены любопытныя замѣтки о личности Некрасова и о нѣкоторыхъ эпизодахъ его жизни и дѣятельности, сообщенныя Пыпину „современникомъ, который близко зналъ Некрасова“. Этотъ современникъ—не кто иной, какъ Н. Г. Чернышевскій [1]).

Съ половины 50-хъ годовъ журналъ Некрасова „Современникъ“ сталъ органомъ передового движенія въ нашей литературѣ, вождями котораго были Чернышевскій и Добролюбовъ. Близкое участіе этихъ писателей въ „Современникѣ“ и нѣкоторыя ихъ литературныя отношенія и мнѣнія были одною изъ причинъ извѣстнаго разрыва между Некрасовымъ и его старыми друзьями, между прочимъ—съ Тургеневымъ. Это было первое крупное столкновеніе людей „добролюбовскаго“ типа съ людьми „тургеневскаго“ типа. Некрасовъ рѣшительно и смѣло сталъ на сторону первыхъ, за что и пришлось ему перенесть не мало нареканій и обидъ, вся несправедливость которыхъ въ настоящее время уже выясняется. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что Некрасовъ дорожилъ сотрудничествомъ Чернышевскаго и Добролюбова не потому, что оно было выгодно ему, какъ издателю журнала, а потому, что раздѣлялъ ихъ направленіе и общіе взгляды и находилъ ихъ дѣятельность въ высокой степени плодотворною. Но этимъ дѣло не ограничилось: были еще болѣе тѣсныя, болѣе интимныя духовныя связи между Некрасовымъ и людьми того общественно-психологическаго типа, лучшими представителями котораго являлись Чернышевскій и Добролюбовъ. На эти-то связи я и хочу указать здѣсь.

Въ то время, какъ Тургеневу (а также и Герцену) Чернышевскій и Добролюбовъ внушали родъ безсознательной,

---

[1]) Къ книгѣ приложенъ обстоятельный „Библіографическій обзоръ литературы о Некрасовѣ съ его смерти“. Нужно дополнить списокъ указаніемъ на статью В. Н. Кранихфельда „Ник. Ал. Некрасовъ“. (Опытъ литературной характеристики). „Міръ Божій“, 1902, декабрь.

инстинктивной антипатіи, Некрасовъ сразу полюбилъ ихъ и съ рѣдкою прозорливостью ума и чуткостью души понялъ и оцѣнилъ всю душевную силу и красоту этихъ натуръ, съ которыми, казалось бы, у него было такъ мало общаго. Къ Добролюбову онъ питалъ трогательное чувство, близкое къ обожанію. Чернышевскій, опровергая со свойственною ему скромностью мнѣніе, что онъ и Добролюбовъ расширили умственный и нравственный горизонтъ Некрасова, и доказывая, что поэтъ вовсе не нуждался въ этомъ, говоритъ между прочимъ: „*Любовь къ Добролюбову могла освѣжать сердце Некрасова; и, я полагаю, освѣжала*“ [1]). Но это совсѣмъ иное дѣло, не расширеніе „умственнаго и нравственнаго горизонта“, а *чувство отрады* [2]). Чувство отрады благотворно. Оно укрѣпляетъ душевныя силы. За десять лѣтъ до знакомства съ Добролюбовымъ подобное благотворное вліяніе имѣло на Некрасова знакомство съ тою женщиной, которая была предметомъ многихъ его лирическихъ пьесъ“ (А. Н. Пыпинъ, „Н. А. Некрасовъ“, стр. 251). Нельзя лучше опредѣлить характеръ „вліянія“ на Некрасова „юноши-генія“, какъ назвалъ онъ Добролюбова въ одномъ позднѣйшемъ стихотвореніи [2]). Вспомнимъ здѣсь и другіе стихи — „20 ноября 1861 года“ (день похоронъ Добролюбова). Ихъ задушевный тонъ отразилъ настоящія отношенія поэта къ безвременно умершему другу, любовь къ которому „освѣжала“ его сердце и внушала ему „чувство отрады“:

Я покинулъ кладбище унылое,
Но я мысль мою тамъ позабылъ,—
Подъ землею въ гробу пріютилася
И глядитъ на тебя, мертвый другъ!
Ты схороненъ въ морозы трескучіе,

---

[1]) Курсивъ мой.

[2]) „Недавнее время“ (1871 г.).

Жадный червь не коснулся тебя.
На лицо, черезъ щели гробовыя,
Проступить не успѣла вода;
Ты лежишь, какъ сейчасъ похороненный,
Только словно длиннѣй и бѣлѣй
Пальцы рукъ, на груди твоей сложенныхъ,
Да сквозь землю проникнувшимъ инеемъ
Убѣлилъ твои кудри морозъ,
Да слѣды наложили чуть видные
Поцѣлуи суровой зимы,
На уста твои плотно сомкнутыя
И на впалыя очи твои...

Въ Добролюбовѣ Некрасовъ чтилъ огромную умственную величину и исключительную нравственную силу. Это хорошо иллюстрируется, между прочимъ, отзывами поэта, приводимыми Головачевой-Панаевой. Тургеневу, удивлявшемуся познаніямъ Добролюбова въ иностранныхъ литературахъ, Некрасовъ говорилъ: „...у него замѣчательная голова! Можно подумать, что лучшіе профессора руководили его умственнымъ развитіемъ и образованіемъ! Это, братъ, русскій самородокъ... Черезъ 10 лѣтъ литературной своей дѣятельности Добролюбовъ будетъ имѣть такое же значеніе въ русской литературѣ, какъ Бѣлинскій". („Воспоминанія А. Я. Головачевой-Панаевой. Русскіе писатели и артисты". Спб., 1890 г., стр. 310). Автору воспоминаній поэтъ говорилъ: „Добролюбовъ — эта такая свѣтлая личность, что, несмотря на его молодость, проникаешься къ нему глубокимъ уваженіемъ. Этотъ человѣкъ не то, что мы; онъ такъ строго самъ слѣдитъ за собой, что мы всѣ передъ нимъ должны краснѣть за свои слабости, которыми заражены..." (тамъ же стр. 322).

Эти моральныя отношенія Некрасова къ Добролюбову (и, разумѣется, также къ Чернышевскому, а равно и вообще къ новымъ людямъ „добролюбовскаго" типа), представляя высокій психологическій интересъ, въ то же время явля-

ются фактомъ первостепенной важности въ исторіи нашей литературы и въ развитіи нашего общественнаго сознанія. Вмѣстѣ съ тѣмъ они проливаютъ свѣтъ на тѣ стороны сложной натуры Некрасова, которыя такъ долго казались темными и загадочными. Человѣкъ большихъ душевныхъ противорѣчій и сильныхъ страстей, Некрасовъ періодически переживалъ тяжкій гнетъ угрызеній совѣсти, настроеній, близкихъ къ отчаянію,—и тогда цѣлебное „чувство отрады", о которомъ говоритъ Чернышевскій, являлось для него настоятельною душевною потребностью. Здѣсь также и ключъ къ пониманію нѣкоторыхъ — значительнѣйшихъ — мотивовъ его поэзіи.

Душевная драма Некрасова заслуживаетъ внимательнаго изученія.

3.

Шелъ 1857 годъ. Это было начало „новыхъ вѣяній". Русское общество вздохнуло свободнѣе. Россія пробуждалась къ новой жизни. Чуялась близость великой реформы. Настроеніе передовой части общества было приподнятое. Каково было настроеніе Некрасова?

Вернувшись изъ-заграничной поѣздки въ іюнѣ 1857 г., Некрасовъ въ письмѣ къ Тургеневу (отъ 30 іюня) говоритъ, между прочимъ: „Теперь тоже нехорошо, надо работать, а руки опускаются, точитъ меня червь, точитъ. Въ день двадцать разъ приходитъ мнѣ на умъ пистолетъ, и тотчасъ дѣлается при этой мысли легче. Я сообщаю тебѣ это потому, что это фактъ, а не потому, чтобъ я имѣлъ намѣреніе это сдѣлать,—надѣюсь, никогда этого не сдѣлаю. Но нехорошо, когда человѣку съ отрадной точки зрѣнія поминутно представляется это орудіе. Правда, оно все примиритъ и разрѣшитъ, да не хочу я этого разрѣшенія" (Пыпинъ, „Н. А. Некрасовъ", стр. 172). Судя по тому, что въ

непосредственно предшествующемъ письмѣ (Пыпинъ, стр. 170) говорится о неудачной попыткѣ уладить извѣстное (или, точнѣе, доселѣ не вполнѣ извѣстное) „огаревское" дѣло и оправдаться передъ Герценомъ, можно подумать, что главною причиной настроенія, близкаго къ отчаянію, было именно это обстоятельство, т.-е. эти отношенія къ Огареву и Герцену [1]). Но, кажется, суть дѣла была не въ этомъ. Недоразумѣніе съ Герценомъ и „огаревское дѣло", думается мнѣ, только осложнили и безъ того мрачное и унылое настроеніе Некрасова. Это былъ, такъ сказать, очередной припадокъ острой душевной боли, подъ гнетомъ которой все представлялось Некрасову въ самомъ мрачномъ видѣ, все становилось постылымъ, и самъ онъ былъ противенъ себѣ. О такихъ припадкахъ упоминаетъ Головачева-Панаева, разсказывая, какъ поэтъ „по-двое сутокъ лежалъ у себя въ кабинетѣ въ страшной хандрѣ, твердя въ нервномъ раздраженіи, что ему все опротивѣло въ жизни, а главное — онъ самъ себѣ противенъ..." („Воспоминанія", стр. 224).

Припадки были только обостреніемъ общаго душевнаго тона: по основному укладу своей натуры, Некрасовъ былъ предрасположенъ къ хандрѣ, къ чернымъ мыслямъ, къ душевной угнетенности. Онъ самъ говорилъ объ этой чертѣ, напр., въ письмѣ отъ 3-го октября 1856 г. (изъ Рима): „Девятый валъ меня немного подшибъ, но въ этомъ, *кромѣ моей хандрящей натуры* [2]), никто не виноватъ" (Пы-

---

[1]) Въ примѣчаніи къ письму Некрасова Пыпинъ говоритъ, что оно „не лишено важности для объясненія „огаревскаго дѣла". „Въ чемъ именно состояло это дѣло, не знаю,—продолжаетъ Пыпинъ,—но противъ Некрасова выставлено было тяжелое обвиненіе въ присвоеніи и растратѣ чужихъ денегъ". Здѣсь же указано на то, что Головачева-Панаева съ негодованіемъ опровергаетъ это обвиненіе, и отмѣчена ссылка Некрасова (въ этомъ письмѣ) на самого Тургенева. Ссылка гласитъ: „Ты лучше другихъ можешь знать, что я тутъ столько же виноватъ и причастенъ, какъ ты, напримѣръ".

[2]) Курсивъ мой.

нинъ, стр. 144—145); въ письмѣ (оттуда же) отъ 21 окт. 1856 г.: „Совѣтъ твой жить со дня на день очень хорошъ, но я какъ-то лишенъ способности наладиться на такую жизнь; день, два идетъ хорошо, а тамъ смотришь — тоска, хандра, недовольство, злость... Всему этому и есть причины, и, пожалуй, нѣтъ...“ (стр. 147). — Въ этомъ же письмѣ онъ говоритъ о своей „наклонности къ хандрѣ и къ романтизму“, въ силу которой историческія впечатлѣнія Рима вызываютъ въ немъ только раздраженіе. Его осаждаютъ мрачныя мысли на тему о „тысячѣ тысячъ разъ поруганной, распятой добродѣтели и тысячѣ тысячъ разъ увѣнчанномъ злѣ“. „Подъ этимъ впечатлѣніемъ, — говоритъ онъ, — забрался я третьяго дня на куполъ св. Петра и плюнулъ оттуда на свѣтъ Божій...“ (стр. 148). Любопытно и дальнѣйшее: „Во мнѣ мало здоровой крови. Жить для себя не всякій день хочется и стоитъ... — и тогда приходитъ вопросъ: зачѣмъ же жить?“ На этотъ вопросъ „какой-то очень самолюбивый голосъ“ отвѣчаетъ, что нужно жить для другихъ. „Но когда онъ молчитъ, когда нѣтъ этой вѣры, тогда и плюешь на все, начиная съ самого себя...“ (стр. 148).

Имѣя въ своемъ распоряженіи эти признанія поэта, мы легко поймемъ, какое значеніе имѣли для него натуры въ родѣ Чернышевскаго и Добролюбова. Ихъ расположеніе, ихъ привязанность, ихъ сотрудничество нужны были Некрасову не только какъ издателю журнала, но еще болѣе какъ человѣку и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ поэту. Въ общеніи съ ними онъ черпалъ душевное освѣженіе, онъ преодолѣвалъ свою хандру, пессимизмъ и мизантропію и обрѣталъ ту „вѣру“, о которой онъ говоритъ въ только что приведенной выдержкѣ изъ письма къ Тургеневу.

Теперь прочтемъ и постараемся всесторонне уяснить себѣ другое — въ высокой степени любопытное — признаніе Не-

красова въ письмѣ къ Тургеневу отъ 27 іюня 1857 г., гдѣ указаны, такъ сказать, психологическія основы того народничества, пѣвцомъ котораго былъ Некрасовъ. Мы увидимъ, что и въ этомъ отношеніи моральное и умственное вліяніе Чернышевскаго и Добролюбова (и вообще людей „добролюбовскаго“ типа) являлось для поэта настоятельною душевною потребностью. — „А надо правду сказать, — пишетъ Некрасовъ, — какое бы унылое впечатлѣніе ни производила Европа, стоитъ воротиться, чтобы начать думать о ней съ уваженіемъ и отрадой. Сѣро, сѣро! Глупо, дико, глухо — и почти безнадежно! И все-таки я долженъ сознаться, что сердце у меня билось какъ-то особенно при видѣ „родныхъ полей“ и русскаго мужика. Вотъ тебѣ стихи, которые я сложилъ вскорѣ по пріѣздѣ:

Въ столицѣ шумъ — гремятъ витіи,
Бичуя рабство, зло и ложь,
А тамъ, во глубинѣ Россіи,
Что тамъ? Богъ знаетъ... Не поймешь!
Надъ всей равниной безпредѣльной
Стоитъ такая тишина,
Какъ будто впала въ сонъ смертельный
Давно дремавшая страна.
Лишь вѣтеръ не даетъ покою
Вершинамъ придорожныхъ ивъ,
И выгибаются дугою,
Цѣлуясь съ матерью-землею,
Колосья безконечныхъ нивъ...

Что до меня, я доволенъ своимъ возвращеніемъ. *Руская жизнь имѣетъ счастливую особенность сводить человѣка съ идеальныхъ вершинъ, поминутно напоминая ему, какая онъ дрянь,—дрянью кажется и все прочее, и самая жизнь, — дрянью, о которой не стоитъ много думать* [1]) (стр. 179).

[1]) Курсивъ мой.

Эти строки, вмѣстѣ съ варіантомъ извѣстнаго стихотворенія, какъ нельзя лучше опредѣляютъ тотъ родъ соціальнаго самочувствія, который былъ присущъ Некрасову и такъ ярко выразился въ его поэзіи. Самъ поэтъ называлъ свою „музу“—музою мести и печали“. Названіе—не точное: это была „муза“ печали и смиренія, внушеннаго сознаніемъ отчужденности передовыхъ, мыслящихъ людей отъ народа, ихъ численной ничтожности, чувствомъ безсилія мысли и идеала среди „вѣковой тишины“, царящей „во глубинѣ Россіи“ [1]). Оттуда—грустно-сиротливое или, порою, горько-безотрадное чувство соціальнаго и умственнаго одиночества,—чувство, которое, усиливаясь и осложняясь другими элементами, могло развиваться въ различныхъ направленіяхъ, напримѣръ, въ направленіи ожесточенно-пессимистическомъ, внушившемъ Некрасову вышеприведенныя горькія слова о „счастливой особенности“ русской жизни „сводить человѣка съ идеальныхъ вершинъ“, или же въ направленіи своеобразнаго умиленія и смиренія, вылившагося, напримѣръ, въ извѣстныхъ стихахъ:

Родина-мать! Я душою смирился,
Любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился... („Саша“).

Передъ нами общественно-психологическое явленіе первостепенной важности. Имъ опредѣлилась цѣлая полоса въ умственномъ, идейномъ и моральномъ развитіи передового русскаго общества, полоса, тянувшаяся отъ половины 50-хъ годовъ до глухого безвременья 80-хъ включительно. На этихъ-то психологическихъ отношеніяхъ мыслящей части общества къ народу и къ „вѣковой тишинѣ“, царящей „во

[1]) Въ печатномъ текстѣ приведеннаго въ письмѣ стихотворенія читаемъ:

Въ столицахъ шумъ, гремятъ витіи,
Кипитъ словесная война,
А тамъ, во глубинѣ Россіи,
Тамъ вѣковая тишина...

глубинѣ Россіи", и воздвиглось зданіе русскаго народничества всѣхъ его видовъ и оттѣнковъ.

Любопытно было бы прослѣдить постепенное развитіе указанныхъ психологическихъ отношеній. Но это требуетъ обстоятельныхъ изысканій, которыя отвлекли бы насъ далеко въ сторону отъ нашей непосредственной задачи. Въ интересахъ этой послѣдней достаточно будетъ намѣтить слѣдующіе пункты.

Люди 20-хъ годовъ, за немногими исключеніями, повидимому, не знали „народнической скорби", — и вопросъ объ отчужденности образованнаго общества отъ народной массы не стоялъ тогда на очереди. Онъ возникалъ — спорадически — въ сознаніи весьма немногихъ, исключительныхъ натуръ, какъ, напримѣръ, у Грибоѣдова, о чемъ мы говорили въ первой главѣ этого труда. Одна изъ главныхъ психологическихъ основъ народничества — это уваженіе къ народу. Грибоѣдовъ, безъ сомнѣнія, зналъ это чувство. Но огромному большинству передовыхъ людей той эпохи оно было чуждо[1]). Свойственное многимъ изъ нихъ фи-

[1]) Вспомнимъ хотя бы Онѣгина. — У декабристовъ оно также почти не замѣтно. Декабристъ Горбачевскій въ позднѣйшемъ письмѣ къ кн. Е. П. Оболенскому (1862 г.), вспоминаетъ, какъ, получивъ въ наслѣдство имѣніе, онъ, тогда молодой артиллерійскій офицеръ, упорно отказывался съѣздить туда и на всѣ убѣжденія родственника-чиновника отвѣчалъ, что всякая помѣщичья деревня для него отвратительна. Но наконецъ поѣхалъ во исполненіе одной просьбы отца (взлѣзть на яблоню, на которую нѣкогда лазилъ отецъ). Исполнивъ это, Горбачевскій сказалъ крестьянамъ: „Я васъ не зналъ, и знать не хочу, вы меня не знали и не знайте, убирайтесь къ чорту!" — и уѣхалъ. Узнавъ потомъ отъ сестры, что крестьяне „поставили въ своей церкви образа Іоанна Богослова и Николая Чудотворца", въ благодарность за доставшуюся имъ землю (Горбачевскій поясняетъ: „имя мое и брата моего", который также отказался отъ имѣнія), онъ написалъ сестрѣ: „всегда я малороссіянъ считалъ глупцами и всегда буду ихъ таковыми почитать, и объ нихъ такъ думать..." („Русская Старина", 1903, октябрь, стр. 223). — Здѣсь нельзя усматривать національной антипатіи: Горбачевскій былъ малороссъ, — и въ другомъ письмѣ („Русская старина" 1903, сентябрь, стр. 713) онъ гово-

лантропическое отношеніе къ народу отнюдь не могло быть источникомъ *народническаго умонастроенія*. Ни жалость, ни состраданіе, ни самая мысль о необходимости освобожденія отъ крѣпостного права, ни даже прямая работа на пользу народа не могутъ сами по себѣ породить народническихъ чувствъ и идей. Для таковыхъ необходимъ прежде всего *живой интересъ* къ народу, къ его быту, его психологіи, его міровоззрѣнію, а потомъ — *уваженіе къ нему* и сознаніе, что онъ не безформенная, стадная сѣрая масса, а *историческая* сила, съ которою нужно, считаться. Вотъ почему настоящими предшественниками народничества приходится признать не идеологовъ 20-хъ годовъ, не декабристовъ, а съ одной стороны *этнографовъ и собирателей народныхъ пѣсенъ, сказокъ и другихъ произведеній народнаго творчества*, съ другой — *славянофиловъ*. Это переноситъ насъ въ 30-е и 40-е годы. У однихъ это было народничество наивное и чуждое идейныхъ элементовъ, у другихъ оно было болѣе сознательнымъ, болѣе идейнымъ. Нородническое умонастроеніе, въ смыслѣ интереса и уваженія къ народу и какъ бы тяготѣнія къ нему, достигало наибольшей силы и яркости у Кирѣевскихъ, К. Аксакова и Герцена. У западниковъ, не исключая Бѣлинскаго, оно было весьма слабо или — у нѣкоторыхъ — совсѣмъ отсутствовало. Въ общемъ, можно сказать, что эпоха 30 — 40-хъ годовъ далеко не благопріятствовала развитію и распространенію народническихъ настроеній и идей. Намъ приходилось говорить о томъ, что въ то время на очереди стоялъ вопросъ *національнаго самосознанія* и что образованіе и борьба двухъ „партій“, *славянофильской* и *западнической*, знаменова-

ритъ: „я иногда мечтаю о своей Малороссіи и тоскую по ней“. Въ исторіи съ наслѣдствомъ видно только отвращеніе къ рабовладѣльческой роли помѣщика и родъ презрѣнія къ мужику, которому, однако, какъ это видно изъ писемъ, Горбачевскій желаетъ всѣхъ благъ.

ли собою именно этотъ процессъ пробужденія національнаго самосознанія,—обѣ партіи одинаково являлись органами его выраженія. Не трудно видѣть, что для народническихъ настроеній и идей это служило тормазомъ, ибо народничество всѣхъ направленій и оттѣнковъ (кромѣ развѣ наивнаго и археологическаго) есть явленіе не національнаго, а общественнаго самосознанія. Народничество — это демократизмъ всѣхъ тѣхъ, кто не принадлежитъ къ народу, но уже думаетъ о немъ. Этотъ демократизмъ можетъ быть различнаго характера и достоинства, —онъ можетъ быть консервативнымъ и прогрессивнымъ, умѣреннымъ и радикальнымъ, романтическимъ и реалистическимъ и т. д., но, во всякомъ случаѣ, онъ — фактъ или симптомъ общественнаго развитія и принадлежитъ къ сферѣ междуклассовыхъ отношеній. И если въ 30 — 40-хъ годахъ народническія чувства и настроенія все-таки возникали и пробивались наружу, то это было не слѣдствіемъ постановки національнаго вопроса, а только однимъ изъ симптомовъ той почти стихійной демократизаціи мыслящаго общества, которая является характернымъ признакомъ нашей внутренней исторіи, нашего умственнаго развитія.

Чередъ народничества насталъ вмѣстѣ съ пробужденіемъ общественнаго сознанія во второй половинѣ 50-хъ годовъ, а его разцвѣтъ, его, такъ сказать, героическій періодъ совпалъ съ эпохою реформъ 60-хъ годовъ. Великій актъ 19-го февраля 1861 года былъ въ значительной степени продуктомъ народническихъ идей и движеній, охватившихъ въ концѣ 50-хъ годовъ передовое славянофильство и передовое радикально-демократическое западничество.

Теперь мы можемъ вернуться къ Некрасову.

Онъ былъ призваннымъ поэтомъ народническихъ чувствъ и идей. Онъ, въ противоположность, напр., Тургеневу, не только зналъ и любилъ народъ, но и тяготѣлъ къ нему и болѣлъ душою отъ сознанія своей оторванности отъ него.

Тургеневъ зналъ народъ и любилъ его — по-барски и художнически, Некрасовъ — „по человѣчеству“. Тургеневъ — гуманный наблюдатель народной жизни и мужицкой психологіи, Некрасовъ — народный печальникъ. У него нѣтъ и тѣни того скептическаго и полупрезрительнаго отношенія къ мужику, какое было свойственно Тургеневу. На больную, столь подверженную хандрѣ, унынію, мизантропіи и самобичеванію душу Некрасова чувство къ мужику, мысль о крестьянской Россіи, о народномъ горѣ дѣйствовали оздоровляющимъ образомъ и извлекали изъ нея живые поэтическіе звуки. Вспомнимъ вышеприведенное мѣсто изъ его письма къ Тургеневу (27 іюня 1857 г.): „...сердце у меня билось какъ-то особенно при видѣ родныхъ полей и русскаго мужика...“ Этотъ мотивъ разработанъ въ большомъ стихотвореніи „Тишина“, относящемся къ тому же 1857 году. Поэтъ смиряется передъ народомъ, онъ готовъ раздѣлить его наивную вѣру, онъ „дѣтски умилился“, и убогая деревенская церковь говоритъ его душѣ гораздо больше великолѣпнаго историческаго храма св. Петра въ Римѣ. Поэзія великихъ историческихъ воспоминаній была чужда Некрасову, — въ Римѣ онъ хандрилъ; а когда приходило вдохновеніе — онъ „пѣсни родинѣ слагалъ“. Сопоставляя письмо и стихотвореніе, мы ясно различаемъ главнѣйшія психологическія основы русскаго народничества: 1) тяготѣніе къ народу и живое чувство родины, взятой исключительно со стороны крестьянской; 2) смиреніе и умиленіе, 3) наконецъ — то особое, невѣдомое Зап. Европѣ, „восточное“, азіатское и русское соціальное самочувствіе, которое выразилось такъ энергично въ подчеркнутыхъ мною строкахъ письма, гласящихъ, что русская жизнь имѣетъ счастливую особенность сводить человѣка съ идеальныхъ вершинъ и поминутно напоминаетъ ему, какая онъ дрянь, и т. д. Это — какое-то самозакланіе личности, смѣсь отчаянія и наслажденія отрече-

ніемъ отъ себя, отъ личной жизни, отъ личнаго счастья, жажда утонуть въ народной стихіи, полное равнодушіе къ паденію цѣнности жизни человѣческой. Въ стихахъ поэтъ выражаетъ это мягче. Онъ указываетъ на мужика-пахаря:

Его ли горе не скребетъ?—
Онъ бодръ, онъ за сохой шагаетъ.
Безъ наслажденья онъ живетъ,
Безъ наслажденья умираетъ.
Его примѣромъ укрѣпись,
Сломившійся подъ игомъ горя!
За личнымъ счастьемъ не гонись
И Богу уступай — не споря...

Вотъ настроеніе, которое, при благопріятствующихъ ему условіяхъ времени и предполагая наличность соотвѣтственныхъ элементовъ въ самой натурѣ Некрасова (къ счастью, ихъ не было), могло бы привести его прямою дорогою къ одной изъ безнадежнѣйшихъ формъ народничества или славянофильства. Русскій человѣкъ, даже не будучи ни народникомъ, ни славянофиломъ, чрезвычайно доступенъ чувствамъ и мыслямъ, которыя кратко можно выразить такъ: народъ страдаетъ, слѣдов. и я долженъ страдать; народъ безропотно переноситъ свою тяжкую долю — слѣдов. и мнѣ не подобаетъ роптать; народъ имѣетъ такія-то и такія-то вѣрованія и понятія — слѣдоват. и я долженъ раздѣлять ихъ и т. д. Это смиреніе и самоотреченіе становятся еще опаснѣе, когда человѣкъ находитъ въ нихъ своеобразную радость, — родъ душевнаго успокоенія. Казалось бы, онъ уже близокъ къ отчаянію, когда подъ впечатлѣніями русской жизни, „сводящей съ идеальныхъ вершинъ", онъ говоритъ: „сѣро, сѣро, глупо, дико, глухо и почти безнадежно". Но въ выводѣ изъ этого, гласящемъ, что самъ онъ и все прочее и самая жизнь кажется „дрянью", о которой не „стоитъ много думать", уже чуется близость нѣкотораго успокоенія или

„примиренія съ дѣйствительностью“, откуда уже недалеко до „народническаго умиленія“, наприм., въ такой формѣ:

Храмъ Божій на горѣ мелькнулъ
И дѣтски-чистымъ чувствомъ вѣры
Внезапно на душу пахнулъ.
Нѣтъ отрицанья, нѣтъ сомнѣнья,
И шепчетъ голосъ неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди съ открытой головой!
Какъ ни тепло чужое море,
Какъ ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!.. („Тишина“).

Въ глубокой искренности такихъ чувствъ и мыслей Некрасова сомнѣваться нельзя, хотя бы уже потому, что онъ извлекалъ изъ нихъ истинно-поэтическіе звуки. Нужно быть очень ужъ предубѣжденнымъ противъ Некрасова, чтобы не чувствовать высокой поэзіи соотвѣтственныхъ мѣстъ въ „Тишинѣ“, въ отступленіи къ поэмѣ „Саша“, въ стихотвореніи „Въ столицѣ шумъ, гремятъ витіи“ и др. Безъ всякаго сомнѣнія, эти вещи принадлежатъ къ лучшимъ созданіямъ русской поэтической литературы.

Любопытно отмѣтить, что указанное — „умиленное и примиренное“ — настроеніе сказывалось въ его творчествѣ гораздо ярче въ 50-хъ годахъ, чѣмъ въ послѣдующее время. Повидимому, съ начала 60-хъ годовъ оно пошло на убыль: Некрасовъ уже не находилъ въ немъ душевнаго успокоенія, и оно не вызывало въ немъ того подъема души, изъ котораго возникаетъ поэтическое творчество. Въ этомъ отношеніи знаменательно стихотвореніе „Литература съ трескучими фразами“, относящееся къ 1862 году. „Поэтъ простился съ столицами“ и „мирно живетъ средь полей“.

Но и крестьяне съ унылыми лицами
Не услаждаютъ очей;

Ихъ нищета, ихъ терпѣнье безмѣрное
Только досаду родитъ...

Вскорѣ эта „досада" расширится, опредѣлится точнѣе и наконецъ претворится въ ту „гражданскую скорбь", которою по преимуществу и прославился Некрасовъ въ эпоху 60—70-хъ годовъ. Прецедентами этой, съ общественной точки зрѣнія, важнѣйшей стороны въ поэзіи Некрасова были въ 50-хъ годахъ такія вещи, какъ „Поэтъ и гражданинъ", „Размышленія у параднаго подъѣзда" (1858), отрывокъ „Ночь. Успѣли мы всѣмъ насладиться" и нѣк. друг.

Поэтическое достоинство „гражданскихъ" произведеній Некрасова не одинаково. Особливо значительно оно тамъ, гдѣ поэтъ рисуетъ картины народной жизни, крестьянскаго быта и воспроизводитъ черты мужицкой психологіи, какъ напр., въ „Коробейникахъ", въ „Морозъ—Красный носъ", „Кому на Руси жить хорошо". Мы не найдемъ здѣсь ясно выраженныхъ мотивовъ того „примиренія" или „смиренія", которыя мы отмѣтили выше, но родъ „умиленія" все-таки замѣтенъ. Попрежнему живое чувство родины, взятой, какъ и раньше, съ ея народной, крестьянской стороны, успокаиваетъ мятущуюся душу поэта, вызывая въ ней то умиленное настроеніе, которое было у Некрасова надежнѣйшимъ источникомъ поэтическихъ вдохновеній. Въ пьесѣ „Возвращеніе" онъ говоритъ:

И пѣсню я услышалъ въ отдаленьи.
Знакомая, она была горька:
Звучало въ ней безсильное томленье,
Безсильная и вялая тоска.
Съ той пѣсней вновь въ душѣ зашевелилось,
О чемъ давно я позабылъ мечтать... (1865).

Въ отрывкѣ „Начало поэмы", очевидно непосредственно связанномъ съ „Возвращеніемъ", онъ прямо указываетъ на то, что только родныя, русскія впечатлѣнія — природы и

крестьянской жизни — способны пробудить въ немъ поэтическое творчество:

Опять она, родная сторона,
Съ ея зеленымъ, благодатнымъ лѣтомъ,
И вновь душа поэзiей полна...
Да, только здѣсь могу я быть поэтомъ!

Упомянувъ затѣмъ, въ двухъ четверостишьяхъ, о томъ, что на Западѣ и въ Петербургѣ вдохновенiе не посѣщаетъ его, онъ говоритъ, что „запахъ дегтя съ сѣномъ пополамъ“ „свѣжитъ и направляетъ“ его мысль:

Куда бъ мечтой я ни былъ увлеченъ,
Онъ вмигъ ее къ народу возвращаетъ...
Чу! возъ скрипитъ! и т. д.

Возстановимъ въ памяти картины Некрасова изъ народной жизни, силуэты мужиковъ, бабъ, дѣтей, прочувствуемъ лиризмъ и любовь, которыми проникнуты эти произведенiя, — и у насъ сама собою сложится мысль (конечно, при игнорированiи другихъ данныхъ его поэзiи), что „отрицанiе“ и „гражданская скорбь“ Некрасова питались только зрѣлищемъ матерiальной нужды, бѣдности народа и его умственной темноты и невѣжества. Откуда возможно было бы заключить, что, при извѣстныхъ улучшенiяхъ экономическаго быта и распространенiи элементарнаго образованiя въ народѣ, „муза“ поэта перестала бы отрицать и скорбѣть, и самъ поэтъ съ легкимъ сердцемъ спустился бы съ „идеальныхъ вершинъ“ и при этомъ уже не размышлялъ бы на тему, что онъ — дрянь и самая жизнь — дрянь и т. д., а, напротивъ, пришелъ бы къ душевному успокоенiю и признанiю цѣнности жизни человѣческой — при отсутствiи умственнаго и нравственнаго разлада между личностью и народною крестьянскою массой. Это была бы та самая идиллiя и утопiя крайнихъ народниковъ, яркiе образцы которой мы

встрѣтимъ въ нашей беллетристикѣ и публицистикѣ позже, въ 70-хъ и особенно въ 80-хъ годахъ.

Какъ извѣстно, Некрасовъ до этихъ предѣловъ не доходилъ. И тѣ стороны его поэзіи, въ которыхъ чувствуется возможность этой народнической идилліи и утопіи, уравновѣшиваются и исправляются другими сторонами, другими элементами его міросозерцанія и творчества. Въ слѣдующей главѣ мы разсмотримъ ихъ обстоятельнѣе и постараемся выяснить тѣ особенности ума и натуры Некрасова, на которыхъ они основывались, а равно и условія, благопріятствовавшія ихъ развитію. Здѣсь укажу только, что въ этомъ случаѣ дѣло идетъ о Некрасовѣ — какъ индивидуальности и поэтѣ общечеловѣческаго идеала, — и съ тѣмъ вмѣстѣ выдвигается вопросъ объ освободительныхъ стремленіяхъ эпохи реформъ, о передовыхъ направленіяхъ 60-хъ годовъ и, въ частности, о вліяніи на Некрасова людей „добролюбовскаго“ типа вообще и прежде всего — самого Добролюбова.

ГЛАВА XIII.

Передовыя направленія 60-хъ годовъ и значеніе дѣятельности Некрасова.

1.

Передовая литература 60-хъ годовъ, публицистическая и критическая, отнюдь не была проникнута тѣмъ духомъ народническаго „смиренія“ и „умиленія“, который мы въ предъидущей главѣ отмѣтили въ поэзіи Некрасова 50-хъ годовъ. Народолюбіе людей 60-хъ годовъ, даже въ его наиболѣе яркомъ выраженіи (напр. у Чернышевскаго и Елисеева), не доходило до слѣпого преклоненія передъ народомъ, до культа мужика, до самозакланія и жертвоприношенія личности на алтарѣ народныхъ идеаловъ. Передовые дѣятели того времени защищали интересы народа, но не раздѣляли его мнѣній, его міросозерцанія. Въ этомъ смыслѣ народолюбіе Чернышевскаго, Добролюбова и Елисеева и другихъ было не народничествомъ въ тѣсномъ значеніи этого слова, а только русскою формою общеевропейскаго, общечеловѣческаго демократизма, приспособленною къ потребностямъ и духу времени, къ особымъ условіямъ русской жизни и задачамъ внутренней политики.

Но это приспособленіе по необходимости порождало нѣкоторыя разногласія— больше по второстепеннымъ пунктамъ,

чѣмъ по основному принципу—между представителями различныхъ группъ и фракцій тогдашней передовой интеллигенціи,—и вскорѣ довольно явственно выдѣлились два теченія: одно было болѣе „народническимъ“, т.-е. выдвигало впередъ интересы, преимущественно экономическіе, народной массы, какъ земледѣльческаго класса, и, не доходя до „смиренія“ и „умиленія“, основывалось на уваженіи къ народу и на нѣкоторой идеализаціи его; другое, не склонное къ такой идеализаціи, преслѣдовало общія задачи просвѣтительнаго и освободительнаго характера и, будучи также демократическимъ, выдвигало однако на первый планъ интересы личности и идеалы интеллигенціи. Органомъ перваго направленія былъ „Современникъ“, руководимый Чернышевскимъ и хранившій завѣты Добролюбова, органами второго явились журналы Благосвѣтлова „Русское Слово“ и „Дѣло“, и во главѣ его стоялъ даровитый, блестящій Писаревъ. Раздѣленіе этихъ двухъ направленій и взаимныя отношенія ихъ представляютъ любопытный моментъ въ умственномъ и политическомъ развитіи нашего общества. Обращаясь къ ихъ посильной и бѣглой характеристикѣ, я оговорюсь сперва, что считаю ошибочнымъ опредѣлять и критиковать ихъ съ точки зрѣнія западно-европейскихъ партійныхъ дѣленій (къ тому же установившихся и выяснившихся позже), напр., усматривать въ направленіи и программѣ „Современника“ признаки „экономическаго романтизма“, и проповѣдь Писарева подводить подъ понятіе мелко-буржуазнаго радикализма и т. п. Это не были партіи въ западно-европейскомъ смыслѣ, это были только „теченія“ и „развѣтвленія“ общественной мысли, въ которыхъ отражались не интересы тѣхъ или другихъ группъ, а просто точки зрѣнія на вещи отдѣльныхъ лицъ, ихъ міросозерцаніе, ихъ умственные вкусы, симпатіи и нравственные запросы, нерѣдко являвшіеся лишь симптомами принадлежности этихъ лицъ къ извѣстному психологическому типу. Повидимому,

такъ смотритъ на дѣло авторитетный въ данномъ вопросѣ писатель — г. Богучарскій, когда, съ обычною отчетливостью и ясностью формулировки, характеризуетъ эти два передовыя направленія 60-хъ годовъ такъ: „Современникъ“ вѣрилъ въ глубокія творческія силы народа, „Русское Слово“ рѣшительно въ нихъ не вѣрило и всѣ свои упованія возлагало на накопленіе въ обществѣ воспитанныхъ на естествознаніи, критически мыслящихъ личностей, которыя своимъ вліяніемъ и примѣромъ пересоздадутъ мало-по-малу всю общественную среду“. („Изъ прошлаго русскаго общества“. С.-Петерб. 1904 г.; статья „Очерки изъ исторіи русской журналистики XIX в.“, стр. 353). — Далѣе г. Богучарскій говоритъ (нѣсколько утрируя) о „мистической вѣрѣ“ „Современника“ въ народъ и (вполнѣ правильно) о „чуждой всякой мистики молодой, свѣжей, жизнерадостной, но односторонней проповѣди Писарева (стр. 354). — Различіе двухъ направленій наглядно иллюстрируется г. Богучарскимъ указаніями на разногласія по отдѣльнымъ вопросамъ между Добролюбовымъ и Чернышевскимъ съ одной стороны и Писаревымъ съ другой. Такъ, Чернышевскій протягивалъ руку передовымъ славянофиламъ, находя у нихъ „элементы здоровые, вѣрные, заслуживающіе сочувствія“, между тѣмъ какъ въ глазахъ Писарева „славянофилы были только сплошными донъ-кихотами“ (стр. 353). Писаревъ „прямо писалъ, что если бы онъ и Добролюбовъ поговорили полчаса наединѣ, то они навѣрно не сошлись бы ни на одномъ пунктѣ“ (тамъ же). Въ то время какъ „народники“ или, вѣрнѣе, демократы „Современника“ уважали и частью идеализировали народъ, въ особенности же вѣрили въ его творческія силы, отстаивая народныя „начала“ въ родѣ общины, Писаревъ утверждалъ, что, „проанализировавъ глубину глубинъ русской жизни, — читай: укладъ народнаго быта, его общину и т. д., — онъ не нашелъ тамъ ничего достойнаго уваженія...“ (тамъ же). — Передъ нами — картина нѣкотораго раскола въ рядахъ

передовой интеллигенціи 60-хъ годовъ. Важнѣйшія разногласія опредѣлены г. Богучарскимъ, въ существѣ дѣла, правильно, но, я думаю, необходимо нѣсколько смягчить рѣзкость того разграниченія, которое проводитъ даровитый публицистъ. Во-первыхъ, едва ли возможно говорить о мистической вѣрѣ „Современника“ въ народъ. Ни у Добролюбова, ни у Чернышевскаго, ни у Елисеева этой „мистики“ не было, - у нихъ было только несомнѣнное чувство уваженія къ народу, и замѣтна нѣкоторая его идеализація, а равно и нѣсколько повышенная оцѣнка такихъ устоевъ народнаго быта, какъ община и артель. Можно спорить, можно не соглашаться съ ними, напр., по вопросу о творческихъ силахъ, заключенныхъ въ „устояхъ“ народнаго быта, но нѣтъ основаній усматривать здѣсь тотъ народническій „мистицизмъ“, которымъ характеризуются заправскіе, крайніе народники славянофильской окраски, или то колѣнопреклоненіе и самоотреченіе передъ народомъ, какимъ отличались позднѣйшіе народники—радикалы. Съ послѣдними неоднократно полемизировалъ Н. К. Михайловскій, прямой преемникъ и наслѣдникъ основныхъ идей „Современника“, выяснявшій попутно истинное отношеніе къ народу своихъ предшественниковъ, чуждое какого бы то ни было идолопоклонства и „мистицизма“ [1].

Добролюбовъ въ одной изъ тѣхъ статей, которыя упрочили за нимъ репутацію „народника“ („Черты для характеристики русскаго простонародья“, по поводу разсказовъ Марка Вовчка), отвергаетъ два противоположныхъ мнѣнія о русскомъ народѣ: одно, гласящее, что русскій человѣкъ ни на что самъ по себѣ не годится и представляетъ не болѣе, какъ нуль...“, другое, совпадающее съ тѣмъ понятіемъ, „какое имѣютъ насчетъ обезьянъ нѣкоторые простолюдины,

[1] „Литературныя воспоминанія и современная смута“, т. II, стр. 140 и сл. (объ „Основахъ народничества“ Юзова), также стр. 163 и сл. („О народничествѣ г. В. В.“).

увѣряющіе, что обезьяна все понимаетъ и говорить умѣетъ, только изъ хитрости скрываетъ свои дарованія. У насъ, видите ли, что ни мужикъ, то геній; мы не умны, да намъ и науки никакой не нужно,—русскій мужикъ топоромъ больше сдѣлаетъ, чѣмъ англичане со всѣми ихъ машинами; все онъ умѣетъ и на все способенъ, да только, — не знаю ужъ почему, — не показываетъ своихъ способностей...“ („Сочиненія Н. А. Добролюбова“, изданіе 5-е, С.-Петербургъ, 1906 г., т. III, стр. 348). — Высмѣивая оба эти взгляда, Добролюбовъ предлагаетъ читателю отбросить лежащее въ ихъ основѣ „крѣпостное воззрѣніе“ и взглянуть на мужика—какъ на такого же человѣка, какъ всѣ люди; — представить его себѣ „какъ обыкновеннаго независимаго человѣка, какъ гражданина, пользующагося всѣми правами и преимуществами свободнаго государства“. — „Если (продолжаетъ Добролюбовъ) у васъ достанетъ на это воображенія и если вы хоть немножко знаете основаніе характера и быта русскаго простонародья, то въ вашемъ воображеніи тотчасъ явится картина людей, очень хорошо и умно умѣющихъ располагать своими поступками“ (тамъ же, стр. 352). — Разбирая подробно разсказы Марка Вовчка (изъ великорусской народной жизни), Добролюбовъ отмѣчаетъ тѣ черты народнаго характера и нравовъ, которыя свидѣтельствуютъ о томъ, что мужикъ — не звѣрь, не дикарь, не уродъ, а обыкновенный человѣкъ съ хорошими задатками, и что онъ вполнѣ способенъ къ гражданскому развитію „на началахъ живыхъ и справедливыхъ“ (стр. 395). — Во всемъ этомъ еще нѣтъ ничего не только „мистическаго“, но и спеціально - народническаго. Только въ самомъ концѣ статьи находимъ, такъ сказать, выходку въ народническомъ духѣ: это именно — рѣзкое противопоставленіе „пошлаго общества“, „грошовой образованности“ правящихъ классовъ и „здоровыхъ ростковъ народной жизни“. Изъ контекста однако явствуетъ, что подъ пошлымъ обществомъ съ его грошовою образованностью ра-

зумѣются здѣсь тѣ слои, которымъ чужды какіе бы то ни было идеалы и которые погрязли въ тинѣ мелкихъ интересовъ, страстишекъ и рутины, а вовсе не передовая и мыслящая часть общества, не интеллигенція въ собственномъ смыслѣ [1]). „Не пора ли уже намъ, — заключаетъ критикъ, — отъ этихъ тощихъ и чахлыхъ выводковъ неудавшейся цивилизаціи [2]) обратиться къ свѣжимъ, здоровымъ росткамъ народной жизни [2]), помочь ихъ правильному успѣшному росту и цвѣту, предохранить отъ порчи ихъ прекрасные и обильные плоды?..“ (стр. 411).

Другая „народническая“ статья Добролюбова — это „О степени участія народности въ развитіи русской литературы“, написанная по поводу „Очерковъ исторіи русской поэзіи“ А. Милюкова („Сочиненія“, изд. 5-е, т. I, стр. 463 и сл.). Здѣсь Добролюбовъ указываетъ на численную ограниченность въ Россіи образованнаго общества, читающей публики, на которую простирается просвѣтительное дѣйствіе литературы, и напоминаетъ о народной массѣ, куда литература не проникаетъ (стр. 471—473). Оттуда — выводъ, что даже лучшіе наши писатели не могутъ похвалиться названіемъ народныхъ: „народу, къ сожалѣнію, вовсе нѣтъ дѣла до художественности Пушкина, до плѣнительной сладости стиховъ Жуковскаго, до высокихъ пареній Державина и т. д. Скажемъ больше, даже юморъ Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа...“ (стр. 472). — Пушкинъ овладѣлъ только формой народности, содержаніе же ея осталось ему недоступно (стр. 504). Одинъ только Гоголь, въ лучшихъ своихъ созданіяхъ, „очень близко подо-

---

[1]) „Неужели только эта грошовая „образованность“, дѣлающая изъ человѣка ученаго попугая и подставляющая ему, вмѣсто живыхъ требованій природы, рутинныя сентенціи отжившихъ авторитетовъ всякаго рода, — неужели она только будетъ всегда красоваться передъ нами въ лучшихъ произведеніяхъ нашей литературы?..“ (стр. 410).

[2]) Курсивъ мой.

шелъ къ народной точкѣ зрѣнія, но подошелъ безсознательно, просто художническою ощупью" (стр. 514). — Вникая въ аргументацію Добролюбова, мы убѣждаемся, что подъ „народною точкою зрѣнія", подъ „содержаніемъ народности" онъ понималъ не что иное, какъ демократическое направленіе, выдвигающее впередъ матеріальные, умственные и нравственные интересы народа и ратующее за то, чтобы народъ могъ выбиться изъ нужды и тьмы и подняться до уровня передовой части общества. Это яснѣе всего сквозитъ въ словахъ, непосредственно слѣдующихъ за только-что приведеннымъ мѣстомъ (о Гоголѣ): „Когда же ему (Гоголю) растолковали, что теперь ему надо итти дальше и уже всѣ вопросы жизни пересмотрѣть съ той же народной точки зрѣнія, оставивши всякую абстракцію и всякіе предразсудки, съ дѣтства привитые къ нему ложнымъ образованіемъ, тогда Гоголь испугался: народность представилась ему бездною, отъ которой надобно отбѣжать поскорѣе, и онъ отбѣжалъ отъ нея и предался отвлеченнѣйшему изъ занятій — идеальному самоусовершенствованію" (стр. 514).

Не трудно видѣть, что это — вовсе не „мистическое" или иное народничество, а обыкновенная форма нашего традиціоннаго демократизма, которая, въ 60-хъ годахъ и позже, была общею основой всѣхъ передовыхъ направленій у насъ, въ томъ числѣ и Писаревскаго,— почвою, въ которой всѣ они коренились,— одни крѣпче, другія слабѣе. Расходились же они не корнями, а вѣтвями. Это было развѣтвленіе интеллигенціи и ея освободительнаго демократическаго движенія, отразившее на себѣ не столько различія идеаловъ и программъ, сколько различія общественно-психологическихъ типовъ, натуръ, умственныхъ вкусовъ, моральныхъ запросовъ. Что же касается народничества въ собственномъ, тѣсномъ смыслѣ, то, конечно, оно также было движеніемъ демократическимъ, но едва ли его можно назвать освободительнымъ.

2.

Писаревъ былъ апостоломъ идеи личности, ея эмансипаціи, ея моральной автономіи и гражданскаго развитія. Но эта самая идея была одною изъ основныхъ, излюбленныхъ, завѣтныхъ мыслей Добролюбова, и въ его литературномъ наслѣдіи ея развитіе занимаетъ первенствующее мѣсто. Ее проводитъ онъ въ статьяхъ о „Темномъ царствѣ", о „Забитыхъ людяхъ", о воспитаніи, о Станкевичѣ. Она, можно сказать, составляла „паѳосъ" его идеологіи и была центральною мыслью его публицистики. Мало того: тѣсно связанная съ его личною жизнью, она была имъ выстрадана, а не вычитана [1]). Различіе между Добролюбовымъ и Писаревымъ, въ отношеніи къ постановкѣ идеи личности, сводилось къ тому, что первый стремился подчинять ее требованіямъ общаго блага и служенія демократическому идеалу, и вмѣстѣ съ тѣмъ она получала у него, такъ сказать, „стоическую" окраску, между тѣмъ какъ второй не обнаруживалъ особыхъ заботъ о такомъ подчиненіи, и „окраска" идеи личности была у него „эпикурейская". Здѣсь наглядно обнаруживалось различіе между Добролюбовымъ и Писаревымъ — какъ представителями извѣстныхъ общественно-психологическихъ типовъ. Добролюбовъ былъ „разночинецъ" духовнаго происхожденія, Писаревъ — дворянинъ изъ помѣщичьей среды.

Д. И. Писаревъ, по укладу своей натуры, представляетъ, рядомъ съ „добролюбовскимъ" типомъ, высокій интересъ, какъ общественный, такъ и психологическій. Я уже указалъ на то, что въ его лицѣ мы встрѣчаемся съ особой разновид-

[1]) Я старался показать это въ этюдѣ о Добролюбовѣ, напечатанномъ въ „Южныхъ Запискахъ" (Одесса). См. въ особенности главу V („Южн. Зап.", 1905 г., № 11).

ностью, которой Н. К. Михайловскій, самъ принадлежавшій къ ней, далъ названіе „кающихся дворянъ“ [1]).

„Кающіеся дворяне“ не составляли особой группы или „партіи“ и не выработали своей „программы“. Они входили въ составъ различныхъ группъ, примыкали къ существовавшимъ передовымъ направленіямъ общественной мысли — либеральному, радикальному, народническому, только внося сюда свою душевную складку, свои умственные вкусы и предпочтенія, а также особую, свойственную имъ постановку моральнаго вопроса объ отвѣтственности передъ народомъ, объ „уплатѣ“ народу вѣками накопившагося „долга“. Дѣятели, вышедшіе изъ народной массы или изъ слоевъ, близкихъ къ ней (духовенства, мѣщанства), конечно, не могли всецѣло раздѣлять и переживать этихъ — спеціально дворянскихъ, помѣщичьихъ — „благородныхъ чувствъ“, и ихъ народолюбіе не осложнялось „покаяніемъ“. Объ одномъ изъ наиболѣе яркихъ представителей этого типа, Г. З. Елисеевѣ, Михайловскій писалъ, что „ему не было надобности такъ или иначе опредѣлять свои отношенія къ толпѣ, къ народу,— онъ былъ самъ народъ...“ („Литер. восп. и соврем. смута“, т. I, стр. 504).

Смотря по индивидуальнымъ особенностямъ человѣка, это „дворянское покаяніе“ у разныхъ лицъ выражалось различно: у однихъ оно принимало болѣе или менѣе „трагическую“ форму, у другихъ проявлялось иначе. Писаревъ, по основному укладу своей натуры, былъ человѣкъ всего менѣе „трагическій“ и, несмотря на нѣкоторую, кажется, наслѣдственную невропатію, являлъ, со стороны психологической, картину рѣдкой уравновѣшенности натуры, цѣльности и завидной жизнерадостности. Оттуда у него,— столь рѣдкая у насъ,— способность ставить и рѣшать вопросы

[1]) См. извѣстные полубеллетристическіе очерки „Въ перемежку“, а также „Литературныя воспоминанія и современная смута“, т. I, стр. 139 и сл.

личнаго моральнаго сознанія,—не мудрствуя, не растравляя душевныхъ ранъ—просто, ясно, спокойно и весело. Такъ рѣшалъ онъ и вопросъ о „покаяніи" и „долгѣ народу". Ни душевныхъ мукъ, ни тяжелаго раздумья, ни сомнѣній, ни обольщеній,—ничего, чѣмъ мучились, надъ чѣмъ бились другіе „кающіеся дворяне", мы не видимъ у него. Зато видимъ болѣе или менѣе ясные слѣды несознаннаго, непроизвольнаго дворянскаго отношенія къ народу, въ первые годы его литературной дѣятельности проявлявшагося наиввѣе, позже затушеваннаго идеологіей „мыслящаго реализма". Въ одной изъ раннихъ статей (1861 г.) онъ подымаетъ вопросъ о народѣ, о народномъ образованіи, объ обязанностяхъ общества заняться воспитаніемъ массъ („Народныя книжки". „Сочиненія Д. И. Писарева", С.-Петерб., 1894, т. I).—Въ противоположность взгляду Добролюбова, что мужикъ—такой же человѣкъ, какъ и мы, онъ рѣзко отмѣчаетъ глубокую пропасть, отдѣляющую образованное общество отъ народа, говоритъ, что „исторія разлучила насъ съ нимъ гораздо ранѣе Петра" (стр. 242), что народъ не любитъ насъ и не вѣритъ намъ, а мы скорѣе только воображаемъ, что любимъ его, и т. д. (242). Тѣмъ не менѣе общество „начинаетъ сознавать, что на немъ лежитъ обязанность—дѣлиться съ народомъ знаніями и идеями" (237),—и „великой задачей нашего времени становится умственная эманципація массъ, черезъ которую предвидится имъ исходъ къ лучшему положенію не только ихъ самихъ, но и всего общества" (237). Слѣдовательно, само общество заинтересовано въ этомъ дѣлѣ,—это значитъ, что вопросъ изъ сферы моральной переносится на почву общественную, политическую.—Отмѣтимъ кстати любопытное совпаденіе: ту же мысль, только нѣсколько иначе, высказывалъ Салтыковъ, также представитель типа „кающихся дворянъ",—совпаденіе, тѣмъ болѣе знаменательное, что, какъ извѣстно, Салтыковъ и Писаревъ расходились во многомъ и даже питали другъ къ

другу родъ антипатіи[1]). Моральная же сторона дѣла сказалась въ слѣдующихъ строкахъ Писарева: „Доселѣ мы искали только однихъ правъ и расширенія произвола въ отношеніи массы, но не хотѣли знать, что, кромѣ правъ, есть и обязанности съ нашей стороны" (стр. 243).—Дворянская, помѣщичья окраска этого „покаянія"—ясна. Она же обнаруживается и въ томъ, что говоритъ Писаревъ о призваніи образованнаго меньшинства—воспитывать народъ, который трактуется, какъ объектъ воспитанія. Тутъ между прочимъ читаемъ: „есть такія народныя вѣрованія и предразсудки, которые невозможно затрогивать грубо и неосторожно; ихъ надо разрушать исподволь, надо вести народное развитіе, не касаясь ихъ прямо и представляя ихъ устраненіе времени и здравому смыслу... Стало быть, надо дѣйствовать педагогически, т.-е. приноравливать свое изложеніе къ понятіямъ слушателя и не сходить съ его точки зрѣнія..." (243).—Въ совершенномъ согласіи съ такой постановкой вопроса находится та черта, что въ статьѣ остались нераздѣльными двѣ задачи, по существу различныя: 1) обученіе крестьянскихъ дѣтей и 2) образованіе взрослыхъ крестьянъ. Повидимому, Писаревъ имѣетъ въ виду преимущественно послѣднихъ и трактуетъ ихъ какъ младенцевъ и недорослей. Отмѣтимъ еще то предпочтеніе, которое отдаетъ Писаревъ выраженію „воспитаніе", вмѣсто „образованіе".

---

[1]) Соотвѣтственное мѣсто у Салтыкова приведено Михайловскимъ (въ противовѣсъ точкѣ зрѣнія Елисеева) и гласитъ такъ: „...только тѣ политическіе и общественные акты получили дѣйствительное значеніе, которые имѣли въ виду толпу. Тутъ, въ этомъ служеніи толпѣ, имѣется даже очень ясный эгоистическій разсчетъ, ибо, какъ бы мы ни были развиты и обезпечены, мы все-таки до тѣхъ поръ не получимъ возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашимъ развитіемъ, покуда все, что насъ окружаетъ, не придетъ хоть въ нѣкоторое равновѣсіе съ нами относительно матеріальнаго и духовнаго благосостоянія".— См. Михайловскаго „Литер. восп. и соврем. смута", т. I, стр. 505.

Что интеллигенція должна, по мѣрѣ силъ и возможности, содѣйствовать образованію народа, это не подлежитъ спору. Но утверждать, что она должна „воспитывать" народъ,—это значитъ стоять не на демократической, а на барской точкѣ зрѣнія.

Къ тому же вопросу—о воспитательномъ воздѣйствіи общества на народъ—обращается Писаревъ и въ статьѣ „Схоластика XIX вѣка" (т. I, стр. 331 и сл.), гдѣ, между прочимъ, проводится такая мысль: наша передовая литература, въ особенности журналистика, не можетъ дѣйствовать на народъ непосредственно, потому что послѣдній не подготовленъ къ тому. Но очень важно и желательно было бы, чтобы народъ по крайней мѣрѣ почувствовалъ, что въ отношеніяхъ къ нему общества произошла перемѣна къ лучшему и „съ ними обращаются господа[1]) какъ-то не попрежнему, а какъ-то серьезнѣе и мягче, любовнѣе и ровнѣе" (стр. 337). А для этого нужно, чтобы „наше провинціальное дворянство и мелкое чиновничество перестало быть тѣмъ, что оно теперь. Гуманизировать это сословіе—дѣло литературы и преимущественно журналистики" (337).—Это „среднее сословіе" и призвано явиться проводникомъ знаній и гуманныхъ идей въ массу,—оно „можетъ сдѣлаться посредникомъ между передовыми дѣятелями русской мысли и нашими младшими братьями—мужиками..." (337).—Ничего страннаго или нераціональнаго въ этой мысли нѣтъ, и можно, съ нѣкоторыми лишь оговорками, сказать, что послѣдующая исторія ее оправдала. Но насъ интересуетъ здѣсь, для характеристики точки зрѣнія Писарева, та опять-таки „педагогическая замашка" (если можно такъ выразиться), которая проглядываетъ во всемъ разсужденіи и ярче обнаружилась въ слѣдующемъ: перемѣна въ отношеніяхъ общества къ народу и обращеніи съ нимъ „не укрылась бы отъ его вниманія и измѣнила бы его нечувствительно для него

[1]) Курсивъ Писарева.

самого. Чѣмъ болѣе вы будете обращаться съ мальчикомъ какъ съ джентльменомъ, тѣмъ скорѣе онъ дѣйствительно превратится въ джентльмена—это основное положеніе американской педагогики, и это положеніе можетъ быть примѣнено къ дѣлу вездѣ, гдѣ эмансипація идетъ не снизу вверхъ, а сверху внизъ" (337).—Опять сопоставленіе мужика съ ребенкомъ, опять „педагогія"...

Е. А. Соловьевъ въ біографіи Писарева, живо и талантливо написанной, справедливо говоритъ, что „народомъ Писаревъ занимался сравнительно мало" („Д. И. Писаревъ, его жизнь и литературная дѣятельность", С.-Петерб., 1893 г., стр. 119).— Этотъ фактъ выступитъ въ особомъ освѣщеніи, если сравнить его съ противоположною чертою литературной дѣятельности Чернышевскаго и Елисеева. Вспомнимъ статьи Чернышевскаго по вопросамъ общиннаго землевладѣнія и другимъ, подымавшимся крестьянскою реформою, наконецъ, его политико-экономическіе труды. Что касается Елисеева, то, кромѣ его статей, напомню здѣсь то, что говоритъ о немъ Михайловскій въ очеркѣ, ему посвященномъ: „Я не знаю писателя, который имѣлъ бы большее право на титулъ настоящаго, кровнаго демократа, чѣмъ Елисеевъ. Онъ отнюдь не былъ народникомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ у насъ потомъ утвердилось это слово, хотя народники и многому у него научились. Онъ не питалъ народническихъ иллюзій, и демократизмъ былъ въ немъ не дѣломъ только принциповъ и убѣжденій, а самымъ инстинктомъ. Онъ былъ... какъ бы самъ народъ, собственными усиліями пробившійся къ свѣту и достигшій верховъ самосознанія" („Литер. воспом. и соврем. смуты", т. I, стр. 504). Какъ характерную особенность публицистической работы Елисеева, Михайловскій отмѣчаетъ то, что въ ней центральнымъ пунктомъ былъ мужикъ,—и, разбирая то или иное явленіе жизни, Елисеевъ ставилъ прежде всего вопросъ: какъ отразится оно на мужикѣ? (тамъ же).

3.

Выше я указалъ на то, что Писаревъ, какъ психологическій типъ, былъ, въ противоположность „стоику“ Добролюбову, „эпикуреецъ“. Нижеслѣдующее покажетъ, въ какомъ смыслѣ нужно понимать этотъ терминъ: дѣло идетъ отнюдь не объ эпикурействѣ житейскомъ (въ этомъ отношеніи Писаревъ скорѣе былъ „стоикъ“), а объ эпикурействѣ интеллектуальномъ, о „наслажденіи развитіемъ“, о тѣхъ радостяхъ мысли, которыя даются освобожденіемъ ума отъ стараго міровоззрѣнія и пріобрѣтеніемъ новаго, широкаго и прогрессивнаго, наконецъ—самимъ процессомъ умственнаго труда.

Общее впечатлѣніе, которое мы выносимъ, читая Писарева, осѣдаетъ въ насъ въ видѣ чего-то свѣтлаго, искрящагося, бодраго, радостнаго и счастливаго. Передъ нами человѣкъ, чуждый скорбей и мрачныхъ мыслей и явно наслаждающійся своей работой,—тѣми „радостями мысли и воли“, о которыхъ говоритъ Добролюбовъ въ одномъ изъ своихъ писемъ [1]). Но у суроваго, сосредоточеннаго, сдержаннаго Добролюбова эти умственныя и моральныя радости не прорываются наружу, не выдаютъ себя; у Писарева онѣ такъ и брызжутъ, сказываясь въ самомъ стилѣ, въ манерѣ письма. Любая мысль у него окрашена тѣмъ наслажденіемъ, съ которымъ онъ ее мыслилъ и излагалъ. Это не столько „радости творчества“, сколько просто мозговое наслажденіе, испытываемое здоровою головою при нормальномъ ходѣ умственной работы. По всему видно, что ему пріятно и весело думать свои думы, развивать свою мысль и излагать ее такъ, чтобы другимъ было столь же пріятно и весело читать и усвоивать его писанія. Самое „производство“ мысли,

[1]) Къ Лаврскому (отъ 3 авг. 1856 г.). См. „Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова“, стр. 323).

выработка идей достается ему легко и обходится дешево. Онъ — не Бѣлинскій, у котораго выработка міросозерцанія была сопряжена съ цѣлой трагедіей умственныхъ и нравственныхъ томленій, сомнѣній, душевныхъ кризисовъ. Онъ — не Добролюбовъ, который къ „радостямъ мысли и воли“ шелъ тернистымъ путемъ внутренней борьбы и ломки, яркую картину которой мы находимъ въ его письмахъ. Писаревъ не выстрадалъ свое міросозерцаніе, — оно, такъ сказать, само пришло къ нему и озарило его умъ и душу, подобно тому, какъ лучъ солнца, упавъ въ широко раскрытые, наивно-любопытные глаза ребенка, озаряетъ милое личико свѣтомъ и радостью жизни.

Писаревъ не столько „творилъ“, сколько усвоивалъ, воспринималъ. Отъ стараго міросозерцанія къ новому онъ перешелъ быстро и легко. Этому способствовали, съ одной стороны, качества его ума, необыкновенно воспріимчиваго, но не глубокаго, а съ другой — особенности самой натуры его. На эти особенности указываетъ онъ самъ въ одномъ изъ писемъ къ матери (изъ тюрьмы), гдѣ онъ опредѣляетъ различіе между нимъ и Добролюбовымъ: „Разница между мной и Добролюбовымъ объясняется въ двухъ словахъ. Добролюбовъ былъ энтузіастъ и считалъ нѣкоторую долю энтузіазма необходимой для каждаго честнаго человѣка, а я глубоко ненавижу и презираю всякій энтузіазмъ; онъ противенъ всей моей природѣ, и я считаю его всегда вредною нелѣпостью“... [1]). Повидимому, здѣсь подъ „энтузіазмомъ“ нужно понимать если не фанатизмъ, то излишнюю страстность гражданскихъ чувствъ вообще и протеста въ частности. Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что фанатизмъ былъ органически чуждъ натурѣ Писарева и долженъ былъ казаться ему нелѣпостью. Но не только фанатизмъ, а даже обыкновенныя, свойствен-

[1]) Курсивъ мой.

ныя не однимъ фанатикамъ, партійныя и идейныя страсти (напр., политическія, религіозныя) претили ему, потому что онѣ суживаютъ горизонтъ человѣка, затемняютъ ясность его ума и ограничиваютъ его внутреннюю свободу. Мало того: Писаревъ протестуетъ не только противъ психологическаго гнета страстей, но и противъ власти или порывовъ чувствъ: „Добролюбовъ, — продолжаетъ онъ, — думалъ, что жизнь можетъ обновиться порывами чувствъ, а я убѣжденъ, что она обновляется только работою мысли“ [1]). Здѣсь, во-первыхъ, нельзя не видѣть столь характерной для „эпикурейцевъ ума“ склонности преувеличивать значеніе работы мысли, какъ освободительной и движущей силы, въ ряду другихъ силъ, творящихъ прогрессъ, обновляющихъ жизнь. А кромѣ того, въ этихъ строкахъ сквозитъ родъ психологической реакціи, свойственной натурамъ, которыя очень и очень доступны порывамъ чувствъ. Къ такой реакціи приводитъ людей несознанное, непроизвольное стремленіе къ психическому самосохраненію. Человѣкъ инстинктивно обороняется (если можно такъ выразиться) отъ наплыва чувствъ вообще или опредѣленнаго чувства въ частности, потому что какой-то внутренній голосъ говоритъ ему, что—дай онъ волю имъ—его душевный миръ нарушится, а пожалуй и весь строй души будетъ потрясенъ. Писаревъ на личномъ опытѣ убѣдился, что для него порывы чувствъ опасны. Я имѣю въ виду его трагическую любовь къ кузинѣ, приведшую его къ психозу. Онъ зналъ, какъ чувства порабощаютъ и разъѣдаютъ душу, и ополчился противъ нихъ, все равно, каковы бы они ни были, любовныя или гражданскія... Извѣстно, что Спиноза отрицалъ чувство жалости — какъ разслабляющее душу, подкашивающее ея энергію. Я думаю, что главнымъ, вѣроятно, безсознательнымъ, основаніемъ этого отрицанія была у него

[1]) Курсивъ мой.

именно психическая реакція противъ чувства, власти котораго онъ былъ слишкомъ доступенъ. Можно наблюдать, какъ люди, у которыхъ очень чутко и болѣзненно-живо чувство негодованія, инстинктивно избѣгаютъ лишнихъ поводовъ — негодовать. Писаревъ, несомнѣнно, былъ тонко и сложно организованная натура, съ богато развитою чувствующею сферою, — и онъ инстинктивно избѣгалъ порывовъ чувства, боялся ихъ капризной власти и отдавалъ рѣшительное предпочтеніе власти мысли: онъ зналъ по опыту, какъ оздоровляетъ, какъ „собираетъ" душу работа ума и какъ привольно и свободно душѣ подъ властью мысли... Приведемъ и еще одну цитату изъ того же письма: „Добролюбовъ почти не имѣлъ понятія объ естественныхъ наукахъ, а я считаю ихъ краеугольнымъ камнемъ здороваго умственнаго развитія и всякаго человѣческаго прогресса" [1]). Помимо увлеченія естествознаніемъ, въ эту эпоху широко распространеннаго и въ Западной Европѣ, и у насъ, я вижу здѣсь прямое логическое слѣдствіе того культа мысли, которому былъ преданъ Писаревъ: если придавать работѣ мысли первенствующее значеніе въ прогрессѣ человѣчества, то, конечно, нужно отдать рѣшительное предпочтеніе мысли научной, а эта послѣдняя достигла своего совершеннѣйшаго выраженія и дала свои наилучшіе плоды въ естествознаніи.

Не лишнимъ будетъ отмѣтить здѣсь мимоходомъ, что характеристика Добролюбова, сдѣланная Писаревымъ, не можетъ считаться правильною. Она скорѣе подходила бы къ Бѣлинскому, который дѣйствительно былъ энтузіастомъ какъ въ обычномъ значеніи этого слова, такъ и въ томъ спеціальномъ смыслѣ, въ какомъ, повидимому, разумѣетъ его Писаревъ. Бѣлинскій былъ далеко не чуждъ политическихъ страстей, страстнаго негодованія и, частью,

[1]) Письмо это приведено Е. А. Соловьевымъ на стр. 111 біограф. очерка „Д. И. Писаревъ", откуда я и взялъ свои цитаты.

фанатизма. Нельзя также утверждать, что Добролюбовъ приписывалъ „порывамъ чувства" то значеніе, на которое указываетъ Писаревъ. Добролюбовъ только шире смотрѣлъ на жизнь и хорошо понималъ, что она обновляется не одною лишь работою мысли, но и другими силами, въ ряду которыхъ имѣютъ свое мѣсто и „порывы чувства". Самъ же Добролюбовъ, какъ умъ и натура, былъ именно человѣкъ мысли по преимуществу. Такимъ онъ былъ и въ личной жизни, и въ литературной дѣятельности, являя въ этомъ отношеніи прямую противоположность энтузіасту Бѣлинскому, „неистовому Виссаріону", и отчасти сходясь съ Писаревымъ. Но Добролюбовъ былъ натура гораздо болѣе глубокая, чѣмъ Писаревъ, и, кромѣ того, принадлежалъ къ другому общественно-психологическому укладу. Радости мысли были доступны ему не меньше, чѣмъ Писареву, и онъ цѣнилъ ихъ столь же высоко, но переживалъ онъ ихъ не какъ „эпикуреецъ", а какъ „стоикъ".

4.

Умственное „эпикурейство" Писарева, безъ сомнѣнія, имѣло свои устои въ его классовой психологіи. Онъ родился, выросъ и воспитался въ одномъ изъ культурныхъ дворянскихъ гнѣздъ, гдѣ издавна прививались умственные вкусы и интересы. Его дѣтство протекло въ 40-хъ годахъ (онъ родился въ 1840-мъ), въ дворянской усадьбѣ, въ старинномъ барскомъ домѣ, въ тѣнистыхъ аллеяхъ стараго сада, — въ той обстановкѣ, которую такъ умѣлъ поэтизировать Тургеневъ.—Не будетъ парадоксомъ сказать, что Писаревъ, этотъ типичный человѣкъ 60-хъ годовъ, „разрушитель" эстетики, развѣнчавшій Пушкина и Бѣлинскаго, позитивистъ и матеріалистъ, былъ, въ сущности, истымъ воспитанникомъ и эпигономъ людей 40-хъ годовъ, наслѣдни-

комъ ихъ философскаго и научнаго дилетантизма, ихъ эстетическихъ наклонностей, ихъ „эпикурейства“. Замѣна Гегеля Огюстомъ Контомъ большого значенія въ данномъ случаѣ не имѣетъ: книги мѣнялись, направленія чередовались, а психологическій типъ, въ его основныхъ чертахъ, сохранялся, видоизмѣняясь въ подробностяхъ, сообразно духу времени, новымъ условіямъ и задачамъ жизни, перемѣнѣ въ соціальномъ положеніи класса. Писаревъ, конечно, не человѣкъ 40-хъ годовъ, но онъ—прямой наслѣдникъ той умственной и вообще психической складки, которая выработалась въ культурныхъ дворянскихъ гнѣздахъ 40-хъ годовъ,—и поэтому, при всѣмъ его антагонизмѣ въ отношеніи къ „отцамъ“, у него нѣтъ и слѣда той почти органической антипатіи къ нимъ, какая замѣтна у Добролюбова. Разладъ Писарева съ людьми 40-хъ годовъ—это ссора между своими, между дѣтьми и отцами, и онъ въ этомъ смыслѣ скорѣе напоминаетъ Аркадія Кирсанова, чѣмъ Базарова. Къ послѣднему гораздо ближе стоитъ Добролюбовъ, котораго, какъ можно думать, отчасти и имѣлъ въ виду Тургеневъ, когда писалъ грандіозную фигуру героя „Отцовъ и дѣтей“.—На примѣрѣ Писарева и другихъ представителей того же общественно-психологическаго типа, выступившихъ въ 60-хъ годахъ, можно прослѣдить ту нить, которая „кающихся дворянъ“ 50-хъ и 60-хъ годовъ соединяла съ людьми 40-хъ. Различія въ міросозерцаніи, противорѣчія лозунговъ, формулъ и словъ не нарушаютъ единства типа въ его основныхъ чертахъ.

Это единство типа или стойкость его основныхъ чертъ обнаруживается въ извѣстныхъ предрасположеніяхъ, вкусахъ, умственныхъ наклонностяхъ. Сюда, между прочимъ, нужно отнести прирожденный эстетизмъ Писарева. „Разрушитель“ эстетики самъ былъ натурою эстетическою. Протестъ противъ эстетики (кстати сказать, за вычетомъ крайностей и явныхъ недоразумѣній, весьма раціональный) и

пресловутое „развѣнчаніе“ Пушкина были, такъ сказать, возстаніемъ противъ себя самого, родомъ самоотреченія. Въ началѣ своей литературной дѣятельности Писаревъ, мало интересуясь общественными вопросами, выступалъ скорѣе, какъ поборникъ „чистаго искусства“ и „красоты“. Да и всею своею личностью, между прочимъ и съ внѣшней стороны, онъ являлъ видъ „джентльмена“, барича и эстета, и ничего общаго у него не было съ тѣми „нигилистами“, которые потомъ зачитывались его статьями. Изящную внѣшность и соотвѣтственныя манеры и привычки онъ сохранялъ до конца жизни. Внѣшность отвѣчала внутреннему строю его души: Писаревъ былъ, несомнѣнно, человѣкъ душевно-изящный. Въ немъ привлекаютъ и очаровываютъ насъ не столько высокія качества души, которыя могутъ сочетаться съ извѣстною рѣзкостью и суровостью, даже своего рода грубоватостью (вспомнимъ Салтыкова), сколько именно изящество ума, блестящаго, но не глубокаго, и красота души, чистой и ясной, чуждой какой бы то ни было грубости и жесткости, — души открытой, правдивой и, можно сказать, дѣтски-наивной. Такимъ отражается онъ, словно въ зеркалѣ, въ своихъ сочиненіяхъ и письмахъ. Е. А. Соловьевъ мѣтко и вѣрно характеризуетъ его такъ: „Въ дѣтствѣ Писарева звали „хрустальной коробочкой“. Онъ не умѣлъ скрывать ничего, что было у него на душѣ, не умѣлъ утаивать ни мысли, ни чувства. Такимъ остался онъ на всю жизнь, такимъ является онъ намъ въ своихъ статьяхъ. Это правдивый, въ высшемъ смыслѣ этого слова, писатель, который даже ради благородныхъ цѣлей не согласился бы покривить душой“ („Д. И. Писаревъ“, стр. 57).—Его ошибки, въ ряду которыхъ важнѣйшая—„критика“ Пушкина, были заблужденія правдиваго ума, ищущаго истины, были увлеченіемъ, вызваннымъ духомъ времени, и имѣли въ нашей литературѣ свои прецеденты. Есть указаніе, что позже онъ понялъ и созналъ свою ошибку. И можно утверждать съ полною увѣренностью, что, проживи онъ дольше,

24

онъ взялъ бы назадъ свои сужденія о Пушкинѣ и открыто призналъ бы всю ихъ несостоятельность.

Если спросить, въ чемъ состояла главная, излюбленная мысль Писарева, отъ которой онъ не могъ бы отказаться никогда (кромѣ, разумѣется, крайностей, утрировокъ), то придется отвѣтить такъ: это была мысль объ интеллектуальномъ прогрессѣ человѣчества и, въ тѣсной связи съ нею, о необходимости популяризаціи знанія, демократизаціи науки. Е. А. Соловьевъ совершенно правильно называетъ эту идею „задушевною мыслью“ Писарева („Д. И. Писаревъ“, стр. 82) и говоритъ, что „если есть умственный аристократизмъ, то міросозерцаніе Писарева... можетъ быть названо умственнымъ демократизмомъ“ (стр. 83).—Писаревъ былъ прирожденный популяризаторъ, и въ своихъ научно-популярныхъ статьяхъ далъ блестящіе образцы этого рода литературы. Если о чемъ-либо писалъ онъ съ „энтузіазмомъ“, то это именно на тему о необходимости популяризаціи науки, о томъ, что наука — не монополія ученой касты и дилетантовъ мысли, что она, въ хорошемъ изложеніи, можетъ быть доступна всѣмъ,—и сюда-то и должны быть направлены усилія друзей прогресса и человѣчества. — Развивая эту мысль, онъ, какъ извѣстно, доходилъ до крайностей, когда, напр., предлагалъ Салтыкову бросить „цвѣты невиннаго юмора“ и заняться составленіемъ популярныхъ книжекъ по естествознанію. Оставляя въ сторонѣ такія преувеличенія, противъ самой идеи, разумѣется, ничего возразить нельзя. Но для насъ важно отмѣтить другое: какъ проповѣдникъ „умственнаго демократизма“ и необходимости популяризаціи знанія, Писаревъ былъ не только типичнымъ представителемъ своей эпохи, но и законнымъ наслѣдникомъ умственнаго движенія 40—50-хъ годовъ.

Вспомнимъ, что передовые писатели 40-хъ годовъ были также популяризаторами: они умудрились сдѣлать доступною читающей публикѣ даже такую головоломную вещь,

какъ философія Гегеля. Лучшіе журналы того времени изобиловали популярными статьями по различнымъ отдѣламъ знанія. Правда, люди 40-хъ годовъ всего болѣе интересовались и увлекались вопросами философіи, религіи, эстетики. Но эти увлеченія (въ особенности системою Гегеля) были, хотя и въ высокой степени характернымъ для нихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и преходящимъ моментомъ. Уже въ концѣ 40-хъ годовъ философскія увлеченія начинаютъ ослабѣвать, и въ послѣдствіи Герценъ, Тургеневъ и др. съ ироническою улыбкою вспоминали въ своихъ былыхъ „прегрѣшеніяхъ" по части гегеліанской гимнастики ума. Переходъ отъ идеалистической метафизики къ матеріализму и позитивизму былъ неизбѣженъ и — вовсе не такъ труденъ. Мы должны были сдѣлать этотъ шагъ, какъ сдѣлала его, въ свое время, мыслящая Европа. Лѣвое гегеліанство и Фейербахъ, потомъ Фохтъ и Молешотъ, нѣсколько позже Ог. Контъ, —какъ „властителя думъ" мыслящихъ поколѣній у насъ, — овладѣвали нами съ историческою и, пожалуй, даже съ логическою необходимостью. Въ этомъ смыслѣ отнюдь не было пропасти между людьми 40-хъ годовъ и людьми 60-хъ, а было преемство философскихъ увлеченій и научныхъ интересовъ, наглядно проявлявшееся въ такихъ фактахъ, какъ, напр., гегеліанство Чернышевскаго, еще ярче въ замѣчательной философской работѣ П. Л. Лаврова, начавшаго идеалистическою метафизикою и затѣмъ послѣдовательно перешедшаго къ матеріализму и позитивизму.

Движеніе философской мысли въ этомъ направленіи было, разумѣется, тѣсно связано съ растущимъ интересомъ къ положительной наукѣ вообще, къ естествознанію въ частности. И вмѣстѣ съ тѣмъ это былъ въ свое время, несомнѣнно, шагъ впередъ въ дѣлѣ демократизаціи научной и философской мысли. Проповѣдь Писарева явилась только однимъ изъ яркихъ выраженій этого процесса.

Въ природѣ высшей познавательной мысли, философской

и научной, заключено нѣкоторое противорѣчіе, впрочемъ, больше кажущееся, чѣмъ дѣйствительное. Съ одной стороны, сложный и трудный процессъ познанія, требующій спеціальной подготовки и особыхъ дарованій, представляется чѣмъ-то недоступнымъ большинству, какою-то монополіей „избранниковъ", людей особенныхъ, которые тѣмъ успѣшнѣе исполняютъ свою миссію, чѣмъ болѣе они „не отъ міра сего". Съ другой стороны, исторія мысли ясно показываетъ намъ, что съ ея развитіемъ и общимъ прогрессомъ человѣчества, пропасть, отдѣлявшая нѣкогда „жрецовъ" науки и философіи отъ прочихъ смертныхъ, отъ „профановъ", все суживалась и наконецъ совсѣмъ исчезла. Наука и философія перестали быть кастовою монополіей и сдѣлались общимъ достояніемъ, по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, что ихъ результаты доступны всякому, кто только получилъ извѣстное общее образованіе и способенъ заинтересоваться тѣмъ, что дѣлается въ мірѣ высшей мысли. Школа, популярная литература, публичныя чтенія, журналы, энциклопедическія изданія демократизировали науку и философію или, говоря точнѣе, явились только органами, дѣятельностью которыхъ обнаружился и сталъ осуществляться присущій самой природѣ науки и философіи демократизмъ высшаго порядка. И оказалось что „аристократизмъ" или кастовый характеръ высшей мысли вовсе не былъ ея прирожденнымъ свойствомъ, а явился только временнымъ порожденіемъ общаго аристократическаго строя жизни. Демократизація этого строя обнаружила и прирожденный демократизмъ мысли. Величайшій демократъ—это разумъ человѣческій, какъ онъ же величайшій „революціонеръ", только „мирный". Внутреннее психологическое родство между демократизмомъ и познавательною дѣятельностью мысли, часто не сознаваемое, сказывается въ различныхъ проявленіяхъ и фактахъ, разсматривать которые было бы здѣсь затруднительно и отвлекло бы насъ въ сторону отъ

нашей темы. Ограничусь поэтому указаніемъ только на слѣдующее: 1) Прирожденные враги разума и его прогресса — тѣ же, что препятствуютъ и прогрессу демократіи: разумъ и демократія одинаково нуждаются прежде всего въ свободѣ мысли, совѣсти, слова; привилегіи и особое покровительство сильныхъ міра сего, конечно, нерѣдко содѣйствовали успѣхамъ науки, но всегда—въ концѣ-концовъ—убивали въ ней „духъ живъ", и она вырождалась въ схоластику; 2) высшая научная и философская мысль, какъ и искусство, обнаруживаетъ несомнѣнную тенденцію пробуждать въ людяхъ любовь человѣческую, альтруизмъ, который служитъ важнѣйшимъ моральнымъ основаніемъ демократизма. Это можно было бы подтвердить многими фактами изъ исторіи науки и философіи, изъ біографій ученыхъ и мыслителей; это явствуетъ также изъ того, что мы знаемъ о просвѣщающемъ и гуманномъ воздѣйствіи высшей мысли на тѣхъ, кто воспринимаетъ ее, кто подчиняется ея власти.

Въ отношеніи къ этому послѣднему пункту примѣръ Писарева представляется типичнымъ. Какъ видно изъ его біографіи, онъ пришелъ къ альтруизму и демократизму именно черезъ любовь къ знанію. Въ его письмахъ (извлеченія приведены Е. А. Соловьевымъ на стр. 91—92 біографическаго очерка) мы находимъ прямыя указанія въ этомъ смыслѣ. Такъ, въ одномъ письмѣ къ матери онъ говоритъ, что для него все болѣе выясняется „планъ", по которому онъ хочетъ „построить" свою „жизнь и дѣятельность". Этотъ планъ сводится къ тому, чтобы, постоянно учась, популяризировать пріобрѣтенныя знанія и такимъ образомъ быть полезнымъ возможно широкому кругу читателей,—вообще ближнему, котораго онъ полюбилъ теперь, послѣ того, какъ въ немъ самомъ пробудилась любовь къ знанію. „Нашему обществу, говоритъ онъ, не достаетъ самыхъ простыхъ и элементарныхъ знаній". „Поэтому обществу надо давать эти необходимыя знанія, т.-е. знакомить публику съ лучшими

представителями европейской науки. Мнѣ эта задача во всѣхъ отношеніяхъ по душѣ и по силамъ. Во-первыхъ, я пишу, какъ тебѣ извѣстно, чрезвычайно быстро; во-вторыхъ, я пишу весело и занимательно; въ третьихъ, я усвоиваю себѣ очень легко чужія мысли, такъ что могу передовать ихъ совершенно понятнымъ образомъ; и, наконецъ, въ четвертыхъ, я одержимъ страстною охотою читать...“ (стр. 91).— И вотъ, вслѣдъ за этою жаждою читать, учиться, пріобрѣтать знанія и столь же сильнымъ стремленіемъ передавать ихъ другимъ, учить (черта, по существу, альтруистическая), развилась въ немъ и другая черта, о которой онъ говоритъ въ письмѣ отъ 17 января 1865 года: „Теперь къ моему характеру присоединилась еще одна черта, которой въ немъ прежде не существовало. Я началъ любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, мнѣ до нихъ не было никакого дѣла...“ (Е. А. Соловьевъ, стр. 97).— Вотъ именно эта любовь къ людямъ вообще, развившаяся на почвѣ любви къ знанію, и подсказывала ему тѣ мысли о демократичности истинной науки, которыя въ свое время „ударяли по сердцамъ съ невѣдомою силой“, напр., слѣдующія: „Отгонять непросвѣщенную чернь (profanum vulgus) отъ храма науки — не въ духѣ нашей эпохи...“ „Умственный аристократизмъ — явленіе опасное... Монополія знаній и гуманнаго развитія представляетъ, конечно, одну изъ самыхъ вредныхъ монополій. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массѣ?..“ (изъ статьи „Схоластика XIX-го вѣка“, относящейся еще къ 1861-му году. „Сочин. Д. И. Писарева“, 1894, стр. 365, 366).— Какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ, такъ и здѣсь Писаревъ увлекался и доходилъ до крайностей. Такъ, онъ возстаетъ (въ той же статьѣ) противъ „отвлеченностей“ въ наукѣ, къ которымъ относитъ и психологическій вопросъ о томъ, что такое „я“ человѣческое, и зло „критикуетъ“ Лаврова, вдававшагося въ эти „отвлеченности“ въ своихъ извѣстныхъ

„Трехъ бесѣдахъ о современномъ значеніи философіи“, напечатанныхъ въ „Отечеств. Запискахъ“ (Краевскаго, 1861 г.). — „Критика“ Писарева очень ужь поверхностна и свидѣтельствуетъ о его неосвѣдомленности въ психологіи и въ философскихъ вопросахъ. Его утвержденія, что всѣ эти „отвлеченности“ — одна схоластика и пора бросить ихъ, что истины науки должны быть „осязательны“ и, въ качествѣ таковыхъ, доступны и 10-лѣтнему ребенку, и простому мужику и т. д., — совершенно несостоятельны и даже наивны. Но такія ошибки и наивности не ослабляютъ значенія основной мысли, по существу вѣрной, — о демократизмѣ науки, о необходимости распространять и популяризировать ее, о томъ, что она является лучшимъ другомъ и надежнѣйшимъ союзникомъ освобождающагося человѣчества въ его стремленіяхъ къ свѣту и счастію, къ созданію лучшаго будущаго.

5.

Въ ряду писателей, воспитавшихся и выступившихъ на литературное поприще еще въ 40-хъ годахъ, Некрасовъ и Салтыковъ, по особенностямъ ума и дарованія, явились призванными дѣятелями 60-хъ годовъ. Движеніе умовъ, которое я старался охарактеризовать на предыдущихъ страницахъ, всецѣло захватило ихъ, — они шли впередъ вмѣстѣ съ новымъ поколѣніемъ и даже впереди его. Въ ихъ дѣятельности мы не найдемъ и слѣда того разлада между двумя поколѣніями, который, въ той или иной формѣ, обнаружился у другихъ „отцовъ“, напр. у Достоевскаго, Гончарова, Тургенева, Герцена. У этихъ послѣднихъ, помимо разногласій съ новыми дѣятелями въ общемъ міросозерцаніи, въ нѣкоторыхъ понятіяхъ, замѣтна извѣстная антипатія къ той общественно-психологической складкѣ, которою характеризовались представители молодого поколѣнія, пришедшаго имъ

на смѣну. Объ этой антипатіи и ея послѣдствіяхъ, о ея проявленіяхъ въ литературѣ у насъ еще будетъ рѣчь въ дальнѣйшемъ. Здѣсь укажу только на то, что она рѣзко выразилась уже въ концѣ 50-хъ годовъ, когда въ „Современникѣ“ возобладало направленіе, представлявшееся Чернышевскимъ и Добролюбовымъ. Противъ этого направленія, равно какъ и лично противъ Чернышевскаго и Добролюбова, стали раздаваться протесты со стороны „стараго кружка“, къ которому принадлежали Тургеневъ, В. Боткинъ, Григоровичъ и др. Къ этому же „старому кружку“, нѣкогда группировавшемуся вокругъ Бѣлинскаго, принадлежалъ и Некрасовъ, но онъ рѣшительно и смѣло сталъ на сторону новыхъ дѣятелей и предоставилъ руководящую роль въ своемъ журналѣ Чернышевскому и Добролюбову. Это и было главною причиною его разрыва съ старыми друзьями.— „Новое литературное поколѣніе, — говоритъ Пыпинъ, — съ своей стороны платило Некрасову своими симпатіями... потому что въ его поэзіи находило сродные ему мотивы общественнаго чувства... Такимъ образомъ, здѣсь естественнымъ образомъ возникало взаимное пониманіе, — когда у старыхъ друзей „Современника“ относительно новаго поколѣнія была только нетерпимость, нѣсколько высокомѣрная, потомъ крайне враждебная“ („Н. А. Некрасовъ“, С.-Петерб., 1905, стр. 29 — 30).— Изъ данныхъ, сообщаемыхъ Пыпинымъ, и изъ самыхъ писемъ Некрасова (къ Тургеневу) видно, что поэтъ прилагалъ всѣ старанія къ тому, чтобы дѣло не дошло до разрыва со старыми друзьями; но всѣ усилія его остались тщетными, — разорвать же, въ угоду имъ, съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ онъ не могъ; онъ понималъ, что правда на ихъ сторонѣ и что направленіе, ими представляемое, призвано сыграть въ литературѣ и общественной жизни крупную и въ высокой степени плодотворную роль. Не раздѣляя всѣхъ мнѣній и, можетъ быть, не одобряя нѣкоторыхъ полемическихъ пріемовъ своихъ молодыхъ сотрудни-

ковъ, онъ однако предоставлялъ имъ полную свободу дѣйствія. Нельзя не отдать должнаго — въ этомъ отношеніи — необыкновенному уму и рѣдкому такту Некрасова. Въ одномъ письмѣ онъ говоритъ (Тургеневу): „...поставь себя на мое мѣсто, ты увидишь, что съ такими людьми, какъ Черн. (ышевскій) и Добр. (олюбовъ) (людьми честными и самостоятельными, что бы ты ни думалъ и какъ бы сами они иногда ни промахивались), — самъ бы ты такъ же дѣйствовалъ, т.-е. давалъ бы имъ свободу высказываться на ихъ собственный страхъ...“ (А. Н. Пыпинъ, „Н. А. Некрасовъ“, стр. 198).

Пыпинъ (свидѣтель безпристрастный и въ данномъ случаѣ особливо авторитетный) опредѣленно утверждаетъ, что Некрасовъ прежде всего цѣнилъ общественное направленіе Чернышевскаго и Добролюбова, видя въ немъ прямое и послѣдовательное продолженіе идей Бѣлинскаго, какъ сложились онѣ въ послѣдніе годы жизни великаго критика, — между тѣмъ какъ „друзья стараго кружка... этого не понимали“ (Пыпинъ, стр. 37). Тутъ же Пыпинъ указываетъ на то, что этимъ „старымъ друзьямъ“ „новая критика была непріятна“, политика „неинтересна“, а экономическіе вопросы, поднятые въ виду освобожденія крестьянъ, просто невразумительны“. — „Но то, что было чуждо или нелюбопытно старымъ друзьямъ, — продолжаетъ Пыпинъ, — было Некрасову вполнѣ понятно...“ [1]) (стр. 37). „Некрасовъ сумѣлъ понять идеалистическое настроеніе, представителями котораго были два новые сотрудника журнала... Онъ видѣлъ, что въ общественномъ настроеніи начинается переломъ... и что литература, чтобы сохранить свой давній историческій смыслъ,

1) Само собой разумѣется, что, напр., на Тургенева и Анненкова эта характеристика „старыхъ друзей“ не распространяется. Тургеневу Чернышевскій казался сухимъ, черствымъ, лишеннымъ художественнаго чутья, но онъ признавалъ его литературную работу (именно по общественнымъ и экономическимъ вопросамъ) дѣльною и плодотворною.

должна удовлетворить нравственнымъ требованіямъ общества“ (тамъ же, стр. 37 — 38).

Важно отмѣтить здѣсь то, что Некрасовъ не только понялъ смыслъ и значеніе новаго литературнаго направленія и, на этомъ основаніи, предоставилъ его вождямъ первенствующую роль въ журналѣ, но и самъ принималъ участіе въ ихъ работѣ. Пыпинъ свидѣтельствуетъ, что Некрасовъ вмѣстѣ съ Чернышевскимъ велъ (хотя и не долго) отдѣлъ „Замѣтокъ о журналахъ“ („есть страницы, начатыя однимъ и продолженныя другимъ“). Извѣстно также участіе поэта въ „Свисткѣ“ Добролюбова.— Сотрудничество и общеніе съ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ не могло не оказать извѣстнаго вліянія на образъ мыслей Некрасова, не могло такъ или иначе не отразиться на характерѣ и направленіи его поэзіи. Но размѣры этого вліянія переувеличивались біографами поэта. Противъ такихъ преувеличеній возстаетъ Чернышевскій въ „замѣткахъ“, приведенныхъ въ книгѣ Пыпина (стр. 243 — 258); онъ утверждаетъ, что Некрасову нечего было заимствовать у „новыхъ людей“: у этихъ послѣднихъ (т.-е. у самого автора „замѣтокъ“, у Добролюбова, у Елисеева и др.) „по нѣкоторымъ отдѣламъ знанія было больше свѣдѣній; по многимъ вопросамъ были мысли болѣе опредѣленныя, чѣмъ у него; но это были свѣдѣнія и мысли болѣе спеціальныя, чѣмъ какія нужны для поэта, а то, что нужно было ему знать какъ поэту, онъ зналъ отчасти хуже, отчасти не хуже новыхъ людей...“ (стр. 251).— И основной характеръ его поэзіи опредѣлился, по мнѣнію Чернышевскаго, независимо отъ направленія этихъ людей и вообще отъ вѣяній времени. Какъ поэтъ-народникъ, какъ печальникъ народнаго горя, Некрасовъ былъ вполнѣ самостоятеленъ и оригиналенъ.— Наконецъ, указывается и на то, что понятія Некрасова сложились еще въ 40-хъ годахъ, и его общественные взгляды установились раньше его знакомства съ новыми людьми (стр. 249).— Все это такъ, но тѣмъ не

менѣе извѣстное вліяніе на поэта общаго движенія умовъ въ 60-е годы и, въ частности, идей Чернышевскаго и Добролюбова не подлежитъ сомнѣнію. Нужно только точнѣе опредѣлить, въ чемъ и какъ оно выразилось.

Некрасовъ стоялъ въ самомъ центрѣ передового движенія 60-хъ годовъ. Въ его лицѣ человѣкъ 40-хъ годовъ сталъ истымъ человѣкомъ 60-хъ. Онъ дѣйствовалъ въ духѣ времени и какъ поэтъ-лирикъ, и какъ сатирикъ, и какъ журналистъ. Совершенно немыслимо, чтобы широкое освободительное движеніе эпохи и его передовыя направленія не отразились на общемъ міросозерцаніи Некрасова и на его поэтическомъ творчествѣ.

Въ предыдущей главѣ я отмѣтилъ въ поэзіи Некрасова 50-хъ годовъ ту сторону, которая отзывалась „смиреніемъ" и „умиленіемъ" сантиментальнаго народничества. Вотъ именно эта сторона плохо ладила съ передовымъ движеніемъ умовъ въ 60-е годы, въ особенности съ направленіемъ, представителями котораго были Чернышевскій и Добролюбовъ, а еще болѣе, конечно, съ тѣмъ, крайнимъ выразителемъ котораго былъ Писаревъ. Не „смиреніе" передъ мужикомъ, а защита интересовъ народа — таковъ былъ лозунгъ эпохи. Не „умиленіе", а протестъ противъ эксплоатаціи и безправія одушевлялъ истинныхъ друзей народа. Ихъ программа сводилась къ двумъ — важнѣйшимъ — пунктамъ: 1) упроченіе экономическаго благосостоянія земледѣльческаго класса и 2) просвѣщеніе народа.

Съ конца 50-хъ годовъ поэзія Некрасова проникается этими идеями и даетъ имъ своеобразное выраженіе въ лирикѣ и въ сатирѣ. Однимъ изъ самыхъ яркихъ произведеній въ этомъ родѣ была знаменитая „Пѣсня Еремушкѣ", которая привела въ восторгъ Добролюбова. Въ 1859 году (20 сент.) критикъ въ письмѣ къ своему пріятелю Н. П. Бордюгову говоритъ: „выучи наизусть и вели всѣмъ, кого знаешь, выучить пѣсню Еремушкѣ Некрасова, напечатанную

въ сентябрьскомъ „Современникѣ"... Помни и люби эти стихи: они дидактичны, если хочешь, но идутъ прямо къ молодому сердцу, не совсѣмъ еще погрязшему въ тинѣ пошлости. Боже мой, сколько великолѣпныхъ вещей могъ бы написать Некрасовъ, если бы его не давила цензура!" („Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова", М., 1890, т. I, стр. 534). — Здѣсь же Добролюбовъ исправилъ „опечатки": въ куплетѣ 14-мъ слово „истиной" надо замѣнить словомъ „равенствомъ", а въ куплетѣ 17-мъ вмѣсто „лютой подлости" нужно читать „угнетателямъ". Сдѣлавъ эти поправки, прочтемъ сильнѣйшія мѣста „Пѣсни":

...Жизни вольнымъ впечатлѣньямъ
Душу вольную отдай,
Человѣческимъ стремленьямъ
Въ ней проснуться не мѣшай.
Съ ними ты рожденъ природою —
Возлелѣй ихъ, сохрани!
Братствомъ, Равенствомъ, Свободою
Называются они.
Возлюби ихъ! На служеніе
Имъ отдайся до конца!
Нѣтъ прекраснѣй назначенія,
Лучезарнѣй нѣтъ вѣнца.

———

Будешь рѣдкое явленіе,
Чудо родины своей;
Не холопское терпѣніе
Принесешь ты въ жертву ей:
Необузданную, дикую
Къ угнетателямъ вражду
И довѣренность великую
Къ безкорыстному труду.
Съ этой ненавистью правою,
Съ этой вѣрою святой,
Надъ неправдою лукавою
Грянешь божьею грозой...

Безъ сомнѣнія, основы этихъ идей и идеаловъ Некрасовъ вынесъ изъ 40-хъ годовъ, — его учителемъ былъ Бѣлинскій, память о которомъ онъ свято чтилъ [1]. Но подобно тому какъ направленіе, завѣщанное великимъ критикомъ, впервые получило точное и ясное выраженіе въ трудахъ Чернышевскаго и Добролюбова, такъ и міросозерцаніе и настроеніе Накрасова — завѣтъ того же Бѣлинскаго — опредѣлились и получили ясное и поэтическое выраженіе благодаря нравственному и умственному вліянію Чернышевскаго и Добролюбова. Вліяніе ихъ чувствуется между прочимъ въ томъ, какъ изображалъ Некрасовъ либераловъ-идеалистовъ 40-хъ годовъ, напр., въ „Медвѣжьей охотѣ":

Діалектикъ обаятельный,
Честенъ мыслью, сердцемъ чистъ!
Созерцающій, читающій,
Съ неотступною хандрой
По Европѣ разъѣзжающій,
Здѣсь и тамъ — всему чужой... и т. д.

Вся характеристика вышла гораздо мягче, чѣмъ какою вышла бы она, напр., у Добролюбова. Но въ ней чувствуется, что поэтъ какъ бы считается съ мнѣніемъ этого послѣдняго, и въ дальнѣйшемъ возражаетъ ему, говоря:

теперь клеймитъ ихъ [2]) иногда
Предателями племя молодое;

---

[1]) Ему, какъ извѣстно, поэтъ посвятилъ прекрасные и трогательные стихи „Наивная и страстная душа...". Вспомнимъ еще строфы, посвященныя великому критику въ „Медвѣжьей охотѣ":

Молясь твоей многострадальной тѣни,
Учитель! передъ именемъ твоимъ
Позволь смиренно преклонить колѣни... и т. д.

Головачева-Панаева передаетъ задушевныя воспоминанія Некрасова о Бѣлинскомъ въ разговорахъ поэта съ Добролюбовымъ („Русскіе писатели и артисты", стр. 339).

[2]) Либераловъ, переживших свое время и успокоившихся на старости лѣтъ.

„Молодому племени“ Некрасовъ возражаетъ здѣсь — какъ другъ, какъ старшій собратъ, защищающій своихъ сверстниковъ и въ то же время вполнѣ понимающій точку зрѣнія, на которой стояли представители молодого поколѣнія. Не такъ отвѣтилъ Герценъ на критику Добролюбова, направленную противъ „либераловъ-идеалистовъ“ Рудинскаго типа, — и здѣсь-то и разыгрался одинъ изъ наиболѣе яркихъ эпизодовъ розни двухъ поколѣній [1]).

Некрасовъ этой розни избѣжалъ, чему всего болѣе способствовали извѣстныя стороны его ума, дарованія и характера, а также и обстоятельства его личной жизни. По единогласному свидѣтельству всѣхъ, знавшихъ его, Некрасовъ былъ необыкновенно уменъ. Но это былъ умъ дѣловой, практическій, — умъ общественнаго и политическаго дѣятеля. Реализмъ и трезвость мысли — вотъ тѣ черты, благодаря которымъ Некрасовъ такъ хорошо понималъ ходъ вещей, духъ времени и умѣлъ такъ легко и скоро разбираться среди суголоки текущей жизни и борющихся направленій. Отъ своихъ сверстниковъ, которымъ (какъ, наприм.,

Но я ему сказалъ бы: не забудь,
Кто выдержалъ то время роковое,
Есть отъ чего тому и отдохнуть.
Богъ на-помочь! бросайся прямо въ пламя
И погибай!
Но, кто твое держалъ когда-то знамя,
Тѣхъ не пятнай!..

Герцену, Тургеневу и друг.) онъ уступалъ въ глубинѣ мысли и въ культурѣ ума, онъ выгодно отличался тѣмъ, что не былъ „бѣлоручкою“, дилетантомъ, „созерцателемъ“: онъ

---

[1]) Этотъ эпизодъ изложенъ и освѣщенъ г. Богучарскимъ въ статьѣ „Столкновеніе двухъ теченій общественной мысли“ (памяти Н. А. Добролюбова). См. книгу „Изъ прошлаго русскаго общества“, стр. 228 и слѣдующ.

былъ работникъ, боецъ, практическій дѣятель. Говорю: „выгодно“, потому что именно такой человѣкъ и былъ нуженъ въ данное время. Мало того: онъ былъ полезенъ даже нѣкоторыми отрицательными сторонами своего характера. Это разъясненіе въ блестящей характеристикѣ его, сдѣланной Михайловскимъ („Литер. восп. и соврем. смута“, т. I, стр. 59 и сл.). Изъ этой характеристики отмѣтимъ слѣдующее. „Для меня, — писалъ Михайловскій, — нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что на любомъ поприщѣ, которое онъ избралъ бы для себя, онъ былъ бы однимъ изъ первыхъ людей, уже въ силу своего ума. Онъ былъ бы, если бы захотѣлъ, блестящимъ генераломъ, выдающимся ученымъ, богатѣйшимъ купцомъ. Это мое личное мнѣніе, которое, я думаю, однако не удивитъ никого изъ знавшихъ Некрасова...“ (стр. 66.) Это опредѣляетъ, я думаю, и самый характеръ или типъ ума Некрасова: въ его умѣ не было той односторонности, которою опредѣляется исключительное призваніе человѣка къ извѣстной творческой дѣятельности. Человѣкъ необыкновенно умный и богато одаренный, Некрасовъ ни на какомъ поприщѣ не могъ быть творцомъ: онъ не былъ геній. Обладая выдающимся поэтическимъ даромъ, преимущественно какъ лирикъ и сатирикъ, онъ создалъ произведенія замѣчательныя, имѣвшія огромное общественное значеніе, но въ нихъ, какъ самъ онъ сознавалъ, не было „творящаго искусства“. Обладая несомнѣннымъ художественнымъ чутьемъ и критическимъ смысломъ (въ искусствѣ и вопросахъ литературныхъ онъ, какъ критикъ, высказывалъ сужденія вѣрныя и мѣткія, но ничего значительнаго и оригинальнаго въ этой области не произвелъ [1]). Какъ редакторъ-издатель, онъ обнаружилъ боль-

[1]) Его критическія статьи, относящіяся преимущественно къ 50-мъ годамъ, разсмотрѣны Пыпинымъ въ книгѣ „Н. А. Некрасовъ“ (въ главѣ „Обзоръ литературной дѣятельности“). Одна изъ критическихъ заслугъ Некрасова — оцѣнка Тютчева.

шой здравый смыслъ, тактъ и рѣдкое чутье дѣйствительности, но творческой мысли мы и здѣсь не видимъ. Его заслуга сводилась тутъ главнымъ образомъ къ тому, что онъ умѣлъ воздерживаться отъ излишняго вмѣшательства и предоставлялъ другимъ свободу „высказываться“ и вести журналъ. Творческая мысль въ этомъ дѣлѣ принадлежала не ему, а Чернышевскому, Добролюбову, Елисееву, Салтыкову, Михайловскому.

Вотъ именно этими чертами и объясняется исключительная роль Некрасова въ журналистикѣ 50-хъ и 60-хъ годовъ. Но ими нельзя объяснить того огромнаго вліянія, которое принадлежало ему, какъ „поэту-гражданину“, какъ пѣвцу народнаго горя и проповѣднику извѣстныхъ идей. Здѣсь на первый планъ выдвигается другая сторона его натуры — моральная.

Что Некрасовъ былъ, по своему психическому укладу, натура моральная, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія послѣ всего, что мы знаемъ о немъ, въ особенности послѣ блестящаго и глубокаго діагноза, поставленнаго Михайловскимъ. Изъ этого діагноза мы ясно видимъ, что Некрасовъ принадлежалъ къ типу тѣхъ „кающихся грѣшниковъ“, которые „творятъ мораль“. И если какое-либо „творчество было ему присуще, то только въ области морали.

Не слѣдуетъ преувеличивать „грѣховъ“ Некрасова, какъ это дѣлала въ теченіе многихъ лѣтъ клевета и сплетня. Чернышевскій отзывается о немъ такъ: „онъ былъ хорошій человѣкъ съ нѣкоторыми слабостями, очень обыкновенными...“ (Пыпинъ, стр. 244.) Михайловскій изображаетъ эти „слабости“ въ иномъ, болѣе яркомъ свѣтѣ; онъ говоритъ о страстяхъ, о проявленіяхъ жестокости, о паденіяхъ, о компромиссахъ, о „грязи“, „прилипавшей“ къ душѣ Некрасова, о покаяніяхъ и нравственныхъ мукахъ. Будь Некрасовъ человѣкъ въ моральномъ отношеніи обыкновенный, онъ не испытывалъ бы тѣхъ ужасныхъ терзаній совѣсти, о которыхъ

свидѣтельствуетъ Михайловскій. Мало того, въ его поэтическомъ наслѣдіи недоставало бы тогда какъ разъ самаго главнаго — его „покаянной поэзіи“, т.-е. его лучшихъ созданій („Рыцарь на часъ“ и друг.), которыя навсегда останутся въ нашей литературѣ. Но и это еще не все: не будь Некрасовъ натурою моральною и человѣкомъ великихъ мученій совѣсти и великаго покаянія, — онъ не былъ бы поэтомъ народничества, народнаго горя, и онъ, этотъ „моральный грѣшникъ“, не посвятилъ бы своихъ силъ и дарованій служенію высокимъ идеаламъ, которымъ беззавѣтно отдали жизнь свою Бѣлинскій, Чернышевскій, Добролюбовъ, эти праведники, творившіе мораль, донынѣ насъ животворящую.



Книгоиздательство В. М. САБЛИНА.

МОСКВА,

Петровка, д. Обидиной (ходъ съ Крапивенскаго пер.).

Телефонъ 131-34.

I ОТДѢЛЪ.

Политическая библіотека.

В. Вильсонъ. Государство. Прошлое и настоящее конституціонныхъ учрежденій. М. 1906 г. Цѣна 3 р. 75 к.

Предисловіе проф. М. Ковалевскаго. Переводъ подъ редакціей А. С. Ященко, съ приложеніемъ текста конституціонныхъ актовъ.

Ольстонъ. Краткій очеркъ современныхъ конституцій, съ приложеніемъ очерка конституціи Англіи. М. 1905 г. Ц. 15 к.

Георгъ Мейеръ. Избирательное право, въ 2-хъ част. Историческая и общая части. Съ предисловіемъ Георга Іеллинека. М. 1905 г. Цѣна 3 руб.

Собраніе конституцій. 19 конституціонныхъ актовъ. М. 1906 г. Цѣна 1 р. 25 к.

Собраніе конституцій. Выпускъ I. Конституціи: Франціи, Германіи, Пруссіи, Швейцаріи. Декларація правъ. М. 1905 г. Цѣна 30 к.

Собраніе конституцій. Выпускъ II. Конституціи: Австро-Венгерской имперіи, Австріи, Венгріи и Соединенныхъ Штатовъ. М. 1905 г. Цѣна 30 коп.

Собраніе конституцій. Выпускъ III. Конституціи: Швеціи, Норвегіи. Актъ Уніи. М. 1905 г. Цѣна 30 к.

Собраніе конституцій. Выпускъ IV. Конституціи: Болгаріи, Греціи, Румыніи и Сербіи. М. 1905 г. Цѣна 30 к.

Собраніе конституцій. Выпускъ V. Конституціи: Австраліи, Японіи и Бельгіи. М. 1906 г. Цѣна 30 к.

Г. Брандесъ. Великій человѣкъ. (Начало и цѣль цивилизаціи). Лекція, читанная въ Высшей Русской школѣ въ Парижѣ. Переводъ Н. Эфроса. М. 1905 г. Цѣна 40 к.

Тардъ. Отрывки изъ исторіи будущаго. Переводъ Н. Н. Полянскаго. М. 1906 г. Ц. 40 к.

Г. Іеллинекъ. Право меньшинства. Докладъ, читанный въ юридическомъ Обществѣ, въ Вѣнѣ. М. 1906 г. Изданіе 2-е. Цѣна 20 к.

А. А. Титовъ. Изъ воспоминаній о студенческомъ движеніи. Москва въ 1901 г. М. 1906 г. Цѣна 30 к.

Декабристы и тайныя общества въ Россіи въ началѣ XIX вѣка. Слѣдствіе. Судъ. Приговоръ. Амнистія. Официальные документы. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

М. Ковалевскій. Ученіе о личныхъ правахъ. М. 1906 г. Изданіе 2-е. Цѣна 40 к.

Н. Полянскій. Свобода стачекъ. Исторія завоеванія коалиціонной свободы во Франціи. М. 1906 г. Цѣна 40 к.

Мильо. Тактика соціализма въ рѣшеніяхъ международныхъ конгрессовъ. М. 1906 г. Цѣна 75 к.

Рѣчь Робеспьера о свободѣ печати, произнесенная въ якобинскомъ клубѣ 11 мая 1807 г. и повторенная въ Національномъ Собраніи 2 августа того же года. М. 1906 г. Цѣна 10 к.

А. И. Герценъ. Къ развитію революціонныхъ идей въ Россіи. М. 1906 г. Цѣна 50 к.

Бебель. Женщина и соціализмъ. Полный переводъ съ послѣдняго нѣмецкаго изданія. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Процессъ 193-хъ. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Процессъ 50-ти. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Симагинъ. Отвѣтственность министровъ. М. 1906 г. Цѣна 10 коп.

Хроника соціалистическаго движенія. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

,Тунъ. Исторія революціонныхъ движеній въ Россіи. М. 1906 г. Цѣна 35 к.

Ольшевскій. Бюрократія. М. 1906 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Науманъ. Демократія и императорская власть. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

К. Диль. Соціализмъ, коммунизмъ и анархизмъ. Полный переводъ съ нѣм. изд. М. 1907 г. Цѣна 75 к.

Рѣчи и біографіи участниковъ процесса 193-хъ и 50-ти. М. 1907 г. Цѣна 1 руб.

Дамашке. Земельная реформа. М. 1907 г. Цѣна 75 к.

П. Луи. Рабочій и государство. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 75 к.

Орландо. Принципы конституціоннаго права. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

И. И. Поповъ. Дума народныхъ надеждъ. М. 1907 г. Ц. 85 к.

Петрашевцы. Процессы Николаевской эпохи. М. 1907 г. Ц. 1 р.

Декабристы. Процессы Колесникова и др. М. 1907. Ц. 1 р.

М. Штирнеръ. Единственный и его достояніе. М. 1907 г. Цѣна 75 к.

А. А. Лопухинъ (бывш. директоръ департамента полиціи). Изъ итоговъ служебнаго опыта. 2-е изд. М. 1908 г. Цѣна 50 к.

Проф. Оршанскій. Первый шагъ. (Мысли о еврейскомъ вопросѣ). М. 1907 г. Цѣна 25 коп.

М. Мальтусъ. Опытъ закона о народонаселеніи. Сокращ. перев. П. А. Венгерова. Изд. М. М. Прокоповича. М. 1908 г. Цѣна 80 коп.

II отдѣлъ.

Научная библіотека.

Бельше. Происхожденіе человѣка. Пер. подъ ред. Синицкаго. М. 1908 г. Цѣна 50 к.

Д-ръ Котикъ. Эманація психо-физической энергіи. М. 1907 г. Цѣна 60 к. (Распродано).

А. Риги. Современная теорія физическихъ явленій (радіоактивность, іоны, электроны). М. 1906 г. Цѣна 80 к.

Э. Жаваль. Среди слѣпыхъ. Практическіе совѣты для лицъ, потерявшихъ зрѣніе. Переводъ Г. Г. Оршанскаго. М. 1905 г. Цѣна 60 к.

В. Оствальдъ. Школа химіи. Первая часть, переводъ Евг. Раковскаго. М. 1904 г. Цѣна 1 р.

В. Оствальдъ. Школа химіи. Вторая часть. М. 1905 г. Ц. 1 р.

Сельско-хозяйственный анализъ. Составили: проф. Сельско-Хозяйственнаго Института Демьяновъ, ассистенты Виноградовъ и Егоровъ. Часть 1-я. Почва. М. 1907 г. Цѣна 2 руб.

Сельско-хозяйственный анализъ. Составили: проф. Демьяновъ, ассистенты Виноградовъ и Егоровъ. Часть 2-я. Удобреніе и кормовыя вещества. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 75 коп.

Штарке. Опытное ученіе объ электричествѣ. М. 1907 г. Ц. 2 руб.

Э. Ферри. Уголовная соціологія. Редакція проф. Познышева. Ц. 3 р.

Проф. П. И. Новгородцевъ. Философія права. Конспектъ лекцій. М. 1908 г. Цѣна 1 р. 25 к.

Iost. Физіологія растеній. (Печатается).

Ежегодникъ Императорской Екатер. больницы. Выпускъ I. М. 1907 г. Изданіе врачей Импер. Екатер. больницы. Цѣна 1 р. 60 к.

III отдѣлъ.

Библіотека художественной литературы.

П. Д. Боборыкинъ. Европейскій романъ въ XIX столѣтіи. „Романъ на Западѣ за двѣ трети вѣка". С.-Пб. 1900. Ц. 3 р.

П. Д. Боборыкинъ. Великая разруха—романъ. М. 1908 г. Ц. 1 р. 25 к.

Танъ. Собраніе сочиненій, т. I. Чукотскіе разсказы. М. 1909. Ц. 1 р.

Князь С. Д. Урусовъ. Записки губернатора. М. 1907 г. 1 р. 50 к.

Н. А. Морозовъ. Въ началѣ жизни. (Какъ изъ меня вышелъ революціонеръ вмѣсто ученаго). М. 1908 г. Цѣна 80 коп.

Н. А. Морозовъ. Откровеніе въ грозѣ и бурѣ. 2-е изданіе, значительно дополненное. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

А. Н. Радищевъ. Полное собраніе сочиненій, т. 1-й. М. 1907 г. Цѣна 2 р.

А. Н. Радищевъ. Полное собраніе сочиненій, т. 2-й. М. 1907 г. Цѣна 2 р. 50 к.

П. С. Коганъ. Очерки по исторіи западной литературы, т. III. Современники. (Печатается).

Проф. Д. Овсянико-Куликовскій. Исторія русской интеллигенціи (Итоги художественной литературы въ XIX вѣкѣ.) Часть первая. 2-е изданіе. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Проф. Д. Овсянико-Куликовскій. Исторія русской интеллигенціи. Часть вторая. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Проф. Люблинскій. Итоги современнаго искусства и литературы. М. 1906 г. Цѣна 1 р. 50 к.

В. Стражевъ. Путь голубиный. М. 1908. Ц. 50 коп.

Корона. Сборникъ. М. 1908 г. Ц. 1 р.

Содержаніе: Ник. Русовъ. Мистикъ. — Андрей Бѣлый. Усталость. — Ник. Поярковъ. Красный цвѣтокъ. — Александръ Блокъ. Подруга свѣтлая и др.

Ф. Ведекиндъ. Собраніе сочиненій. Т. I. Лулу. Духъ земли. Ящикъ Пандоры. Пляска мертвыхъ. Изданіе к-ва „Панъ". М. 1907. Ц. 1 руб.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, томъ I. 3-е изд. съ портретомъ автора и критической статьей Г. Брандеса. М. 1908 г. Ц. 1 р.

Содержаніе: Сказка, драма. — Смерть, новелла. — Мгновенія жизни, драма.—Литература, комедія.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, томъ II. 2-е изд. М. 1906 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Завѣщаніе, драма.—Поручикъ Густель, новелла.—Анатоль, діалоги. — Роковой вопросъ. Рождественскій подарокъ. Эпизодъ. Сувениръ. Прощальный ужинъ. Агонія. Утро Анатоля передъ свадьбой. Жена философа. Послѣднее свиданіе. Бенефисъ. Цвѣты. Мертвые молчатъ.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, т. III. 2-е изданіе. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Трилогія: Парацельсъ. Подруга. Зеленый попугай.—Покрывало Беатриче.—Одинокой тропой.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, т. IV. 2-е изданіе. М. 1907 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Берта Гарданъ. Храбрый Касьянъ. Канунъ Новаго года. Общая добыча.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, т. V. 2-е изд. М. 1909 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Забава, драма.—Интермеццо, драма.—Разсказы.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій, т. VI. М. 1908 г. Цѣна 1 руб.

Содержаніе: Хороводъ. Новеллы. Крикъ жизни. Маріонетки.

Артуръ Шницлеръ. Полное собраніе сочиненій. т. VII. М. 1908 г. Цѣна 1 руб.

Содержаніе: Дорога къ волѣ. (Романъ).

Артуръ Шницлеръ. Забава, драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ, переводъ В. М. Саблина. М. 1899 г. Цѣна 50 к.

Артуръ Шницлеръ. Общая добыча (Пощечина), драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ, переводъ Н. Е. Эфроса. М. 1904 г. Цѣна 50 к.

Морисъ Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, т. I. Драмы, съ портретомъ и предисловіемъ автора. 2-е изданіе. М. 1908 г. Ц. 1 р.

Содержаніе: Принцесса Маленъ. Вторженіе смерти. Аглавена и Селизета. Слѣпые. Аріана и Синяя Борода. Intérieur.

Морисъ Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, томъ II. 2-е изданіе. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Драмы: Пеллеасъ и Мелизанда. Смерть Тентажиля. Алладина и Паломидъ. Семь принцессъ. Сестра Беатриса. Монна Ванна. Жуазель.

Морисъ Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, томъ III. 2-е изд. М. 1908 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Сокровище смиренныхъ. Мудрость и Судьба.

Морисъ Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, томъ IV. 2-е изд. М. 1908 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Сокровенный храмъ. Правосудіе. Эволюція тайны. Царство матеріи. Прошлое. Счастье. Будущее. Жизнь пчелъ.

Морисъ Метерлинкъ. Полное собраніе сочиненій, т. V. М. 1908 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Разумъ цвѣтовъ. Двойной садъ.

Морисъ Метерлинкъ. Слѣпые, драма. Переводъ В. М. Саблина. Рисунки и заставки В. Я. Суреньянцъ. М. 1905 г. Цѣна 75 к.

Морисъ Метерлинкъ. Вторженіе, драма. Переводъ В. М. Саблина. М. 1905 г. Рисунки и заставки В. Я. Суреньянцъ. Цѣна 75 к.

Морисъ Метерлинкъ. Внутри, драма. Переводъ В. М. Саблина. М. 1905 г. Рисунки и заставки В. Я. Суреньянцъ. Цѣна 50 к.

Морисъ Метерлинкъ. Двѣнадцать пѣсенъ. Переводъ Георгія Чулкова. Обложка, рисунки, заставки работы Дудлэ. Нумерованные экземпляры 5 р., ненумерованные—3 р.

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, томъ I. Съ предисловіемъ автора и его портретомъ. 2-е изд. М. 1908 г. Цѣна 1 р. 75 к.

Содержаніе: Поэмы (Аметисты. Въ долинѣ слезъ. Въ часъ чуда. Городъ смерти. Introibo. Рапсодія 1. Epipsychidion. Рапсодія 2. Свѣтлыя ночи. Рапсодія 3. У моря). Cupio Dissolvi.

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, томъ II. 2-е изд. Съ предисловіемъ автора. М. 1908 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Сыны земли (Малярія. Сумерки. Ultima Thule).

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. III. 2-е изд. Съ портретомъ автора. М. 1908 г. Цѣна 2 р.

Содержаніе: Homo Sapiens.

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. IV. Съ критической статьей автора „О драмѣ и сценѣ“. 2-е изд. М. 1909 г. Цѣна 2 р.

Содержаніе: Драмы (Пляска любви и смерти. Золотое руно. Счастье. Мать. Гости. Снѣгъ).

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. V. Съ портретомъ автора. М. 1905 г. Цѣна 1 р. 75 к.

Содержаніе: Критика (Къ психологіи индивидуума: Шопенъ и Ницше. Ола Гансонъ. Путями души. Вступленіе. Афоризмы и Прелюдіи. Эдвардъ Мунхъ. Густавъ Вигеландъ. Шопенъ. Пламенный. Памяти Юлія Словацкаго. Съ Куявскихъ полей).

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. VI. 2-е изд. М. 1909 г. Цѣна 2 р.

Содержаніе: Дѣти сатаны. De profundis.

Ст. Пшибышевскій. Полное собраніе сочиненій, т. VII. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Заупокойная месса. Стихотворенія въ прозѣ. Вѣчная сказка.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ I. Повѣсти и разсказы. 2-е изд. М. 1908 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Рабы любви. Сынъ солнца. Закхей. По ту сторону океана. Отъявленный плутъ. Отецъ и сынъ. Царица Савская. Дама изъ Тиволи. Тайное горе. Кольцо. На улицѣ. Енъ Тру. Почтовая лошадь. Рождественская пирушка. Сочельникъ въ горной хижинѣ. Шкиперъ Рейерсенъ. На отмели близъ Нью-Фаундленда. Парижскіе этюды.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ II. 2-е изд. М. 1908 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Редакторъ Линге, романъ.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ III. Повѣсти и разсказы. 2-е изд. М. 1907 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Голосъ жизни. Маленькія приключенія: (Страхъ смерти. Уличная революція. Въ преріи. Привидѣніе. Гастроль. Завоеватель. Викторія).

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ IV. 2-е изд. Повѣсти и разсказы. М. 1908 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Голодъ. У царскихъ вратъ, драма въ 4-хъ д.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ V. 2-е изд. Повѣсти и разсказы. М. 1908 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Панъ, романъ. Вечерняя заря, драма въ 4-хъ д.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ VI. М. 1907 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Въ сказочной странѣ, романъ.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, т. VII. 2-е изд. М. 1909 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе. Новь, романъ.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій. Томъ VIII. М. 1907 г. Цѣна 1 руб.

Содержаніе: Фантазеръ. Въ странѣ полумѣсяца.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій. Томъ IX. 2-е изд. М. 1909 г. Цѣна 1 руб.

Содержаніе: Загадки и тайны. (Мистеріи).

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, т. X. М. 1908 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Драма жизни. Царица Тамара.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ XI. М. 1908 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Борьба страстей. Подъ осенней звѣздой.

Кнутъ Гамсунъ. Полное собраніе сочиненій, томъ XII. М. 1908 г. Цѣна 1 руб.

Содержаніе: Бродячая жизнь. Духовная жизнь Америки.

Оскаръ Уайльдъ. Полное собраніе сочиненій, томъ I. 2-е изд. М. 1908 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Сказки и разсказы.

Оскаръ Уайльдъ. Полное собраніе сочиненій, томъ II. 3-е исправленное изданіе подъ редакціей М. Ликіардопуло. М. 1909 г. Цѣна 1 р. 50 к

Содержаніе: Портретъ Доріана Грея. Романъ.

Оскаръ Уайльдъ. Полное собраніе сочиненій, томъ III. 2-е изд. М. 1908 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Сказки. Стихотворенія въ прозѣ. Саломея. De profundis (Тюрьма).

Оскаръ Уайльдъ. Полное собраніе сочиненій, т. IV. М. 2-е изд. 1908 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: О соціализмѣ. Герцогиня Падуанская. Вѣеръ лэди Уайндермеръ.

Оскаръ Уайльдъ. Полное собраніе сочиненій, т. V. М. 1909 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Исканія.

Оскаръ Уайльдъ. Полное собраніе сочиненій, томъ VI. М. 1908 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Идеальный мужъ. Женщина безъ всякаго значенія.

Оскаръ Уайльдъ. Полное собраніе сочиненій, т. VII. Переводъ подъ редакціей М. Ликіардопуло. М. 1909. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Преступленіе Лорда. Артура Севиля. Двѣ сказки. Портретъ мистера W.

Казимиръ Тетмайеръ. Сочиненія, переводъ съ польскаго В. Тучапской. 2-е изданіе. М. 1907 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: **Отрывки.** Гимнъ Аполлону. Тріумфъ. Двойная смерть. Заколдованная княжна. Карьера попугая. Гробы. Дождь. Недоразумѣніе. Гордость. Изъ афоризмовъ. Ледяная вершина. Монархъ. Кукла. Изъ воспоминаній художника. Къ небу. **Стихотворенія въ прозѣ.** Воспоминаніе. Судъ. Тѣнь. Любовь. Роза. На Везувіѣ. Черный мотылекъ. Надъ потокомъ. Счастье. Журавли. Ель. Къ женщинѣ. Тяжелое будущее. Къ смерти. За стеклянной стѣной. Одна изъ сказокъ. **Бездна.**

Казимиръ Тетмайеръ. Сочиненія, т. III. М. 1908 г. Цѣна 1 р. 25 к.

Содержаніе: На горныхъ уступахъ.

Казимиръ Тетмайеръ. Сочиненія, томъ IV. М. 1908 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Ангелъ смерти.

Казимиръ Тетмайеръ. Сочиненія, т. V. М. 1908 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Содержаніе: Гибель (продолженіе „Ангела смерти").

Казимиръ Тетмайеръ. Сочиненія, т. VI. М. 1908 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Меланхолія.

О. Мирбо. Полное собраніе сочиненій, т. I. М. 1908 г. Цѣна 1 р.

Содержаніе: Дневникъ горничной.

О. Мирбо. Полное собраніе соч., т. II. М. 1908 г. 2-е изд. Цѣна 1 руб.
Содержаніе: Садъ пытокъ, романъ.

О. Мирбо. Полное собраніе сочиненій, т. III. М. 1908 г. Цѣна 1 р.
Содержаніе: Себастьянъ Рокъ.

О. Мирбо. Полное собраніе сочиненій, т. IV. М. 1908 г. Цѣна 1 р.
Содержаніе: Автомобиль 628-Е8.

О. Мирбо. Полное собраніе сочиненій, т. V. М. 1908 г. Цѣна 1 р.
Содержаніе: Голгоѳа.

О. Мирбо. Полное собраніе сочиненій, т. VI. М. 1908 г. Цѣна 1 р.
Содержаніе: Фарсы и аллегоріи.

Анатоль Франсъ. Полное собраніе соч. т. I. М. 1908 г. Ц. 1 р.
Содержаніе: Критическій очеркъ Г. Брандеса. Садъ Эпикура.

Анатоль Франсъ. Полное собраніе соч., т. II. М. 1907 г. Цѣна 1 р.
Содержаніе: Таисъ. Кліо.

Анатоль Франсъ. Полное собраніе соч., т. III. М. 1908 г. Ц. 1 р.
Содержаніе: Валтасаръ.

Анатоль Франсъ. Полное собраніе сочиненій, т. IV. М. 1908 г. Цѣна 1 руб.
Содержаніе: Харчевня „Королева Педокъ".

Анатоль Франсъ. Полное собраніе соч., т. V. М. 1907 г. Цѣна 1 р.
Содержаніе: Господинъ Бержере въ Парижѣ.

Анатоль Франсъ. Полное собраніе соч., т. VII. М. 1908 г. Цѣна 1 р.
Содержаніе: Красная лилія.

А. Стриндбергъ. Сочиненія, т. I. М. 1908 г. Цѣна 1 р.

А. Стриндбергъ. Сочиненія, т. II. М. 1908 г. Ц. 1 р.

А. Стриндбергъ. Кредиторы. М. 1905 г. Цѣна 50 к.

Германъ Зудерманъ. Да здравствуетъ жизнь! — Драма въ 5-ти дѣйствіяхъ. Переводъ, съ разрѣшенія автора, В. М. Саблина. 2-е изд. М. 1902 г. Цѣна 75 к.

Гергартъ Гауптманъ. Эльга, переводъ В. М. Саблина. Ц. 75 к.

Гергартъ Гауптманъ. Красный пѣтухъ. Переводъ В. М. Саблина. М. 1901 г. Цѣна 60 к.

Максъ Гальбе. Потокъ, драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ, литографированное изданіе для театровъ. Переводъ В. М. Саблина. М. 1904 г. Цѣна 50 к.

Э. Лабишъ и Делакуръ. Копилка, комедія - шутка въ 5-ти дѣйствіяхъ, переводъ В. М. Саблина. М. 1902 г. Цѣна 40 к.

Роде. Гауптманъ и Ницше. Критическій очеркъ. М. 1903 г. Ц. 40 к.

Поль Эрвье. Пессимизмъ и современный театръ. Критическій очеркъ. М. 1902 г. Цѣна 30 к.

Треплевъ. Фактъ и возможность. Этюдъ о М. Горькомъ, съ портретомъ М. Горькаго. М. 1904 г. Цѣна 30 к.

Треплевъ. Молодое сознаніе. Этюдъ о Вл. Г. Короленко, съ портретомъ В. Г. Короленко. М. 1904 г. Цѣна 40 к.

Треплевъ. Три этюда. М. 1904 г. Цѣна 50 к.
Содержаніе: Радость земли. Механизмъ. Бѣгство отъ земли.

Георгій Чулковъ. Кремнистый путь, стихотворенія и поэмы. М. 1904 г. Цѣна 1 р.

С. Выспянскій. Варшавянка, драма. Переводъ В. А. Высоцкаго. М. 1906 г. Цѣна 40 к.

Э. Кей. Вѣкъ ребенка. Первый полный переводъ Е. К.—М. 1906 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Э. Кей. Очерки. М. 1907 г. Цѣна 1 р.

Э. Кей. Любовь и бракъ. М. 1907 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Берентъ. Гнилушки, романъ. М. 1907 г. Цѣна 2 р.

Ригеръ-Налковская. Женщины, романъ. М. 1907 г. Цѣна 1 р.

Рербергъ. Лекціи объ искусствѣ. М. 1908 г. Цѣна 2 р.

Сизеранъ. Англійская живопись. Роскошное изд. М. 1908. Цѣна 2 р. 75 к.

У. Патеръ. Воображаемые портреты. М. 1908 г. Ц. 75 к.

Современная библіотека.

№ 1. **Ола Ганссонъ.** Sensitiva amorosa. М. 1908 г. Цѣна 50 к.
№ 2. **Ола Ганссонъ.** Видѣнія молодого Офега. Цѣна 50 к.
№ 3. **Ю. Аго.** Одинокій. М. 1908 г. Цѣна 50 к.
№ 4. **Арнэ Гарборгъ.** Горный воздухъ. М. 1908 г. Ц. 50 коп.
№ 5. **А. Гаукландъ.** Море. М. 1908 г. Цѣна 50 к.
№ 6. **А. Гаукландъ.** Дремучіе лѣса. М. 1908 г. Цѣна 50 к.
№ 7. **Г. Бангъ.** Бѣлый домъ. М. 1908 г. Цѣна 50 к.
№ 8. **Ж. Роденбахъ.** Искусство въ изгнаніи. М. 1908 г. Цѣна 50 к.
№ 9. **Сельма Лагерлефъ.** Ингридъ. М. 1908 г. Цѣна 50 к.
№ 10. **Г. Бангъ.** Странные разсказы. М. 1909. Ц. 50 к.
№ 11. **Г. П. Якобсенъ.** Новеллы. М. 1909. Ц. 50 к.
№ 12. **Вилье де-Лиль Аданъ.** Жестокіе разсказы. М. 1909. Ц. 50 к.
№ 13. **Ж. Роденбахъ.** Мистическія лиліи. М. 1909. Цѣна 50 к.

Печатаются и на дняхъ поступятъ въ продажу.

Августъ Стриндбергъ. Полное собраніе сочиненій, т. III и т. IV.

Камиллъ Моклеръ. Импрессіонизмъ, его исторія, эстетика и представители.

Пьеръ Лоти. Полное собраніе сочиненій.

Габріэль д'Аннунціо. Полное собраніе сочиненій.

Ѳ. И. Рербергъ. Исторія русскаго искусства.

ДѢТСКІЯ КНИГИ.

Волховской. Дюжина сказокъ. Цѣна 1 р. 25 к.

Н. Готторнъ. Первая Книга чудесъ. Цѣна въ папкѣ 1 руб.

Н. Готторнъ. Вторая Книга чудесъ. (Сказки Тэнльюда). Цѣна въ папкѣ 1 руб.

Ц. Коллоди. Приключенія паяца. Иллюстрир. изданіе. Цѣна въ папкѣ 1 руб.

Эвелина Шэрпъ. Исторія Вѣтрянаго Пѣтушка. Роскошное иллюстрированное изданіе, въ перепл. М. 1909. Цѣна 2 р. 50 к.

Дж. Лондонъ. До Адама. Иллюстрированное изданіе. М. 1909. Цѣна въ папкѣ 1 р. 50 к., въ переплетѣ 2 руб.

Грегсонъ Гоу. Маленькій искатель приключеній. М. 1909. Цѣна въ папкѣ 1 руб.

В. Гомулицкій. Воспоминанія синяго мундирчика. Съ иллюстраціями. М. 1909. Ц. въ папкѣ 1 р. 25 к., въ роскошн. коленк. перепл. 1 р. 50 к.

В. Лондонъ. На крайнемъ сѣверѣ. Иллюстрированное изданіе, въ переплетѣ. М. 1909. Цѣна 2 руб.

Оскаръ Уайльдъ. Молодой король. Роскошное изданіе съ премированными Академіей Художествъ рисунками В. Я. Суреньянца. М. 1909 Въ роскошномъ переплетѣ. Ц. 3 руб.

Оскаръ Уайльдъ. День рожденія инфанты. Роскошное изданіе съ премированными Академіей Художествъ рисунками В. Я. Суреньянца М. 1909. Въ роскошномъ переплетѣ. Цѣна 3 руб.

Л. Толстой Мужикъ и огурцы. Книжка-картинки М. М. Неручева. Въ папкѣ. М. 1909. Цѣна 1 руб.

А. Өеоровъ - Давыдовъ. Веселые мореплаватели. Иллюстрированное изданіе въ папкѣ. М. 1909. Ц. 1 р. 75 к.

А. А. Өедоровъ - Давыдовъ. Зимній сонъ. Иллюстрированное изданіе, въ папкѣ. М. 1909. Ц. 1 р. 75 к.

Бр. Гриммъ. Сказки и легенды, въ переводѣ А. Өедорова-Давыдова. 2-е изд. *Одобрено* Уч. К. Мин. Нар. Пр. для средн. и низш. уч. зав. Томы I и II. Цѣна за два тома 3 руб., въ коленкор. перепл. 4 р.

Японскія сказки. Перев. В. Ф. Коршъ. М. 1906. Цѣна 40 коп.

С. Лагерлефъ. Легенды о Христѣ. *Допущена* въ ротныя библіотеки военно-учебныхъ заведеній. Цѣна въ папкѣ 2 руб.

С. Лагерлефъ. Сказки и легенды. Цѣна въ папкѣ 1 руб. 50 коп.

С. Лагерлефъ. Свѣча отъ гроба Господня. Цѣна въ папкѣ 25 к.

С. Лагерлефъ. Красношейка. Цѣна въ папкѣ 20 коп.

С. Лагерлефъ. Господь и св. Петръ. Цѣна въ папкѣ 20 к.

Э. Сэтонъ-Томсонъ. Мои дикіе знакомые. Цѣна въ папкѣ 2 р., въ коленкор. перепл. 2 руб. 25 коп.

Э. Сэтонъ-Томсонъ. Животныя герои. Цѣна въ папкѣ 2 руб.

Э. Сэтонъ-Томпсонъ. По слѣдамъ оленя. Иллюстр. изд. Ц. 75 к. Допущена Уч. К. Мин. Нар. Пр. въ ученическія бубліотеки низш. учебныхъ заведеній.

В. Лонгъ. Младшій братецъ медвѣдя. Иллюстр. изданія Цѣна въ папкѣ 1 р. 75 к., въ роскошн. коленкор. переплетѣ 2 р.

Перри Робинзонъ. Черный медвѣдь. Цѣна въ папкѣ 1 р. 75 к.

Р. Киплингъ. Вотъ такъ сказки! Цѣна 2 руб.

Р. Киплингъ. Джунгли. Книга I и II. Цѣна за книгу 1 р. 50 к.

Г. Кеннеди. Индѣйскія сказки. Цѣна въ папкѣ 2 р., въ роскошн. коленкор. перепл. 2 р. 25 к.

Макманусъ. Ирландскія сказки. Цѣна въ папкѣ 1 р. 25 к., въ роскош. коленкор. перепл. 1 р. 50 к.

10 картинъ для дѣтей, въ краскахъ, по рисункамъ *В. Я. Суреньянца.* Цѣна всей серіи 3 руб. Отдѣльныя картины по 35 коп.

